ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

рассказы
сатирические
пьесы
фельетоны



ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

рассказы
сатирические пьесы
фельетоны



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р1
А 65

Составление и комментарии
В. Н. Чувакова

Оформление и иллюстрации
И. Захарова

А $\frac{4702010100-1264}{080(02)-88}$ 1264— 88 84 Р1



рассказы



МЕЛЬКОМ

По одному неприятному и скучному делу я был вызван из Москвы и освободился только к десяти часам вечера, развинченный и злой. Другого дела у меня не было, но я торопливо шел на станцию, по привычке человека, у которого лежит в боковом кармане записная книжка, а в ней против каждого дня отмечены десятки мест, куда нужно поспеть, и ругал, ругал... право, не знаю кого. Весь свет ругал: и тех, кто вызвал меня по этому глупому делу, и себя за то, что поехал, и собак, существование которых в этой местности я предполагал, и дождливое лето, и ночной мрак, который уже царил всюду, особенно сгущаясь в узеньких путаных переулках, пролегавших между дачами. Посередине еще светлела дорога, но по краям, где под тенью высоких деревьев проходила пешеходная тропинка, было так же черно, как и у меня на душе. По времени свету полагалось больше,— это происходило в последних числах июня,— но перед тем только что пронеслась сильная гроза, с проливным дождем и ветром, и посеревшие тучи еще не успели рассеяться, точно им было так же трудно и неприятно двигаться в теплом и сыром воздухе, как и мне. Минутами они спохватывались, как пьяница, который вспоминает, что в одном из карманов у него еще завалялся непропитый пятак, и, возвратившись, с треском бросает его удивленному целовальнику,— и посылали на землю редкие, запоздавшие капли, лениво ударявшиеся о листья и траву и наполнявшие окрестность тихим шуршанием. Деревья не шевелились, и только, когда я с усиленной бранью налетал плечом на темный ствол сосны, или задевал ногой кустарник, на ме-

ня сыпались частые теплые брызги. У меня уже начинала являться противная догадка о том, что вместо станции я иду к черту на кулички, когда деревья внезапно раздвинулись, точно провалились, и в нескольких шагах на просветлевшем пространстве тускло блеснули мокрые рельсы.

Маленькая крытая платформочка, задавленная окружающим лесом и ежеминутно пугаемая громыхающими поездами, робко прижималась к земле. На ней не было даже кассы, и в продолжительной агонии кончался холостяк-фонарь, не только не рассеивая тьмы, но скорее увеличивая ее. На стене висело большое, оборванное по краям и никогда не читаемое расписание каких-то поездов с мудреными линиями и черными ободами, а в углу стояла единственная лавка, на которую я плотно уселся. До поезда оставалось еще более часу, и я приготовился терпеливо ждать. Для этих случаев у меня всегда бывала припасена газета или книга, но читать было темно, да и не хотелось. Эти чужие и выдуманные люди, о которых будет говорить газета или книга, давно уже вызывали во мне скуку и зависть. Что мне до того, что там где-то гремят витии, кипит жизнью шумная толпа, и крики победы и яростные вопли побежденных поднимаются к небу,—когда вокруг меня спит самый воздух, и сам я кисну и буду киснуть в этой неподвижной духоте? А в книге еще хуже: сочиненные Петры будут любить и целовать выдуманных Марий, во имя проклятого реализма порок будет торжествовать, а слюнявая добродетель ныть и киснуть, киснуть и ныть! Да и не все ли равно, быстро или медленно пройдет время? За этим часом пойдут другие, и их тоже нужно будет убивать,— так пусть они умирают сами, а я буду только подсчитывать трупы.

Увлеченный нытьем, я не заметил, как на платформу вышли из разных концов две пары. Первую составляли два подвыпивших господина. Один из них был высокий худощавый старик с желтым лицом и реденькой седой бороденкой, от тонкого и широкого рта спускавшейся клочками на гусиную шею. Из-под котелка, оставлявшего в тени верхнюю часть лица, спускался тонкий и длинный нос, на конце острый, как у покойника. Спутник его обладал широким и красным

лицом, подобным ломтю зрелого арбуза,— причем роль зерен выполняли маленькие черные глазки,— стриженой круглой головой, на которой торчал белый картуз. Над пухлыми губами чернели маленькие усики. От всей его молодой, толстой фигурки несло нестерпимым блаженством и какой-то обидной кротостью. Старик уселся возле меня и заговорил высоким, хриплым фальцетом, которому он старался придать язвительность и иронию:

— Будьте, Семен Семеныч, солидарнее! Вас немного намочило, вы и починяйтесь.

— Но чем же я починюсь, Василь Игнатыч? Буфета нет.

— Это дело ваше. Толцыте и отверзется.

— Чему отверзаться-то? Стена.

Молодой человек в подтверждение своих слов стукнул кулаком в тонкую стену, издавшую звук пустого пространства, и откачнулся назад, но сделав при этом такой вид, как будто ему давно уже хотелось откачнуться, и он только пользуется удобным случаем.

— Но зачем утруждаете вы меня вашими гнусными воплями? — спросил старик.

Весь он был преисполнен вежливости, иронии и яда, которым особую силу придавали частые знаки препинания.

— Сердце у меня золотое, с хорошим человеком поговорить желательно. Покурим, старина?

— Это дело ваше. А только я не старина, я — Василь Игнатыч и всякой пьяной свинье не товарищ.

— А сами-то вы не пили? — оскорбился тот.

— Это дело наше.

Другая пара стояла между тем в нерешимости.

— Уйдем, Саша, тут пьяные.

— Ничего, они тихие, сядем вон там в углу.

Высокая женская фигура в сером клеенчатом плаще медленно тронулась, и за ней последовал тот, кого называли Саша. Когда они проходили мимо фонаря, свет упал на красивое женское лицо и юношу с длинными волосами и в синей с косым воротом рубашке. Видом своим он напоминал интеллигентного рабочего или студента, снявшего форму. Девушка держалась спокойно и говорила решительно, мало придавая зна-

чения тому, что ее услышат. Голос ее — чистый и мягкий — звучал лаской в самом простом слове. Такие женщины, с ласковым голосом и уверенными движениями, особенно хорошо ухаживают за больными.

Разостлав на полу клеенчатый плащ, они уселись, тесно прижавшись друг к другу, и из-за лохматой головы на плечо легла тонкая белая рука.

— Милый, тебе не холодно?

— Конечно, нет,— ответил он с тем пренебрежением, каким мужчины отвечают на женскую заботливость.

А мне уже становилось холодно, и я зябко ежился в своем одиноком и жестком углу.

— А как нас знатно вымочило! — продолжал тот же ласковый голос со скрытым смехом.— И как страшно в лесу, когда гроза.

— Ну, что там страшного. Скорее — приятно. А твои там, дома, не будут беспокоиться о тебе? Запропала неведомо куда.

— Пусть их,— ответила девушка и счастливо рассмеялась, но тотчас же перешла в серьезный тон: — а странно, правда, что время так долго тянется без тебя. Ты когда был здесь?

— Вчера.

— Вчера? — протянул голос.— И то ведь вчера. Вот потеха-то! Я думала, что они врут.

— Кто они?

— Да вот те, что романы пишут.

— Кстати, кончила ты Каутского? У меня просили его.

Ответа я не слыхал. Уже давно доносился издали гул, тихий и неотзывчивый в сером воздухе, поглощающем звуки. То шел не то пассажирский, не то курьерский поезд, не останавливающийся на этой платформе. Постепенно гул возрастал, и из-за стены, закрывавшей от меня правую сторону пути, внезапно вырвалось черное и огненное чудовище и промчалось, как вихрь, с громом и лязгом, таща за собой тяжелые вагоны. Освещенные окна сливались в одну блестящую полосу с мелькающими силуэтами голов. С низенькой платформы, стоявшей почти на одном уровне с рельсами, видно было, как торопливо вертятся колеса, кажущиеся легкими и прозрачными.

Наступила минутная тишина, нарушенная блаженным молодым человеком, в котором этот пронесшийся ураган, видимо, пробудил новые силы. Отчаянно фальшивым голосом он запел:

— Бледный месяц... плывет над ре-е-кою...

— Врешь,— комментировал старик с язвительностью.— Возьмите глаза в зубы, и вы увидите тучи.

— ...Все в а-объятьях... ночной тишины...

— Хороша тишина! Орет, как пришпандоренный.

— ...Ничего мне на свете... не надо-о-о...

— И опять врете. Полбутылки надо.

— ...Только видеть... тебя одноё!..

— Эту рожу-то? Тьфу,— с омерзением плюнул старик.

— Послушайте! Почему вы говорите, что у нее рожа? Вы сами видели, какая у нее прелестная личность.

— К вашей пьяной роже никакая личность не подойдет.

Молодой человек задумался и решительно произнес:

— За эти слова я больше с вами незнаком.

— Дело ваше.

С другой стороны слышалось:

— Ты понюхай, Саша, как хорошо пахнет: листьями и еще чем-то.

— Да уж нюхал.

— Нет, пожалуйста, еще.

Юноша с шипением потянул воздух, и оба рассмеялись. На блаженного молодого человека молчание действовало удручающе, и он заговорил, подражая ироническому тону старика:

— А вот с каким поездом мы поедем?

— Ни с каким.

— Н-ну? — изумился молодой человек и икнул.— Почему же это, хотел бы я знать?

— Потому что не пустят. Скажут: куда, пьяная морда, лезешь?

— Это кто же морда-то? Скажем: две пьяные морды.

— Да еще по шее накладут,— ехидничал старик.

— О?

— Да протокол составят.

— О?— все больше таращились глаза молодого человека.

— Да в титы. Посиди, голубчик, охладись, а то чувствителен больно.

Молодой человек задумался и торжественно провозгласил:

— Я с вами больше незнаком, потому что вы вредный человек.

Несмотря на то, что эту торжественную формулу он заключил новой звучной икотой, видно было, что он огорчился и весь как-то потускнел, точно по его блаженству прошлись сапожной щеткой. Я понял теперь и причину этого омраченного блаженства: оно было тем отпечатком, который накладывают на человека ласки и поцелуи любимой женщины. Но на что злился старик?

— Какой мрачный господин,— сказала шепотом девушка, очевидно, намекая на меня.

Мне было приятно, что я замечен, и что, главное, замечена моя мрачность. Пусть хоть пожалеют меня эти милые люди,— меня, у которого нет любви.

— Бабушку схоронил,— предположил юноша.

Это предположение было поразительно глупо. Кто бывает так мрачен, схоронив бабушку, и почему именно бабушку, а не дедушку?

— Ха-ха-ха! — звонко рассмеялась девушка, но сейчас же, со своим обычным переходом к милой серьезности, добавила раскаивающимся голосом: — Быть может, он болен, а мы смеемся.

Это была эпитафия, с которой меня снова опустили в пучину небытия, откуда извлекли на одну минуту, чтобы моя мрачность ярче оттенила их светлое счастье. И снова повелся ими серьезный, деловой разговор о загранице, о медицинском институте, о правилах приема в него, о книжках прочитанных и тех, которые нужно еще прочесть, а в этот разговор врывалась шаловливым лучом милая и пустая болтовня, легкая и красивая, словно белая пена на поверхнос-

ти золотистого крепкого вина. Весь мир казался им пустяком, и каждый пустяк был целым миром. Чувствовалось то благоговейное внимание, с которым эта высокая, красивая девушка ловила каждое слово, которое скупо, как драгоценность, выпускал длинноволосый юноша. Каким благодарным смехом отвечала она, когда это слово оказывалось умным и острым! Рассыпь сейчас перед ней Цицерон все самые пышные цветы из своего неувядаемого венка, блистай перед ней Гейне всеми перлами язвительной насмешки и мистически-страстной нежности, плачь и хмурься перед нею Данте, соберись тут наконец все великие умы и сердца и положи к ногам ее дары свои, она, эта красивая девушка, не обернула бы к ним головы и жадным ухом ловила бы каждое слово длинноволосого молодца. Она смеется, счастливая и благодарная, точно все это: и ее возлюбленный, и смешные пьяные, и сумрачный господин, схоронивший свою бабушку, существуют лишь для полноты ее счастья. Мы не были живые люди,— мы были лишь тени, картинки.

— Как быстро бежит время! — жаловалась она.

А я не знал, как убить это время!

— Может быть, мои часы спешат?

Маленькие золотые часики сблизились с большими серебряными часами, и обе головы склонились над ними. Но, вероятно, кроме часов, сблизилось что-нибудь другое, потому что слишком уж долго не определялся настоящий час.

— Кажется, верно? — смущенно сказал женский голос с легкой дрожью.

— Верно! — авторитетно сказал юноша.

Верно! Как слепы эти счастливые люди. Неверно! Тысячу раз неверно! И проклянете тот день, когда ваши часы пойдут так правильно, что ни в одной убитой минуте вы не ошибетесь, и маленькие часики далеко от вас будут отбивать такие же грустные и пустые секунды!

Тучи уже проходили, и на западе, прямо против платформы светлой полосой проступило чистое, прозрачное небо. На нем чернели, как вырезанные из плотной бумаги, силуэты разбросанных деревьев. Свежее и суше стал воздух, на ближайшей даче глухо за-

рокотал рояль, и к нему присоединились согласные, стройные голоса.

— Пойдем слушать,— быстро вскочила девушка и потащила за рукав неуклюже поднимавшегося юношу.

Пойдем и мы,— пусть до конца оттаивает застывшее сердце. Пели хорошо, как редко поют на дачах, где каждая безголосая собака считает себя обязанной к вытью. И песня была грустная и нежная. Мягкий, красивый баритон гудел сдержанно и взволнованно, как будто подтверждая то, на что страстно жаловался высокий и звучный тенор. А жаловался он на то, что дни и ночи думает все о ней одной.

— Об одной тебе думу думаю,— плакал тенор.

— Думу думаю,— грустно соглашался баритон.

— Об одной тебе, моя душечка,— звенел слезами тенор.

— Душечка,— мягко подтверждал баритон.

— И умру я, жизнь проклинаючи, об одной тебе вспоминаючи...

— Об одной тебе вспоминаючи,— с глубокою тоскою подтвердил баритон, и все стихло.

Впереди меня молча и неподвижно стояла парочка и, когда песня кончилась, разом вздохнула — и поцеловалась. Я отправился на платформу, откуда послышался отчаянно фальшивый голос, беззаботно обходившийся всего двумя нотами, одинаково скверными: простым криком и диким криком. Молодой человек с золотым сердцем не мог остаться нечувствительным к любовному призыву и отвечал, как умел...

— Ничего мне... на свете... не нада-а...
Голько видеть тебя одное...

— Врете! — шипел старик, пытаясь заглушить кричащего.— Дубину хорошую надо!

Бедный старик! Теперь я понял, почему он так злился. Он завидовал, как и я.

Затрещал звонок, извещающий о выходе поезда, и вскоре послышался тот же ровный и тихий гул. Сейчас поезд унесет меня отсюда, и навеки исчезнет для меня эта низенькая и темная платформочка, и только в воспоминании увижу я милую девушку. Как песчинка, скроется она от меня в море человеческих жизней и пойдет своею далекой дорогой к жизни и счастью.

Снова из-за стены вырвалось черное чудовище и, сдержанное могучей властью, остановило, вздрагивая, свой стремительный бег. Находя друг на друга и треща и скрипя тормозами, проползали вагоны и остановились с глухим стуком. Стало тихо, и только шипел воздух, выходя из тормозных труб.

Пьяных действительно на поезд не пустили, и старик с злорадством говорил:

— Что? Поехали?

— Нич-чево. Поедем на следующем.

— А на следующем и по шее накладут.

Я стоял на площадке вагона, против длинноволосого юноши, пристально смотревшего на высокую, стройную фигуру, таким же продолжительным взглядом впившуюся в него. Поезд дернулся и плавно пошел, отрывисто стуча и покачиваясь на стыках рельсов.

— До свиданья, Саша,— сказала девушка.

— До свиданья,— ответил он.

— Прощай,— тихо молвил я, склоняя голову.

— До завтра! — донеслось уже издали и глухо.

— До завтра! — крикнул он.

«Навсегда»,— ответил тихо я. «Навсегда»,— прощались со мной черные силуэты деревьев и убегали назад. «Навсегда»,— сказала платформа и скрылась за поворотом.

Однако пойти в вагон, а то становится холодновато: мечты мечтами, а насморк насморком. Да заглянуть заодно и в записную книжку: куда и куда бежать мне завтра спозаранку.

У ОКНА

Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшей геранью и стал смотреть на улицу. Всю ночь и утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики, насквозь промокшие, стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись в разные стороны, тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. Наискосок, в потемневшем кривом домике отвязалась ставня и с тупым упорством захлопывала половинку окна, таща за собой мокрую веревку, и снова со стуком ударялась о гнилые бревна. И остававшаяся открытой другая половинка, со стоявшей на ней бутылкой желтого масла и сапожной колодкой, смотрела на улицу хмуро и недовольно, как человек с больным и подвязанным глазом.

За дощатой перегородкой, отделявшей комнатку Андрея Николаевича от хозяйского помещения, послышался голос, глухо и неторопливо бурчавший:

— Дело вот в чем — две копейки потерял.

— Да брось ты их, Федор Иванович,— умолял женский голос.

— Не могу.

Под тяжелыми шагами заскрипели половицы, и стукнула упавшая табуретка. Хозяин Андрея Николаевича, пекарь, когда бывал пьян, постоянно терял что-нибудь и не успокаивался, пока не находил. Чаще всего он терял какие-то две копейки, и Андрей Николаевич сомневался, были ли они когда-нибудь в действительности. Жена давала ему свои две копейки, го-

воря, что это потерянные, но Федор Иванович не верил, и приходилось перерывать всю комнату.

Вздохнув при мысли о глупости человеческой, Андрей Николаевич снова обратился к улице. Прямо против окна, на противоположной стороне, высился красивый барский дом. Деревянная вычурная резьба покрывала будто кружевом весь фасад, начинаясь от высокого темно-красного фундамента и доходя до конька железной крыши со стоящим на ней таким же вычурным шпилем. Даже в эту погоду, когда кругом все стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо видные, казались молодыми, свежими и радостными, точно для них никогда не умирала весна и сами они обладали тайной вечнозеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображал, как живут там. Смеющиеся красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы с ее грязью, и все там красиво, уютно и чисто.

В пять или шесть часов приезжает обыкновенно со службы сам владелец богатого дома, красивый, высокий брюнет, с энергичным выражением лица и белыми зубами, делающими его улыбку яркой и самоуверенно веселой. С ним часто приезжает какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами всходят они на каменные ступени крыльца и, смеясь, скрываются за дубовой дверью, а толстый и сердитый кучер делает крутой поворот и въезжает на мощеный двор, в отдаленном конце которого видны капитальные службы и за ними высокие деревья старого сада. И Андрей Николаевич представляет себе, как теперь встречает их молодая хозяйка, как они садятся за стол, украшенный зеленеющим хрусталем и всем, чего Андрей Николаевич никогда не видал, едят и смеются. Однажды он встретил обладателя белых зубов, когда тот ехал по улице, разбрызгивая резиновыми шинами мелкий щебень. Андрей Николаевич поклонился, и он весело и любезно ответил, но лицо его не выразило ни малейшего удивления по поводу того, что ему кланяется какой-то желтоватый и худой господин в фуражке с

бархатным околышем и кокардой, и он не задумался о причине этого. Но причины не знал и сам Андрей Николаевич.

— Вот в чем дело,— говорил за перегородкой хозяин, раздумчиво и вразумительно,— это не те две копейки. Те две копейки щербатые.

— Господи, да когда же ты приберешь меня?

Андрей Николаевич сидел у окна, смотрел и слушал. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник и он мог смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет вместе с жизнью. Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой. Так могли пронестись года, и ни одного чувства, ни одной мысли не прибавилось бы в омертвевшей душе.

Вот распахнулись ворота богатого дома, выехал кучер и остановился у крыльца, расправляя на руках вожжи. «Это барыня сейчас поедет»,— подумал Андрей Николаевич. В дверях показалась молодая, нарядно одетая женщина и с нею сын, семилетний пузырь, с лицом таким же смуглым, как у отца, и с выражением сурового спокойствия и достоинства. Заложив руки в карманы длинного драпового пальто, маленький человечек благосклонно смотрел на вороного жеребца, горячо и нетерпеливо перебиравшего тонкими ногами, и с тем же видом величавого покоя и всеобъемлющей снисходительности, не вынимая рук из карманов, позволил горничной поднять себя и посадить в пролетку. Этого мальчика Андрей Николаевич называл про себя «вашим превосходительством» и искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонами на плечах, родятся тем же простым способом, как и другие дети? И, когда обе женщины рассмеялись на маленького генерала, с задумчивым удивлением посмотревшего на их непонятную веселость, худенький чиновник, притаившийся у своего окна, невольно и с почтением улыбнулся. Лошадь рванула с места и ровной, крупной рысью понесла подпрыгивающий экипаж. Спрятав под передник красные руки, горничная повертелась на крыльце, сделала гримасу и скрылась за дверью. Снова опустела и затихла мокрая улица, и только отвязавшаяся ставня хлопала с таким безнадежным видом, точно просила,

чтобы кто-нибудь вышел и привязал ее. Но покривившийся домик точно вымер. Раз только за его окном мелькнуло бледное женское лицо, но и оно не было похоже на лицо живого человека.

Андрей Николаевич никогда не завидовал этим людям и не хотел бы иметь столько денег, как они. Давно уже, целых шесть лет, он следил за красивым домом и так сжился с ним, что сгори дом — он не знал бы, что ему делать. Он изучил все привычки его обитателей, и, когда в прошлом году, весной, пришли плотники и маляры и стали работать, Андрей Николаевич все свое свободное время проводил у окна и сильно тревожился. Ему казалось, что неуклюжие маляры, тонкими голосками поющие какие-то глупые песенки, обязательно испортят дом. И хотя он вовсе не был испорчен и еще ярче засиял, обмытый и помолодевший, Андрею Николаевичу было жаль старого дома, в котором он знал всякую трещину. Там, где откос крыши сходился со стенами, в треугольничке находилось место, которое он особенно любил за его уютность, и ему сделалось особенно тяжело, когда плотники оторвали старую резьбу, и уютный уголок, обнаженный, сверкающий белым тесом от свежих ран, выступил на свет, и вся улица могла смотреть на него. И только раз или два Андрею Николаевичу приходила мысль о том, что и он мог бы быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнате, и стены и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему, и не заговорит с ним, и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто лежит на илистом дне глубокого моря, и тяжелая, темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И, ничем не защищенный,

стоит он посередине, словно на площади, по которой он так не любит ходить. Он обязан думать о деньгах, о том, чтобы они не пропали бы и их было больше, о жене, о фабрике и о множестве странных вещей. У него есть подчиненные, и необходимо давать приказания, а если они не послушаются и станут спорить, то кричать и топать ногами. Надо быть страшным для других и сильным, очень сильным,— и при этой мысли Андрей Николаевич чувствует, что все тело его, руки, ноги становятся мягкими, точно из них вынуты все мускулы и кости. Это чувство является у него всякий раз, когда ему приходится делать что-нибудь свое, непривычное и неприказанное.

В своей канцелярии он чувствует себя хорошо. Стол его, все один и тот же за пятнадцать лет,— крытый клеенкой стол притиснут в самый угол, и, когда проходит советник, он не видит Андрея Николаевича за другими чиновниками. Все же в эти минуты ему жутко, и лишь после того, как советник пройдет и согнутые спины распрямятся, словно колосья ржи после промчавшегося ветра, Андрей Николаевич сознает себя в полной безопасности. И только помощник секретаря, который берет у него переписанные бумаги и дает новые, знает, что существует на свете очень исполнительный и скромный чиновник, пишущий «д» с большим росчерком и «р», похожее на скрипичный знак, и что зовут его Андреем Николаевичем, товарищи дразнят его «Сусли-Мысли», а фамилия известна одному казначею. В свою очередь, чиновник этот знает, что он будет делать завтра и всю жизнь, и ничто новое и страшное не встретится на пути. Пять лет тому назад его назначили старшим чиновником — и что это за страшные были дни!

Надвинулась туча, и в комнатке Андрея Николаевича потемнело. Он смотрел в окно, как ветер пригибает к крыше ракиту, бессильную в своем трепетном сопротивлении, и старался думать о том, переломится ли дерево, или нет, и чувствуются ли ветер этот и туча в богатом доме. Но размышления шли вяло, и картина жизни в богатом доме оставалась тусклой. В созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживался от жизни, есть слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно по-

являются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко. Вот сейчас, когда он только что обрадовался неслышному движению времени, незаметно подкрались враги, и он уже не в силах бороться с ними. Стен уже нет, и нет его комнаты. Он опять стоит перед советником, чувствует, как обмякли его ноги и руки, и, словно привороженный, смотрит на сияющий блик его лысины. Так медленно проползает секунда, две. Подошвы совсем прилипли к полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могла бы дюжина лошадей.

— Ну, что еще? — замечает его советник, уже отдавший все необходимые приказания.

Голос его гремит, как труба на страшном суде, и ноги Андрея Николаевича сейчас же сдвигаются, но не идут к двери, где спасение, а танцуют на одном месте. Язык, однако, еще не отклеился, и оторвать его можно только щипцами.

— Н-ну? — протянула труба.

— А... если Агапов к двум часам не перепишет?

— Да...— задумался начальник.— Ну, дайте тогда на дом. Что еще? Ясно?

— Ясно,— отвечает Андрей Николаевич в тон вопросу, резко и отрывисто. Он плохо понимает, что ему говорят, потому что новый и страшный вопрос возникает в его мозгу.

— Так... чего же вам еще? — рычит труба.

— А... если у него есть другая спешная работа?

Это была правда. У Агапова могла быть другая спешная работа, и советник об этом не подумал. Снова, с неудовольствием оторвавшись от бумаги, он обратил на Андрея Николаевича нетерпеливый взгляд и ничего не мог придумать.

— Ну, дайте кому-нибудь еще.

— А если...

— Что-с? — рванул советник. Глаза его стали огромные и круглые, как кегельные шары.

Андрей Николаевич обомлел от страха.

— Нет, нет, не то,— скороговоркой проговорил он и из невольного подражания закричал на начальника так же громко, как и тот на него,— похоже было на разговор людей, разделенных широким оврагом.— Я вам говорю, если мы на сегодняшнюю почту опоздаем, тогда что?

Остальное представляется Андрею Николаевичу в виде одного звука: ф-фа! Через неделю советник говорил секретарю:

— Откуда вы достали этого господина, который по горло заряжен всякими «если»? Все, что он предполагает, может случиться, хотя мне это и в голову не приходило. Но ведь и дом этот может провалиться!—вдруг рассердился он.—Ведь может?

— Казенной постройки,— пошутил секретарь и серьезно добавил: — Никак не полагал: он такой исполнительный...

— Дерзкий еще такой, кричит. Уберите его на старое место.

И Андрея Николаевича убрали, а у него целую еще неделю руки и ноги были мягкими, как у дешевой куклы, набитой отрубями.

На улице послышались гнусавые и резкие звуки гармоники. По противоположной стороне шли четверо пьяных, одетых в длиннополые сюртуки, высокие узкие сапоги и картузы, у которых поля были острые, как ножи. Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный трескучий мотив, от которого в глазах желтело. Когда уличные ребятишки, подражая взрослым, играли в пьяных и, вместо гармоник, держали в руках чурки, они изображали этот мотив так:

— Ган-на-нидар, ган-на-нидар — ган-на-нидар, най-на.

Против красивого дома на мостовой было единственное сравнительно сухое место на всей улице, и один из пьяных выделился вперед и стал плясать, пристукивая каблуками и изгибаясь всем телом. Лицо его, молодое, дерзкое, с небольшими светлыми усиками, осталось таким же серьезным и даже печальным,

как будто давным-давно ему наскучило быть пьяным и плясать на грязной мостовой под этот трескучий, невеселый мотив. Остальные смотрели на него так же равнодушно и вяло, не выражая ни одобрения, ни порицания, и чем-то беспросветно тоскливым веяло от этого странного веселья под хмурым осенним небом среди покосившихся домишек.

«Ванька Гусаренок! — подумал Андрей Николаевич.— Пляшет — значит, будет сегодня жену бить».

Когда пьяные прошли, уныло-задорные звуки гармоники стихли, из покосившегося домика с хлопающей ставней вышла женщина, жена Гусаренка, и остановилась на крылечке, глядя вслед за прошедшими. На ней была красная ситцевая блуза, запачканная сажей и лоснившаяся на том месте, где округло выступала молодая, почти девическая грудь. Ветер трепал грязное платье и обвивал его вокруг ног, обрисовывая их контуры, и вся она, с босых маленьких ножек до гордо повернутой головки, походила на античную статую, жестокой волей судьбы брошенную в грязь провинциального захолустья. Правильное, красивое лицо с крутым подбородком было бледно, и синие круги увеличивали и без того большие черные глаза. В них странно сочетались гнев и боязнь, тоска и презрение. Долго еще стояла на крылечке Наташа и так пристально смотрела вслед мужу, идущему из одного кабака в другой, точно всей своей силой воли хотела вернуть его обратно. Рука, которой она держалась за косяк двери, замерла; волосы от ветра шевелились на голове, а давно отвязавшаяся ставня упорно продолжала хлопать, с каждым разом повторяя: нет, нет, нет.

«Вот баба-то! — ужаснулся Андрей Николаевич, когда Наташа ушла, не бросив взгляда на окно, за которым он прятался.— И слава богу, что я на ней не женился».

Андрей Николаевич даже рассмеялся от удовольствия, но оно было непродолжительно. Еще не разгладились морщинки, образовавшиеся от смеха, как в потаенную калиточку ворвались враги. Образ Наташи, еще не сошедший с сетчатки его глаза, вырос перед ним яркий и живой, а рядом выступила другая картинка, без всякого предупреждения, внезапно. Стены раздвинулись и исчезли, на него пахнуло полем и запа-

хом скошенного сена. Над черным краем земли неподвижно висел багрово-красный диск луны, и все кругом было так загадочно, тихо и странно.

«Господи,— сказал Андрей Николаевич с мольбой,— разве мало того, что это было когда-то, нужно еще, чтобы оно постоянно являлось. Мне совсем этого не нужно, я не хочу этого».

Желтыми от табаку пальцами он оторвал кусок толстой папиросной бумаги, похожей на оберточную, достал из жестянки щепотку мелкого табаку и свернул папироску, склеивая концы бумаги языком. За перегородкой, задыхаясь и сопя, храпел Федор Иванович. Обессиленный водкой и поисками двух копеек, он заснул и проснется только вечером, когда стемнеет. Воздух изнутри с силой поднимался к горлу спящего, ища себе выхода, и с легким шипением выходил наружу, отравляя комнату запахом перегорелой водки. Проснувшись, Федор Иванович будет долго и мучительно кашлять выворачивающим все внутренности кашлем, выпьет квасу и потом водки, и снова начнутся мучения его жены. Так бывало каждый праздник. Андрею Николаевичу стало досадно на этого толстого, рыхлого человека, который всю неделю томится от жара у раскаленной печи, а в праздник задыхается от водки.

Он обратился к улице. Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце и скупым, желтым светом озарило мокрую и печальную улицу. Только противоположный дом стоял все таким же гордым и веселым, и окна его сияли. Но Андрей Николаевич не видел его. Он видел то, что было когда-то и что так упорно продолжало являться назло всем стенам и запорам.

Наташа никогда не была веселой, даже и в то время, когда она была еще девушкой, красивой и свободной, и любви ее добивались многие. При первой встрече с ней Андрей Николаевич испытал неприятное чувство стеснения и робости. Он с тревогой следил за ее резкими и неожиданными движениями, и ему казалось, что сейчас Наташа скажет или сделает что-нибудь такое, от чего всем присутствующим на вечеринке станет совестно. Вместе с другими девушками она пела песни, но не старалась кричать вместе с ними как можно выше и громче, а шла в одиночку со своим низ-

ким и несколько грубоватым контральто и как будто пела для одной себя. Когда Гусаренок, также бывший на этой вечеринке и, по обыкновению, несколько пьяный, игриво обнял ее за талию, она грубо оттолкнула его и, покраснев, сказала что-то, от чего его светлые усики запрыгали и глаза стали жесткими и вызывающими. С дерзким смехом, не оборачиваясь, он показал пальцем на Андрея Николаевича,— Наташа молча повернула голову, и ее черные глаза устремились на него, не то спрашивая, не то приказывая сделать что-то, сейчас, немедленно. И он хотел отвести от них свои глаза и не мог, и испытывал то же состояние безволия, порабощения, как и в ту минуту, когда он глядел, не отрываясь, на блестящую лысину начальника. Лица Наташи видно не было, и только ее глаза, страшно большие и страшно черные, сверкали перед ним, как черные алмазы. И, все продолжая смотреть на него, Наташа поднялась с места, быстрой, уверенной походкой прошла комнату и села с ним рядом так просто и свободно, точно он звал ее, и заговорила, как старая знакомая.

— Мы вам попомним это, Наталья Антоновна,— сказал, проходя Гусаренок.

На Андрея Николаевича он не взглянул, но в его вздрагивающих усиках чувствовалась угроза.

— Счастливо оставаться, век не расставаться,— проговорил Гусаренок, не получая от Наташи ответа, и вышел, залихватски заломив картуз.

Через секунду под окнами послышалась гармоника и высокий приятный тенор:

Она, моя милая,
Сердце мое вынула,
Сердце мое вынула,
В окно с сором кинула...

— Он вас побьет, вы берегитесь,— сказала Наташа.

— Не смеет, я чиновник,— возразил Андрей Николаевич и действительно нисколько не боялся. На него точно просветление какое нашло. Он не только отвечал на вопросы Наташи, но говорил и сам и даже спрашивал ее, и не удивлялся, что говорит так складно и хорошо, как будто всю жизнь только этим делом

и занимался. И, думая и говоря, он в то же время с особенной отчетливостью видел все окружающее, и грязный пол, усыпанный шелухой от подсолнухов, и хихикающих девушек, и небольшую прихотливую морщинку на низком лбу Наташи.

Но, как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И Гусаренка он стал бояться и долго находился в нерешимости, что ему делать: идти ли домой, чтобы спастись от Наташи, или остаться здесь, пока Гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам.

Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмякали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но, когда за перегородкой, у хозяйки, он услыхал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит «ура!»... Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса. Но, едва Андрею Николаевичу метнулись в глаза два черных алмаза, страх тотчас пропал, и стало легко и спокойно.

Промчалось невидных два месяца, и вышло так, что Наташа и Андрей Николаевич любят друг друга. Это видно было из того, что он целовал Наташу в щеки и в эти черные страшные глаза, щекотавшие губы своими ресницами. При этом Наташа подтверждала существование любви, говоря:

— Не нужно целовать в глаза,— примета нехорошая.

— Какая же такая примета? — смеялся Андрей Николаевич и чувствовал, насколько он, человек образованный, прошедший два класса реального училища, выше этой темной девушки, верящей во всякие приметы.

— Такая. Разлюбите меня, вот что.

Раз есть возможность разлюбить — значит любовь существует. Но откуда же она взялась? И куда она девалась на то время, когда Андрей Николаевич не

видел Наташи? Тогда девушка эта казалась ему совершенно чуждой и далекой от него, и в поцелуи ее так же трудно верилось, как если бы он стал думать о поцелуях той богатой барыни, что живет напротив. В самом слове «Наташа» звучало для него что-то странное, чужое, точно он до сих пор не слыхал этого имени и не встречал подобного сочетания звуков. Наташа... Он ничего не знал о Наташе и о ее прошлой жизни, о которой она не любила говорить.

— Жила, как и люди живут,— говорила она.— Вы лучше о себе расскажите.

Эта просьба всегда затрудняла Андрея Николаевича, потому что рассказывать было не о чем. Ему тридцать четыре года, а в памяти от этих лет нет ничего, так, серенький туман какой-то, да та особенная жуть, которая охватывает человека в тумане, когда перед самыми глазами стоит серая, непроницаемая стена. Был у него отец, маленький рыженький чиновник в больших калошах и с огромным свертком бумаг под мышкой; была мать, худая, длинная и рано умершая вместе со вторым ребенком. Потом, с шестнадцати лет, Андрей Николаевич стал также чиновником и ходил вместе с отцом на службу, и под мышкой у него был также большой сверток бумаг, а на ногах старые отцовские калоши. Отец умер от холеры, и он стал ходить на службу один. В молодости он очень любил играть на бильярде, играл на гитаре и ухаживал за барышнями. Пытался он тогда переменить свою участь, бросить казенную службу, но как-то все не удавалось. Раз уже ему обещали хорошее место, да пришел кто-то другой и сел на это место, так он ни при чем и остался. Да, может быть, это и к лучшему было, потому что тот, похититель, и года не просидел на своем месте, а он вот до сих пор — ничего, служит.

— И только? — спрашивала с недоверием Наташа.

— И только. Чего же еще?

— А я не так думала. Я думала, у вас другая жизнь, не так, как у нас. Книжки читаете и все говорите так тихо, благородно, и все о хорошем, чувствительном.

— Читал я и книжки, да что в них толку? Все выдумка одна.

— А божественное?

— Кто же теперь читает божественное? Купцы одни, как нахапают побольше, так божественное читают. А у нас и без того грехов мало.

— И не скучно вам так-то, все одному да одному?

— Чего же скучать? Сыт, одет, обут, у начальства на хорошем счету. Секретарь прямо говорит: примерный вы, говорит, чиновник, Андрей Николаевич. Кто губернатору доклады переписывает,— я небось!

— Да вам же скучно без людей?

— Да что в них, в людях? Свара одна да неприятности. Не так скажешь, не так сядешь. Один-то я сам себе господин, а с ними надо... А то пьянство, картеж, да еще начальству донесут, а я люблю, чтобы все было тихо, скромно. Тоже ведь не кто-нибудь я, а коллежский регистратор — вон какая птица, тебе и не выговорить. Другие вон и благодарность принимают, а я не могу. Еще попадешься грешным делом.

Но Наташа не удовлетворялась. Она хотела знать, как живут у них, у чиновников, жены, дочери и дети. Пьют ли мужья водку, а если пьют, то что делают пьяные и не бьют ли жен, и что делают последние, когда мужья бывают на службе. И по мере того, как Андрей Николаевич рассказывал, лицо Наташи застывало, и только прихотливая морщинка на низком лбу двигалась с выражением упорной мысли и тяжелого недоумения.

— Прощайте,— тихо говорила Наташа и уходила А он целовал ее холодную, неподвижную щеку, думал: «Чего ей надо? Только тоску на людей нагоняет».

Раз летом они долго сидели в хозяйском саду и потом вышли на берег. Солнце зашло в облака, и только узкая багрово-красная полоска горела на горизонте, обещая назавтра ветер. Вода была неподвижна, и им сверху казалось, что они смотрят не в реку, а в небо. На том берегу на много верст тянулись бакши, и соломенный шалаш сторожа чуть белел на земле, казавшейся черной от контраста со светлым небом. Недалеко от шалаша горел костер, и пламя его поднималось вверх прямым и тонким лезвием, как от восковой свечи. Со стороны садов пахло лежалыми яблоками и свежескошенным сеном. На улице ударил в колотушку сторож, вышедший на ночное дежурство, и галки, облепившие высокие ракиты, зашумели листь-

ями и подняли долгий, несмолкающий крик. И снова настала тишина.

— В каком ухе звенит? — спросила Наташа и наклонила голову, боясь потерять этот тоненький, звенящий голосок.

— В левом,— невнимательно ответил Андрей Николаевич и не угадал. Но он и не старался об этом,— тихий вечер расположил его к такой же тихой грусти и размышлениям о жизни. Следя прищуренными глазами за костром, он ощупью достал портсигар и закурил, и дым легкими колечками поднимался и таял в воздухе, полном прозрачной мглы. Не торопясь, прерывая себя долгими минутами молчания, Андрей Николаевич стал говорить о том, какая это и странная и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного. Живут люди, и умирают, и не знают нынче о том, что завтра умрут. Шел чиновник в погребок за пивом, а на него сзади карета наехала и задавила, и вместо пива к ожидавшим приятелям принесли еще не остывший труп. Получил чиновник награду, пошла его жена бога благодарить, а в церкви деньги у нее и вытащили. И куда ни сунься, всё люди грубые, шумные, смелые, так и прут вперед и все побольше захватить хотят. Жестокосердые, неумолимые, они идут напролом со свистом и гоготом и топчут других, слабых людей. Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает. Туда им и дорога!

В голосе Андрея Николаевича звучал ужас, и весь он казался таким маленьким и придавленным. Спина согнулась, выставив острые лопатки, тонкие, худые пальцы, не знающие грубого труда, бессильно лежали на коленях. Точно все груды бумаг, переписанных на своем веку и им и его отцом, легли на него и давили своей многопудовой тяжестью.

— Так вот всю жизнь и проживешь,— сказал он после долгой паузы, продолжая какую-то свою мысль.

— Вы бы... ушли куда-нибудь.

— Куда идти-то?

Наташа помолчала и вдруг обхватила рукой шею Андрея Николаевича и прижала его голову к своей груди.

— Голубчик ты мой!

Первый раз говорила она Андрею Николаевичу «ты». При порывистом движении Наташи фуражка с бархатным околышем свалилась с головы и теперь катилась вниз, подскакивая на неровностях обрыва. Твердая рука Наташи крепко прижимала голову Андрея Николаевича к упругой груди, и ему было тепло и ничего не страшно, только до боли жаль себя. Он хотел сказать что-нибудь сильное, хорошее и такое жалостливое, чтобы Наташа заплакала, но таких слов не находилось на его языке, и он молчал. Согнутой шее становилось больно от неудобного положения, и Андрей Николаевич попытался высвободить свою голову, но твердая рука только сильнее прижала ее к горячей груди. Вдыхая запах молодого, здорового тела, он скосил глаза и из-под руки Наташи увидел очистившееся и потемневшее небо со слабо мерцавшими звездами. Немного ниже, там, где черный край земли сливался со смутно-черным небом, неподвижно висел красный диск луны, казавшийся близким и страшным. Безмолвный, угрюмый, он не издавал лучей и висел над землей, как исполинская угроза каким-то близким, но неведомым бедствием. В немом ужасе застыли река, и болтливый тростник, и черная даль. Костер на том берегу давно уже потух, и ни один звук не нарушал грозной тишины.

Наташа вздрогнула и выпустила голову Андрея Николаевича.

— Ну, пойдемте.

Охваченный свежим воздухом, он поднялся и, сделав шаг к Наташе, приготовился сказать ей то важное и значительное, для чего у него не находилось слов.

— Наташа...— начал он нерешительно, приподняв брови и выпятив губы.

Гладко прилизанная голова его была на этот раз всклокочена, и редкие волосики стояли, как у дикобраза.

— Ну?

— Наташа...— повторил он, забыв, что хотел сказать.— Наташа, дело вот в чем...

— Две копейки потеряли? Какой вы смешной! — И Наташа рассмеялась. Смеялась она неприятно, каким-то чужим и неестественным голосом.

Андрей Николаевич обиделся и молча достал фу-

ражку, а дорогой домой выговаривал Наташе за ее смех и упрекал за неумение держаться в приличном обществе.

Андрей Николаевич сидел у окна и настойчиво смотрел на улицу, но она была все так же безлюдна и хмура, и в покосившемся домике продолжала ударять о стену отвязавшаяся ставня, точно загоняя гвозди в чей-то свежий гроб. «Привязать не может!» — подумал Андрей Николаевич с гневом на Наташу и, взглянув на часы, убедился, что ему время обедать и даже прошло уже лишних пять минут. После обеда он лег отдохнуть, но сон долго не приходил, и вообще праздник был испорчен. А за перегородкой, точно назло, храпел Федор Иванович, и воздух бурлил в его горле и с шипением выходил наружу.

После вечера на берегу, на другой же день, начался разлад, и был так же малопонятен, как и начало любви. У Андрея Николаевича давно уже явилась неприятная догадка и к этому времени перешла в уверенность: Наташа хочет выйти замуж и именно за чиновника. Она женщина неграмотная, говорит: «Теперича», «поемши»; она по ремеслу папиросница, и часто, когда она делает папиросы на дому, ей приходится терпеть наглые любезности и заигрывания. И вот она ищет мужа с положением, образованного, который мог бы быть ей покровителем и защитником, а таких на всей улице только один и есть он, Андрей Николаевич Николаев. Как женщина умная и хитрая, она скрывает свои планы и делает вид, что любит бескорыстно. А так как до сих пор эта тактика ни к чему не привела и Андрей Николаевич оставался тверд, как гранит, Наташа начала прибегать к другому средству, которым опытного человека, в молодости ухаживавшего за барышнями, никак не проведешь: делает вид, что ни на грош не любит Андрея Николаевича, и нарочно расхваливает Гусаренка за его силу и молодчество. А этого Гусаренка на днях вели в участок; рубашка его была разорвана сверху донизу, и по белому, как мел, лицу текла красная струйка крови. Сзади бежали и улюлюкали мальчишки, а один из городовых, такой же бледный, как и Гусаренок, методически ударял его кулаком, и белая голова откачивалась. И такого-то она может полюбить!

Для Андрея Николаевича начались страшные терзания и появились вопросы, от которых он обмякал по нескольку раз в день. Когда он смотрел на Наташу и прикасался к ней, ему хотелось жениться, и эта женитьба казалась легкой, но в остальное время мысль о браке нагоняла страх. Он был человеком, который заболевает от перемены квартиры, а тут являлось столько нового, что он мог умереть. Идти к священнику, искать шаферов, которые могут не явиться и тогда за ними надо ехать, а с извозчиком торговаться; потом идти или ехать в церковь, которая может быть заперта, а сторож потерял ключ, и народ смеется. А там нужно искать новую квартиру и переходить в нее, и все пойдет по-новому. И обо всем необходимо думать, заботиться, говорить. А если дети пойдут? И притом, не дай бог, двоешки, и все девочки, которым нужно приданое. А если новая квартира будет сырая и угарная? И Андрей Николаевич отчаянным жестом ворошил волосы и готов был завтра же сказать Наташе все, если бы не боязнь, что она убьет себя или пожалуется дикарю Гусаренку, и тот изувечит Андрея Николаевича или просто посмотрит на него так, что хуже всякого увечья. Люди, которые женятся, начали казаться Андрею Николаевичу героями, и он с уважением смотрел на Федора Ивановича и хозяйку, которые сумели жениться и остались живы. Раз даже он написал Наташе:

«Милостивая государыня,

Наталия Антониевна!

Сим письмом от 22 августа текущего года имею честь поставить вас, милостивая государыня, в известность о том, что по слабости здоровья, изможденного трудами и бдением на пользу престола и отечества, будучи чиновником тринадцатого класса и похоронив родителей, папеньку Николая Андреевича и маменьку Дарью Прохоровну, во блаженном успении вечный покой...»

Но так как Наташа была неграмотна, то он письма не послал, но несколько раз перебелял его для себя и прибавлял новые пункты. По счастью, никаких объяснений не понадобилось: Наташа перехитрила самое себя. Сперва не позволила себя целовать —

Андрей Николаевич ни гу-гу. Потом раза два не пришла на свидание. Андрею Николаевичу было обидно, но он даже и виду не показал, а держался развязно, с достоинством, и только слегка дал ей понять о неприличии ее поведения. Потом совсем перестала ходить, и однажды хозяйка принесла радостную весть, что Наташа выходит замуж за Гусаренка.

— Этакого гуся выбрала! — негодовала хозяйка и сочувственно смотрела на Андрея Николаевича, думая: «Вишь, гордец какой: нарочно веселость из себя изображает». А чиновники, глупые люди, смотрели на него в этот день с изумлением; думали, что он женится, поздравляли его и говорили:

— Ай да «Сусли-Мысли»: какую штуку выкинул!

А он именно не женился!

На Красной горке была Наташина свадьба. Это был второй радостный день, когда Андрей Николаевич сидел, по обыкновению, у окна и видел, как трясется от топота пляшущих покосившийся домик, и слушал доносившийся оттуда веселый гомон и визг гармоники. Подумать только, что он мог быть центром этого буйного сборища! И с особенной радостью он услыхал, уже поздно ночью, как в покосившемся домике зазвенели разбиваемые стекла, понеслись дикие крики и визгливые женские вопли. Мимо его окна, громко топоча ногами, пробежал кто-то, и вслед за этим послышались звуки борьбы, тяжелое дыхание и падение тела.

— Стой, не уйдешь! — хрипел с натугой голос, чередуясь со шлепкими ударами по чему-то мягкому и мокрому. И чуть ли голос тот не принадлежал герою торжества — Гусаренку.

— Караул!

Точно проснувшись, испуганно затрещала колотушка сторожа, и ей завторил журчащий свисток городового Баргамота. Словно эхом ответили ему вдали другие свистки.

«Вот так первая ночь новобрачного — в участке»,— со злорадством усмехнулся Андрей Николаевич, не торопясь, с ленивым комфортом повернулся в своей одинокой и свободной кровати на другой бок и заключил так:

«Вы там себе деритесь, а я — засну!»

И это «засну», ехидное, шипящее вырвалось из его груди, как крик победного торжества, и было последним гвоздем, который вбил он в крышку своего гроба. Улица продолжала шуметь, и Андрей Николаевич накрыл голову подушкой. Стало тихо, как в могиле.

На следующий день Андрей Николаевич узнал причину ссоры на свадьбе Наташи: Сергей Козюля, когда напился пьян, сказал, что Наташа имела любовника — Андрея Николаевича, который получил с нее, что нужно, и потом бросил ее. За эти слова Гусаренок побил Козюлю и других, вступившихся за него, потом был побит сам и действительно ночевал в участке. Узнав все это, Андрей Николаевич обрадовался, что его в какой бы то ни было форме, но вспомнили, и что Наташа будет теперь знать, как отказываться от любящего человека ради одного женского вероломства; к этому времени совсем как-то забылось, что не Наташа, а он главным образом хотел разрыва.

Андрей Николаевич ворочался на кровати и думал:

«Как нехорошо это устроено, что не может человек думать о том, о чем он хочет, а приходят к нему мысли ненужные, глупые и весьма досадные. Прошло четыре года с того вечера, как я сидел с Наташей на берегу, а я об этом вечере думаю, и мне неприятно, и особенно неприятно оттого, что я вполне явственно вижу красную луну. При чем здесь эта луна? А если бы я стал думать о том, сколько «барин» получает денег в год, потом в час и минуту, мне стало бы хорошо, и я бы заснул, но я не могу».

Но вскоре веки начали тяжелеть, и красная луна внезапно превратилась в красную рожу швейцара Егора. «В каком ухе звенит? — спрашивает он, наклонясь и нагло тараща выпуклые глаза. Андрей Николаевич хотел дать ему гривенник, но деньги не находились, и это доставляло особенное удовольствие Гусаренку, который сидел тут же, заложив ногу за ногу, и играл на гармонике. «Ты, Егор, подожди, мы лучше зарежем его, как поросенка»,— сказал он и вытащил из кармана большой, блестящий и острый, как бритва, нож. Андрей Николаевич бросился бежать. Ему нужно было пробежать все комнаты правления, и этих комнат было ужасно много, и все они были пусты, так как чиновники ушли и все столы вынесли. Хо-

тя Андрею Николаевичу бежать было легко и ноги его скользили по полу, но он задыхался. А сзади, за несколько комнат, гнался, не отставая, Гусаренок, и шаги его, ровные, тяжелые, гулко отдавались под сводами. Внезапно пол под Андреем Николаевичем провалился, и он летел, все приближаясь к своей постели, и наконец проснулся на ней. Сердце билось сильно и неровно.

В комнатке было темно, и только неясно желтел четвероугольник окна, в которое падал свет от фонаря, стоявшего у богатого дома. На хозяйской половине также горел огонь, так как от узенькой щели в перегородке на пол ложилась светлая полоса, опоясывая кончик стоптанной туфли. Успокоившись от страшного сна, Андрей Николаевич услыхал за стеной тихий шепот и узнал голос хозяйки. В нем сквозило сострадание и боязнь, что ее услышит тот, о ком она говорила, хотя он был отделен от нее расстоянием улицы и толстыми стенами.

— Ах, кровопивец, ах, аспид! — шептала хозяйка.— Ушла бы ты от него совсем, ну его к ляду!

Наташа ответила, и ее низкий голос звучал громко и размеренно, и слабое трепетание в нем не было замечено ни хозяйкой, ни притихшим за перегородкой жильцом.

— Куда уйти-то?

«Ага, нашла коса на камень! — подумал Андрей Николаевич, вспоминая свой сон.— Он тебе спуску не даст, не то, что я».

— И вправду, куда идти? — с готовностью согласилась хозяйка.— Вот и мой тоже. Пропасти нет на эту водку.

Хозяйка оборвала речь, и в жутко молчащую комнату с двумя бледными женщинами как будто вползло что-то бесформенное, чудовищное и страшное и повеяло безумием и смертью. И это страшное была водка, господствующая над бедными людьми, и не видно было границ ее ужасной власти.

— Отравлю его,— сказала Наташа так же громко и размеренно.

— Что ты, что ты! — забормотала хозяйка.— Не для себя терпишь, а для ребенка,— его-то куда денешь? Ты оставайся ночевать у нас, я тебе в кухне

постелю, а то мой опять будет колобродить. А к глазу, на вот, ты пятак приложи — ишь, ведь как изуродовал, разбойник... Постой, кажись, жилец проснулся...

— Эта кикимора-то? — спросила Наташа громко, точно желая, чтоб ее слышали за перегородкой.

— И впрямь кикимора,— шепотом согласилась хозяйка.— Пойду самовар ставить и тебе в чайнике заварю. Ах, разбойник, что наделал-то!

«То Сусли-Мысли, то кикимора — вот дурачье-то,— рассердился Андрей Николаевич.— Вот пожалуюсь Федору Ивановичу, он тебе покажет кикимору. Дура полосатая!»

Он подошел к окну и открыл половинку. В комнату ворвался теплый ветер, пахнущий сыростью и гниющими листьями, и зашелестел бумагой на столе. Слышно стало, как скрипит дерево о железную крышу и шуршит мокрая зелень. К богатому дому подъезжали один за другим экипажи, и из них выходили мужчины в цилиндрах и дамы в широких ротондах и с белыми платками на головах. Подбирая шумящее платье, они входили на крыльцо. Массивная дверь широко распахивалась и выпускала на улицу столб белого света, зажигавшего блестки на металлических частях экипажа и упряжи. Дом стоял безмолвный и темный, но чудилось, как сквозь тяжелые ставни, закрывающие высокие окна, сияют зеркальные стекла и вечно живые цветы радуются свету, движению и жизни. Несколько экипажей остались ждать господ, и кучера, раскормленные, важные, с презрением смотрели с высоты своих козел на темные покосившиеся домишки.

Напившись чаю и четким, красивым почерком переписав казенную бумагу, Андрей Николаевич начал готовиться к новому сну, для чего перестлал постель и взбил подушки. За перегородкой Федор Иванович бурчал сокрушенно и раздумчиво:

— Дело вот в чем: двух копеек я так-таки и не разыскал.

— О, господи!..

Нужно было закрыть ставню, и Андрей Николаевич прошел на улицу. Экипажи еще стояли, и кучера грузными и сонными массами темнели на козлах.

В большом доме глухо рокотали ритмические звуки рояля и минутами стихали, относимые порывом ветра. И этот же ветер приносил на крыльях своих новые звуки, явственно слышные, когда переставало скрипеть дерево. То были печальные и странные мелодические звуки, и не руками живых людей вызывались они в эту черную ночь. Легкие, как само дуновение ветра, они то нежно молили и плакали, и умолкали с жалобным стоном, то, гневно ропщущие, поднимались к небу с угрозой и гневом. Словно чья-то страдающая душа молила о спасении и жизни и гневно роптала.

«Противная штука!» — рассердился Андрей Николаевич. В одном этом отношении он не разделял вкусов владельца большого дома, и когда тот поставил на крышу арфу и ветер начал играть свои печальные песни, он никак не мог понять, зачем нужны эти песни человеку с белыми зубами и яркой улыбкой.

«Ужасно противная штука! — повторил Андрей Николаевич и, понизив голос, добавил: — Чего только полиция смотрит?»

С чувством человека, спасающегося от погони, он с силой захлопнул за собой дверь кухни и увидел Наташу, неподвижно сидевшую на широкой лавке, в ногах у своего сынишки, который по самое горло был укутан рваной шубкой, и только его большие и черные, как и у матери, глаза с беспокойством таращились на нее. Голова ее была опущена, и сквозь располосованную красную кофту белела высокая грудь, но Наташа точно не чувствовала стыда и не закрывала ее, хотя глаза ее были обращены прямо на вошедшего.

— Сколько лет, сколько зим! — проговорил Андрей Николаевич, бегая глазами по комнате и совершенно размякнув, точно из него вынули все мускулы и кости.— Как поживаете?

Наташа молчала и смотрела на него.

— Я ничего, слава богу.

Наташа молчала. Андрей Николаевич хотел передать поклон супругу, к чему его обязывало чувство вежливости, но сейчас это было неудобно. Наташа, очевидно, нуждалась в утешении, и потому он сказал:

— Какой у вас хорошенький мальчик. Ваня, кажется? Иван Иванович, значит. У нас тоже есть чиновник, которого зовут Иван Иванович. И вообще,

знаете ли, милые ссорятся, только тешатся, а перемелется, все мука будет.

Наташа молчала, а мальчик, смотря с недоверием на неловкую фигуру чиновника, затянул ноющим голосом:

— Мамка-а, боюсь.

— Убирайтесь вон! — сказала Андрею Николаевичу Наташа и, когда он быстро прошмыгнул, подбирая полы халата, добавила вслед: — Тоже лезет, кикимора!

«Почему именно кикимора? — размышлял Андрей Николаевич, располагаясь спать и опуская огонь в лампе.— Этакое глупое слово, ничего не обозначает. И как непостоянны женщины: то милый, неоцененный, а то — кикимора! Да, с норовом баба, недаром учит ее Гусаренок. Спокойной ночи, маркиза Прю-Фрю».

Так развеселял он себя и иронически кривил бескровные губы. Но, лишь только мигнула в последний раз лампа и комната окунулась в густой мрак, невидимой силой раздвинуло стены, сорвало потолок и бросило Андрея Николаевича в чистое поле. Огненные, искрящиеся круги прорезывали темноту; светлые, веселые огоньки вспыхивали и плясали, и всюду, то далеко, то совсем надвигаясь на него, показывались и бледное лицо Гусаренка с красной полоской крови, и страшный диск месяца, и лицо Наташи, прежнее милое лицо. Жалость к себе и обида охватили Андрея Николаевича.

«Как нехорошо все это устроено,— стонал он.— Не нужно мне Наташи, ну ее к черту, эту Наташу! Так и знайте — к черту!»

Энергичным жестом Андрей Николаевич надвинул на голову толстую подушку и почти сразу успокоился. И образы и звуки исчезли, и стало тихо, как в могиле.

С улицы проникал слабый свет фонаря. Экипажи еще стояли, и сонные кучера с презрением смотрели с высоты своих козел на низкие покосившиеся домишки и лениво зевали, двигая бородами. Непривязанная ставня продолжала хлопать, и в минуты, когда переставало скрипеть дерево, неслись жалобные звуки и роптали, и плакали, и молили о жизни.

8 июня 1899 г.

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям: приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днем в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли и в воскресенье. Размещались они так: толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна со своим мрачным братом, Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствия игры для игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой,— существовал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле,— а в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того

провел в лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента, но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посылала в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку «от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он возмущался, что ему постоянно придется иметь дело с Яковом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнером совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в наваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой брильянтовый перстень. Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды случилось, что, как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

— Но почему же вы не играли большого шлема? — вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

— Я никогда не играю больше четырех,— сухо ответил старичок и наставительно заметил: — Никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно проигрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся отыграться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич рисковал, а старик

спокойно записывал проигрыш и назначал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнущий свежим воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ивановича, извинялся и говорил:

— Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго приготовлял мелок, а брат ее распоряжался насчет чаю.

— Да, вероятно,— погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался жиденький чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днем морозу было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати, а летом говорил:

— Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо — летом они играли на террасе — и, хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели, замечала:

— Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал

карты и, вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитриевич — легкомысленный и неисправимый человек. Одно время Масленников сильно обеспокоил своих партнеров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

— А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что несправедливый приговор, вероятно, будет отменен. Потом он стал приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все о том же Дрейфусе.

— Читали уже,— сухо говорил Яков Иванович, но партнер не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным и важным. Однажды он таким образом довел остальных до спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков Иванович и ее брат настаивали на том, что сперва необходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая на стол:

— Но не пора ли?

И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события, но больше смешного характера. На брата Евпраксии Васильевны временами как будто что-то находило, он не помнил, что говорили о своих картах партнеры, и при верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитриевич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша, а старичок улыбался и говорил:

— Играли бы четыре — и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою смотрела на молчаливого брата, а другие двое партнеров с рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощности ободряли ее снисходительными улыбками и терпеливо ожидали. В общем, однако, к игре относились серьезно и вдумчиво.

Карты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от них своего, а карты делали свое, как будто они имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Иванович не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитриевичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и, когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись три шестерки и хмуро улыбался пиковый король, которого они затащили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Евпраксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с прихотливым нравом карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась

спать, он думал о том, как он сыграет большой шлем в бескозырях, и это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садился играть, проклятые шестерки опять скалили свои широкие белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. И постоянно большой шлем в бескозырях стал самым сильным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Евпраксии Васильевны умер от старости большой белый кот и с разрешения домовладельца был похоронен в саду под липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать, так как винт втроем ломал все установившиеся привычки и казался скучным. Сами карты точно сознавали это и сочетались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич явился, розовые щеки, которые так резко отделялись от седых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше и ниже ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после этого он еще один раз не явился, и, как нарочно, в субботу, когда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой и что в субботу у него был сильный припадок болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них людей К Николаю Дмитриевичу они были по-прежнему равнодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как назначил, а маленький

шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

— Ну и везет вам сегодня,— мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идет такое же большое горе. Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут, и дай бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько двоек со смущенным видом — и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пересдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил неизменное решение — не играть больше четырех. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдет, что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся — у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черви от туза до десятки и бубновый туз с королем. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

— Два без козыря,— начал он, с трудом справляясь с голосом.

— Три пики,— ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у нее находились почти все пики, начиная от короля.

— Четыре черви,— сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгоряченная Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнес:

— Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крякнул:

— Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простыней, казался громадным и страшным. Одна нога, обращенная носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве сапога, черной и совершенно новой на выемке, прилипла бумажка от тянучки. Карточный стол еще не был убран, и на нем валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с ковра на натертый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторож-

но взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь еще несколько раз, Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, которые сыграл покойный, и кончая этим беспрерывным наплывом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И вот Николай Дмитриевич умер — умер, когда мог наконец сыграть большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

— Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь,— и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось и он не знает и никогда не узнает.

— Ни-ко-гда,— медленно, по слогам, произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним и со всеми. Он плакал — и играл за Николая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать, и что никогда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

— Вы здесь, Яков Иванович? — сказала вошедшая Евпраксия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и заплакала.— Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чувствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, холодный, тяжелый и немой.

— Вы послали сказать? — спросил Яков Иванович, громко и истово сморкаясь.

— Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его квартиру — ведь мы адреса не знаем.

— А разве он не на той же квартире, что в прошлом году? — рассеянно спросил Яков Иванович.

— Нет, переменил. Аннушка говорит, что он нанимал извозчика куда-то на Новинский бульвар.

— Найдут через полицию,— успокоил старичок.— У него ведь, кажется, есть жена?

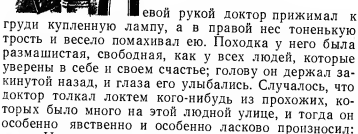
Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в ее глазах видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

— А где же мы возьмем теперь четвертого?

Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая соображениями хозяйственного характера. Помолчав, она спросила:

— А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?

1899 г.



СЛУЧАЙ

Левой рукой доктор прижимал к груди купленную лампу, а в правой нес тоненькую трость и весело помахивал ею. Походка у него была размашистая, свободная, как у всех людей, которые уверены в себе и своем счастье; голову он держал закинутой назад, и глаза его улыбались. Случалось, что доктор толкал локтем кого-нибудь из прохожих, которых было много на этой людной улице, и тогда он особенно явственно и особенно ласково произносил:

— Извините, пожалуйста!

Прохожий, которого толкнул доктор, часто не слыхал извинения или не обращал на него должного внимания, но самому доктору оно было очень приятно и всякий раз вызывало любимую мысль о том, как выгодно быть добрым, любезным и никого не обижать. Извиниться ничего не стоит, а есть люди, которые совершают невежливости и никогда не извиняются, и их никто не любит. И с приятным сознанием, что он добрый и поэтому его любят все: жена, знакомые и пациенты, доктор шагал еще легче и еще крепче прижимал к груди покупку, в которую также была заключена частица его доброты.

Лампа стоила недорого, всего двенадцать с полтиной, но жена давно уже мечтала о ней и теперь, сидя дома, и не подозревала, что мечта ее осуществлена. И попалась лампа хоть и дешевая, но очень хорошая: доктор мысленно сравнивал ее со всеми другими лампами, какие приходилось ему видеть у своих знакомых и у пациентов, и те лампы были хуже. В них не было ни изящества, ни той особенной симпатичности и привлекательности, какими отличалась эта, двенадцати-

рублевая. Очень красивая лампа имелась у Ивановых — на высоком хрустальном стержне, с роскошным абажуром,— но та стоила шестьдесят, а за такие деньги в деревне можно купить пару хороших лошадей, не только что лампу. Были две хорошие лампы у Потаниных...

— Ох! — воскликнул доктор от толчка и торопливо добавил: — Извините, пожалуйста!

Толчок был так силен, что доктор немного пошатнулся, но улыбка не сошла с его уст и даже тогда, когда он вполне разглядел толкнувшего: это была простая баба, невысокая, худая и страшно суетливая. Бежала она, словно на пожар, и Александр Павлович остановился посмотреть, как она разбрасывает на ходу прохожих.

— Ай да баба! — похвалил он ее вслух, но потом вспомнил, что баба могла выбить у него из рук лампу и разбить ее, и рассердился.

— Сумасшедшая! На людей бежит... Но, может быть, у нее кто-нибудь болен?

От последней мысли Александру Павловичу стало жаль бабу, и он снова развеселился, но сделался осторожнее и внимательнее и говорил уже не «извините, пожалуйста», а просто «извините».

«Довольно с них и этого»,— думал он.

Уже надвигались осенние ранние сумерки, и, как это всегда бывает в сумерках, ближайшие предметы виделись с большей отчетливостью, глаз легко различал всякую подробность и мелочь, но вдали все сливалось в черные и серые пятна. Дождя не было, не было и ветра, и сор в углублениях мостовой лежал неподвижно и тихо; возле самой панели валялась пустая коробка от папирос, ярко белея своими боками и вызывая странные мысли о том, кто был человек, выкуривший ее, и где он теперь. Кое-где в магазинах засветились огни, улица стала неприветливой и холодной, и в неумолкающем грохоте ее послышались нотки усталости и беспокойной жалобы.

Доктор крупно набавил шагу, молча толкая сам и молча принимая толчки. Лицо его стало серьезнее, но в голове у него проходили все те же радостные мысли: о жене и ребенке, о том времени, когда в кабинете у него будет камин и он будет сидеть и греться

у камина. Толково и основательно доктор перечислил все, что было приобретено для дома в последний год. Приобретено много. Заново обставлен весь кабинет: письменный стол, кушетка и книжный шкап. Куплена гостиная мебель, куплена она дешево, по случаю, но выглядит как новая и дорогая. Выписан, кроме того, журнал «Врач» и другой толстый журнал, так как Александр Павлович всегда интересовался литературой и признавал за ней значение воспитательное. Для жены сделано новое осеннее пальто с золотым галуном, а для ребенка нанята нянька. А вот теперь лампа — очень дешевая, но красивая лампа.

До дому оставалось уже недалеко, когда на противоположной стороне улицы сильнее закопошилось черное пятно прохожих и из него послышались неясные крики. Люди толкались, казалось, на одном месте, двигали беспорядочно руками и что-то кричали. За грохотом улицы слов разобрать было невозможно, но в повышенном тоне голосов звучало беспокойство и странная злоба — странная потому, что в ней чувствовалась радость. На улице все становятся любопытны, и доктор остановился, напряженно вглядываясь в колышащуюся и быстро нарастающую массу.

— Что бы это такое было? — догадывался он.

Внезапно черное пятно яростно завозилось, загрохотало громче, чем улица, и все разом быстро тронулось в одну сторону, расплываясь и выкидывая из себя отдельных бегущих людей. И ясно выделилась одна громкая и отчетливая фраза:

— Вор! Держите вора!

Впереди всех, не особенно быстро, как показалось Александру Павловичу, бежал невысокий человек, ловко и спокойно лавируя между встречных,— по-видимому, вор.

«Если он будет бежать все так же вдоль улицы, то его поймают. Ему бы свернуть сюда, в переулок»,— подумал доктор про длинный и глубокий переулок, открывавшийся в нескольких шагах от него. И, когда вор, точно услышав его мысль, свернул с панели и бросился через улицу, прямиком на доктора, он обрадовался — и тотчас же болезненно сморщил лицо. Поверх голосов преследующей толпы выделился и слов-

но пронзил воздух острый, высокий свист. Непрерывный, резкий, проходил он сквозь темную стаю звуков, как длинное сверкающее лезвие, и было страшно его слушать, и холодною, неумолимой жестокостью веяло от него. В самую глубину души проходил он, и хотелось бежать самому, махать руками, кричать, что-то делать безумное и злое. И еще свист, и еще; целый десяток ртов выпускал острые, змеящиеся стрелы, и жадно взывала разноголосая толпа:

— Держите вора!

Вытянув шею и быстро двигая головой, как ищущая собака, доктор прикованным взглядом следил за вором, то теряя его за экипажами, то вновь охватывая одним взглядом всего его, от быстро перебегающих ног до непокрытой головы, при каждом прыжке словно распухавшей от разметавшихся волос.

— Держите вора! — вопила толпа, и острый свист, еще более разросшийся, сверлил и терзал мозг. Преследуемый уже подбежал к доктору, и, хотя это была всего одна секунда, доктор успел с поразительной ясностью рассмотреть его лицо. Оно было молодое, с тоненькими светлыми усиками, и такое простое и обыкновенное в своем выражении, как будто человек этот вовсе не спасался от погони, а делал какое-то простое и неважное дело. Вместо бороды у вора были редкие желтенькие пушинки, и выглядывали они со своего места просто, смирно и даже немного скучно, напоминая о чем-то далеком от улицы с ее жестоким свистом и беспощадной травлей.

Нерешительно, как человек, который еще сам в точности не знает, как он намеревается поступить, Александр Павлович сделал полшага навстречу бегущему и слегка приподнял и растопырил руки, в одной из которых осталась завернутая в бумагу лампа. С разбегу вор ударился о его грудь, охнул всем нутром, вышиб из рук лампу и, отбросив в сторону самого доктора, побежал дальше. Но уже в следующую секунду в ворот его впилась железная рука.

— Стой, каналья! Не уйдешь! — проговорил сквозь зубы доктор и сильно встряхнул его. Вор попробовал рвануться, но тотчас понял бесполезность попытки: он был невысокий, тщедушный, почти юноша, а доктор высокий, сильный и, как показалось вору, свирепый.

И он сразу успокоился. Дышал он часто, коротенькими и неглубокими вздохами, и тихо попросил:

— Пустите!

— Как бы не так! — ответил доктор и сильнее закрутил ворот.

Лицо юноши краснело, ворот, видимо, душил его, и, шевельнув болезненно плечами, он хрипло сказал:

— Ведь больно же! Пустите!

Александр Павлович немного отпустил, и так молча стояли они и рассматривали друг друга с необыкновенным любопытством, прямым, спокойным и властным. Быть может, когда-нибудь они встречались в толпе и проходили мимо, не видя друг друга, но теперь один из них был пойманный вор, а другой — человек, который поймал его, и это крепко и странно соединило их. Доктору казалось, что первый раз в жизни видит он человеческую физиономию и впервые понимает, что такое глаза, нос и губы. И когда он понял, что такое глаза, нос и губы, они представились ему такими милыми, простыми и жалкими в своих потребностях видеть, дышать и целовать, что ему захотелось ласково погладить их рукой. И пушинки на подбородке желтели все так же мирно, по-домашнему, и при взгляде на них доктору сделалось бесконечно грустно и еще более жалко,— и в ту же минуту с загадочной и непередаваемой ясностью почувствовал он, как чужую, свою правую руку, которою держал вора. От плеча до стиснутых пальцев чувствовал он ее и мучился желанием снять, но она была как деревянная и с виду все так же спокойно лежала на шее человека с пушинками.

— Что же ты молчишь? — просительно сказал доктор.

Вор, не отрываясь взглядом, быстро ответил:

— А что же я буду говорить?

И опять они замолчали. И уже не только руку, но всего себя почувствовал доктор: почувствовал глаза, как они глядят, почувствовал платье, облекающее тело, и папиросы в левом кармане пальто. Как будто мозг его расплылся по всему телу, и всякая частица тела стала глазами и умом, и не нужно было глядеть и думать, чтобы от головы до ног увидеть себя и почувствовать. И не только себя, но и вора почувство-

вал он так же ясно и странно, словно оба они, и доктор и вор, были ему посторонние, и словно оба они были он. Не глядя, видел он вора с опущенными руками и себя с широко расставленными ногами и протянутой рукой, и эта поза была проста и дика до ужаса: человек держал другого человека.

— Послушай! — начал доктор, но кончить ему не удалось.

Грохочущей волной налетели преследователи, закружили и разъединили их, затопили криком, говором и торжествующим смехом, ослепили сверканием зубов и возбужденных глаз и шумным, болтливым потоком тронулись в участок. И тогда все стало опять просто и понятно, и доктор медленно стал припоминать лампу, извлекая представление о ней из какой-то глубокой дали, пока оно не сделалось ясным, живым, почти осязаемым.

«Разбилась! — с горем подумал Александр Павлович.— А я даже кусков не посмотрел».

Он обернулся назад и в последний раз взглянул в том направлении, где осталась разбитая лампа. И опять ему стало жаль вора, а потом лампу, и так поочередно он жалел то человека, то вещь. И пока он жалел одно, другое вызывало в нем злобу, и так дошел он до участка.

— Это вы его схватили? — спросил его околоточный надзиратель.

— Я,— ответил Александр Павлович и обернулся: все глаза глядели на него, и лица обидно улыбались. И поспешно, запинаясь, доктор оправдывался: — Сам не знаю, как это вышло. Он бежал, а я... Так это неприятно.

— Нет, почему же? Это даже очень приятно,— утешил его околоточный надзиратель.

И когда доктор вновь оглянулся на окружающих, все они были серьезны и смотрели на него ласково и поощрительно. Потом человека с пушинками заперли в грязную камеру вместе с другими ворами, пьяницами и проститутками, а доктора околоточный надзиратель вежливо проводил до дверей, благовоспитанно говоря:

— Очень приятно познакомиться с образованным человеком. Такая, знаете, грандиозная масса жуликов, что очень, очень приятно...

Хотя новая лампа была разбита, но в квартире Александра Павловича и без нее света было достаточно: в кабинете горела большая «министерская» лампа, приобретенная еще в то время, когда доктору впервые пришла мысль о диссертации; в столовой бросала яркий свет висячая лампа; были лампы и в гостиной и в двух других комнатах, и вся квартира выглядывала оттого веселой и приветливой. Особенно заметно становилось это, когда взгляд падал на полузадернутое окно: там была тьма и шумел начавшийся дождь.

— Так это неприятно,— говорил Александр Павлович, качая головой.

— И никак нельзя было бы починить ее? — отвечала жена его, Варвара Григорьевна.

Она тоже была огорчена: но старалась скрывать это от мужа: она очень любила его.

— Не в том дело. Зачем я схватил его!

— Не ты, так другой. Вот пустяки. Пойдем посидеть в гостиной.

Они очень любили свою гостиную и освещали ее даже в те вечера, когда никого не было посторонних. Вначале им больше нравился кабинет, но теперь с новой мебелью и цветами гостиная стала уютнее и приятнее.

— Вообрази, как хорошо было бы с новой лампой,— сказала Варвара Григорьевна.

Она сидела на диване, и голова ее лежала на плече мужа.

— Да, хорошо бы,— вообразил доктор и вздохнул.

— Мне бы только посмотреть, как бы это было. А там пусть бьется! — размышляла Варвара Григорьевна.

Александр Павлович засмеялся, поцеловал жену в щеку и спросил:

— Ты счастлива?

— А ты?

— И я. Знаешь, мне все этого жалко. Вора. Ужасно жалко!

— Ну вот! Ты уж очень добр. И потому ему, наверно, в тюрьме лучше. Ты слышишь, какой дождь. Брр... скверно. И Ивановы, должно быть, не придут.

Доктор ясно увидел тюрьму и человека с пушинками, как он там сидит. Темно, так как горит только маленькая, скверная лампочка; ползают клопы, и на двери висит большой железный замок. И, запертый, сидит человек с пушинками и о чем-нибудь думает, может быть, о человеке, который его схватил.

— Главное, зачем я его схватил? — раздумчиво говорит Александр Павлович.— Как это нелепо! Выйди я из магазина на пять минут раньше, и ничего бы этого не случилось.

— Никогда не нужно вмешиваться в эти уличные истории,— замечает жена поучительным тоном.— Когда я жила у тети, к нам тоже залез вор, и его судили... Ты замечаешь, Саша, как за последний год мы обставились?

— Я уже думал. И ведь совсем молодой парень, этот вор. И лицо истощенное!

— Нужно еще хороший книжный шкап,— продолжала Варвара Григорьевна.— Твой мал. Ты записываешь книги, которые у тебя берут?

— Ну, кто там берет?

— Нет, все-таки. А то и не заметишь, как ни одной книги не останется.

Оба задумались и, тепло прижавшись друг к другу, рассеянно обводили глазами светлую и красивую комнату. Варвара Григорьевна вспоминала о том, сколько книг было у ее тети и как все они распропали. Доктор старался припомнить вора с его особенными глазами, носом и ртом и не мог. Ясно представлялись многие лица, знакомые и совсем чужие, а этого лица, нужного для жалости, не появлялось, Тогда доктор попытался вообразить тюрьму с ее мраком и грязью и тоже не мог.

— А знаешь, чего я тебе купила закусить? — спросила Варвара Григорьевна, разглаживая рукой волосы мужа.

— Чего?

Доктору уже хотелось есть, и он начал угадывать, но не угадал.

— Омаров! — с гордостью воскликнула Варвара Григорьевна и пояснила: — Я думала, придут Ивановы, но тем лучше,— ты сам съешь.

И они несколько раз поцеловались. Потом они пили чай, и доктор ел омары, а после чаю они перешли в кабинет, и доктор читал жене вслух. Дождь ровно и еще слышно сквозь толстые стекла шумел за окном, ровно и успокоительно звучали фразы романа, и было так светло от большой «министерской» лампы.

— Довольно. Спать пора! — решительно сказала Варвара Григорьевна и захлопнула в руках доктора книгу.

Лениво поднявшись с дивана, она закинула руки за голову и потянулась, извиваясь всем телом и выставляя вперед грудь. Не давая опустить рук, Александр Павлович обнял ее и поцеловал в шею.

— А все-таки жалко...— сказал он.

— Ну, оставь. Купим новую.

Доктор говорил о человеке, но после слов жены подумал, что говорит о лампе. И, обнявшись, они пошли в спальню.

ГОРОД

Это был огромный город, в котором жили они: чиновник коммерческого банка Петров и тот, другой, без имени и фамилии.

Встречались они раз в год — на пасху, когда оба делали визит в один и тот же дом господ Василевских. Петров делал визиты и на рождество, но, вероятно, тот, другой, с которым он встречался, приезжал на рождество не в те часы, и они не видели друг друга. Первые два-три раза Петров не замечал его среди других гостей, но на четвертый год лицо его показалось ему уже знакомым, и они поздоровались с улыбкой,— а на пятый год Петров предложил ему чокнуться.

— За ваше здоровье! — сказал он приветливо и протянул рюмку.

— За ваше здоровье! — ответил, улыбаясь, тот и протянул свою рюмку.

Но имени его Петров не подумал узнать, а когда вышел на улицу, то совсем забыл о его существовании и весь год не вспоминал о нем. Каждый день он ходил в банк, где служил уже десять лет, зимой изредка бывал в театре, а летом ездил к знакомым на дачу, и два раза был болен инфлуэнцой — второй раз перед самой пасхой. И, уже всходя по лестнице к Василевским, во фраке и с складным цилиндром под мышкой, он вспомнил, что увидит там того, другого, и очень удивился, что совсем не может представить себе его лица и фигуры. Сам Петров был низенького роста, немного сутулый, так что многие принимали его за горбатого, и глаза у него были большие и черные с желтоватыми белками. В остальном он не отличался от

всех других, которые два раза в год бывали с визитом у господ Василевских, и когда они забывали его фамилию, то называли его просто «горбатенький».

Тот, другой, был уже там и собирался уезжать, но, увидев Петрова, улыбнулся приветливо и остался. Он тоже был во фраке и тоже с складным цилиндром, и больше ничего не успел рассмотреть Петров, так как занялся разговором, едой и чаем. Но выходили они вместе, помогали друг другу одеваться, как друзья; вежливо уступали дорогу и оба дали швейцару по полтиннику. На улице они немного остановились, и тот, другой, сказал:

— Дань! Ничего не поделаешь.

— Ничего не поделаешь,— ответил Петров,— дань!

И так как говорить было больше не о чем, они ласково улыбнулись, и Петров спросил:

— Вам куда?

— Мне налево. А вам?

— Мне направо.

На извозчике Петров вспомнил, что он опять не успел ни спросить об имени, ни рассмотреть его. Он обернулся: взад и вперед двигались экипажи,— тротуары чернели от идущего народа, и в этой сплошной движущейся массе того, другого, нельзя было найти, как нельзя найти песчинку среди других песчинок. И опять Петров забыл его и весь год не вспоминал.

Жил он много лет в одних и тех же меблированных комнатах, и там его очень не любили, так как он был угрюм и раздражителен, и тоже называли «горбачом». Он часто сидел у себя в номере один и неизвестно, что делал, потому что ни книжку, ни письмо коридорный Федот не считал за дело. По ночам Петров иногда выходил гулять, и швейцар Иван не понимал этих прогулок, так как возвращался Петров всегда трезвый и всегда один — без женщины.

А Петров ходил гулять ночью потому, что очень боялся города, в котором жил, и больше всего боялся его днем, когда улицы полны народа.

Город был громаден и многолюден, и было в этом многолюдии и громадности что-то упорное, непобеди-

мое и равнодушно-жестокое. Колоссальной тяжестью своих каменных раздутых домов он давил землю, на которой стоял, и улицы между домами были узкие, кривые и глубокие, как трещины в скале. И казалось, что все они охвачены паническим страхом и от центра стараются выбежать на открытое поле, но не могут найти дороги, и путаются, и клубятся, как змеи, и перерезают друг друга, и в безнадежном отчаянии устремляются назад. Можно было по целым часам ходить по этим улицам, изломанным, задохнувшимся, замершим в страшной судороге, и все не выйти из линии толстых каменных домов. Высокие и низкие, то краснеющие холодной и жидкой кровью свежего кирпича, то окрашенные темной и светлой краской, они с непоколебимой твердостью стояли по сторонам, равнодушно встречали и провожали, теснились густой толпой и впереди и сзади, теряли физиономию и делались похожи один на другой — и идущему человеку становилось страшно: будто он замер неподвижно на одном месте, а дома идут мимо него бесконечной и грозной вереницей.

Однажды Петров шел спокойно по улице — и вдруг почувствовал, какая толща каменных домов отделяет его от широкого, свободного поля, где легко дышит под солнцем свободная земля и далеко окрест видит человеческий глаз. И ему почудилось, что он задыхается и слепнет, и захотелось бежать, чтобы вырваться из каменных объятий,— и было страшно подумать, что, как бы скоро он ни бежал, его будут провожать по сторонам все дома, дома, и он успеет задохнуться, прежде чем выбежать за город. Петров спрятался в первый ресторан, какой попался ему по дороге, но и там ему долго еще казалось, что он задыхается, и он пил холодную воду и протирал платком глаза.

Но всего ужаснее было то, что во всех домах жили люди. Их было множество, и все они были незнакомые и чужие, и все они жили своей собственной, скрытой для глаз жизнью, непрерывно рождались и умирали,— и не было начала и конца этому потоку. Когда Петров шел на службу или гулять, он видел уже знакомые и приглядевшиеся дома, и все представлялось ему знакомым и простым; но стоило, хотя бы на

миг, остановить внимание на каком-нибудь лице — и все резко и грозно менялось. С чувством страха и бессилия Петров вглядывался во все лица и понимал, что видит их первый раз, что вчера он видел других людей, а завтра увидит третьих, и так всегда, каждый день, каждую минуту он видит новые и незнакомые лица. Вон толстый господин, на которого глядел Петров, скрылся за углом — и никогда больше Петров не увидит его. Никогда. И если захочет найти его, то может искать всю жизнь и не найдет.

И Петров боялся огромного, равнодушного города.

В этот год у Петрова опять была инфлуэнца, очень сильная, с осложнением, и очень часто являлся насморк. Кроме того, доктор нашел у него катар желудка, и когда наступила новая пасха и Петров поехал к господам Василевским, он думал дорогой о том, что он будет там есть. И, увидев того, другого, обрадовался и сообщил ему:

— А у меня, батенька, катар.

Тот, другой, с жалостью покачал головой и ответил:

— Скажите пожалуйста!

И опять Петров не знал, как его зовут, но начал считать его хорошим своим знакомым и с приятным чувством вспоминал о нем. «Тот»,— называл он его, но когда хотел вспомнить его лицо, то ему представлялись только фрак, белый жилет и улыбка, и так как лицо совсем не вспоминалось, то выходило, будто улыбаются фрак и жилет. Летом Петров очень часто ездил на одну дачу, носил красный галстук, фабрил усики и говорил Федоту, что с осени переедет на другую квартиру, а потом перестал ездить на дачу и на целый месяц запил. Пил он нелепо, со слезами и скандалами: раз выбил у себя в номере стекло, а другой раз напугал какую-то даму — вошел к ней вечером в номер, стал на колени и предложил быть его женой. Незнакомая дама была проститутка и сперва внимательно слушала его и даже смеялась, но, когда он заговорил о своем одиночестве и заплакал, приняла его за сумасшедшего и начала визжать от страха. Петрова вывели; он упирался, дергал Федота за волосы и кричал:

— Все мы люди! Все братья!

Его уже решили выселить, но он перестал пить, и снова по ночам швейцар ругался, отворяя и затворяя за ним дверь. К Новому году Петрову прибавили жалованья: 100 рублей в год, и он переселился в соседний номер, который был на пять рублей дороже и выходил окнами во двор. Петров думал, что здесь он не будет слышать грохота уличной езды и может хоть забывать о том, какое множество незнакомых и чужих людей окружает его и живет возле своей особенной жизнью.

И зимой было в номере тихо, но, когда наступила весна и с улиц скололи снег, опять начался грохот езды, и двойные стены не спасали от него. Днем, пока Петров был чем-нибудь занят, сам двигался и шумел, он не замечал грохота, хотя тот не прекращался ни на минуту; но приходила ночь, в доме все успокаивалось, и грохочущая улица властно врывалась в темную комнату и отнимала у нее покой и уединенность. Слышны были дребезжанье и разбитый стук отдельных экипажей; негромкий и жидкий стук зарождался где-то далеко, разрастался все ярче и громче и постепенно затихал, а на смену ему являлся новый, и так без перерыва. Иногда четко и в такт стучали одни подковы лошадей и не слышно было колес — это проезжала коляска на резиновых шинах, и часто стук отдельных экипажей сливался в мощный и страшный грохот, от которого начинали подергиваться слабой дрожью каменные стены и звякали склянки в шкапу. И все это были люди. Они сидели в пролетках и экипажах, ехали неизвестно откуда и куда, исчезали в неведомой глубине огромного города, и на смену им являлись новые, другие люди, и не было конца этому непрерывному и страшному в своей непрерывности движению. И каждый проехавший человек был отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особенной радостью и горем, — и каждый был как призрак, который являлся на миг и, неразгаданный, неузнанный, исчезал. И чем больше было людей, которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось одиночество каждого. И в эти черные, грохочущие ночи Петрову часто хотелось закричать от страха, забиться куда-нибудь в глубокий подвал и быть там совсем одному. Тогда можно думать только о тех, ко-

го знаешь, и не чувствовать себя таким беспредельно одиноким среди множества чужих людей.

На пасху того, другого, у Василевских не было, и Петров заметил это только к концу визита, когда начал прощаться и не встретил знакомой улыбки. И сердцу его стало беспокойно, и ему вдруг до боли захотелось увидеть того, другого, и что-то сказать ему о своем одиночестве и о своих ночах. Но он помнил очень мало о человеке, которого искал: только то, что он средних лет, кажется, блондин и всегда одет во фрак, и по этим признакам господа Василевские не могли догадаться, о ком идет речь.

— У нас на праздники бывает так много народу, что мы не всех знаем по фамилиям,— сказала Василевская.— Впрочем... не Семенов ли это?

И она по пальцам перечислила несколько фамилий: Смирнов, Антонов, Никифоров; потом без фамилий: лысый, который служит где-то, кажется, в почтамте; белокуренький; совсем седой. И все они были не тем, про которого спрашивал Петров, но могли быть и тем. Так его и не нашли.

В этот год в жизни Петрова ничего не произошло, и только глаза стали портиться, так что пришлось носить очки. По ночам, если была хорошая погода, он ходил гулять и выбирал для прогулки тихие и пустынные переулки. Но и там встречались люди, которых он раньше не видал, а потом никогда не увидит, а по бокам глухой стеной высились дома, и внутри их все было полно незнакомыми чужими людьми, которые спали, разговаривали, ссорились. Кто-нибудь умирал за этими стенами, а рядом с ним новый человек рождался на свет, чтобы затеряться на время в его движущейся бесконечности, а потом навсегда умереть. Чтобы утешить себя, Петров перечислял всех своих знакомых, и их близкие, изученные лица были как стена, которая отделяет его от бесконечности. Он старался припомнить всех знакомых швейцаров, лавочников и извозчиков, даже случайно запомнившихся прохожих, и вначале ему казалось, что он знает очень много людей, но когда начал считать, то выходило ужасно мало: за всю жизнь он узнал всего двести пятьдесят человек, включая сюда и того, другого. И это было все, что было близкого и знакомого ему в

мире. Быть может, существовали еще люди, которых он знал, но он их забыл, и это было все равно, как будто их нет совсем.

Тот, другой, очень обрадовался, когда увидел на пасху Петрова. На нем был новый фрак и новые сапоги со скрипом, и он сказал, пожимая Петрову руку:

— А я, знаете, чуть не умер. Схватил воспаление легких, и теперь тут,— он постучал себя в бок,— в верхушке не совсем, кажется, ладно.

— Да что вы? — искренно огорчился Петров.

Они разговорились о разных болезнях, и каждый говорил о своих, и когда расставались, то долго пожимали руки, но об имени спросить забыли. А на следующую пасху Петров не явился к Василевским, и тот, другой, очень беспокоился и расспрашивал г-жу Василевскую, кто такой горбатенький, который бывает у них.

— Как же, знаю,— сказала она.— Его фамилия Петров.

— А зовут как?

Госпожа Василевская хотела сказать, как зовут, но оказалось, что не знала, и очень удивилась этому. Не знала она и того, где Петров служит: не то в почтамте, не то в какой-то банкирской конторе.

Потом не явился тот, другой, а потом пришли оба, но в разные часы, и не встретились. А потом они перестали являться совсем, и господа Василевские никогда больше не видели их, но не думали об этом, так как у них бывает много народу и они не могут всех запомнить.

Огромный город стал еще больше, и там, где широко расстилалось поле, неудержимо протягиваются новые улицы, и по бокам их толстые, распертые каменные дома грузно давят землю, на которой стоят. И к семи бывшим в городе кладбищам прибавилось новое. На нем совсем нет зелени, и пока на нем хоронят только бедняков.

И когда наступает длинная осенняя ночь, на кладбище становится тихо, и только далекими отголосками приносится грохот уличной езды, которая не прекращается ни днем, ни ночью.

1902 г.

МЫСЛЬ

Одиннадцатого декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцсва в ненормальности его умственных способностей.

Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Држембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания; вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы.

ЛИСТ ПЕРВЫЙ

До сих пор, гг. эксперты, я скрывал истину, но теперь обстоятельства вынуждают меня открыть ее. И, узнав ее, вы поймете, что дело вовсе не так просто, как это может показаться профанам: или горячечная рубашка, или кандалы. Тут есть третье — не кандалы и не рубашка, а, пожалуй, более страшное, чем то и другое, вместе взятое.

Убитый мною Алексей Константинович Савелов был моим товарищем по гимназии и университету, хотя по специальностям мы разошлись: я, как вам известно, врач, а он окончил курс по юридическому фа-

культету. Нельзя сказать, чтобы я не любил покойного; он всегда был мне симпатичен, и более близких друзей, чем он, я никогда не имел. Но при всех симпатичных свойствах, он не принадлежал к тем людям, которые могут внушить мне уважение. Удивительная мягкость и податливость его натуры, странное непостоянство в области мысли и чувства, резкая крайность и необоснованность его постоянно менявшихся суждений заставляли меня смотреть на него, как на ребенка или женщину. Близкие ему люди, нередко страдавшие от его выходок и вместе с тем, по нелогичности человеческой натуры, очень его любившие, старались найти оправдание его недостаткам и своему чувству и называли его «художником». И действительно, выходило так, будто это ничтожное слово совсем оправдывает его и то, что для всякого нормального человека было бы дурным, делает безразличным и даже хорошим. Такова была сила придуманного слова, что даже я одно время поддался общему настроению и охотно извинял Алексею его мелкие недостатки. Мелкие — потому, что к большим, как ко всему крупному, он был неспособен. Об этом достаточно свидетельствуют и его литературные произведения, в которых все мелко и ничтожно, что бы ни говорила близорукая критика, падкая на открытие новых талантов. Красивы и ничтожны были его произведения, красив и ничтожен был он сам.

Когда Алексей умер, ему было тридцать один год,— на один с немногим год моложе меня.

Алексей был женат. Если вы видели его жену, теперь, после его смерти, когда на ней траур, вы не можете составить представления о том, какой красивой была она когда-то: так сильно, сильно она подурнела. Щёки серые, и кожа на лице такая дряблая, старая-старая, как поношенная перчатка. И морщинки. Это сейчас морщинки, а еще год пройдет — и это будут глубокие борозды и канавы: ведь она так его любила! И глаза ее теперь уже не сверкают и не смеются, а прежде они всегда смеялись, даже в то время, когда им нужно было плакать. Всего одну минуту видел я ее, случайно столкнувшись с нею у следователя, и был поражен переменой. Даже гневно взглянуть на меня она не могла. Такая жалкая!

Только трое — Алексей, я и Татьяна Николаевна — знали, что пять лет тому назад, за два года до женитьбы Алексея, я делал Татьяне Николаевне предложение, и оно было отвергнуто. Конечно, это только предполагается, что трое, а, наверное, у Татьяны Николаевны есть еще десяток подруг и друзей, подробно осведомленных о том, как однажды доктор Керженцев возмечтал о браке и получил унизительный отказ. Не знаю, помнит ли она, что она тогда засмеялась; вероятно, не помнит,— ей так часто приходилось смеяться. И тогда напомните ей: *пятого сентября она засмеялась.* Если она будет отказываться,— а она будет отказываться,— то напомните, как это было. Я, этот сильный человек, который никогда не плакал, который никогда ничего не боялся,— я стоял перед нею и дрожал. Я дрожал и видел, как кусает она губы, и уже протянул руку, чтобы обнять ее, когда она подняла глаза, и в них был смех. Рука моя осталась в воздухе, она засмеялась, и долго смеялась. Столько, сколько ей хотелось. Но потом она все-таки извинилась.

— Извините, пожалуйста,— сказала она, а глаза ее смеялись.

И я тоже улыбнулся, и если бы я мог простить ей ее смех, то никогда не прощу этой своей улыбки. Это было пятого сентября, в шесть часов вечера, по петербургскому времени. По петербургскому, добавляю я, потому, что мы находились тогда на вокзальной платформе, и я сейчас ясно вижу большой белый циферблат и такое положение черных стрелок: вверх и вниз. Алексей Константинович был убит также ровно в шесть часов. Совпадение странное, но могущее открыть многое догадливому человеку.

Одним из оснований к тому, чтобы посадить меня сюда, было отсутствие мотива к преступлению. Теперь вы видите, что мотив существовал? Конечно, это не было ревностью. Последняя предполагает в человеке пылкий темперамент и слабость мыслительных способностей, то есть нечто прямо противоположное мне, человеку холодному и рассудочному. Месть? Да, скорее месть, если уж так необходимо старое слово для определения нового и незнакомого чувства. Дело в том, что Татьяна Николаевна еще раз заставила ме-

ня ошибиться, и это всегда злило меня. Хорошо зная Алексея, я был уверен, что в браке с ним Татьяна Николаевна будет очень несчастна и пожалеет обо мне, и поэтому я так настаивал, чтобы Алексей, тогда еще просто влюбленный, женился на ней. Еще только за месяц до своей трагической смерти он говорил мне:

— Это тебе я обязан своим счастьем. Правда, Таня?

А она смотрела на меня, говорила: «правда», и глаза ее улыбались. Я тоже улыбался. И потом мы все рассмеялись, когда он обнял Татьяну Николаевну — при мне они не стеснялись — и добавил:

—Да, брат, дал ты маху!

Эта неуместная и нетактичная шутка сократила его жизнь на целую неделю: первоначально я решил убить его восемнадцатого декабря.

Да, брак их оказался счастливым, и счастлива была именно она. Он любил Татьяну Николаевну не сильно, да и вообще он не был способен к глубокой любви. Было у него свое любимое дело — литература,— выводившее его интересы за пределы спальни. А она любила только его и только им одним жила. Потом он был нездоровый человек: частые головные боли, бессонница, и это, конечно, мучило его. А ей даже ухаживать за ним, больным, и выполнять его капризы было счастьем. Ведь когда женщина полюбит, она становится невменяемой.

И вот изо дня в день я видел ее улыбающееся лицо, ее счастливое лицо, молодое, красивое, беззаботное. И думал: это устроил я. Хотел дать ей беспутного мужа и лишить ее себя, а вместо того и мужа дал такого, которого она любит, и сам остался при ней. Вы поймете эту странность: она умнее своего мужа и беседовать любила со мной, а побеседовав,— спать шла с ним и была счастлива.

Я не помню, когда впервые пришла мне мысль убить Алексея. Как-то незаметно она явилась, но уже с первой минуты стала такой старой, как будто я с нею родился. Я знаю, что мне хотелось сделать Татьяну Николаевну несчастной, и что сперва я придумывал много других планов, менее гибельных для Алексея,— я всегда был врагом ненужной жестокости.

Пользуясь своим влиянием на Алексея, я думал влюбить его в другую женщину или сделать его пьяницей (у него была к этому наклонность), но все эти способы не годились. Дело в том, что Татьяна Николаевна ухитрилась бы остаться счастливой, даже отдавая его другой женщине, слушая его пьяную болтовню или принимая его пьяные ласки. Ей нужно было, чтобы этот человек жил, а она так или иначе служила ему. Бывают такие рабские натуры. И, как рабы, они не могут понять и оценить чужой силы, не силы их господина. Были на свете женщины умные, хорошие и талантливые, но справедливой женщины мир еще не видал и не увидит.

Признаюсь искренно, не для того чтобы добиться ненужного мне снисхождения, а чтобы показать, каким правильным, нормальным путем создавалось мое решение, что мне довольно долго пришлось бороться с жалостью к человеку, которого я осудил на смерть. Жаль его было за предсмертный ужас и те секунды страдания, пока будет проламываться его череп. Жаль было — не знаю, поймете ли вы это — самого черепа. В стройно работающем живом организме есть особенная красота, и смерть, как и болезнь, как и старость, прежде всего — безобразие. Помню, как давно еще, когда я только что кончил университет, мне попалась в руки красивая молодая собака с стройными сильными членами, и мне стоило большого усилия над собой содрать с нее кожу, как требовал того опыт. И долго потом было неприятно вспоминать ее.

И если б Алексей не был таким болезненным, хилым, не знаю, быть может, я и не убил бы его. Но красивую его голову мне и до сих пор жаль. Передайте, пожалуйста, Татьяне Николаевне и это. Красивая, красивая была голова. Плохи у него были одни глаза — бледные, без огня и энергии.

Не убил бы я Алексея и в том случае, если бы критика была права и он действительно был бы таким крупным литературным дарованием. В жизни так много темного, и она так нуждается в освещающих ее путь талантах, что каждый из них нужно беречь, как драгоценнейший алмаз, как то, что оправдывает в человечестве существование тысяч негодяев и пошляков. *Но Алексей не был талантом.*

Здесь ие место для критической статьи, ио вчитайтесь в наиболее нашумевшие произведения покойного, и вы увидите, что они не были нужны для жизни. Они нужны были и интересны для сотни ожиревших людей, нуждающихся в развлечении, но не для жизни, но не для нас, пытающихся разгадать ее. В то время как писатель силою своей мысли и таланта должен творить новую жизнь, Савелов только описывал старую, не пытаясь даже разгадать ее сокровенный смысл. Единственный его рассказ, который мне нравится, в котором он близко подходит к области неразведанного, это рассказ «Тайна», но он — исключение. Самое, однако, дурное было то, что Алексей, видимо, начал исписываться и от счастливой жизни растерял последние зубы, которыми нужно впиваться в жизнь и грызть ее. Он сам нередко говорил мне о своих сомнениях, и я видел, что они основательны; я точно и подробно выпытал планы его будущих работ,— и пусть утешатся горюющие поклонники: в них не было ничего нового и крупного. Из близких Алексею людей одна жена не видела упадка его таланта и никогда не увидела бы. И знаете, почему? Она не всегда читала произведения своего мужа. Но, когда я попробовал как-то немного раскрыть ей глаза, она попросту сочла меня за негодяя. И, убедившись, что мы одни, сказала:

— Вы не можете ему простить другого.

— Чего?

— Того, что он мой муж и я люблю его. Если бы Алексей не чувствовал к вам такого пристрастия...

Она запнулась, и я предупредительно закончил ее мысль:

— Вы меня выгнали бы?

В ее глазах блеснул смех. И, невинно улыбаясь, она медленно проговорила:

— Нет. Оставила бы.

А я никогда ведь ни одним словом и жестом не показал, что продолжаю любить ее. Но тут подумал: тем лучше, если она догадывается.

Самый факт отнятия жизни у человека не останавливал меня. Я знал, что это преступление, строго караемое законом, но ведь почти все, что мы делаем, преступление, и только слепой не видит этого. Для

тех, кто верит в бога,— преступление перед богом; для других — преступление перед людьми; для таких, как я,— преступление перед самим собой. Было бы бо́льшим преступлением, если бы, признав необходимым убить Алексея, я не выполнил этого решения. А то, что люди делят преступления на большие и маленькие и убийство называют большим преступлением, мне и всегда казалось обычной и жалкой людской ложью перед самим собой, старанием спрятаться от ответа за собственной спиной.

Не боялся я и самого себя, и это было важнее всего. Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест всего тела, воспитанного в известных традициях. Вспомните Раскольникова, этого так жалко и так нелепо погибшего человека, и тьму ему подобных. И я очень долго, очень внимательно останавливался на этом вопросе, представляя себя, каким я буду после убийства. Не скажу, чтобы я пришел к полной уверенности в своем спокойствии,— подобной уверенности не могло создаться у мыслящего человека, предвидящего все случайности. Но, собрав тщательно все данные из своего прошлого, приняв в расчет силу моей воли, крепость неистощенной нервной системы, глубокое и искреннее презрение к ходячей морали, я мог питать относительную уверенность в благополучном исходе предприятия. Здесь не лишнее будет рассказать вам один интересный факт из моей жизни.

Когда-то, еще будучи студентом пятого семестра, я украл пятнадцать рублей из доверенных мне товарищеских денег, сказал, что кассир ошибся в счете, и все мне поверили. Это было больше чем простая кража, когда нуждающийся крадет у богатого: тут и нарушенное доверие, и отнятие денег именно у голодного, да еще товарища, да еще студента, и притом человеком со средствами (почему мне и поверили). Вам, вероятно, этот поступок кажется более противным, чем даже совершенное мною убийство друга,— не так ли? А мне, помню, было весело, что я сумел это сделать так хорошо и ловко, и я смотрел в глаза, прямо в глаза тем, кому смело и свободно лгал. Глаза у меня черные, красивые, прямые,— и им верили. Но более всего я был горд тем, что совершенно не испыты-

ваю угрызений совести, что мне и нужно было самому себе доказать. И до настоящего дня я с особенным удовольствием вспоминаю menu ненужно-роскошного обеда, который я задал себе на украденные деньги и с аппетитом съел.

И разве теперь я испытываю угрызения совести? Раскаяние в содеянном? Ничуть.

Мне тяжело. Мне безумно тяжело, как ни одному в мире человеку, и волосы мои седеют,— но это другое. *Другое.* Страшное, неожиданное, невероятное в своей ужасной простоте.

ЛИСТ ВТОРОЙ

Моя задача была такова. Нужно, чтобы я убил Алексея; нужно, чтобы Татьяна Николаевна видела, что это именно я убил ее мужа, и чтобы вместе с тем законная кара не коснулась меня. Не говоря уже о том, что наказание дало бы Татьяне Николаевне лишний повод посмеяться, я вообще совершенно не хотел каторги. Я очень люблю жизнь.

Я люблю, когда в тонком стакане играет золотистое вино; я люблю, усталый, протянуться в чистой постели; мне нравится весной дышать чистым воздухом, видеть красивый закат, читать интересные и умные книги. Я люблю себя, силу своих мышц, силу своей мысли, ясной и точной. Я люблю то, что я одинок и ни один любопытный взгляд не проник в глубину моей души с ее темными провалами и безднами, на краю которых кружится голова. Никогда я не понимал и не знал, что люди называют скукою жизни. Жизнь интересна, и я люблю ее за ту великую тайну, что в ней заключена, я люблю ее даже за ее жестокости, за свирепую мстительность и сатанински веселую игру людьми и событиями.

Я был единственный человек, которого я уважал,— как же мог я рисковать отправить этого человека в каторгу, где его лишат возможности вести необходимое ему разнообразное, полное и глубокое существование!.. Да и с вашей точки зрения я был прав, желая уклониться от каторги. Я очень удачно врачую; не нуждаясь в средствах, я лечу много бедняков. Я полезен. Наверное, полезнее, чем убитый Савелов.

И безнаказанности можно было добиться легко. Существуют тысячи способов незаметно убить человека, и мне, как врачу, было особенно легко прибегнуть к одному из них. И среди придуманных мною и отброшенных планов долгое время занимал меня такой: привить Алексею неизлечимую и отвратительную болезнь. Но неудобства этого плана были очевидны: длительные страдания для самого объекта, нечто некрасивое во всем этом, глубокое и как-то слишком уж... неумное; и наконец, и в болезни мужа Татьяна Николаевна нашла бы для себя радость. Особенно осложнялась моя задача обязательным требованием, чтобы Татьяна Николаевна знала руку, поразившую ее мужа. Но только трусы боятся препятствий; таких, как я, они привлекают.

Случайность, этот великий союзник умных, пришла мне на помощь. И я позволю себе обратить особенное внимание, гг. эксперты, на эту подробность: *именно* случайность, то есть нечто внешнее, не зависящее от меня, послужило основой и поводом для дальнейшего. В одной газете я нашел заметку про кассира, не то приказчика (вырезка из газеты, вероятно, осталась у меня дома или находится у следователя), который симулировал припадок падучей и якобы во время него потерял деньги, а в действительности, конечно, украл. Приказчик оказался трусом и сознался, указав даже место украденных денег, но самая мысль была недурна и осуществима. Симулировать сумасшествие, убить Алексея в состоянии якобы умоисступления и потом «выздороветь» — вот план, создавшийся у меня в одну минуту, но потребовавший много времени и труда, чтобы принять вполне определенную конкретную форму. С психиатрией я в то время был знаком поверхностно, как всякий врач-неспециалист, и около года ушло у меня на чтение всякого рода источников и размышление. К концу этого времени я убедился, что план мой вполне осуществим.

Первое, на что должны будут устремить внимание эксперты, это наследственные влияния, — и моя наследственность, к великой моей радости, оказалась вполне подходящей. Отец был алкоголиком; один дядя, его брат, кончил свою жизнь в больнице для умалишенных и, наконец, единственная сестра моя, Анна,

уже умершая, страдала эпилепсией. Правда, что со стороны матери у нас в роду все были здоровяки, но ведь достаточно одной капли яда безумия, чтобы отравить целый ряд поколений. По своему мощному здоровью я пошел в род матери, но кое-какие безобидные странности у меня существовали и могли сослужить мне службу. Моя относительная нелюдимость, которая есть просто признак здорового ума, предпочитающего проводить время наедине с самим собою и книгами, чем тратить его на праздную и пустую болтовню, могла сойти за болезненную мизантропию; холодность темперамента, не ищущего грубых чувственных наслаждений,— за выражение дегенерации. Самое упорство в достижении раз поставленных целей — а примеров ему можно найти немало в моей богатой жизни — на языке господ экспертов получило бы страшное название мономании, господства навязчивых идей.

Почва для симуляции была, таким образом, необыкновенно благоприятна: статика безумия была налицо, дело оставалось за динамикой. По ненамеренной подмалевке природы нужно было провести два-три удачных штриха, и картина сумасшествия готова. И я очень ясно представил себе, как это будет, не программными мыслями, а живыми образами: хоть я и не пишу плохих рассказов, но я далеко не лишен художественного чутья и фантазии.

Я увидел, что провести свою роль я буду в состоянии. Наклонность к притворству всегда лежала в моем характере и была одною из форм, в которых стремился я к внутренней свободе. Еще в гимназии я часто симулировал дружбу: ходил по коридору обнявшись, как это делают настоящие друзья, искусно подделывал дружески-откровенную речь и незаметно выпытывал. А когда разнеженный приятель выкладывал всего себя, я отбрасывал от себя его душонку и уходил прочь с гордым сознанием своей силы и внутренней свободы. Тем же двойственником оставался я и дома, среди родных; как в староверческом доме существует особая посуда для чужих, так и у меня было все особое для людей: особая улыбка, особые разговоры и откровенность. Я видел, что люди делают много глупого, вредного для себя и ненужного, и мне

казалось, что если я стану говорить правду о себе, то я стану, как и все, и это глупое и ненужное овладеет мною.

Мне всегда нравилось быть почтительным с теми, кого я презирал, и целовать людей, которых я ненавидел, что делало меня свободным и господином над другими. Зато никогда не знал я лжи перед самим собою — этой наиболее распространенной и самой низкой формы порабощения человека жизнью. И чем больше я лгал людям, тем беспощадно-правдивее становился перед самим собой — достоинство, которым немногие могут похвалиться.

Вообще, мне думается, во мне скрывался недюжинный актер, способный сочетать естественность игры, доходившую временами до полного слияния с олицетворяемым лицом, с неослабевающим холодным контролем разума. Даже при обыкновенном книжном чтении я целиком входил в психику изображаемого лица и — поверите ли? — уже взрослый, горькими слезами плакал над «Хижиной дяди Тома». Какое это дивное свойство гибкого, изощренного культурою ума перевоплощаться! Живешь словно тысячью жизней, то опускаешься в адскую тьму, то поднимаешься на горние светлые высоты, одним взором окидываешь бесконечный мир. Если человеку суждено стать богом, то престолом его будет книга...

Да. Это так. Кстати, я хочу вам пожаловаться на здешние порядки. То меня укладывают спать, когда мне хочется писать, *когда мне нужно писать*. То не закрывают дверей, и я должен слушать, как орет какой-то сумасшедший. Орет, орет,— это прямо нестерпимо. Так действительно можно свести человека с ума и сказать, что он и раньше был сумасшедшим. И неужели у них нет лишней свечки и я должен портить себе глаза электричеством?

Ну вот. И когда-то я подумывал даже о сцене, но бросил эту глупую мысль: притворство, когда все знают, что это притворство, уже теряет свою цену. Да и дешевые лавры присяжного лицедея на казенном жалованье мало привлекали меня. О степени моего искусства можете судить по тому, что многие ослы и до сих пор считают меня искреннейшим и правдивейшим человеком. И что странно: мне всегда удавалось

проводить не ослов,— это я так сказал, сгоряча,— а именно умных людей; и наоборот, существуют две категории существ низшего порядка, у которых я никогда не мог добиться доверия: это — женщины и собаки.

Вы знаете, что достопочтенная Татьяна Николаевна никогда не верила моей любви и не верит, я думаю, даже теперь, когда я убил ее мужа? По ее логике выходит так: я ее не любил, а Алексея убил за то, что она его любит. И эта бессмыслица, наверное, кажется ей осмысленной и убедительной. И ведь умная женщина!

Провести роль сумасшедшего мне казалось не очень трудным. Часть необходимых указаний дали мне книги; часть я должен был, как всякий настоящий актер во всякой роли, восполнить собственным творчеством, а остальное воссоздаст сама публика, давно изощрившая свои чувства книгами и театром, где по двум-трем неясным контурам ее приучили воссоздавать живые лица. Конечно, неминуемо должны были остаться некоторые пробелы — и это было особенно опасно ввиду строгой научной экспертизы, которой меня подвергнут, но и здесь серьезной опасности не предвиделось. Обширная область психопатологии настолько еще мало разработана, в ней так еще много темного и случайного, так велик простор для фантазерства и субъективизма, что я смело вручал свою судьбу в ваши руки, гг. эксперты. Надеюсь, что я не обидел вас. Я не покушаюсь на ваш научный авторитет и уверен, что вы согласитесь со мною, как люди, привыкшие к добросовестному научному мышлению.

...Наконец-таки перестал орать. Это просто нестерпимо.

И еще в то время, когда мой план находился только в проекте, у меня явилась мысль, которая едва ли могла прийти в безумную голову. *Это мысль о грозной опасности моего опыта.* Вы понимаете, о чем я говорю? Сумасшествие — это такой огонь, с которым шутить опасно. Разведя костер в середине порохового погреба, вы можете чувствовать себя в большей безопасности, нежели тогда, если хоть малейшая мысль о безумии закрадется в вашу голову. И я это знал, знал, знал,— но разве опасность значит что-нибудь для храброго человека?

И разве я не чувствовал своей мысли, твердой, светлой, точно выкованной из стали и безусловно мне послушной? Словно остро отточенная рапира, она извивалась, жалила, кусала, разделяла ткани событий; точно змея, бесшумно вползала в неизведанные и мрачные глубины, что навеки сокрыты от дневного света, а рукоять ее была в моей руке, железной руке искусного и опытного фехтовальщика. Как она была послушна, исполнительна и быстра, моя мысль, и как я любил ее, мою рабу, мою грозную силу, мое единственное сокровище!

...Он опять орет, и я не могу больше писать. Как ужасно, когда человек воет. Я слышал много страшных звуков, но этот всех страшнее, всех ужаснее. Он не похож ни на что другое, этот голос зверя, проходящий через гортань человека. Что-то свирепое и трусливое; свободное и жалкое до подлости. Рот кривится на сторону, мышцы лица напрягаются, как веревки, зубы по-собачьи оскаливаются, и из темного отверстия рта идет этот отвратительный, ревущий, свистящий, хохочущий, воющий звук...

Да. Да. Такова была моя мысль. Кстати, вы обратите, конечно, внимание на мой почерк, и я прошу вас не придавать значения тому, что он иногда дрожит и как будто меняется. Я давно уже не писал, события последнего времени и бессонница сильно ослабили меня, и вот рука иногда вздрагивает. *Это и раньше случалось со мной.*

ЛИСТ ТРЕТИЙ

Теперь вы понимаете, что это за страшный припадок случился со мною на вечере у Каргановых. Это был мой первый опыт, удавшийся даже сверх ожиданий. Точно уже все заранее знали, что так это со мной и будет, точно внезапное сумасшествие вполне здорового человека в их глазах кажется чем-то естественным, таким, чего можно всегда ожидать. Никто не удивился, и все наперебой расцвечивали мою игру игрой собственной фантазии,— у редкого гастролера подбирается такая прекрасная труппа, как эти наивные, глупые и доверчивые люди. Рассказывали они вам, как я был бледен и страшен? Как

холодный,— да, именно холодный пот покрывал мое чело? Каким безумным огнем горели мои черные глаза? Когда они передавали мне все эти свои наблюдения, я был с виду мрачен и подавлен, а вся душа моя трепетала от гордости, счастья и насмешки.

Татьяны Николаевны и ее мужа на вечере не было,— не знаю, обратили ли вы на это внимание. И это не было случайностью: я боялся запугать ее, или, еще хуже, внушить ей подозрение. Если существовал человек, который мог проникнуть в мою игру, так это только она.

И вообще тут ничего не было случайного. Наоборот, каждая мелочь, самая ничтожная, была строго продумана. Момент припадка — за ужином — я выбрал потому, что все будут в сборе и будут несколько возбуждены вином. Сел я у края стола, подальше от канделябров со свечами, так как вовсе не хотел устроить пожара или обжечь себе нос. Рядом с собою я посадил Павла Петровича Поспелова, эту жирную свинью, которой мне давно хотелось сделать какую-нибудь неприятность. Особенно противен он, когда ест. Когда первый раз я увидел его за этим занятием, мне пришло в голову, что еда есть дело безнравственное. Тут все это приходилось кстати. И, наверное, ни одна душа не заметила, что тарелка, разлетевшаяся под моим кулаком, была сверху покрыта салфеткой, чтобы не порезать руки.

Самый фокус был поразительно груб, даже глуп, но на это именно я и рассчитывал. Более тонкой штуки они не поняли бы. Сперва я размахивал руками и «возбужденно» разговаривал с Павлом Петровичем, пока тот не начал в удивлении таращить свои глазенки; потом я впал в «сосредоточенную задумчивость», дождавшись вопроса со стороны обязательной Ирины Павловны:

— Что с вами, Антон Игнатьевич? Отчего вы такой мрачный?

И, когда все взоры обратились на меня, я трагически улыбнулся.

— Вы нездоровы?

— Да. Немного. Кружится голова. Но не беспокойтесь, пожалуйста. Это сейчас пройдет.

Хозяйка успокоилась, а Павел Петрович подозрительно, с неодобрением покосился на меня. И в следующую минуту, когда он с блаженным видом поднес к губам рюмку портвейна, я — раз! — выбил рюмку из-под самого его носа, два! — трахнул кулаком по тарелке. Осколки летят, Павел Петрович барахтается и хрюкает, барыни визжат, а я, оскалив зубы, тащу со стола скатерть со всем, что на ней есть,— это была преуморительная картина!

Да. Ну вот меня обступили, схватили: кто воды несет, кто усаживает меня в кресло, а я рычу, как тигр в Зоологическом, и глазами выделываю. И все это было так нелепо, и все они были так глупы, что мне, ей-богу, не на шутку захотелось разбить несколько этих морд, пользуясь привилегированностью моего положения. Но я, конечно, воздержался.

Дальше картина медленного успокоения, с бурным вздыманием груди, закатыванием глаз, поскрипыванием зубами и слабыми вопросами:

— Где я? Что со мною?

Даже это нелепо французское: «где я?» — имело успех у этих господ, и не меньше трех дураков немедленно отрапортовали:

— У Каргановых. (Сладким голосом.) Вы знаете, дорогой доктор, кто такая Ирина Павловна Карганова?

Положительно они были слишком мелки для хорошей игры!

Через день,— я дал время дойти слухам до Савеловых,— разговор с Татьяной Николаевной и Алексеем. Последний как-то не осмыслил происшедшего и ограничился вопросом:

— Что это ты, брат, натворил у Каргановых?

Повертел своим пиджачком и ушел в кабинет заниматься. Этак, сойди я действительно с ума, он и не поперхнулся бы. Зато особенно многоречиво, бурно и, конечно, неискренно было сочувствие его супруги. И тут... не то чтобы мне стало жаль начатого, а просто явился вопрос: да стоит ли?

— Вы сильно любите мужа? — сказал я Татьяне Николаевне, провожавшей взором Алексея.

Она быстро обернулась.

— Да. А что?

— Да ничего, так,— и после минутного молчания, осторожного, полного невысказанных мыслей, я добавил: — почему вы не доверяете мне?

Она быстро и прямо посмотрела мне в глаза, но не ответила. И в эту минуту я забыл, что когда-то давно она засмеялась, и не было у меня зла на нее, и то, что я делаю, показалось мне ненужным и странным. Это была усталость, естественная после сильного подъема нервов, и длилась она всего одно мгновение.

— А разве вам можно верить? — спросила Татьяна Николаевна после долгого молчания.

— Конечно, нельзя,— шутливо ответил я, а внутри меня уже снова разгорался потухший огонь.

Силу, смелость, ни перед чем не останавливающуюся решимость ощутил я в себе. Гордый уже достигнутым успехом, я смело решил идти до конца. Борьба — вот радость жизни.

Второй припадок случился через месяц после первого. Здесь не все было так продумано, да это и излишне при существовании общего плана. У меня не было намерения устраивать его именно в этот вечер, но, раз обстоятельства складывались так благоприятно, глупо было бы не воспользоваться ими. И я ясно помню, как все это произошло. Мы сидели в гостиной и болтали, когда мне стало очень грустно. Мне живо представилось — вообще это редко бывает,— как я чужд всем этим людям и одинок в мире, я, навеки заключенный в эту голову, в эту тюрьму. И тогда все они стали противны мне. И с яростью я ударил кулаком и закричал что-то грубое и с радостью увидел испуг на их побледневших лицах.

— Негодяи! — кричал я.— Поганые, довольные негодяи! Лжецы, лицемеры, ехидны. Ненавижу вас!

И правда, что я боролся с ними, потом с лакеями и кучерами. Но ведь я знал, что борюсь, и знал, что это нарочно. Просто мне было приятно бить их, сказать прямо в глаза правду о том, какие они. Разве всякий, кто говорит правду, сумасшедший? Уверяю вас, гг. эксперты, что я все сознавал, что, ударяя, я чувствовал под рукою живое тело, которому больно. А дома, оставшись один, я смеялся и думал, какой я удивительный, прекрасный актер. Потом я лег спать и на ночь читал книжку; даже могу вам сказать,

какую: Гюи де Мопассана; как всегда, наслаждался ею и заснул, как младенец. А разве сумасшедшие читают книги и наслаждаются ими? Разве они спят, как младенцы?

Сумасшедшие не спят. Они страдают, и в голове у них все мутится. Да. Мутится и падает... И им хочется выть, царапать себя руками. Им хочется стать вот так, на четвереньки, и ползти тихо-тихо, и потом разом вскочить и закричать:

— Ага!

И засмеяться. И выть. Так поднять голову и долго-долго, протяжно-протяжно, жалко-жалко.

Да. Да.

А я спал, как младенец. Разве сумасшедшие спят, как младенцы?

ЛИСТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Вчера вечером сиделка Маша спросила меня:

— Антон Игнатьевич! Вы никогда не молитесь богу?

Она была серьезна и верила, что я отвечу ей искренно и серьезно. И я ответил ей без улыбки, как она хотела:

— Нет, Маша, никогда. Но, если это доставит вам удовольствие, вы можете перекрестить меня.

И все так же серьезно она трижды перекрестила меня, и я был очень рад, что доставил минуту удовольствия этой превосходной женщине. Как все высоко стоящие и свободные люди, вы, гг. эксперты, не обращаете внимания на прислугу, но нам, арестантам и «сумасшедшим», приходится видеть ее близко и подчас совершать удивительные открытия. Так, вам, вероятно, не приходило и в голову, что сиделка Маша, приставленная вами наблюдать за сумасшедшими,— *сама сумасшедшая?* А это так.

Приглядитесь к ее походке, бесшумной, скользящей, немного пугливой и удивительно осторожной и ловкой, точно она ходит между невидимыми обнаженными мечами. Всмотритесь в ее лицо, но сделайте это как-нибудь незаметно для нее, чтобы она не знала о вашем присутствии. Когда приходит кто-нибудь из вас, лицо Маши становится серьезным, важным, но снисходительно улыбающимся — как раз то

выражение, которое в этот момент господствует на вашем лице. Дело в том, что Маша обладает странною и многозначительною способностью непроизвольно отражать на своем лице выражение всех других лиц. Иногда она смотрит на меня и улыбается. Этакая бледная, отраженная, словно чуждая улыбка. И я догадываюсь, что я улыбался, когда она взглянула на меня. Иногда лицо Маши становится страдальческим, угрюмым, брови сходятся к переносью, углы рта опускаются; все лицо стареет на десяток лет и темнеет,— вероятно, таково же иногда мое лицо. Случается, что я ее пугаю своим взглядом. Вы знаете, как странен и немного страшен взгляд всякого глубоко задумавшегося человека. И глаза Маши расширяются, зрачок темнеет, и, слегка приподняв руки, она бесшумно идет ко мне и что-нибудь со мной делает, дружеское и неожиданное: приглаживает мне волосы или поправляет халат.

— Пояс у вас развяжется! — говорит она, а лицо ее все такое же испуганное.

Но мне случается видеть ее одну. И когда она одна, на лице ее странно отсутствует всякое выражение. Оно бледно, красиво и загадочно, как лицо мертвеца. Крикнешь ей: «Маша!» — она быстро обернется, улыбнется своею нежною и пугливою улыбкою и спросит:

— Вам подать что-нибудь?

Она всегда что-нибудь подает, принимает и, если ей нечего подавать, принимать и убирать, видимо, беспокоится. И всегда она бесшумная. Я ни разу не замечал, чтобы она что-нибудь уронила или стукнула. Я пробовал говорить с нею о жизни, и она странно равнодушна ко всему, даже к убийствам, пожарам и всякому другому ужасу, который так действует на малоразвитых людей.

— Вы понимаете: их убивают, ранят, и у них остаются маленькие голодные дети,— говорил я ей про войну.

— Да, понимаю,— ответила она и задумчиво спросила: — Вам не дать ли молока, вы сегодня мало кушали?

Я смеюсь, и она отвечает немного испуганным смехом. Она ни разу не была в театре, не знает, что

Россия — государство и что есть другие государства; она неграмотна и Евангелие слышала только то, которое отрывками читают в церкви. И каждый вечер она становится на колени и подолгу молится.

Я долго считал ее просто ограниченным, тупым существом, рожденным для рабства, но один случай заставил меня изменить взгляд. Вы, вероятно, знаете, вам, вероятно, сказали, что я пережил здесь одну скверную минуту, которая ничего, конечно, не доказывает, кроме усталости и временного упадка сил. *Это было полотенце.* Конечно, я сильнее Маши и мог убить ее, так как мы были только вдвоем, и если б она крикнула или схватила меня за руку... Но она ничего этого не сделала. Она только сказала:

— Не надо, голубчик.

Я часто потом думал над этим *«не надо»* и до сих пор не могу понять той удивительной силы, которая в нем заключена и которую я чувствую. Она не в самом слове, бессмысленном и пустом; она где-то в неизвестной мне и недоступной глубине Машиной души. Она знает что-то. Да, она знает, но не может или не хочет сказать. Потом я много раз добивался от Маши объяснения этого «не надо», и она не могла объяснить.

— Вы думаете, что самоубийство — грех? Что его запретил бог?

— Нет.

— Почему же не надо?

— Так. Не надо.— И она улыбается и спрашивает: — Вам не принести чего-нибудь?

Положительно, она сумасшедшая, но тихая и полезная, как многие другие сумасшедшие. И вы не трогайте ее.

Я позволил себе уклониться от повествования, так как вчерашний Машин поступок бросил меня к воспоминаниям о детстве. Матери я не помню, но у меня была тетя Анфиса, которая всегда крестила меня на ночь. Она была молчаливая старая дева, с прыщами на лице, и очень стыдилась, когда отец шутил с ней о женихах. Я был еще маленький, лет одиннадцати, когда она удавилась в маленьком сарайчике, где у нас складывали уголья. Отцу она потом все представлялась, и этот веселый атеист заказывал обедни и панихиды.

Он был очень умный и талантливый, мой отец, и его речи в суде заставляли плакать не только нервных дам, но и серьезных, уравновешенных людей. Только я не плакал, слушая его, потому что знал его и знал, что сам он ничего не понимает из того, что говорит. У него много было знаний, много мыслей и еще больше слов; и слова, и мысли, и знания часто комбинировались очень удачно и красиво, но он сам ничего в этом не понимал. *Я часто сомневался даже, существует ли он,* — до того весь он был вовне, в звуках и жестах, и мне часто казалось, что это не человек, а мелькающий в синематографе образ, соединенный с граммофоном. Он не понимал, что он человек, что сейчас он живет, а потом умрет, и ничего не искал. И когда он ложился в постель, переставал двигаться и засыпал, он, наверное, не видел никаких снов и переставал существовать. Своим языком — он был адвокатом — он зарабатывал тысяч тридцать в год, и ни разу он не удивился и не задумался над этим обстоятельством. Помню, мы поехали с ним в только что купленное имение, и я сказал, указывая на деревья парка:

— Клиенты?

Он улыбнулся, польщенный, и ответил:

— Да, брат, талант — великое дело.

Он много пил, и опьянение выражалось только в том, что все у него начинало быстрее двигаться, а потом сразу останавливалось — это он засыпал. И все считали его необыкновенно даровитым, а он постоянно говорил, что если б он не сделался знаменитым адвокатом, то был бы знаменитым художником или писателем. К сожалению, это правда.

И менее всего понимал он меня. Однажды случилось так, что нам грозила потеря всего состояния. И для меня это было ужасно. В наши дни, когда только богатство дает свободу, я не знаю, чем бы я стал, если б судьба поставила меня в ряды пролетариата. Я и сейчас без гнева не могу себе представить, что кто-нибудь осмеливается наложить на меня свою руку, заставляет меня делать то, чего я не хочу, покупает за гроши мой труд, мою кровь, мои нервы, мою жизнь. Но этот ужас я испытал только на одну минуту, а в следующую я понял, что такие, как я,

никогда не бывают бедны. А отец не понимал этого. Он искренно считал меня тупым юношей и со страхом смотрел на мою мнимую беспомощность.

— Ах, Антон, Антон, что будешь ты делать?..— говорил он.

Сам он совсем раскис: длинные, нечесаные волосы свисли на лоб, лицо было желто. Я ответил:

— За меня, папаша, не беспокойся. Так как я не талантлив, то я убью Ротшильда или ограблю банк.

Отец рассердился, так как принял мой ответ за неуместную и плоскую шутку. Он видел мое лицо, он слышал мой голос и все-таки принял это за шутку. Жалкий, картонный паяц, по недоразумению считавшийся человеком!

Души моей он не знал, а весь внешний распорядок моей жизни возмущал его, ибо не вкладывался в его понимание. В гимназии я хорошо учился, и это его огорчало. Когда приходили гости — адвокаты, литераторы и художники,— он тыкал в меня пальцем и говорил:

— А сын-то у меня — первый ученик. Чем прогневал я бога?

И все смеялись надо мною, и я смеялся над всеми. Но еще более, чем мои успехи, огорчало его мое поведение и костюм. Он нарочно приходил в мою комнату, с тем чтобы незаметно для меня переложить книги на столе и произвести хоть какой-нибудь беспорядок. Моя аккуратная прическа лишала его аппетита.

— Инспектор приказывает коротко стричься,— говорил я серьезно и почтительно.

Он крупно ругался, а внутри меня все дрожало от презрительного хохота, и не без основания делил я тогда весь мир на инспекторов просто и инспекторов наизнанку. И все они тянулись к моей голове: одни — чтобы остричь ее, другие — чтобы вытянуть из нее волосы.

Хуже всего для отца были мои тетрадки. Иногда, пьяный, он рассматривал их с безнадежным и комическим отчаянием.

— Случалось ли тебе хоть раз поставить кляксу? — спрашивал он.

— Да, случалось, папаша. Третьего дня я капнул на тригонометрию.

— Вылизал?
— То есть как вылизал?
— Ну да, вылизал кляксу?
— Нет, я приложил пропускной бумаги.

Отец пьяным жестом отмахивался рукой и ворчал, поднимаясь:

— Нет, ты не сын мне. Нет, нет!

Среди ненавистных ему тетрадок была одна, которая могла, однако, доставить ему удовольствие. В ней также не было ни одной кривой строчки, ни кляксы, ни помарки. И стояло в ней приблизительно следующее: *«Мой отец — пьяница, вор и трус».*

Далее следовали некоторые подробности, которые, из уважения к памяти отца, а также и к закону, я не считаю нужным передавать.

Здесь мне приходит на память один забытый мною факт, который, как я вижу теперь, не будет лишен для вас, гг. эксперты, крупного интереса. Я очень рад, что вспомнил его, очень, очень рад. Как я мог его забыть?

У нас в доме жила горничная Катя, которая была любовницею отца и одновременно любовницею моею. Отца она любила потому, что он давал ей деньги, а меня за то, что я был молод, имел красивые черные глаза и не давал денег. И в ту ночь, когда труп моего отца стоял в зале, я отправился в комнату Кати. Она была недалеко от залы, и в ней явственно слышно было чтение дьячка.

Думаю, что бессмертный дух моего отца получил полное удовлетворение!

Нет, это действительно интересный факт, и я не понимаю, как мог я забыть его. Вам, гг. эксперты, это может показаться мальчишеством, детской выходкой, не имеющей серьезного значения, но это неправда. Это, гг. эксперты, была жестокая битва, и победа в ней недешево досталась мне. Ставкою была моя жизнь. Струсь я, поверни назад, окажись неспособным к любви — я убил бы себя. *Это было решено, я помню.*

И то, что я делал, для юноши моих лет было не так-то легко. Теперь я знаю, что я боролся с ветряной мельницей, но тогда все дело представлялось мне в ином свете. Сейчас мне уже трудно воспроизвести в

памяти пережитое, но чувство, помнится, у меня было такое, будто одним поступком я нарушаю все законы, божеские и человеческие. И я ужасно трусил, до смешного, но все-таки справился с собою, и когда вошел к Кате, то был готов к поцелуям, как Ромео.

Да, тогда я был еще, как кажется, романтиком. Счастливая пора, как она далека! Помню, гг. эксперты, что, возвращаясь от Кати, я остановился перед трупом, сложил руки на груди, как Наполеон, и с комической гордостью посмотрел на него. И тут же вздрогнул, испугавшись шевельнувшегося покрывала. Счастливая, далекая пора!

Боюсь думать, но, кажется, я никогда не переставал быть романтиком. И чуть ли я не был идеалистом. Я верил в человеческую мысль и в ее безграничную мощь. Вся история человечества представлялась мне шествием одной торжествующей мысли, и это было еще так недавно. И мне страшно подумать, что вся моя жизнь была обманом, что всю жизнь я был безумцем, как тот сумасшедший актер, которого я видел на днях в соседней палате. Он набирал отовсюду синих и красных бумажек и каждую из них называл миллионом; он выпрашивал их у посетителей, крал и таскал их из клозета, и сторожа грубо шутили, а он искренно и глубоко презирал их. Я ему понравился, и на прощание он дал мне миллион.

— Это небольшой миллиончик,— сказал,— но вы меня извините: у меня сейчас такие расходы, такие расходы.

И, отведя меня в сторону, шепотом пояснил:

— Сейчас я присматриваюсь к Италии. Хочу прогнать папу и ввести там новые деньги, вот эти. И потом, в воскресенье, объявлю себя святым. Итальянцы будут рады: они всегда очень радуются, когда им дают нового святого.

Не с этим ли миллионом я жил?

Мне страшно подумать, что мои книги, мои товарищи и друзья, все так же стоят в своих шкапах и молчаливо хранят то, что я считал мудростью земли, ее надеждой и счастьем. Я знаю, гг. эксперты, что сумасшедший ли я, или нет, но с вашей точки зрения я негодяй,— посмотрели бы вы на этого негодяя, когда он входит в свою библиотеку?!

Сходите, гг. эксперты, осмотрите мою квартиру,— это будет для вас интересно. В левом верхнем ящике письменного стола вы найдете подробный каталог книг, картин и безделушек; там же вы найдете ключи от шкапов. Вы сами — люди науки, и я верю, что вы с должным уважением и аккуратностью отнесетесь к моим вещам. *Также прошу вас следить, чтобы не коптили лампы.* Нет ничего ужаснее этой копоти: она забирается всюду, и потом стоит большого труда удалить ее.

НА КЛОЧКЕ

Сейчас фельдшер Петров отказался дать мне Chloralamid'у в той дозе, в какой я требую. Прежде всего я врач и знаю, что делаю, и затем, если мне будет отказано, я приму решительные меры. Я две ночи не спал и вовсе не желаю сходить с ума. Я требую, чтобы мне дали хлораламиду. Я этого требую. *Это бесчестно* — сводить с ума.

ЛИСТ ПЯТЫЙ

После второго припадка меня начали бояться. Во многих домах передо мною поспешно захлопывались двери; при случайной встрече знакомые ежились, подло улыбались и многозначительно спрашивали:

— Ну как, голубчик, здоровье?

Положение было как раз такое, при котором я мог совершить любое беззаконие и не потерять уважения окружающих. Я смотрел на людей и думал: если я захочу, я могу убить этого и этого, и ничего мне за то не будет. И то, что я испытывал при этой мысли, было ново, приятно и немного страшно. Человек перестал быть чем-то строго защищаемым, до чего боязно прикоснуться; словно шелуха какая-то спала с него, он был словно голый, и убить его казалось легко и соблазнительно.

Страх такой плотной стеной ограждал меня от пытливых взоров, что сама собою упразднялась необходимость в третьем подготовительном припадке. Только в этом отношении отступал я от начертанного плана, но в том-то и сила таланта, что он не сковывает себя рамками и в сообразности с изменившимися

обстоятельствами меняет и весь ход битвы. Но нужно было еще получить официальное отпущение грехов бывших и разрешение на грехи будущие — научно-медицинское удостоверение моей болезни.

И здесь я дождался такого стечения обстоятельств, при котором мое обращение к психиатру могло казаться случайностью или даже чем-то вынужденным. Это была, быть может, и излишняя тонкость в отделке моей роли. Послали меня к психиатру Татьяна Николаевна и ее муж.

— Пожалуйста, сходите к доктору, дорогой Антон Игнатьевич,— говорила Татьяна Николаевна.

Она никогда раньше не называла меня «дорогим», и нужно мне было прослыть сумасшедшим, чтобы получить эту ничтожную ласку.

— Хорошо, дорогая Татьяна Николаевна, я схожу,— покорно ответил я.

Мы втроем — Алексей был тут же — сидели в кабинете, где впоследствии произошло убийство.

— Да, Антон, обязательно сходи,— авторитетно подтвердил Алексей.— А то наделаешь чего-нибудь такого.

— Но что же я могу «наделать»? — робко оправдывался я перед своим строгим другом.

— Мало ли чего. Голову кому-нибудь прошибешь.

Я поворачивал в руках тяжелое чугунное пресс-папье, смотрел то на него, то на Алексея, и спрашивал:

— Голову? Ты говоришь — голову?

— Ну да, голову. Хватишь вот такой штукой, как эта, и готово.

Это становилось интересно. *Именно голову и именно этой штукой намеревался я просадить, а теперь эта самая голова рассуждала, как это выйдет.* Рассуждала и беззаботно улыбалась. А есть люди, которые верят в предчувствие, в то, что смерть заранее посылает каких-то своих незримых вестников,— какая чепуха!

— Ну, едва ли можно сделать что-нибудь этой вещью,— сказал я.— Она слишком легка.

— Что ты говоришь: легка! — возмутился Алексей, выдернул у меня из рук пресс-папье и, взяв за тонкую ручку, несколько раз взмахнул.— Попробуй!

— Да я же знаю...

— Нет, ты возьми вот так и увидишь.

Нехотя, улыбаясь, я взял тяжелую вещь, но тут вмешалась Татьяна Николаевна. Бледная, с трясущимися губами она сказала, скорее закричала:

— Алексей, оставь! Алексей, оставь!

— Что ты, Таня? Что с тобой? — изумился он.

— Оставь! Ты знаешь, как я не люблю такие шутки.

Мы рассмеялись, и пресс-папье было поставлено на стол.

У профессора Т. все произошло так, как я и ожидал. Он был очень осторожен, сдержан в выражениях, но серьезен; спрашивал, есть ли у меня родные, уходу которых я могу поручить себя, советовал посидеть дома, поотдохнуть и успокоиться. Опираясь на свое звание врача, я слегка поспорил с ним, и если у него и оставались какие-нибудь сомнения, то тут, когда я осмелился возражать ему, он бесповоротно зачислил меня в сумасшедшие. Конечно, гг. эксперты, вы не придадите серьезного значения этой безобидной шутке над одним из наших собратьев: как ученый, профессор Т., несомненно, достоин уважения и почета.

Следующие несколько дней были одними из самых счастливых дней моей жизни. Меня жалели, как признанного больного, ко мне делали визиты, со мной говорили каким-то ломаным, нелепым языком, и только один я знал, что я здоров, как никто, и наслаждался отчетливой, могучей работой своей мысли. Из всего удивительного, непостижимого, чем богата жизнь, самое удивительное и непостижимое — это человеческая мысль. В ней божественность, в ней залог бессмертия и могучая сила, не знающая преград. Люди поражаются восторгом и изумлением, когда глядят на снежные вершины горных громад; если бы они понимали самих себя, то больше, чем горами, больше, чем всеми чудесами и красотами мира, они были бы поражены своей способностью мыслить. Простая мысль чернорабочего о том, как целесообразнее положить один кирпич на другой,— вот величайшее чудо и глубочайшая тайна.

И я наслаждался своею мыслью. Невинная в своей красоте, она отдавалась мне со всей страстью, как

любовница, служила мне, как раба, и поддерживала меня, как друг. Не думайте, что все эти дни, проведенные дома в четырех стенах, я размышлял только о своем плане. Нет, там все было ясно и все продумано. Я размышлял обо всем. Я и моя мысль — мы словно играли с жизнью и смертью и высоко-высоко парили над ними. Между прочим, я решил в те дни две очень интересные шахматные задачи, над которыми трудился давно, но безуспешно. Вы знаете, конечно, что три года назад я участвовал в международном шахматном турнире и занял второе место после Ласкера. Если б я не был врагом всякой публичности и продолжал участвовать в состязаниях, *Ласкеру пришлось бы уступить насиженное место.*

И с той минуты, как жизнь Алексея была отдана в мои руки, я почувствовал к нему особенное расположение. Мне приятно было думать, что он живет, пьет, ест и радуется, и все это потому, что я позволяю. Чувство, схожее с чувством отца к сыну. И что меня тревожило, так это его здоровье. При всей своей хилости он непростительно неосторожен: отказывается носить фуфайку и в самую опасную, сырую погоду выходит без калош. Успокоила меня Татьяна Николаевна. Она заехала навестить меня и рассказала, что Алексей совершенно здоров и даже спит хорошо, что с ним редко бывает. Обрадованный, я попросил Татьяну Николаевну передать Алексею книгу — редкий экземпляр, случайно попавший мне в руки и давно нравившийся Алексею. Быть может, с точки зрения моего плана, этот подарок был ошибкой: могли заподозрить в этом преднамеренную подтасовку, но мне так хотелось доставить Алексею удовольствие, что я решил немного рискнуть. Я пренебрег даже тем обстоятельством, что в смысле художественности моей игры подарок был уже шаржем.

С Татьяной Николаевной в этот раз я был очень мил и прост и произвел на нее хорошее впечатление. Ни она, ни Алексей не видели ни одного моего припадка, и им, очевидно, трудно, даже невозможно было представить меня сумасшедшим.

— Заезжайте же к нам,— просила Татьяна Николаевна при прощании.

— Нельзя,— улыбнулся я.— Доктор не велел.

— Ну вот еще пустяки. К нам можно,— это все равно, что дома. И Алеша скучает без вас.

Я обещал, *и ни одно обещание не давалось с такой уверенностью в исполнении, как это.* Не кажется ли вам, гг. эксперты, когда вы узнаете обо всех этих счастливых совпадениях, не кажется ли вам, что уже не мною только был осужден на смерть Алексей, а и *кем-то другим?* А, в сущности, никакого «другого» нет, и все так просто и логично.

Чугунное пресс-папье стояло на своем месте, когда одиннадцатого декабря, в пять часов вечера, я вошел в кабинет к Алексею. Этот час, перед обедом,— обедают они в семь часов,— и Алексей и Татьяна Николаевна проводят в отдыхе. Моему приходу очень обрадовались.

— Спасибо за книгу, дружище,— сказал Алексей, тряся мою руку.— Я и сам собирался к тебе, да Таня сказала, что ты совсем поправился. Мы нынче в театр — едем с нами?

Начался разговор. В этот день я решил совсем не притворяться; в этом отсутствии притворства было свое тонкое притворство, и, находясь под впечатлением пережитого подъема мысли, говорил много и интересно. Если б почитатели таланта Савелова знали, сколько лучших «его» мыслей зародилось и было выношено в голове никому не известного доктора Керженцева!

Я говорил ясно, точно, отделывая фразы; я смотрел в то же время на стрелку часов и думал, что, когда она будет на шести, я стану убийцей. И я говорил что-то смешное, и они смеялись, а я старался запомнить ощущение человека, который еще не убийца, но скоро станет убийцей. Уже не в отвлеченном представлении, а совсем просто понимал я процесс жизни в Алексее, биение его сердца, переливание в висках крови, бесшумную вибрацию мозга и то — как процесс этот прервется, сердце перестанет гнать кровь, и замрет мозг.

На какой мысли он замрет?

Никогда ясность моего сознания не достигала такой высоты и силы; никогда не было так полно ощущение многогранного, стройно работающего «я». Точ-

но бог: не видя — я видел, не слушая — я слышал, не думая — я сознавал.

Оставалось семь минут, когда Алексей лениво поднялся с дивана, потянулся и вышел.

— Я сейчас,— сказал он, выходя.

Мне не хотелось смотреть на Татьяну Николаевну, и я отошел к окну, раздвинул драпри и стал. И, не глядя, я почувствовал, как Татьяна Николаевна торопливо прошла комнату и стала рядом со мною. Я слышал ее дыхание, знал, что она смотрит не в окно, а на меня, и молчал.

— Как славно блестит снег,— сказала Татьяна Николаевна, но я не отозвался. Дыхание ее стало чаще, потом прервалось.

— Антон Игнатьевич! — сказала она и остановилась.

Я молчал.

— Антон Игнатьевич! — повторила она так же нерешительно, и тут я взглянул на нее.

Она быстро отшатнулась, чуть не упала, точно ее отбросило той страшной силой, которая была в моем взгляде. Отшатнулась и бросилась к вошедшему мужу.

— Алексей! — бормотала она.— Алексей... Он...

— Ну, что он?

Не улыбаясь, но голосом оттеняя шутку, я сказал:

— Она думает, что я хочу убить тебя этой штукой.

И совсем спокойно, не скрываясь, я взял пресс-папье, приподнял его в руке и спокойно подошел к Алексею. Он не мигая смотрел на меня своими бледными глазами и повторял:

— Она думает...

— Да, она думает.

Медленно, плавно я стал приподнимать свою руку, и Алексей так же медленно стал приподнимать свою, все не спуская с меня глаз.

— *Погоди! — строго сказал я.*

Рука Алексея остановилась, и, все не спуская с меня глаз, он недоверчиво улыбнулся, бледно, одними губами. Татьяна Николаевна что-то страшно крикнула, но было поздно. Я ударил острым концом в висок, ближе к темени, чем к глазу. И когда он упал, я на-

гнулся и еще два раза ударил его. Следователь говорил мне, что я бил его много раз, потому что голова его вся раздроблена. Но это неправда. Я ударил его всего-навсего три раза: раз, когда он стоял, и два раза потом, на полу.

Правда, что удары были очень сильны, но их было всего три. Это я помню наверно. *Три удара.*

ЛИСТ ШЕСТОЙ

Не старайтесь разобрать зачеркнутое в конце четвертого листа и вообще не придавайте излишнего значения моим помаркам, как мнимым признакам расстроенного мышления. В том странном положении, в котором я очутился, я должен быть страшно осторожен, чего я не скрываю и что вы прекрасно понимаете.

Ночной мрак всегда сильно действует на утомленную нервную систему, и потому так часто приходят ночью страшные мысли. А в ту ночь, первую за убийством, мои нервы были, конечно, в особенном напряжении. Как я ни владел собою, но убить человека не шутка. За чаем, уже приведя себя в порядок, отмывши ногти и переменив платье, я позвал посидеть с собою Марью Васильевну. Это моя экономка и отчасти жена. У нее, кажется, есть на стороне любовник, но женщина она красивая, тихая и не жадная, и я легко помирился с этим маленьким недостатком, который почти неизбежен в положении человека, приобретающего любовь за деньги. И вот эта глупая женщина первая нанесла мне удар.

— Поцелуй меня,— сказал я.

Она глупо улыбнулась и застыла на своем месте.

— Ну же!

Она вздрогнула, покраснела и, сделав испуганные глаза, моляще протянулась ко мне через стол, говоря:

— Антон Игнатьевич, душечка, сходите к доктору!

— Чего еще? — рассердился я.

— Ой, не кричите, боюсь! Ой, боюсь вас, душечка, ангельчик!

А она ведь ничего не знала ни о моих припадках, ни об убийстве, и я всегда был с нею ласков и ровен.

«Значит, было во мне что-то такое, чего нет у других людей и что пугает»,— мелькнула у меня мысль и тотчас исчезла, оставив странное ощущение холода в ногах и спине. Я понял, что Марья Васильевна узнала что-нибудь на стороне, от прислуги, или наткнулась на сброшенное мною испорченное платье, и этим совершенно естественно объяснялся ее страх.

— Ступайте,— приказал я.

Потом я лежал на диване в своей библиотеке. Читать не хотелось, во всем теле чувствовалась усталость, и состояние в общем было такое, как у актера после блестяще сыгранной роли. Мне приятно было смотреть на книги и приятно было думать, что когда-нибудь потом я буду их читать. Нравилась мне вся моя квартира, и диван, и Марья Васильевна. Мелькали в голове отрывки фраз из моей роли, мысленно воспроизводились движения, которые я делал, и изредка лениво проползали критические мысли: а вот тут лучше можно было сказать или сделать. Но своим импровизированным «погоди!» я был очень доволен. Действительно, это редкий и для тех, кто не испытал сам, невероятный образчик силы внушения.

— «Погоди!» — повторял я, закрыв глаза, и улыбался.

И веки мои стали тяжелеть, и мне захотелось спать, когда лениво, просто, как все другие, в мою голову вошла новая мысль, обладающая всеми свойствами *моей* мысли: ясностью, точностью и простотой. Лениво вошла и остановилась. Вот она дословно и в третьем, как было почему-то, лице:

«А весьма возможно, что доктор Керженцев действительно сумасшедший. Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Три, четыре раза повторялась эта мысль, а я все еще улыбался, не понимая:

«Он думал, что он притворяется, а он действительно сумасшедший. И сейчас сумасшедший».

Но когда я понял... Сперва я подумал, что эту фразу сказала Марья Васильевна, потому что как будто был голос, и голос этот как будто был ее. Потом я подумал на Алексея. Да, на Алексея, на убитого. Потом я понял, что это подумал я,— и это был

ужас. Взяв себя за волосы, уже стоя почему-то на середине комнаты, я сказал:

— Так. Все кончено. Случилось то, чего я опасался. Я слишком близко подошел к границе, и теперь мне остается впереди только одно — сумасшествие.

Когда приехали арестовать меня, я оказался, по их словам, в ужасном виде — взлохмаченный, в разорванном платье, бледный и страшный. Но, господи! Разве пережить такую ночь и все-таки не сойти с ума не значит обладать несокрушимым мозгом? А ведь я только платье разорвал и разбил зеркало. Кстати: позвольте дать вам один совет. Если когда-нибудь одному из вас придется пережить то, что пережил я в эту ночь, завесьте зеркала в той комнате, где вы будете метаться. Завесьте так же, как вы завешиваете их тогда, когда в доме стоит покойник. *Завесьте!*

Мне страшно об этом писать. Я боюсь того, что мне нужно вспомнить и сказать. Но дальше откладывать нельзя, и, быть может, полусловами я только увеличиваю ужас.

Этот вечер.

Вообразите себе пьяную змею, да, да, именно пьяную змею: она сохранила свою злость; ловкость и быстрота ее еще усилились, а зубы все так же остры и ядовиты. И она пьяна, и она в запертой комнате, где много дрожащих от ужаса людей. И, холодно-свирепая, она скользит между ними, обвивает ноги, жалит в самое лицо, в губы, и вьется клубком, и впивается в собственное тело. И кажется, будто не одна, а тысячи змей вьются, и жалят, и пожирают сами себя. Такова была моя мысль, та самая, в которую я верил и в остроте и ядовитости зубов которой я видел спасение свое и защиту.

Единая мысль разбилась на тысячу мыслей, и каждая из них была сильна, и все они были враждебны. Они кружились в диком танце, а музыкою им был чудовищный голос, гулкий, как труба, и несся он откуда-то из неведомой мне глубины. *Это была бежавшая мысль, самая страшная из змей, ибо она пряталась во мраке.* Из головы, где я крепко держал ее, она ушла в тайники тела, в черную и неизведанную его глубину. И оттуда она кричала, как посторонний, как бе-

жавший раб, наглый и дерзкий в сознании своей безопасности.

«Ты думал, что ты притворяешься, а ты был сумасшедшим. Ты маленький, ты злой, ты глупый, ты доктор Керженцев. Какой-то доктор Керженцев, сумасшедший доктор Керженцев!..»

Так она кричала, и я не знал, откуда исходит ее чудовищный голос. Я даже не знаю, кто это был; я называю это мыслью, но, может быть, это была не мысль. Мысли — те, как голуби над пожаром, кружились в голове, а она кричала откуда-то снизу, сверху, с боков, где я не мог ни увидеть ее, ни поймать.

И самое страшное, что я испытал,— это было сознание, что я не знаю себя и никогда не знал. Пока мое «я» находилось в моей ярко освещенной голове, где все движется и живет в закономерном порядке, я понимал и знал себя, размышлял о своем характере и планах, и был, как думал, господином. Теперь же я увидел, что я не господин, а раб, жалкий и бессильный. Представьте, что вы жили в доме, где много комнат, занимали одну только комнату и думали, что владеете всем домом. И вдруг вы узнали, что там, в других комнатах, живут. Да, *живут*. Живут какие-то загадочные существа, быть может люди, быть может что-нибудь другое, и дом принадлежит им. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И в то же время вы знаете, что именно там, за этой молчаливой дверью, решается ваша судьба.

Я подошел к зеркалу... Завесьте зеркала. Завесьте!

Потом я ничего не помню до тех пор, пока пришла судебная власть и полиция. Я спросил, который час, и мне сказали: девять. И я долго не мог понять, что со времени моего возвращения домой прошло только два часа, а с момента убийства Алексея — около трех.

Простите, гг. эксперты, что такой важный для экспертизы момент, как это ужасное состояние после убийства, я описал в таких общих и неопределенных выражениях. Но это все, что я помню и что могу передать человеческим языком. Например, не могу я передать человеческим языком того ужаса, который я все время тогда испытывал. Кроме того, я не могу сказать с положительною уверенностью, что все так

слабо мною намеченное было в действительности. Быть может, этого не было, а было что-нибудь другое. Одно только я твердо помню — это мысль, или голос, или еще что-то:

«Доктор Керженцев думал, что он притворяется сумасшедшим, а он действительно сумасшедший».

Сейчас я пробовал свой пульс: 180! Это сейчас, только при одном воспоминании!

ЛИСТ СЕДЬМОЙ

Прошлый раз я написал много ненужного и жалкого вздора, и, к сожалению, вы теперь уже получили и прочли его. Боюсь, что он даст вам ложное представление о моей личности, а также о действительном состоянии моих умственных способностей. Впрочем, я верю в ваши знания и в ваш ясный ум, гг. эксперты.

Вы понимаете, что только серьезные причины могли заставить меня, доктора Керженцева, открыть всю истину об убийстве Савелова. И вы легко поймете и оцените их, когда я скажу, что я не знаю и сейчас, притворялся ли я сумасшедшим, чтобы безнаказанно убить, или убил потому, что был сумасшедшим; и навсегда, вероятно, лишен возможности узнать это. Кошмар того вечера исчез, но он оставил огненный след. Нет вздорных страхов, но есть ужас человека, который потерял все, есть холодное сознание падения гибели, обмана и неразрешимости.

Вы, ученые, будете спорить обо мне. Одни из вас скажут, что я сумасшедший, другие будут доказывать, что я здоровый, и допустят только некоторые ограничения в пользу дегенерации. Но, со всею вашею ученостью, вы не докажете так ясно ни того, что я сумасшедший, ни того, что я здоровый, как докажу это я. Моя мысль вернулась ко мне, и, как вы убедитесь, ей нельзя отказать ни в силе, ни в остроте. Превосходная, энергичная мысль — ведь и врагам следует отдавать должное!

Я — сумасшедший. Не угодно ли выслушать — почему?

Первою осуждает меня наследственность, та самая наследственность, которой я так обрадовался, обду-

мывая свой план. Припадки, которые были у меня в детстве... Виноват, господа. Я хотел утаить от вас эту подробность о припадках и писал, что с детства я был здоровяком. Это не значит, что в факте существования каких-то вздорных, скоро кончившихся припадков я видел какую-нибудь опасность для себя. Просто я не хотел загромождать рассказа неважными подробностями. Теперь эта подробность понадобилась мне для строго логического построения, и, как видите, я, не обинуясь, передаю ее.

Так вот. Наследственность и припадки свидетельствуют о моем предрасположении к психической болезни. И она началась, незаметно для самого меня, много раньше, чем я придумал план убийства. Но, обладая, как *все сумасшедшие,* бессознательной хитростью и способностью приноравливать безумные поступки к нормам здравого мышления, я стал обманывать, но не других, как я думал, а себя. Увлекаемый чуждой мне силой, я делал вид, что иду сам. Из остального доказательства можно лепить, как из воска. Не так ли?

Ничего не стоит доказать, что Татьяну Николаевну я не любил, что мотива истинного к преступлению не было, а был только выдуманный. В странности моего плана, в хладнокровии, с каким я его осуществлял, в массе мелочей очень легко усмотреть все ту же безумную волю. Даже самая острота и подъем моей мысли перед преступлением доказывают мою ненормальность.

Так, раненный насмерть, я в цирке играл,
Гладиатора смерть представляя...

Ни одной мелочи в своей жизни не оставил я неисследованной. Я проследил всю свою жизнь. К каждому своему шагу, к каждой своей мысли, слову я прилагал мерку безумия, и она подходила к каждому слову, к каждой мысли. Оказалось, и это было самым удивительным, что и до этой ночи мне уже приходила мысль: уж не сумасшедший ли я действительно? Но я как-то отделывался от этой мысли, забывал о ней.

И, доказав, что я сумасшедший, знаете вы, что я увидел? Что *я не сумасшедший* — вот что я увидел. Извольте выслушать.

Самое большое, в чем уличают меня наследственность и припадки,— это дегенерация. Я один из вырождающихся, каких много, какого можно найти, если поискать повнимательнее, даже среди вас, гг. эксперты. Это дает прекрасный ключ ко всему остальному. Мои нравственные воззрения вы можете объяснить не сознательной продуманностью, а дегенерацией. Действительно, нравственные инстинкты заложены так глубоко, что только при некотором уклонении от нормального типа возможно полное от них освобождение. И наука, все еще слишком смелая в своих обобщениях, все такие уклонения относит в область дегенерации, хотя бы физически человек был бы сложен, как Аполлон, и здоров, как последний идиот. Но пусть будет так. Я ничего не имею против дегенерации,— она вводит меня в славную компанию.

Не стану я отстаивать и своего мотива к преступлению. Говорю вам совершенно искренно, что Татьяна Николаевна действительно оскорбила меня своим смехом, и обида залегла очень глубоко, как это бывает у таких скрытых, одиноких натур, как я. Но пусть это неправда. Пусть даже любви у меня не было. Но разве нельзя допустить, что убийством Алексея я просто хотел попытать свои силы? Ведь вы свободно допускаете существование людей, которые взлезают, рискуя жизнью, на неприступные горы только потому, что они неприступны, и не называете их сумасшедшими? Не осмелитесь же вы назвать сумасшедшим Нансена, этого величайшего человека истекающего столетия! В нравственной жизни есть свои полюсы, и одного из них пытался я достичь.

Вас смущает отсутствие ревности, мести, корысти и других нелепых мотивов, которые вы привыкли считать единственно настоящими и здоровыми. Но тогда вы, люди науки, осудите Нансена, осудите его вместе с глупцами и невеждами, которые и его предприятие считают безумием.

Мой план... Он необычен, он оригинален, он смел до дерзости, но разве он не разумен с точки зрения поставленной мною цели? И именно моя наклонность к притворству, вполне разумно вам объясненная, могла подсказать мне этот план. Подъем мысли,— но разве гениальность и вправду умопомешательство?

Хладнокровие,— но почему убийца непременно должен дрожать, бледнеть и колебаться? Трусы всегда дрожат, даже когда обнимают своих горничных, и храбрость — разве безумие?

А как просто объясняются мои собственные сомнения в том, что я здоровый! Как настоящий художник, артист, я слишком глубоко вошел в роль, временно отожествился с изображаемым лицом и на минуту потерял способность самоотчета. Скажете ли вы, что даже среди присяжных, ежедневно ломающихся лицедеев нет таких, которые, играя Отелло, чувствуют действительную потребность убить?

Довольно убедительно, не правда ли, гг. ученые? Но не чувствуете ли вы одной странной вещи: когда я доказываю, что я сумасшедший, вам кажется, что я здоровый, а когда я доказываю, что я здоровый, вы слышите сумасшедшего.

Да. Это потому, что вы не верите мне... Но и я не верю себе, ибо *кому* в себе я буду верить? Подлой и ничтожной мысли, лживому холопу, который служит всякому? Он годен лишь на то, чтобы чистить сапоги, а я сделал его своим другом, своим богом. Долой с трона, жалкая, бессильная мысль!

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет?

Маша, милая женщина, вы знаете что-то, чего не знаю я. Скажите, кого просить мне о помощи?

Я знаю ваш ответ, Маша. *Нет, это не то.* Вы добрая и славная женщина, Маша, но вы не знаете ни физики, ни химии, вы ни разу не были в театре и даже не подозреваете, что та штука, на которой вы живете, принимая, подавая и убирая, вертится. А она вертится, Маша, вы тупое существо, почти растение, и я очень завидую вам, почти столько же, сколько презираю вас.

Нет, Маша, не вы ответите мне. И вы ничего не знаете, это неправда. В одной из темных каморок вашего нехитрого дома живет кто-то, очень вам полезный, но у меня эта комната пуста. Он давно умер, тот, кто там жил, и на могиле его я воздвиг пышный памятник. *Он умер, Маша, умер — и не воскреснет.*

Кто же я, гг. эксперты, сумасшедший или нет? Простите, что я с такой невежливой настойчивостью привязываюсь к вам с этим вопросом, но ведь вы

«люди науки», как называл вас мой отец, когда хотел польстить вам, у вас есть книги, и вы обладаете ясной, точной и непогрешимой человеческой мыслью. Конечно, половина вас останется при одном мнении, другая — при другом, но я вам поверю, гг. ученые,— и первым поверю и вторым поверю. Скажите же... А в помощь вашему просвещенному уму я приведу интересный, очень интересный фактик.

В один тихий и мирный вечер, проведенный мною среди этих белых стен, на лице Маши, когда оно попадало мне на глаза, я замечал выражение ужаса, растерянности и подчиненности чему-то сильному и страшному. Потом она ушла, а я сел на приготовленной постели и продолжал думать о том, чего мне хочется. А хотелось мне странных вещей. Мне, д-ру Керженцеву, хотелось выть. Не кричать, а именно выть, как вон тот. Хотелось рвать на себе платье и царапать себя ногтями. Взять рубашку у ворота, сперва немного, совсем немного потянуть, а там — раз! — и до самого низа. И хотелось мне, д-ру Керженцеву, стать на четвереньки и ползать. А кругом было тихо, и снег стучал в окна, и где-то неподалеку беззвучно молилась Маша. И я долго обдуманно выбирал, что мне сделать. Если выть, то выйдет громко, и получится скандал. Если разодрать рубашку, то завтра заметят. И вполне разумно я выбрал третье: ползать. Никто не услышит, а если увидят, то скажу, что оторвалась пуговица, и я ищу ее.

И пока я выбирал и решал, было хорошо, не страшно и даже приятно, так что, помнится, я болтал ногой. Но вот я подумал:

«Да зачем же ползать? Разве я действительно сумасшедший?»

И стало страшно, и сразу захотелось всего: ползать, выть, царапаться. И я обозлился.

— Ты хочешь ползать? — спросил я.

Но оно молчало, оно уже не хотело.

— Нет, ведь ты хочешь ползать? — настаивал я. И оно молчало.

— Ну, ползай же!

И, засучив рукава, я стал на четвереньки и пополз. И когда я обошел еще только половину комна-

ты, мне стало так смешно от этой нелепости, что я уселся тут же на полу и хохотал, хохотал, хохотал.

С привычной и неугасшей еще верой в то, что можно что-то знать, я думал, что нашел источник своих безумных желаний. Очевидно, желание ползать и другие были результатом самовнушения. Настойчивая мысль о том, что я сумасшедший, вызывала и сумасшедшие желания, а как только я выполнил их, оказалось, что и желаний-то никаких нет, и я не безумный. Рассуждение, как видите, весьма простое и логическое. Но...

Но ведь все-таки я ползал? Я ползал? Кто же я — оправдывающийся сумасшедший или здоровый, сводящий себя с ума?

Помогите же мне вы, высокоученые мужи! Пусть ваше авторитетное слово склонит весы в ту или другую сторону и решит этот ужасный, дикий вопрос. Итак, я жду!..

Напрасно я жду. О мои милые головастики — разве вы не я? Разве в ваших лысых головах работает не та же подлая, человеческая мысль, вечно лгущая, изменчивая, призрачная, как у меня? И чем моя хуже вашей? Вы станете доказывать, что я сумасшедший,— я докажу вам, что я здоров; вы станете доказывать, что я здоров,— я докажу вам, что я сумасшедший. Вы скажете, что нельзя красть, убивать и обманывать, потому что это безнравственность и преступление, а я вам докажу, что можно убивать и грабить и что это очень нравственно. И вы будете мыслить и говорить, и я буду мыслить и говорить, и все мы будем правы. и никто из нас не будет прав. Где судья, который может рассудить нас и найти правду.

У вас есть громадное преимущество, которое дает одним вам знание истины: вы не совершили преступления, не находитесь под судом и приглашены за приличную плату исследовать состояние моей психики. И потому я сумасшедший. А если бы сюда посадили вас, профессор Држембицкий, и меня пригласили бы наблюдать за вами, то сумасшедшим были бы вы, а я был бы важной птицей — экспертом, лгуном, который отличается от других лгунов только тем, что лжет, не иначе как под присягой.

Правда, вы никого не убивали, не совершали кражи ради кражи, и когда нанимаете извозчика, то обязательно выторговываете у него гривенник, что доказывает полное ваше душевное здоровье. Вы не сумасшедший. Но может случиться совсем неожиданная вещь...

Вдруг завтра, сейчас, сию минуту, когда вы читаете эти строки, вам пришла ужасно глупая, но неосторожная мысль: а не сумасшедший ли и я? Кем вы будете тогда, г. профессор? Этакая глупая, вздорная мысль — ибо отчего вам сходить с ума? Но попробуйте прогнать ее. Вы пили молоко и думали, что оно цельное, пока кто-то не сказал, что оно смешано с водой. И конечно — нет более цельного молока.

Вы сумасшедший. Не хотите ли проползти на четвереньках? Конечно, не хотите, ибо какой же здоровый человек захочет ползать! Ну, а все-таки? Не является ли у вас такого легонького желания, совсем легонького, совсем пустячного, над которым смеяться хочется,— соскользнуть со стула и немного, совсем немного, проползти? Конечно, не является, откуда ему явиться у здорового человека, который сейчас только пил чай и разговаривал с женой. Но не чувствуете ли вы ваших ног, хотя раньше вы их не чувствовали, и не кажется ли вам, что в коленах происходит что-то странное: тяжелое онемение борется с желанием согнуть колени, а потом... *Ведь в самом деле: разве кто-нибудь может вас удержать, если вы захотите крошечку проползти?*

Никто.

Но погодите ползать. Вы еще нужны мне. Борьба моя еще не кончена.

ЛИСТ ВОСЬМОЙ

Одно из проявлений парадоксальности моей натуры: я очень люблю детей, совсем маленьких детей, когда они только что начинают лепетать и бывают похожи на всех маленьких животных: щенят, котят и змеенышей. Даже змеи в детстве бывают привлекательны. И нынешней осенью, в погожий солнечный день, мне довелось видеть такую картинку. Крохотная девочка в ватном пальтеце и капюшоне, из-под кото-

рого только и видны были розовые щечки и носик, хотела подойти к совсем уже крохотной собачонке на тонких ножках, с тоненькой мордочкой и трусливо зажатым между ногами хвостом. И вдруг ей стало страшно, она повернулась и, как маленький белый клубочек, покатилась к тут же стоявшей няньке и молча, без слез и крика, спрятала лицо у нее в коленах. А крохотная собачонка ласково моргала и пугливо поджимала хвост, и лицо няньки было такое доброе, простое.

— Не бойся,— говорила нянька и улыбалась мне, и лицо у нее было такое доброе, простое.

Не знаю почему, но мне часто вспоминалась эта девочка и на воле, когда я осуществлял план убийства Савелова, и здесь. Тогда же еще, при взгляде на эту милую группу под ясным осенним солнцем, у меня явилось странное чувство, как будто разгадка чего-то, и задуманное мною убийство показалось мне холодною ложью из какого-то другого, совсем особого мира. И то, что обе они, и девочка и собачонка, были такие маленькие и милые, и что они смешно боялись друг друга, и что солнце так тепло светило — все это было так просто и так полно кроткой и глубокой мудростью, будто здесь именно, в этой группе, заключается разгадка бытия. Такое было чувство. И я сказал себе: «Надо об этом как следует подумать»,— но так и не подумал.

А теперь я не помню, что же было тогда такое, и мучительно стараюсь понять, но не могу. И я не знаю, зачем я рассказал вам эту смешную, ненужную историйку, когда еще так много нужно мне рассказать серьезного и важного. *Необходимо кончить.*

Оставим в покое мертвецов. Алексей убит, он давно уже начал разлагаться; его нет — черт с ним! В положении мертвецов есть кое-что приятное.

Не будем говорить и о Татьяне Николаевне. Она несчастна, и я охотно присоединяюсь к общим сожалениям, но что значит это несчастье, все несчастья в мире в сравнении с тем, что переживаю сейчас я, д-р Керженцев! Мало ли жен на свете теряют любимых мужей, и мало ли они будут их терять. Оставим их — пусть плачут.

Но вот тут, в этой голове...

Вы понимаете, гг. эксперты, как это ужасно сложилось. Никого в мире не любил я, кроме себя, а в себе я любил не это гнусное тело, которое любят и пошляки,— я любил свою человеческую мысль, свою свободу. Я ничего не знал и не знаю выше своей мысли, я боготворил ее — и разве она не стоила этого? Разве, как исполин, не боролась она со всем миром и его заблуждениями? На вершину высокой горы взнесла она меня, и я видел, как глубоко внизу копошились людишки с их мелкими животными страстями, с их вечным страхом перед жизнью и смертью, с их церквами, обеднями и молебнами.

Разве я не был и велик, и свободен, и счастлив? Как средневековый барон, засевший, словно в орлином гнезде, в своем неприступном зáмке, гордо и властно смотрит на лежащие внизу долины,— так непобедим и горд был я в своем зáмке, за этими черными костями. Царь над самим собой, я был царем и над миром.

И мне изменили. Подло, коварно, как изменяют женщины, холопы и — мысли. Мой зáмок стал моей тюрьмой. В моем зáмке напали на меня враги. Где же спасение? В неприступности зáмка, в толщине его стен — моя гибель. Голос не проходит наружу — и кто сильный спасет меня? Никто. Ибо никого нет сильнее меня, а я — я и есть единственный враг моего «я».

Подлая мысль изменила мне, тому, кто так верил в нее и ее любил. Она не стала хуже: та же светлая, острая, упругая, как рапира, но рукоять ее уже не в моей руке. И меня, ее творца, ее господина, она убивает с тем же тупым равнодушием, как я убивал ею других.

Наступает ночь, и меня охватывает бешеный ужас. Я был тверд на земле, и крепко стояли на ней мои ноги,— а теперь я брошен в пустоту бесконечного пространства. Великое и грозное одиночество, когда я, тот, который живет, чувствует, мыслит, который так дорог и есть единственный, когда я так мал, бесконечно ничтожен и слаб и каждую секунду готов потухнуть. Зловещее одиночество, когда самого себя я составляю лишь ничтожную частицу, когда в самом себе я окружен и задушен угрюмо молчащими, таинственными врагами. Куда ни иду я — я всюду несу их с

собою; одинокий в пустоте вселенной, и в самом себе не имею я друга. Безумное одиночество, когда я не знаю, кто я, одинокий, когда моими устами, моей мыслью, моим голосом говорят неведомые *они*.

Так жить нельзя. А мир спокойно спит: и мужья целуют своих жен, и ученые читают лекции, и нищий радуется брошенной копейке. Безумный, счастливый в своем безумии мир, ужасно будет твое пробуждение!

Кто сильный даст мне руку помощи? Никто. Никто. Где найду я то вечное, к чему я мог бы прилепиться со своим жалким, бессильным, до ужаса одиноким «я»? Нигде. Нигде. О, милая, милая девочка, почему к тебе тянутся сейчас мои окровавленные руки — ведь ты также человек и также ничтожна и одинока, и подвержена смерти. Жалею ли я тебя, или хочу, чтобы ты меня пожалела, но, как за щитом, укрылся бы я за твоим беспомощным тельцем от безнадежной пустоты веков и пространства. Но нет, нет, все это ложь!

О большой, громадной услуге я попрошу вас, гг. эксперты, и, если вы чувствуете в себе хоть немного человека, вы не откажете в ней. Надеюсь, мы достаточно поняли друг друга, настолько, чтобы не верить друг другу. И если я попрошу вас сказать на суде, что я человек здоровый, то менее всего поверю вашим словам я. Для себя вы можете решать, но для меня никто не решит этого вопроса:

Притворялся ли я сумасшедшим, чтобы убить, или убил потому, что был сумасшедшим?

Но судьи поверят вам и дадут мне то, чего я хочу: каторгу. Прошу вас не придавать ложного толкования моим намерениям. Я не раскаиваюсь, что убил Савелова, я не ищу в каре искупления грехов, и если для доказательства, что я здоров, вам понадобится, чтобы я кого-нибудь убил с целью грабежа,— я с удовольствием убью и ограблю. Но в каторге я ищу другого, чего, я не знаю еще и сам.

Меня тянет к этим людям какая-то смутная надежда, что среди них, нарушивших ваши законы, убийц, грабителей, я найду неведомые мне источники жизни и снова стану себе другом. Но пусть это неправда, пусть надежда обманет меня, я все-таки хочу быть с ними. О, я знаю вас! Вы трусы и лицемеры, вы боль-

ше всего любите ваш покой, и вы с радостью всякого вора, стащившего калач, запрятали бы в сумасшедший дом,— вы охотнее весь мир и самих себя признáете сумасшедшими, нежели осмелитесь коснуться ваших любимых выдумок. Я знаю вас. Преступник и преступление — это вечная ваша тревога, это грозный голос неизведанной бездны, это неумолимое осуждение всей вашей разумной и нравственной жизни, и как бы плотно вы ни затыкали ватой уши, оно проходит, оно проходит! И я хочу к ним. Я, доктор Керженцев, стану в ряды этой страшной для вас армии, как вечный укор, как тот, кто спрашивает и ждет ответа.

Не униженно прошу я вас, а требую: скажите, что я здоров. Солгите, если не верите этому. Но если вы малодушно умоете ваши ученые руки и посадите меня в сумасшедший дом или отпустите на свободу, дружески предупреждаю вас: я наделаю вам крупных неприятностей.

Для меня нет судьи, нет закона, нет недозволенного. Все можно. Вы можете себе представить мир, в котором нет законов притяжения, в котором нет верха, низа, в котором все повинуется только прихоти и случаю? Я, доктор Керженцев, этот новый мир. Все можно. И я, доктор Керженцев, докажу вам это. Я притворюсь здоровым. Я добьюсь свободы. И всю остальную жизнь я буду учиться. Я окружу себя вашими книгами, я возьму от вас всю мощь вашего знания, которой вы гордитесь, и найду одну вещь, в которой давно назрела необходимость. *Это будет взрывчатое вещество.* Такое сильное, какого не видали еще люди: сильнее динамита, сильнее нитроглицерина, сильнее самой мысли о нем. Я талантлив, настойчив, и я найду его. *И когда я найду его, я взорву на воздух вашу проклятую землю, у которой так много богов и нет единого вечного бога.*

На суде доктор Керженцев держался очень спокойно и во все время заседания оставался в одной и той же, ничего не говорящей позе. На вопросы он отвечал равнодушно и безучастно, иногда заставляя дважды повторять их. Один раз он насмешил избранную публику, в огромном количестве наполнившую

зал суда. Председатель обратился с каким-то приказанием к судебному приставу, и подсудимый, очевидно недослышав или по рассеянности, встал и громко спросил:

— Что? Нужно выходить?

— Куда выходить? — удивился председатель.

— Не знаю. Вы что-то сказали.

В публике засмеялись, и председатель пояснил Керженцеву, в чем дело.

Экспертов-психиатров было вызвано четверо, и мнения их разделились поровну. После речи прокурора председатель обратился к обвиняемому, отказавшемуся от защитника:

— Обвиняемый! Что вы имеете сказать в свое оправдание?

Доктор Керженцев встал. Тусклыми, словно незрячими глазами он медленно обвел судей и взглянул на публику. И те, на кого упал этот тяжелый, невидящий взгляд, испытали странное и мучительное чувство: будто из пустых орбит черепа на них взглянула сама равнодушная и немая смерть.

— Ничего,— ответил обвиняемый.

И еще раз окинул он взором людей, собравшихся судить его, и повторил:

— Ничего.

Апрель 1902 г.

НЕТ ПРОЩЕНИЯ

Курсистка. Молоденькая, такая молоденькая — совсем еще девочка. Нос тонкий, красивый, но по-детски еще незаконченный: не то он прямой, не то с горбинкой, не то просто вздернутый; и такие же незаконченные, пухлые губы, от которых как будто пахнет шоколадными конфетами и красной карамелью. И так щедры, так пышны тонкие волосы, густой и ласковой волной окутавшие голову, что при взгляде на них приходят мысли обо всем самом хорошем и светлом, что есть на земле: о золотом утре на голубом море, о весенних жаворонках, о ландышах и пахучей разросшейся сирени. Безоблачное небо и сирень, огромные, бесконечные кусты сирени и жаворонки над ними. Или вот еще вспоминается что. Когда в майский полдень проходишь под цветущими яблонями, то с них падают бело-розовые лепестки и нежно ложатся на плечо, на шляпу, на черный рукав — бело-розовые, нежные лепестки.

И глаза у нее были молодые, яркие, наивно-бесстрастные,— и, только приглядевшись, можно было заметить на лице легкие тени усталости, недоедания, бессонных поздних вечеров за разговорами в накуренных тесных комнатках, под иссушающим огнем ламп. Быть может, и слезы бывали на этих щеках — какие-то особенные, не детские, ядовитые слезы, и сдержанной тревожностью дышали движения: лицо было весело и чуть-чуть улыбалось, а нога в маленькой, забрызганной грязью калоше нетерпеливо притоптывала — как будто торопила медленную конку и гнала ее вперед, быстрее, быстрее.

Все это успел рассмотреть наблюдательный Ми-

трофан Васильевич Крылов, пока прошла полстанции тягучая конка. Он также стоял на площадке, против девушки, и от нечего делать рассматривал ее, слегка брезгливо и враждебно, как очень простую и знакомую алгебраическую формулу, которая выведена мелом на черной доске и настойчиво лезет в глаза. Вначале ему стало весело, как и всякому, кто взглядывал на девушку, но ненадолго: были причины, убивавшие всякое веселье. Возвращался он из своей гимназии, после пятого урока, был утомлен и очень голоден, а вагон был набит битком, и негде было присесть и почитать газету. И погода была скверная, ноябрьская, и город был надоевший, скверный, и дешевая жизнь — как коночный билет с надорванным углом. От дома до гимназии и обратно: все дни можно сосчитать по билетам, а сама жизнь похожа на клубок, из которого грязные пальцы вытягивают бумажную ленту и отрывают по билету — по дню. И уже скоро девушка опротивела ему, и он с радостью перестал бы на нее смотреть, но некуда было девать глаза.

«Недавно из провинции,— сурово отметил он.— И какого они черта лезут сюда, я бы вот с радостью удрал в Чухлому, к дьяволу на рога. И тоже, конечно, всякие разговоры, убеждения, а тесемки на юбке подшить не может. До того ли! Обидно, главное, что такая хорошенькая».

Девушка заметила косой взгляд и смутилась — смутилась больше, чем полагается, из глаз ее исчезла улыбка, на молоденьком лице явилось выражение детского страха и растерянности, и левая рука быстро потянулась к груди и остановилась там, что-то придерживая.

«Ишь ты! — удивился Митрофан Васильевич, отводя глаза и делая равнодушное учительское лицо.— Это она моих синих очков испугалась. Думает, сыщик: под кофточкой-то, должно быть, бумажонки какие-нибудь. Прежде любовные записки на груди носили, а теперь какие-то там бюллетени. И название-то нелепое: бюллетени».

Он снова бросил осторожный взгляд, чтобы проверить впечатление, и отвернулся: курсистка во все глаза, как очарованная, глядела на него и крепко прижимала руку к левому боку. Крылов рассердился:

«Вот дурища! Раз очки синие, так непременно шпион. А что у человека от занятий глаза могут болеть, этого она не понимает. И этакая наивность, вся на виду: пожалуйте. Тоже ведь дело берутся делать, отечество спасают. Соску ей надо, а не отечество. Нет, не дозрели мы. Лассаль, например,— вот это голова! А то тоже: всякая козявка. Уравнения с двумя неизвестными решить не умеет, а туда же: финансы, политика, бумажки. Попугать бы тебя как следует,— тогда узнала бы, как надо!»

И еще не успел он окончить своей мысли, как внезапно вдохновение осенило его. От ноябрьского темного неба, с мокрых и грязных камней мостовой, из пустоты голодного и злого желудка пришло оно — это внезапное повелительное вдохновение. Каким-то чрезвычайно подлым жестом втянув голову в плечи, Митрофан Васильевич придал своей физиономии то особенное, хитро-пакостное выражение, какое, по его мнению, должно быть у настоящего шпиона, и бросил такой косой взгляд, что чуть не вывернул глаза. И доволен остался: девушка вздрогнула и затрепетала неуловимым трепетом страха, и глаза ее тревожно забегали.

«Да, вот именно: а бежать-то и некуда! — толковал ее движения Митрофан Васильевич.— Попрыгай, попрыгай, голубушка, а мы еще жарку поддадим».

И, вдохновляясь все более и более, забывая о голоде и скверной погоде от творческой горделивой радости, он так искусно начал изображать шпиона, как будто настоящим был актером или действительно служил в сыщиках. Тело неуловимо извивалось скользкими змеиными изгибами, глаза сияли предательством, и правая рука, опущенная в карман, сжимала надорванный билет так энергично и сурово, точно это был не кусок бумаги, а револьвер, заряженный шестью пулями, или агентская книжка. И уже не одна девушка, а и многие другие обратили на него внимание: толстый рыжий купец, один занимавший треть площадки, как-то незаметно сжался, точно сразу похудел, и отвернулся. Высокий малый в фартуке поверх драпового пальто поморгал на Митрофана Васильевича кроличьими глазами и внезапно, толкнув девушку, соскочил и завертелся среди экипажей.

«Отлично!» — похвалил себя Митрофан Васильевич, радуясь глубоко и сосредоточенно, скрытной и злой радостью желчного человека. В отрешении от своей личности, в том, что он притворился именно такой гадостью, как шпион, и люди боялись и ненавидели его, было что-то острое, приятно-тревожное и захватывающее. В серой пелене обыденщины открывались какие-то темные, жуткие провалы, полные намеков и бесшумно реющих теней. Он вспомнил свой класс, опротивевшие физиономии учеников, их синие тетради, закапанные, грязные, исчеркапные, полные нелепых, идиотских ошибок, от которых скучно становится жить и перестаешь любить математику,— и подумал:

«А в сущности, очень должно быть интересное это дело — шпионское. Шпион-то ведь тоже рискует, да еще как. Ой-ой как! Одного шпиона даже убили, рассказывал кто-то. Так и зарезали, как свинью».

На минуту ему стало страшно и захотелось перестать быть шпионом, но та учительская шкура, в которую подлежало вернуться, была так голодна, скучна, противна, что он внутренно махнул на нее рукой, даже плюнул, и дал лицу самое пакостное выражение, какое только мог. Курсистка уже не смотрела на него, но вся ее молодая фигурка, кончик красного уха, выглядывавший из-под вьющихся волос, слегка наклонившийся вперед корпус и медленно и глубоко работающая грудь выражали страшное напряжение и одну сверлящую мысль о побеге. О крыльях, вероятно, мечтала она — о крыльях. Раза два она нерешительно переступала ногами, положила руку на столбик и слегка повела головой к Митрофану Васильевичу,— но сбоку покрасневшей щекою почувствовала его пронизывающий взгляд и замерла. И рука ее так и осталась лежать на перилах, и черная перчатка, прорвавшаяся на среднем пальце, слегка дрожала. И стыдно было, что все видят прорванную перчатку и высунувшийся палец, такой маленький, такой сиротливый и робкий, но снять руку не было силы.

«Ага! — думал Митрофан Васильевич.— То-то вот! Уйти-то некуда. Вперед наука: будешь знать, как дела делать. А то словно на бал собралась; нет, брат, шалишь, не все тебе одни удовольствия. Попрыгай-ка теперь, да!»

Он представил себе жизнь преследуемой девушки — и она была такая же интересная, такая же полная и разнообразная, как и у шпиона. И было в ней еще что-то, чего не хватало в жизни сыщика, какая-то обидная гордость, какая-то стройная гармония борьбы, тайны, быстрого ужаса и быстрой мужественной радости. За ней гонятся — а разве нет в этом особенной, огневой радости, когда кто-то злой, враждебный и опасный простирает к горлу хищные руки, нить за нитью вьет убийственную веревку? Как бьется сердце, как ярка жизнь, как хочется жить!

Брезгливо, боком, Митрофан Васильевич оглядел свое поношенное, потертое на рукавах пальто, вспомнил пуговицу, внизу вырванную с мясом, представил себе свое желтое, кислое лицо, которое он так не любит, что бреет только раз в месяц, синие очки — и с ядовитой радостью нашел, что он действительно похож на шпиона. Особенно пуговица: у шпионов некому пришивать пуговиц, и у каждого из них обязательно должна быть одна такая надорванная, уныло обвисшая пуговица, на которую нельзя застегивать. И шевельнулось глухое чувство какого-то особенного, жуткого, шпионского одиночества, и грустно стало, и все — и небо, и люди, и жизнь — расцветилось черными, суровыми красками, стало глубоко, загадочно и содержательно.

Теперь он смотрел на все одними глазами с девушкой, и ново было все. Ни разу в жизни он не задумывался над тем, что такое вечер и ночь — эта таинственная ночь, родящая мрак, прячущая людей, безмолвная, неотвратимая,— теперь он видел ее молчаливое шествие, удивлялся загорающимся фонарям, что-то прозревал в этой борьбе света с мраком и поражался спокойствием снующей по тротуарам толпы,— неужели они не видят ночи? Девушка жадно смотрела в пробегающие черные отверстия еще не освещенных переулков — и он смотрел теми же глазами, и были красноречивы зовущие во тьму коридоры. Она с тоской глядела на высокие дома, камнем отгородившие себя от улицы и бесприютных людей,— и новыми казались эти тесные громады, эти злые крепости.

На остановке, где кончалась станция, Митрофану

Васильевичу нужно было сходить, но девушка ехала дальше, и он громко сказал кондуктору:

— Позвольте мне билет и на эту станцию.

И очень был доволен, что удалось найти в кошельке пятачок: почему-то казалось ему, что у шпионов бывает только медь и старые, засаленные и даже склеенные бумажки — хорошими, красивыми деньгами нельзя платить шпионам, иначе они похожи будут на обыкновенных людей. И молчаливый кондуктор тоже понимал это: так гадливо-почтительно взял монету, что к удовольствию у Митрофана Васильевича прибавилось чувство обиды и возмущения.

«Брезгуешь, мерзавец! — подумал он, наводя синие очки, как пушки, на лицо кондуктора и медленно принимая билет.— А сам небось здорово поворовываешь. Знаю я вас! Жалованьишко-то маленькое, ну, а контролер тоже небось не дурак. Рука руку моет, да».

И он замечтался о том, как он выследит кондуктора и контролера, соберет точные данные, и в один прекрасный день — пожалуйте в управление. Вы воровать, а? Вот изумится-то! А он будет продолжать выслеживать других кондукторов, будет искоренять воровство...

«Где же эта, молоденькая? Слава богу, еще тут... Хорош шпион! — добродушно упрекает себя Митрофан Васильевич.— Немножко бы — и выпустил птичку».

Пользуясь рассеянностью учителя, курсистка сняла с перил руку в разорванной перчатке — это сделало ее смелее,— и на углу большой улицы, где пересекались коночные пути, она соскочила. Тут слезало и садилось много публики, и какая-то худощавая женщина с огромным узлом загородила Митрофану Васильевичу выход. Он говорил: «Позвольте»,— и пробовал пролезать, но застревал и бросался к другой стороне. Но там закрывали дорогу кондуктор и давешний рыжий купец. Последний даже взялся обеими руками за поручни и точно не слыхал, как учитель сперва двумя пальцами, потом всей рукой теребил его за рукав.

— Да пустите же! — крикнул Митрофан Васильевич.— Кондуктор, что за безобразие! Я жаловаться буду!

— Они не слыхали,— кротко заступился кондуктор.— Господин, позвольте им пройти.

Купец, не оглядываясь, нехотя разжал пухлую руку, но не подвинулся, и Митрофану Васильевичу, с трудом пробиравшемуся в узкое отверстие, почувствовалось даже, что купец нарочно стискивает его и душит. Задыхаясь, он высвободился, прыгнул так неловко, что чуть не свалился, и погрозил кулаком вслед удаляющемуся красному огню.

Девушку Митрофан Васильевич настиг в маленьком глухом переулке, куда он завернул по догадке. Она быстро шла и оглядывалась, и когда увидела преследователя, почти побежала, наивно открывая полную свою беспомощность. Побежал за ней и Митрофан Васильевич, и теперь в темном незнакомом переулке, где были они только двое, бегущие, он почувствовал себя совсем необычно, как-то уже слишком по-шпионски, даже страшно немного стало. «Нужно поскорее кончить»,— подумал он, быстро перебирая ногами и задыхаясь от этой неестественной рыси, но не решаясь почему-то на крупный шаг.

У подъезда многоэтажного дома курсистка остановилась, и пока дергала за ручку тяжелой двери, Митрофан Васильевич нагнал ее и с великодушной улыбкой заглянул в лицо, чтобы показать ей, что шутка кончилась и все благополучно. И, тяжело дыша, еле продираясь в полуотворенную дверь, она бросила в улыбающееся лицо:

— Подлец!

И скрылась. Сквозь стекло на площадке мелькнул еще ее силуэт — и все исчезло. Все еще великодушно улыбаясь, Митрофан Васильевич с любопытством потрогал холодную ручку, попробовал приотворить, но в глубине подъезда, под лестницей, блеснул галун швейцара, и он медленно отошел. В нескольких шагах остановился и минуты две без мыслей пожимал плечами. С достоинством поправил очки, закинул голову назад и подумал:

«Как это глупо! Не дала слова сказать, и сейчас же ругаться. Девчонка, дрянь. Не могла понять, что это шутка. Для нее стараешься, и... Очень она мне нужна со своими бумажонками. Сделайте милость, ломайте шею сколько хотите. Теперь сидит небось и

разным там студентам и лохматым рассказывает, как за ней шпион гнался. А они охают. Идиоты! Я сам университет окончил и тоже не хуже вас. Да. Не хуже».

После быстрой ходьбы ему стало жарко, и он распахнулся. Но вспомнил, что может простудиться, и застегнулся, с ненавистью дернув надорванную пуговицу.

«У, дьявол!.. Да, не хуже-с. А может быть, лучше. Поди-ка повози на шее восемь душ, да еще глухую бабку, черта-кочерыжку. Конечно, так оставить нельзя, нужно объяснить ей, что я окончил университет и тоже — против всего этого. Да где ее взять? Не до свету же тут шататься? Слуга покорный. Я еще не обедал».

Он потоптался на месте, безнадежно окинул глазами ряды освещенных и темных окон и продолжал:

«А лохматые небось и рады и верят. Дурачье. Я ведь тоже студентом лохматым был — вот какие волосища носил. Я и теперь стричься бы не стал, если бы не лезли волосы. Лезут, удивительно лезут, скоро лысый буду. Не могу же я, сами посудите, вытягивать волосы, когда их нет. Ex nihilo nihil fieri potest[1]. Не парик же мне носить, как... шпиону».

Он закурил папироску и чувствовал, что это уже лишняя папироска: так горек и неприятен был ее дым.

«Войти и сказать: господа, это была шутка, просто шутка. Да нет, не поверят. Господи! Еще побьют».

Митрофан Васильевич быстро отошел шагов на двадцать и остановился. Делалось холодно. Пожимаясь в негреющем пальто, он почувствовал в боковом кармане газету — и стало так горько, так обидно, что захотелось плакать. От чего он отказался? Пришел бы домой, пообедал бы, чайку бы выпил, потом лег бы на диван и почитал газетку — на душе так мирно, безоблачно; тетрадки поправлены, завтра, в субботу, у инспектора винт. А там в своей комнатке сидит глухая бабушка и чулки вяжет — милая старушка, добрая, внимательная, ему две пары носков связала. «И лампадка небось у нее горит — я еще за масло

[1] Из ничего ничего не получится *(лат.)*.

ругался.— А тут? Какой-то переулок. Какой-то дом. Какие-то лохматые студенты... Господи, этого еще недоставало!»

Из освещенного подъезда, громко хлопнув дверью, вышли два студента и решительно направились в сторону Митрофана Васильевича. Дальше — туман, обрывки улиц, фонари, какие-то темные фигуры, настойчиво загораживающие путь, длинный обоз, морда лошади над самым ухом и одно повелительное, невыносимое чувство страха. Опамятовался он где-то на бульваре и долго не мог узнать местности. Было пустынно и тихо. Накрапывал дождь. Студентов не было.

Он выкурил две папиросы, одну за другой, и руки его, когда он зажигал спичку, дрожали.

«До чего добегался? Недостает только воспаление легких схватить, а потом чахотку. Слава богу, что не догнали. А славно, кажется, гнались. Кто-то все время кричал: «Стой». И как страшно было, господи!»

На бульвар, шлепая калошами, вошли три студента. Митрофан Васильевич выкатил на них помутившиеся от страха глаза и куда-то зашагал. И, только пройдя бульвар и зарывшись в темноту кривого и горбатого переулка, сообразил, что тех студентов было двое, что нельзя же бегать от всех студентов, какие встречаются на улице. Покружил по незнакомым переулкам, снова вышел на бульвар и долго разыскивал скамью, на которой сидел. Нужно было почему-то сесть именно на эту скамью. Тут, он думал, что-то очень утешительное.

«Нужно успокоиться и смотреть на дело трезво,— думал он.— Дело вовсе не так плохо. Черт с ней, с девчонкой! Думает, что шпион, ну и пусть думает. Знать-то она меня не знает. Да и те двое меня не видели. Воротник-то я — не дурак — поднял!»

Он было засмеялся от радости и даже рот раскрыл — и замер от ужасной мысли.

«Господи! А она-то видела! Ведь я нарочно целый час свою рожу демонстрировал. Встретит теперь где-нибудь...»

И Митрофану Васильевичу представился целый ряд ужасных возможностей: он человек интеллигентный, любит науки и искусства, бывает в театре, на

всяких собраниях и лекциях, три раза был в университете на защите магистерской диссертации,— и везде он может встретиться с девушкой! Она, наверное, никогда не бывает одна, такие девушки никогда не бывают одни, а всегда с целой компанией таких же курсисток и дерзких студентов,— и что может произойти, когда она покажет на него пальцем: вот шпион! — подумать страшно.

«Необходимо снять очки и обриться,— думает Митрофан Васильевич.— Черт с ними, с глазами, да, может быть, доктор еще врет. Но разве что-нибудь изменится, если снять такую бороду? Разве это борода?»

Он почесал пальцем реденькую бородку и везде пощупал тело.

«Даже борода как у людей не растет! — подумал он с отвращением и тоской.— Но все это вздор. И то, что она может узнать, тоже вздор. Нужно доказать. Нужно спокойно и логично доказать, как доказывают теоремы».

Ему представлялось собрание лохматых, и он перед ними твердо и спокойно доказывает. Буквы ясны и круглы, одно выражение идет за другим, везде спокойные, торжествующие знаки равенства. «Таким образом, вы видите... что...»

Митрофан Васильевич с достоинством, строгим жестом поправляет очки и презрительно усмехается. Потом начинает доказывать — и убеждается с холодным ужасом, что все эти буквы, и логика, и равенства — одно, а жизнь его — другое, и в этой жизни нет логики, нет равенства, нет никаких доказательств, что он, Митрофан Васильевич Крылов,— не шпион. Пусть кто-нибудь, та же девушка, обвинит его в шпионстве,— найдется в его жизни что-нибудь определенное, яркое, убедительное, что мог бы он противопоставить этому гнусному обвинению? Вот смотрит она наивно-бесстрашными глазами,— говорит: «Шпион»,— и от этого прямого взгляда, от этого жестокого слова тают, как от огня, лживые призраки убеждений, порядочности. Пустота. Митрофан Васильевич молчит, но душа его полна криком отчаяния и ужаса. Что это значит? Куда ушло все? На что опереться, чтобы не упасть в эту черную и страшную пропасть?

— Мои убеждения,— бормочет он.— Мои убеждения. Все знают. Мои убеждения. Вот, например...

Он ищет. Он ловит в памяти обрывки разговоров, ищет чего-нибудь яркого, сильного, доказательного — и не находит ничего. Попадаются нелепые фразы: «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу у Сироткина». Но разве это убеждения? Пробегают отрывки газетных статей, чьи-то речи, как будто и убедительные,— но где то, что говорил он сам, что думал он сам? Нету. Говорил, как все, думал, как все: и найти его собственные слова, его собственные мысли так же невозможно, как в куче зерен найти такое же ничем не отмеченное зерно. С другими счастливыми людьми случается, что они или нечаянно, не подумавши, или спьяна скажут что-нибудь такое резкое, что надолго останется в памяти у других; как-то несколько лет тому назад ихний учитель чистописания, скромный старичок, на обеде у директора после акта напился пьян и закричал: «Требую реформы средней школы!» И произвел скандал. И до сих пор все помнят этот случай и при встрече обязательно спрашивают у старичка: «Ну как насчет реформы?» — и искренно считают его скрытым радикалом. А он? — когда выпьет, тотчас же засыпает или плачет и лезет целоваться; раз даже со швейцаром поцеловался; заговариваться не заговаривается и никогда ничего не требует. Другой человек бывает религиозный или не религиозный, а он...

— Постой, а есть бог или нет? Не знаю, ничего не знаю. А я кто — учитель? Да и существую ли я?

Руки и ноги у Митрофана Васильевича холодеют. И на этот счет, существует он или не существует, у него нет твердых убеждений. Сидит кто-то на бульваре и курит папиросу. Какие-то деревья, мокрые, скользкие. Какой-то дождь. Какой-то фонарь мигает, и по стеклу бегут капли. Пусто, непонятно, страшно.

Митрофан Васильевич вскакивает и идет.

— Вздор, вздор! Нервы просто развинтились. Да и что такое убеждения? Одно слово. Вычитал слово, вот тебе и убеждения. Катет, логарифм! Поступки, вот главное. Хорош шпион, который...

Но и поступков нету. Есть действия — служебные, семейные и безразличные, а поступков нету. Кто-то

неутомимо и настойчиво требует: скажите, что вы сделали?.. И он ищет с отчаянием, с тоской. Как по клавишам, пробегает по всем прожитым годам, и каждый год издает один и тот же пустой и деревянный звук — б-я-а... Ни содержания, ни смысла. «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу у Сироткина». Не то, не то.

— Послушайте, послушайте же, сударыня...— бормочет Митрофан Васильевич, опустив голову и умеренно и прилично жестикулируя.— Как глупо, извините, думать, что я шпион. Я — шпион! Какой вздор! Позвольте, я докажу. Итак, мы видим...

Пустота. Куда девалось все? Он знает, что он делал что-то,— но что? Все домашние и знакомые считают его умным, добрым и справедливым человеком — ведь есть же у них основания! Ах да, бабушке ситцу на платье купил, и жена еще сказала: «Слишком уж ты добр, Митрофан Васильевич». Но ведь и шпионам свойственна любовь к бабушкам, и они покупают бабушкам ситцу,— наверное, такого же черного с крапинками, дрянного ситцу. А еще что? В баню ходил, мозоли срезывал. Нет, не то. Карпову вместо двойки тройку поставил. «Я убежден, Иванов, что вы списали задачу...» Вздор, вздор!

Бессознательно Митрофан Васильевич проделывает обратный путь от бульвара к дому, где скрылась курсистка, но не замечает этого. Чувствует только, что поздно, что он устал и ему хочется плакать, как Иванову, уличенному в списывании.

Митрофан Васильевич останавливается перед многоэтажным домом и с неприятным недоумением смотрит на него.

— Какой неприятный дом? Ах, да. Тот самый.

Он быстро отходит от дома, как от начиненной бомбы, останавливается и что-то соображает.

«Лучше всего написать. Спокойно обдумать и написать. Имени, конечно, называть не буду. Просто: «Некий человек, которого вы, сударыня, приняли за шпиона...» По пунктам. Так и так, так и так. Дура будет, если не поверит, да».

Потоптавшись у подъезда, потрогав несколько раз холодную ручку, Митрофан Васильевич с усилием в два приема открыл тяжелую дверь и с решительным,

суровым видом вошел. Под лестницей из дверей каморки показался швейцар, и лицо его выражало услужливость.

— Послушайте, дружище, тут недавно девушка-курсистка... в какой номер она прошла?

— А вам на что?

Митрофан Васильевич стрельнул очками, и швейцар понял: как-то особенно мотнул головою и протянул руку для пожатия.

«Хам!» — с ненавистью подумал Митрофан Васильевич и крепко пожал руку, прямую и твердую, как доска.

— Пойдем ко мне,— позвал швейцар.

— Зачем же?.. Мне только...

Но швейцар уже повернул к своей каморке, и Митрофан Васильевич, поскрипывая зубами, покорно последовал за ним. «Поверил! Сразу поверил! Мерзавец!»

В каморке было тесно, стоял один стул, и швейцар спокойно занял его.

«Хам! Хам! Даже сесть не предлагает»,— с тоской думал Митрофан Васильевич, хоть в обычном состоянии сидеть не только в чужой швейцарской, но и в собственной кухне считал ниже своего достоинства.

«Хам!» — повторил он и добродушно спросил:

— Холостой?

Но швейцар не счел нужным ответить. Окинув учителя с ног до головы равнодушно-нахальным взглядом, равнодушно помолчал и спросил:

— Тут тоже третьего дня один из ваших был. Блондинчик с усами. Знаете?

— Как же, знаю. Этакий... блондин.

— А много, должно быть, вашего брата шатается,— равнодушно заметил швейцар.

— Послушайте,— возмутился Митрофан Васильевич.— Я вовсе не желаю. Мне нужно...

Но швейцар не обратил внимания и продолжал:

— А жалованья вам много идет? Блондинчик сказывал пятьдесят. Маловато.

— Двести,— соврал Митрофан Васильевич и с злорадством увидел на лице швейцара выражение восторга.

«То-то, голубчик»,— подумал он.

— Ну? Двести. Это я понимаю. Папироску не желаете?

Митрофан Васильевич с благодарностью принял из пальцев швейцара папиросу и с тоской вспомнил о своем японском ящичке с папиросами, о кабинете, о синих милых тетрадках. Тошнило. Табак был едкий, вонючий, шпионский. Тошнило.

— А бьют вас часто?

— Послушайте...

— Блондинчик сказывал, что его ни разу не били. Да, поди, врет. Как можно, чтобы не били. Но ежели редко и с осторожностью, чтобы без членовредительства, так оно ничего. Деньги не малые. Верно, ваше благородие?

Швейцар дружески улыбнулся.

— Мне нужно...

— Способности только надо иметь и чтобы лицо подходящее. Без примет. А то видел я одного, вся рожа на стороне и глаза нету. Разве такой годится, сами посудите! Всю рожу так и свернуло, как от ветру, и глаза нет, одна дырка. Вот у вас...

— Да послушайте!— тихо закричал Митрофан Васильевич.— Мне некогда. Мне еще нужно!

Неохотно оставляя интересную тему, швейцар подробно расспросил, какова на вид девушка, и сказал:

— Знаю. Часто ходит. № 7. Иванова. Зачем папиросу на пол бросаешь? Вон печка. Мети тут за вами.

И последнее, что доносилось до слуха учителя, было:

— Шантрапа, понимаешь?

«Хам!» — мысленно ответил Митрофан Васильевич и быстро зашагал по переулку, отыскивая глазами извозчика. Домой, скорее домой! Господи, как он раньше об этом не вспомнил,— что значит растерянность. Ведь у него есть дневник, а в дневнике давно когда-то, еще студентом первого курса, он записал что-то очень либеральное, очень смелое, и свободное, и даже красивое. Он живо помнит и вечер тот, и свою комнатку, и рассыпанный табак на столе, и то чувство гордости, упоения, восторга, с каким набрасывал он энергичные, твердые строки. Вырвать странички и послать — и все тут. Она увидит, она поймет, она умная и благородная девушка. Как хорошо!.. Как хочется есть!

В передней Митрофана Васильевича встретила обеспокоенная жена:

— Где ты был? Что с тобой? Отчего ты такой?

И, поспешно сбрасывая пальто на ходу, он кричал:

— С вами не такой будешь! Полон дом народу, а пуговицу пришить некому. Черт вас знает, что вы тут делаете! Сто раз говорил: пришить. Безобразие, распущенность!

И зашагал в кабинет.

— А обедать?

— Потом. Не лезь! Не ходи за мной.

Было много книг, много тетрадей, но дневник не попадался. Попалась связка ученических тетрадей за первый год его учительства, сохраненная как воспоминание,— к черту! Сидя на полу, он выкидывал из нижнего отделения шкапа бумаги, книги, тетради, отчаивался и вздыхал, сердился на застывшие тугие пальцы — и наконец! Вот он, голубенький, немного засаленный переплет, еще не установившийся старательный почерк, засохшие цветы, старый кисловатый запах духов — как он был молод!

Митрофан Васильевич сел к столу и долго перелистывал дневник, но желаемое место не находилось. Посередине между страницами был перерыв, и торчали коротенькие тщательные обрезки. И он вспомнил: пять лет тому назад, когда у Антона Антоныча был обыск, он очень испугался, вырезал из дневника все компрометирующие его страницы и сжег. Нечего искать — их нет — они сгорели.

Понурив голову, закрыв лицо руками, он долго, без движения, сидел над опустошенным дневником. Горела одна только свеча,— лампы он не успел зажечь,— в комнате было непривычно темно, и от черных бесформенных кресел веяло холодом, заброшенностью, скукой. Далеко, в тех комнатах, играли дети, кричали и смеялись; в столовой звенели чайной посудой, ходили, разговаривали — а тут было безмолвно, как на кладбище. Если бы заглянул сюда художник, почувствовал бы эту холодную, угрюмую темноту, увидел бы на полу груду разбросанных бумаг и книг, темную фигуру человека с закрытым лицом, в безнадежной тоске склонившегося над столом,— он написал бы картину и назвал бы ее «Самоубийца».

«Но ведь можно вспомнить,— с мольбой думает Митрофан Васильевич.— Можно вспомнить. Пусть сгорела бумага, но ведь то, что было, оно осталось где-то. Оно есть, оно существует, нужно только вспомнить».

И он вспоминает все ненужное: и формат страницы, и почерк, и даже запятые и точки, но то нужное и дорогое, то любимое, светлое, оправдывающее,— оно погибло навсегда. Оно жило и умерло, как умирают люди, как умирает все. Бесследно исчезло оно в огромной пустоте, и никто не знает о нем, никто о нем не помнит, и ни в чьей душе не осталось от него следа. Если бы он стал на колени, плакал, умолял вернуть его к жизни, грозил, скрежетал зубами,— огромная, безначальная пустота осталась бы безгласной, ибо никогда не отдаст она того, что раз попало в ее руки. Разве когда-нибудь слезы и рыдания могли вернуть к жизни умершего, убитого? Нет прощения, нет пощады, нет возврата — таков закон жестокой смерти.

Оно умерло, оно убито. Подлый убийца! Сам своими руками сжег лучшие цветы, что, быть может, раз в жизни в тихую святую ночь распустились в бесплодной, нищенской душе. К кому пойти, если сам себе не друг? Бедные погибшие цветы! Быть может, не ярки были они, и не было в них силы и красоты творческой мысли, но они были лучшим, что родила душа, и теперь их нет, и никогда не зацветут они снова. Нет прощения, нет пощады, нет возврата — таков закон жестокой смерти.

— Что же это? Позвольте,— шепчет бессмысленно Митрофан Васильевич.— Я убедился, что вы, Иванов, списали... Нет. Вздор. Нужно жену. Маша! Маша!

Пришла Марья Ивановна. Лицо у нее круглое, доброе; не завитые, по-домашнему, волосы кажутся жидкими и бесцветными. В руках у нее работа — детское платьице.

— Что, Митроша, обедать сказать? Перестоялось все.

— Нет, погоди. Мне нужно поговорить.

Марья Ивановна обеспокоенно откладывает работу и заглядывает мужу в лицо. Тот отворачивается и говорит:

— Сядь.

Марья Ивановна села, оправила платье, сложила руки на коленях и приготовилась слушать. И как всегда бывало в этих случаях, еще со школьной скамьи, лицо ее сразу приняло выражение бестолковости и готовности все перепутать.

— Я слушаю,— сказала она и еще раз оправила платье.

Но Митрофан Васильевич молчал и изумленно вглядывался в лицо жены. Чужое оно было и незнакомое, как лицо нового ученика, поступившего в класс; и странно было думать, что эта женщина — его жена, какая-то Марья Ивановна, Маша. И новая мысль ворвалась в его взбудораженный мозг, и шепотом, дрогнувшим голосом, он сказал:

— Ты знаешь, Маша? Я — шпион.

— Что?

— Шпион, понимаешь, да.

Марья Ивановна вся как-то оседает, как проколотое тесто, и, всплеснув тихо руками, произносит:

— Так я и знала, несчастная, господи ты боже мой!

Подскочив к жене, Митрофан Васильевич машет кулаком у самого ее лица, с трудом удерживается от желания ударить и кричит так громко, что в столовой перестает звенеть посуда и во всем доме становится тихо...

— Дура! Дурища! Так и знала. Господи! Да как же ты могла знать? Двенадцать лет! Двенадцать лет! Господи! Жена — друг, все мысли, деньги, все...

Становится к печке и плачет. Марья Ивановна еще не сообразила, отчего он плачет: оттого ли, что он шпион, или оттого, что не шпион, но ей жалко мужа и обидно за ругань, она плачет сама и говорит:

— Ну вот. Сейчас же и ругаться. Всегда я виновата. Если дура, так зачем женился на дуре, брал бы умную.

Не оборачиваясь, прильнув лбом к холодной кафле, Митрофан Васильевич шепчет, захлебываясь:

— Так и знала! Господи! Двенадцать лет! Уже если и жена и та так, значит, и вправду шпион. Так и знала! Дура, дурища!

— Да что ты в самом деле, я только и слышу: дура, дура,— рассердилась Марья Ивановна.— Сами выкидывают, а тут за них отвечай.

Митрофан Васильевич яростно обернулся:

— Что выкидывают? Что же, я шпион? Ну! Говори, шпион я или нет?

— А я почем знаю? Может, и шпион.

Горя ненавистью и гневом, оба обиженные, оба несчастные, они долго и бессмысленно бранились, в чем-то друг друга упрекали, плакали, призывали бога, пока не охватила обоих глухая, тяжелая усталость и равнодушие. И тогда с полным спокойствием, совершенно забыв только что разыгравшуюся ссору, они сели рядом и заговорили, и снова зазвенела в столовой чайная посуда, и снова забегали и зашумели дети. Конфузясь и избегая некоторых подробностей, Митрофан Васильевич передал жене историю с курсисткой и свои опасения насчет случайной встречи.

— Эка! — беззаботно воскликнула Марья Ивановна.— А я думала, что. Стоит беспокоиться. Обрился, снял очки, вот тебе и все. А в гимназии на уроке можно и очки надевать.

— Ты думаешь? Да разве это борода?

— Ну уж это ты оставь. Говори что хочешь, а бороду оставь. Всегда говорила, что хорошая, и сейчас скажу.

Митрофан Васильевич вспомнил, что гимназисты зовут его «козлом», и совсем развеселился. Если бы не было хорошей бороды, не звали бы «козлом», это верно. И в радости крепко поцеловал жену и даже, шутя, пощекотал за ухом бородой.

Часов в двенадцать, когда весь дом угомонился и жена легла спать, Митрофан Васильевич принес в кабинет зеркало, теплой воды и мыльницу и сел бриться. Пришлось, кроме лампы, зажечь две свечи, и было немного стыдно и от яркого света беспокойно, но он смотрел только на ту часть лица, которой касалась бритва, и полбороды снял благополучно. Но потом нечаянно взглянул себе в глаза и остановился. И прежде было тихо, а теперь наступила такая глухая и мертвая тишина, как будто раньше вся комната полна была крику и разговоров. Когда ночью человек один остается перед зеркалом, ему всегда бывает немножко жутко и странно от мысли, что он видит себя. И Митрофану Васильевичу стало жутко, и с суровым

любопытством, как посторонний, он подумал: «Так вот ты какой!»

Дряблое лицо уже пожилого человека с морщинами, следами сошедших угрей и белой сухой кожей. На переносье красная полоска от очков, бесцветные, моргающие глаза; одна щека обрита и блестит лоснящейся кожей, другая покрыта мыльной пеной — так, вероятно, и шпионы совершают свой туалет, когда идут на работу. Что-то безнадежно-плоское, серое, застывшее — не лицо живого человека, а маска, снятая с покойника. Ни шпион, ни тот, кого шпионы преследуют.

— Так вот ты какой! — бормочет Митрофан Васильевич, и то лицо, в зеркале, странно шевелит губами и принимает выражение кислоты, растерянности и трусливой злобы. Кто дал ему это лицо? Кто смел дать такое лицо?

По щеке, бороздя мыльную пену, скатывается слеза. Стиснув зубы, Митрофан Васильевич бреет щеку, потом задумывается, намыливает усы — и снимает их. И снова глядит. Завтра над этим лицом будут смеяться. А когда-то, давно, другим оно было.

Решительно сжав бритву, Митрофан Васильевич запрокидывает голову — и осторожно тупой стороной бритвы два раза проводит по шее. Хорошо бы убить себя — да разве он может?

— Трус, подлец! — говорит он громко и равнодушно. Но лицо в зеркале шевелит губами и остается плоским и серым. Да, его можно ударить, можно наплевать в него, а оно останется все такое же, и только глаза заморгают чаще. Завтра над ним будут смеяться — товарищи, ученики. И жена — она тоже будет смеяться.

Ему хочется прийти в отчаяние, заплакать, ударить зеркало, что-нибудь сделать,— но на душе пусто и мертво, и хочется спать. «Должно быть, от того, что долго на воздухе был»,— думает он и зевает. И тот, в зеркале, тоже зевает.

Убирает бритвенный прибор, тушит лампу и свечи и, шаркая туфлями, идет в спальню. И скоро засыпает, уткнувшись в подушку бритым лицом, над которым завтра будут смеяться все: товарищи, жена и он сам.

1904 г.

ХРИСТИАНЕ

За окнами падал мокрый ноябрьский снег, а в здании суда было тепло, оживленно и весело для тех, кто привык ежедневно, по службе, посещать этот большой дом, встречать знакомые лица, раскрывать все ту же чернильницу и макать в нее все то же перо. Перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы,— они так и назывались «судебные драмы»,— и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело было в буфете; там уже зажгли электричество, и много вкусных закусок стояло на стойке. Пили, разговаривали, ели. Если встречались пасмурные лица, то и это было хорошо: так нужно в жизни и особенно там, где изо дня в день разыгрываются «судебные драмы». Вон в той комнате застрелился как-то подсудимый; вот солдат с ружьем; где-то бренчат кандалы. Весело, тепло, уютно.

Во втором уголовном отделении много публики,— слушается большое дело. Все уже на своих местах, присяжные заседатели, защитники, судьи; репортер, пока один, приготовил бумагу, узенькие листки, и всем любуется. Председатель, обрюзгший, толстый человек с седыми усами, быстро, привычным голосом перекликает свидетелей:

— Ефимов! Как ваше имя, отчество?
— Ефим Петрович Ефимов.
— Согласны принять присягу?
— Согласен.
— Отойдите к стороне! Карасев!
— Андрей Егорыч... Согласен.
— Отойдите к... Блументаль!..

Довольно большая кучка свидетелей, человек в двадцать, быстро перемещается слева направо. На вопрос председателя одни отвечают громко и скоро, с готовностью, и сами догадливо отходят к стороне; других вопрос застает врасплох, они недоумело молчат и оглядываются, не зная, к ним относится названная фамилия или тут есть другой человек с такой же фамилией. Свидетели положительные ожидали вопроса полностью и отвечали полно, не торопясь, обдуманно; к стороне они отходили лишь после приказания председателя и с другими не смешивались.

Подсудимый, молодой человек в высоком воротничке, обвинявшийся в растрате и мошенничестве, торопливо крутил усики и глядел вниз, что-то соображая; при некоторых фамилиях он оборачивался, брезгливо оглядывал вызванного и снова с удвоенной торопливостью крутил усы и соображал. Защитник, тоже еще молодой человек, зевал в руку и гибко потягивался, с удовольствием глядя в окно, за которым вяло опускались большие мокрые хлопья. Он хорошо выспался сегодня и только что позавтракал в буфете горячей ветчиной с горошком.

Оставалось только человек шесть не вызванных, когда председатель с разбега наткнулся на неожиданность:

— Согласны принять присягу? Отойдите...

— Нет.

Как человек, в темноте набежавший на дерево и сильно ударившийся лбом, председатель на миг потерял нить своих вопросов и остановился. В кучке свидетелей он попытался найти ответившую так определенно и резко — голос был женский,— но все женщины казались одинаковы и одинаково почтительно и готовно глядели на него. Посмотрел список:

— Пелагея Васильевна Караулова! Вы согласны принять присягу? — повторил он вопрос и выжидательно уставился на женщин.

— Нет.

Теперь он видит ее. Женщина средних лет, довольно красивая, черноволосая, стоит сзади других. Несмотря на шляпу и модное платье с грушеобразными рукавами и большим, нелепым напуском на груди, она не кажется ни богатой, ни образованной. В ушах

у нее цыганские серьги большими дутыми кольцами; в руках, сложенных на животе, она держит небольшую сумочку. Отвечая, она двигает только ртом; все лицо, и кольца в ушах, и руки с сумочкой остаются неподвижны.

— Да вы православная?

— Православная.

— Отчего же вы не хотите присягать?

Свидетельница смотрит ему в глаза и молчит. Стоявшие впереди ее расступились, и теперь вся она на виду со своей сумочкой, и тонкими желтоватыми руками.

— Быть может, вы принадлежите к какой-нибудь секте, не признающей присяги? Да вы не бойтесь, говорите,— вам ничего за это не будет. Суд примет во внимание ваши объяснения.

— Нет.

— Не сектантка?

— Нет.

— Так вот что, свидетельница: вы, может, опасаетесь, что в показаниях ваших может встретиться что-либо неприятное... неудобное для вас лично,— понимаете? Так на такие вопросы, по закону, вы имеете право не отвечать,— понимаете? Теперь согласны?

— Нет.

Голос молодой, моложе лица, и звучит определенно и ясно; вероятно, он хорош в пении. Пожав плечами, председатель взглядом призывает ближе к себе члена суда с левой стороны и шепчется с ним. Тот отвечает также шепотом:

— Тут есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?

— Ну, уж скажете... При чем тут беременность? Да и незаметно совсем... Свидетельница Караулова! Суд желает знать, на каком основании вы отказываетесь принять присягу. Ведь не можем же мы так, ни с того ни с сего, освободить вас от присяги. Отвечайте! Вы слышите или нет?

Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то коротко отвечает, но так тихо, что ничего нельзя разобрать.

— Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!..

Свидетельница откашливается и очень громко говорит:

— Я проститутка...

Защитник, тихонько постукивавший ногой в такт каким-то своим мыслям, останавливается и пристально глядит на свидетельницу. «Нужно бы зажечь электричество»...— думает он, и, точно догадавшись о его желании, судебный пристав нажимает одну кнопку, другую. Публика, присяжные заседатели и свидетели поднимают головы и смотрят на вспыхнувшие лампочки; только судьи, привыкшие к эффекту внезапного освещения, остаются равнодушны. Теперь совсем приятно: светло, и снег за окнами потемнел. Уютно. Один из присяжных заседателей, старик, оглядывает Караулову и говорит соседу:

— С сумочкой...

Тот молча кивает головой.

— Ну так что же, что проститутка? — говорит председатель и слово «проститутка» произносит так же привычно, как произносит он другие не совсем обыкновенные слова: «убийца», «грабитель», «жертва».— Ведь вы же христианка?

— Нет, я не христианка. Когда бы была христианка, таким бы делом не занималась.

Положение получается довольно нелепое. Нахмурившись, председатель совещается с членом суда налево и хочет говорить; но вспоминает про существование члена суда направо, который все время улыбается, и спрашивает его согласия. Та же улыбка и кивок головы.

— Свидетельница Караулова! Суд постановил разъяснить вам вашу ошибку. На том основании, что вы занимаетесь проституцией, вы не считаете себя христианкой и отказываетесь от принятия присяги, к которой обязует нас закон. Но это ошибка,— вы понимаете? Каковы бы ни были ваши заиятия, это дело вашей совести, и мы в это дело мешаться не можем; а на принадлежность вашу к известному религиозному культу они влиять не могут. Вы понимаете? Можно даже быть разбойником или грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или магометанином. Вот все мы здесь, товарищ прокурора, господа присяжные заседатели, занимаемся разным делом: кто служит, кто торгует, и это не мешает нам быть христианами.

Член суда с левой стороны шепчет:

— Теперь вы хватили... Разбойник,— а потом товарищ прокурора! И потом, торгует,— кто торгует? Точно тут лавочка, а не суд. Нельзя, неловко!..

— Так вот,— говорит протяжно председатель, отворачиваясь от члена,— свидетельница Караулова, занятия тут ни при чем. Вы исполняете известные религиозные обряды: ходите в церковь... Вы ходите в церковь?

— Нет.

— Нет? Почему же?

— Как же я такая пойду в церковь?

— Но у исповеди и у святого причастия бываете?

— Нет.

Свидетельница отвечает не громко, но внятно. Руки ее с сумочкой застыли на животе, и в ушах еле заметно колышутся золотые кольца. От света ли электричества или от волнения она слегка порозовела и кажется моложе. При каждом новом «нет» в публике с улыбкой переглядываются; один в задних рядах, по виду ремесленник, худой, с общипанной бородкой и кадыком на вытянутой тонкой шее радостно шепчет для всеобщего сведения:

— Вот так загвоздила!

— На, а богу-то вы молитесь, конечно?

— Нет. Прежде молилась, а теперь бросила.

Член суда настойчиво шепчет:

— Да вы свидетельниц спросите! Они ведь тоже из таких... Спросите, согласны они?

Председатель неохотно берет список и говорит:

— Свидетельница Пустошкина! Ваши занятия, если не ошибаюсь...

— Проститутка!..— быстро, почти весело отвечает свидетельница, молоденькая девушка, также в шляпке и модном платье.

Ей тоже нравится в суде, и раза два она уже переглянулась с защитником; тот подумал: «Хорошенькая была бы горничная, много бы на чай получала...»

— Вы согласны принять присягу?

— Согласна.

— Ну вот видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидетельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?

— Согласна! — густым контральто, почти басом отвечает толстая, с двумя подбородками, Кравченко.

— Ну вот, видите, и еще!.. Все согласны. Ну так как же?

Караулова молчит.

— Не согласны?

— Нет.

Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвечает легкой улыбкой и снова становится серьезна. Суд совещается, и председатель, сделав любезное, несколько религиозное лицо, обращается к священнику, который наготове, в ожидании присяги, стоит у аналоя и молча слушает.

— Батюшка! Ввиду упрямства свидетельницы не возьмете ли на себя труд убедить ее, что она христианка? Свидетельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рук с живота, делает два шага вперед. Священнику неловко: покраснев, он шепчет что-то председателю.

— Нет уж, батюшка, нельзя ли тут?.. А то я боюсь, как бы и те не заартачились.

Поправив наперсный крест и покраснев еще больше, священник очень тихо говорит:

— Сударыня, ваши чувства делают вам честь, но едва ли христианские чувства...

— Я и говорю: какая я христианка?

Священник беспомощно взглядывает на председателя; тот говорит:

— Свидетельница, вы слушайте батюшку: он вам объяснит.

— Все мы, сударыня, грешны перед господом, кто мыслью, кто словом, а кто и делом, и ему, многомилостивому, принадлежит суд над совестью нашей. Смиренно, с кротостью, подобно богоизбраннику Иову, должны мы принимать все испытания, какие возлагает на нас господь, памятуя, что без воли его ни один волос не упадет с головы нашей. Как бы ни велик был ваш грех, сударыня, самоосуждение, самовольное отлучение себя от церкви составляет грех еще более тяжкий, как покусительство на применение воли божией. Быть может, грех ваш послан вам во испытание, как посылает господь болезни и потерю имущества; вы же в гордыне вашей...

— Ну уж какая, батюшка, гордыня при нашем-то деле!

— ...Предрешаете суд Христов и дерзновенно отрекаетесь от общения со святой православной церковью. Вы знаете символ веры?

— Нет.

— Но вы веруете в господа нашего Иисуса Христа?

— Как же, верую.

— Всякий истинно верующий во Христа тем самым приемлет имя христианина...

— Свидетельница! Вы понимаете: нужно только верить во Христа...— подтверждает председатель.

— Нет! — решительно отвечает Караулова.— Так что же из того, что я верю, когда я такая? Когда б я была христианка, я не была бы такая... Я и богу-то не молюсь.

— Это правда...— подтвердила свидетельница Пустошкина.— Она никогда не молится. К нам в дом — дом у нас хороший, пятнадцатирублевый — икону привозили, так она на другую половину ушла. Уж мы как ее уговаривали, так нет. Уж такая она, извините! Ей самой, господин судья, от характера своего не легко.

— Господь наш Иисус Христос,— продолжал священник, взглянув на председателя,— простил блудницу, когда она покаялась...

— Так она покаялась; а я разве каялась?

— Но наступит час душевного просветления, и вы покаетесь.

— Нет. Разве когда старая буду и помирать начну, тогда покаюсь,— да уж это какое покаяние? Грешила-грешила, а потом взяла да в одну минуту и покаялась. Нет уж, дело конченное.

— Какое уже тогда покаяние! — басом подтвердила внимательно слушавшая Кравченко.— Пелапела песни, да пиво пила, да мужчин принимала, а там,— хвать и покаялась. Кому такое покаяние нужно? Нет уж дело конченное.

Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняла с плеча Карауловой ниточку; та не пошевельнулась.

«Хорошо они, должно быть, поют вместе дуэтом,—

подумал защитник,— у этой грудь, как кузнечные мехи, с тоскою поют. Где этот дом, что-то я не помню».

Председатель развел руками и, снова сделав любезное и религиозное лицо, отпустил священника:

— Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что побеспокоили.

Священник поклонился и стал на свое место, у аналоя, и руки, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали. В публике шептались, и ремесленник, у которого бородка за это время как будто еще более поредела, тянул шею всюду, где шепчутся, и счастливо улыбался.

— Вот так загвоздила! — шептал он, встретив чей-нибудь взгляд.

Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрел на Караулову, поспешно крутил усики и что-то соображал.

Суд совещался.

— Ну что же делать? Ведь это же идиотка! — гневно говорил председатель.— Ее люди в царство небесное тащат, а она...

— По моему мнению,— сказал член суда,— нужно было освидетельствовать ее умственные способности. В средние века суд приговаривал к сожжению женщин, которые, в сущности, были истеричками, а не ведьмами.

— Ну, вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидетельствовать прокурора: вы посмотрите, что он выделывает!

Товарищ прокурора, молодой человек в высоком воротничке и с усиками, вообще странно похожий на обвиняемого, уже давно старался привлечь на себя внимание суда. Он ерзал на стуле, привставал, почти ложился грудью на пюпитр, качал головою, улыбался и всем телом подавался вперед, к председателю, когда тот случайно взглядывал на него. Очевидно было, что он что-то знает и нетерпеливо хочет сказать.

— Вам что угодно, господин прокурор? Только, пожалуйста, покороче!

— Позвольте мне...

И, не ожидая ответа, товарищ прокурора выпрямился и стремительно спросил Караулову:

— Обвиняемая,— виноват, свидетельница,— как вас зовут?
— Груша.
— Это будет... это будет Аграфена, Агриппина. Имя христианское. Следовательно, вас крестили. И когда крестили, назвали Аграфеной. Следовательно...
— Нет. Когда крестили, так назвали Пелагеей.
— Но вы же сейчас при свидетелях сказали, что вас зовут Грушей?
— Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.
— Но вы же...
Председатель перебил:
— Господин прокурор! Она и в списке значится Пелагеей. Вы поглядите!
— Тогда я ничего не имею...
Он стремительно раздвинул фалды сюртука и сел, бросив строгий взгляд на обвиняемого и защитника.
Караулова ждала. Получалось что-то нелепое. В публике говор становился громче, и судебный пристав уже несколько раз строго оглядывался на залу и поднимал палец. Не то падал престиж суда, не то просто становилось весело.
— Тише там! — крикнул председатель.— Господин пристав! Если кто будет разговаривать, то удалите его из залы.
Поднялся присяжный заседатель, высокий костлявый старик, в долгополом сюртуке, по виду старообрядец, и обратился к председателю:
— Можно мне ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудом?
— Восемь лет.
— А до того чем занимались?
— В горничных служила.
— А кто обольстил? Сынок или хозяин?
— Хозяин.
— А много дал?
— Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да отрез кашемиру на платье. У них свой магазин в рядах.
— Стоило из-за этого идти!
— Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.
— Дети были?

— Один был.
— Куда девала?
— В воспитательном помер.
— А больна была?
— Была.

Старик сухо отвернулся и сел и, уже сидя, сказал:

— И впрямь, какая ты христианка! За десять рублей душу дьяволу продала, тело опоганила.

— Бывают старички и больше дают! — вступилась за подругу Пустошкина.— Намедни у нас тоже старичок один был, степенный, вроде как вы...

В публике засмеялись.

— Свидетельница, молчите,— вас не спрашивают! — строго остановил председатель.— Вы кончили? А вам что угодно, господин присяжный заседатель? Тоже спросить?

— Да уж позвольте и мне слово вставить, когда на то дело пошло...— тонким, почти детским голоском сказал необыкновенно большой и толстый купец, весь состоящий из шаров и полушарий: круглый живот, женская округлая грудь, надутые, как у купидона щеки и стянутые к центру кружочком розовые губы.— Вот что, Караулова, или как тебя там, ты с богом считайся как хочешь, а на земле свои обязанности исполняй. Вот ты нынче присягу отказываешься принимать: «не христианка я», а завтра воровать по этой же причине пойдешь либо кого из гостей сонным зельем опоишь,— вас на это станет. Согрешила, ну и кайся, на то церкви поставлены, а от веры не отступайся, потому что ежели ваш брат да еще от веры отступится, тогда хуть на свете не живи.

— Что ж, может, и красть буду... Сказано, что не христианка.

Купец качнул головой, сел и, подавшись туловищем к соседу, громко сказал:

— Вот попадется такая баба, так все руки об нее обломаешь, а с места не сдвинешь...

— Они и толстые которые, господин судья, не все честные бывают...— вступилась Пустошкина.— Намедни к нам один толстый пришел, вроде их, напил, набезобразил, нагулял, а потом в заднюю дверку хотел уйти,— спасибо застрял. «Я, говорит, воском и свечами торгую и не желаю, чтобы святые деньги на та-

кое поганое дело ишли», а сам-то пьян-распьянехонек. А по-моему...

— Молчите, свидетельница!

— Просто они жулик, больше ничего. Вот тебе и толстые!

— Молчите, свидетельница, а то я прикажу вас вывести. Вам что еще угодно, господин прокурор?

— Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, что это у вас кличка Груша, а зовут вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили; а если вас крестили по установленному обряду, то вы христианка, как это и значится, наверное, в вашем метрическом свидетельстве. Таинство крещения, как известно, составляет сущность христианского учения...

Прокурор, овладевая темой, становился все строже.

— Сейчас заговорит о паспорте...— шепнул председатель и перебил прокурора: — Свидетельница, вы понимаете: раз вас крестили, вы, значит, христианка. Вы согласны?

— Нет.

— Ну вот видите, прокурор, она не согласна.

Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина. И к обычному тайному мужскому презрению к женщине примешивалось чувство обиды: как она ни скромничает, а выходит, как будто она лучше всех, лучше судей, лучше присяжных заседателей и публики. Электричество горит, и все так хорошо, а она упрямится. И никто уже не смеется, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно впал в тоску и говорит: «Вот я тебя гвозданул бы разок, так сразу бы поняла!» Сосед, не глядя, отвечает: «А тебе бы, братец, все кулаком; ты ей докажи!» — «Молчите, господин, вы этого не понимаете, а кулак тоже от господа дан».— «А бороду где выщипали?» — «Где бы ни выщипали, а выщипали»... Судебный пристав шипит, разговоры смолкают, и все с любопытством смотрят на совещающихся судей.

— Послушайте, Лев Аркадьич, ведь это бог знает что такое! — возмущается член суда.— Это не суд, а сумасшедший дом какой-то. Что мы судим ее, что

ли, или она нас судит? Благодарю покорно за такое удовольствие!

— Да вы-то что? Что ж я нарочно, по-вашему? — покраснел председатель.— Вы гляньте на эту, на толстую, на Кравченко,— ведь она глазами ее ест. Ведь они тут новую ересь объявят, а я отписывайся! Благодарю вас покорнейше! И не могу же я отказывать, раз уж позволили... Вам угодно что-нибудь сказать, господин присяжный заседатель? Только, пожалуйста, покороче,— мы и так потеряли уже полчаса.

Молодой человек необыкновенно интеллигентного, даже одухотворенного вида; волосы у него были большие, пушистые, как у поэта или молодого попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилием, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Во время переговоров с Карауловой он страдальчески морщился, и теперь в тихом голосе его слышится страдание.

— Это очень печально, то, что вы говорите, свидетельница, и я глубоко сочувствую вам; но поймите же, что нельзя так умалять сущность христианства, сводя его к понятию греха и добродетели, хождению в церковь и обрядам. Сущность христианства в мистической близости с богом...

— Виноват...— перебил председатель.— Караулова, вы понимаете, что значит мистический?

— Нет.

— Господин присяжный заседатель! Она не понимает слова «мистический». Выражайтесь, пожалуйста, проще: вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.

— Лик Христов — вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задыхающийся шепот — вот эмбрион всех сфинксов...

— Господин присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

— Проще я не могу...— грустно сказал заседатель.— Мистическое требует особого языка... Одним словом,— нужна близость к богу.

— Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к богу — и больше ничего.

— Нет. Какая уж тут близость при таком деле!

Я и лампадки в комнате не держу. Другие держат, а я не держу.

— Намедни,— басом сказала Кравченко,— гость пива мне в лампадку вылил. Я ему говорю: «Сукин ты сын, а еще лысый». А он говорит: «Молчи, говорит, мурзик,— свет Христов и во тьме сияет». Так и сказал.

— Свидетельница Кравченко! Прошу без анекдотов! Вам еще что нужно, свидетель?

Свидетель, частный пристав в парадном мундире, щелкает шпорами.

— Ваше превосходительство! Разрешите мне уединиться со свидетельницей.

— Это зачем еще?

— Относительно присяги, ваше превосходительство. Я в ихнем участке, где ихний дом... Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчас примет.

— Нет,— сказала Караулова, немного побледнев и не глядя на пристава.

Тот повернул голову, грудь с орденами оставляя суду:

— Нет, примете!

— Нет.

— Посмотрим...

— Посмотрите...

— Довольно, довольно!..— сердито крикнул председатель.— А вы, господин пристав, идите на свое место: мы пока в ваших услугах не нуждаемся.

Щелкнув шпорами, пристав с достоинством отходит. В публике угрюмый шепот и разговоры. Ремесленник, расположение которого снова перешло на сторону Карауловой, говорит: «Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистят,— как самовар, заблестят».— «Ну это вы слишком!» — «Слишком? Молчите, господин: вы этого дела не понимаете, а я вот как понимаю!» — «Бороду-то где выщипали?» — «Где ни выщипали, а выщипали; а вы вот скажите, есть тут буфет для третьего класса? Надо чирикнуть за упокой души рабы божьей Палагеи».

— Тиши там! — крикнул председатель.— Господин судебный пристав! Примите меры!

Судебный пристав на цыпочках идет в места для публики, но при его приближении все смолкают,

и так же на цыпочках он возвращается обратно. Репортер с жадностью исписывает узенькие листки, но на лице его отчаяние: он предвидит, что цензура ни в каком случае не пропустит написанного.

— Как хотите, а нужно кончить! — говорит член суда.— Получается скандал.

— Пожалуй, что... Ну что еще вам нужно, господин защитник? Все уже выяснено. Садитесь!

Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит:

— Но раз было предоставлено слово господину товарищу прокурора...

— Так и вам нужно? — с безнадежной иронией покачал головой председатель.— Ну хорошо, говорите, если так уж хочется, только, пожалуйста, покороче!

Защитник поворачивается к присяжным заседателям:

— Остроумные упражнения господина товарища прокурора и частного пристава в богословии...— начинает он медленно.

— Господин защитник! — строго перебивает председатель.— Прошу без личностей!

Защитник поворачивается к суду и кланяется:

— Слушаю-с.

Затем снова поворачивается к присяжным, окидывает их светлым и открытым взором и внезапно глубоко задумывается, опустив голову. Обе руки его подняты на высоту груди, глаза крепко закрыты, брови сморщены, и весь он имеет вид не то смертельно влюбленного, не то собирающегося чихнуть. И присяжные и публика смотрят на него с большим интересом, ожидая, что из этого может выйти, и только судьи, привыкшие к его ораторским приемам, остаются равнодушны. Из состояния задумчивости защитник выходит очень медленно, по частям: сперва упали бессильно руки, потом слегка приоткрылись глаза, потом медленно приподнялась голова, и только тогда, словно против его воли, из уст выпали проникновенные слова:

— Господа судьи и господа присяжные заседатели!

И дальше он говорит совсем необыкновенно: то шепчет, но так, что все слышат, то громко кричит, то снова задумывается и остолбенело, как в каталепсии,

смотрит на кого-нибудь из присяжных заседателей, пока тот не замигает и не отведет глаз.

— Господа судьи и господа присяжные заседатели! Вы слышали только сейчас многозначительный диалог между свидетельницей Карауловой и господином частным приставом, и значение его для вас не представляет загадки. Приняв во внимание те обширные средства воздействия, какими располагает наша администрация, и с другой стороны — ее неуклонное стремление к возвращению заблудшихся в лоно православия...

— Господин защитник, что же это такое! — возмущается председатель.— Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здесь установленные законом власти. Я лишу вас слова.

Товарищ прокурора говорит скромно, но стремительно:

— Я просил бы занести слова господина защитника в протокол.

— Слушаю-с. Я хотел только сказать, господа присяжные заседатели, что госпожа Караулова, насколько я ее понимаю, не отступится от своих взглядов даже в том, невозможном, впрочем, у нас случае, если бы ей угрожали костром или инквизиционными пытками. В лице госпожи Карауловой мы видим, господа присяжные заседатели, перевернутый, так сказать, тип христианской мученицы, которая во имя Христа как бы отрекается от Христа, говоря «нет», в сущности говорит «да»!

Какой-то большой и красивый образ смутно и пристально блеснул в голове адвоката; пальцы его похолодели, и взволнованным голосом, в котором ораторского искусства было только наполовину, он продолжает:

— Она христианка. Она христианка, и я докажу вам это, господа присяжные заседатели! Показания свидетельниц госпож Пустошкиной и Кравченко и признания самой Карауловой нарисовали нам полную картину того, каким путем пришла она к этому мучительному положению. Неопытная, наивная девушка, быть может, только что оторванная от деревни, от ее невинных радостей, она попадает в руки грязного сластолюбца и, к ужасу своему, убеждается, что она беременна. Родив где-нибудь в сарае, она...

— Нельзя ли покороче, господин защитник! Нам известно с самого начала, что госпожа Караулова занимается проституцией. Господа присяжные заседатели не дети и сами прекрасно знают, как это делается. Вернитесь к христианству. И потом она не крестьянка, а мещанка города Воронежа.

— Слушаю-с, господин председатель, хотя я думаю, что и у мещан есть свои невинные радости. Так вот-с. В душе своей госпожа Караулова носит идеал человека, каким он должен быть по Христу, действительность же с ее благообразными старичками, наливающими пиво в лампадку, с ее пьяным угаром, оскорблениями, быть может, побоями — разрушает и оскверняет этот чистый образ. И в этой трагической коллизии разрывается на части душа госпожи Карауловой. Господа присяжные заседатели! Вы видели ее здесь спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез пролили эти глаза в ночной тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния и скорби вонзилось в это исстрадавшееся сердце! Разве ей не хочется, как другим порядочным женщинам, пойти в церковь, к исповеди, к причастию — в белом, прекрасном платье причастницы, а не в этой позорной форме греха и преступления? Быть может, в ночных грезах своих она уже не раз на коленях ползала к этим каменным ступеням, лобызала их жарким лобзанием, чувствуя себя недостойной войти в святилище... И это не христианка! Кто же тогда достоин имени христианина? Разве в этих слезах не заключается тот высокий акт покаяния, который блудницу превратил в Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...

— Нет! — перебила Караулова.— Неправда это! И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяние, когда то же самое делаешь? Вот вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и мелочь, она протянула ее к защитнику и потом к суду. Одна монетка соскользнула с руки, покружилась по бетонному, натертому полу и легла возле пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее поднять.

— За что вот я эти деньги получила? За это за самое. А платье вот это, а шляпка, а серьги — все за

это за самое. Раздень меня до самого голого тела, так ничего моего ие найдешь. Да и тело-то не мое — на три года вперед продано, а то, может, и на всю жизнь,— жизнь-то иаша короткая. А в животе у меия что? Портвейн, да пиво, да шоколад, гость вчера угощал,— выходит, что и живот ие мой. Нет у меия ни стыда, ии совести: прикажете голой раздеться — разденусь; прикажете иа крест иаплевать — наплюю.

Кравченко заплакала. Слезы у нее ие точились, а бежали быстрыми, иарастающими капельками и, как на поднос, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она их вытирала, но не у глаз, а вокруг рта и на подбородке, где было щекотно.

— А то вот третьего дня меия с одним гостем венчали, так, для шутки, конечно: вместо венцов иад головой ночные вазы держали, вместо свечек пивные бутылки доиышками кверху, за попа другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил. А она,— Караулова показала на плачущую Кравченко,— за мать мне была, плакала, разливалась, как будто всерьез. Она поплакать-то любит. А я смеялась,— ведь и правда, очень смешно было. И к церкви я равнодушна, и даже мимо стараюсь не ходить, не люблю. Вот тоже говорили тут: «Молиться»,— а у меня и слов таких нет, чтобы молиться. Всякие слова знаю, даже такие, каких, глядишь, и вы не знаете, несмотря на то, что мужчины; а настоящих не зиаю. Да о чем и молиться-то? Того света я не боюсь,— хуже не будет; а на этом свете молитвою много не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать,— родила. Молилась, чтобы ребенок при мне жил,— а пришлось в воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть там пожил,— он взял да и помер. Мало ли о чем молилась, когда поглупее была, да спасибо добрым людям — отучили. Студент отучил. Вот тоже, как вы, начала говорить и о моем детстве и о прочем, и до того меня довел, что заплакала я и взмолилась: господи, да унеси ты меня отсюда! А студент говорит: «Вот теперь ты человеком стала, и могу я теперь с тобою любовиое заиятие иметь». Отучил. Коиечно, я на него не сержусь: каждому приятнее с честною целоваться, чем с такой, как я или вот она, но только мне-то от молитвы да от слез прибыли никакой. Нет уж, какая я христианка, господа судьи,

зачем пустое говорить? Есть я Груша-цыганка, такою меня и берите.

Караулова вздохнула слегка, качнула головой, блеснув золотыми обручами серег, и просто добавила:

— Двугривенный я тут уронила, поднять можно?

Все молчали и глядели, пока Караулова, перегнувшись, поднимала монету со скользкого пола.

— Ну, а вы-то,— с горечью обратился председатель к Пустошкиной и Кравченко,— вы-то согласны принять присягу?

— Мы-то согласны...— ответила Кравченко, плача.— А она нет!

— Господин председатель! — поднялся прокурор, строгий и величественный.— Ввиду того, что многие случаи, сообщенные здесь свидетельницей Карауловой, вполне подходят под понятие кощунства, я как представитель прокурорского надзора желал бы знать, не помнит ли она имен?..

— Ну, какое там кощунство! — ответила Караулова.— Просто пьяны были. Да и не помню я,— разве всех упомнишь?

Судьи долго и бесплодно совещаются, подзывают даже к себе прокурора и убедительно, в два голоса, шепчут ему. Наконец постановляют: «Допросить свидетельницу Караулову, ввиду ее нехристианских убеждений, без присяги».

Остальные свидетели тесной кучкой двинулись к аналою, где ждет их облачившийся священник с крестом.

Пристав громко говорит:

— Прошу встать!

Все встают и оборачиваются к аналою. Теперь Карауловой видны одни только спины и затылки: плешивые, волосатые, круглые, плоские, остроконечные.

Священник говорит:

— Поднимите руки!

Все подняли руки.

— Повторяйте за мною,— говорит он одним голосом и другим продолжает: — обещаюсь и клянусь...

Толпа разрозненно гудит, выделяя густое, еще полное слез, контральто Кравченко.

— Обещаюсь и клянусь...

— Перед всемогущим богом и святым его Евангелием...

— Перед всемогущим богом... и святым... его Евангелием...

Все наладилось и идет как следует: стройно, легко, приятно. Во все время присяги и целования креста Караулова стоит неподвижно и смотрит в одну точку: в спину председателя.

Свидетелей удалили, кроме Карауловой.

— Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совести. Обещаете?

— Нет... Какая у меня совесть? Я ж говорила, что нет у меня никакой совести.

— Ну что же нам с вами делать? — разводит руками председатель.— Ну, правду-то понимаете, правду говорить будете?

— Скажу, что знаю.

Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортер с деловым и бесстрастным лицом рисует на бумажке какие-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый дает продолжительные и очень подробные объяснения. Руки он заложил за спину, слегка покачивается взад и вперед и часто взглядывает на потолок.

— ...Что же касается квитанции из городского ломбарда на заложенный велосипед, то происхождение ее таково. 13-го марта прошлого года я зашел в велосипедный магазин Мархлевского...

— ...Что же касается якобы моих кутежей в означенном доме терпимости и того, будто я разменивал там сторублевую бумажку, то был я там всего четыре раза: 21-го декабря, 7-го января, 25-го того же января и 1-го февраля, и три раза деньги платил за меня мой товарищ, Протасов. Относительно же четвертого раза, когда я платил лично, я прошу разрешения представить суду потребованный мною тогда же счет, из коего видно, что общая сумма издержек, включая сюда...

Горит электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.

1905 г.

ИВАН ИВАНОВИЧ

I

На Иване Ивановиче было новое пальто — совершенно новое, великолепного сукна, серого, с нежным серебристым оттенком. Ему не советовали брать такой цвет — марок и вообще не практичен, но он был молодой человек и желал быть красивым. И он был красив, и на душе было радостно и гордо; и если нельзя было вообразить себя генералом или гвардейским офицером, то во всяком случае ясно чувствовалось, что он лучший изо всех околоточных надзирателей, какие есть в Москве и, быть может, даже в других городах. Сзади, в двух шагах за Иваном Ивановичем, шли трое городовых в черных шинелях, башлыках и с ружьями. Ружей они не умели держать, они им мешали и только нагоняли страх; и лица были у них мрачные, недовольные, а шаги они делали короткие, точно сберегали пространство и старались сохранить запас его позади себя. Они боялись дружинников. Но Иван Иванович не боялся и шел молодцевато, с легким вывертом. В городе уже стреляли, но в ихнем участке было тихо, и только в двух-трех местах достраивали запоздалые баррикады. И на нем было новое пальто.

Из-за угла показалась чья-то голова и скрылась; и вдруг сразу высыпала черная кучка народу, и из середины ее кто-то выстрелил прямо в Ивана Ивановича,— как будто вся черная кучка сказала ему: ах! Городовые убежали, Иван Иванович тоже повернулся, чтобы бежать, но сзади крикнули:

— Стой! Застрелим!

Ноги от страху онемели, затряслись, и он остановился. От всего себя он чувствовал одну только спи-

ну, неподвижную, серую, широкую, как глухой забор, мимо которого не пролетит ни одна пуля. И повернуть ее он не мог, так спиною и встретил дружинников, которые сзади несколькими парами рук схватили его за плечи, за руки и даже за шиворот. Повернули.

— Как фамилия? — спросил один. В руке у него был революьвер-браунинг.

— Товарищи! — сказал Иван Иванович.

— Ну-ну! — грозно окрикнул кто-то.

— Граждане,— поправился Иван Иванович. Некоторые засмеялись, но тот суровый, что окрикнул, так же сурово и с отрицанием сказал:

— Дай ему по харе, чтобы не брехал. Дурак!

Иван Иванович закрыл глаза, но его не ударили, а снова спросили о фамилии.

— Авдеев,— солгал он.

Дружинники переглянулись: такого, с такой фамилией не знали,— ничем не был замечателен. Обыскали его, но ничего не нашли в новеньких, чистых карманах,—ни бумаг, ни писем; только в одном нашли гребешочек и зеркальце и без сожаления бросили их в снег. Иван Иванович приободрился и сам помогал вывертывать карманы, а вначале не мог.

— А револьвер-то? — сказал кто-то.— Забыли?

— Давай револьвер. Живее!

Околоточный торопливо начал отстегивать кобуру, исподлобья дружелюбно оглядел дружинников и улыбнулся.

— Сделайте одолжение. Но только разве это оружие? Вот у вас револьверы настоящие, а у нас что, казенные, в двух шагах собаку не застрелишь. Честное слово! Извольте! Да шашку-то, шашку не забудьте, или как она называется — селедку.

Но шашка была свеже отпущена, остра, и на шутку Ивана Ивановича никто не отозвался. Один из дружинников, молодой, краснощекий, сияющий, схватил шашку и перепоясал ее через плечо.

— Вот так!

— Оставь, Василий! Зачем на глаза лезть!

— Ну вот! Пригодится.

Иван Иванович тоже покачал головой и скромно спросил:

— Можно идти теперь?

— Что?! — удивился тот, суровый. И удивление его было так тяжело, зловеще и страшно, что снова смертельный ужас охватил околоточного, и снег перед его глазами точно почернел, а вокруг черных фигур появились какие-то странные, светлые ореолы. И все закачалось.

— Неужели? — нелепо сказал он, и рот его чему-то смеялся, а побелевшие глаза вылезли из-подо лба и дико таращились.

— Не стоит,— сказал первый, тот, что допрашивал Ивана Ивановича. Но суровый настаивал.

— А по-моему, сто́ит. Всех их сто́ит. А если вам уж так его жалко, так давайте я. Ну-ка, ты, пойдем, поговорим!

— Не сто́ит! — поддержали другие.— Ну его! Оставьте его, Петров.

Петров сердито пожал плечами, посмотрел прямо в вытаращенные глаза околоточного и отошел в сторону.

— Делайте, как хотите,— равнодушно сказал он.

— Господи! — сказал Иван Иванович, провожая его глазами, и перекрестился. Посмотрел на всех и еще раз перекрестился.— Ну и человек. Вот так человек!

Дружинники собрались в кружок и стали советоваться, как поступить с околоточным. Это был первый их пленный, и они не знали, что с ним делать. И молодой, сияющий, с шашкой через плечо, засмеялся, хлопнул Ивана Ивановича по плечу и предложил:

— Пусть-ка идет строить баррикаду. Народу у нас мало, а он парень здоровый. Верно? — И он подмигнул Ивану Ивановичу.

— Как же это? — удивился тот.— В моем положении, и вдруг...

— Вы, быть может, предпочитаете поговорить с товарищем? — вежливо осведомился первый дружинник, указывая на Петрова.

— Нет уж, бог с ним! — отмахнулся рукою околоточный; дружинник засмеялся, и только Петров нахмурился еще больше и отвернулся.— Я ведь собственно ничего не имею. Помочь так помочь, с большим удовольствием. Вот только костюм у меня неподходящий...

— Мы вас не уговариваем...

— Да нет же, господи, я с большим удовольствием. Пальто вот действительно жалко, вы сами понимаете,— а я что же!

Он говорил развязно и с большим достоинством, но страх не покидал его и маленькой мышкой бегал по телу, а минутами воздух точно застревал в груди и земля уходила из-под ног. Хотелось скорее к баррикаде, казалось, что когда он возьмется за работу, никто уже не посмеет его тронуть. Доро́гою — нужно было пройти с четверть версты — он старался быть дальше от Петрова и ближе к молодому, сияющему, и даже вступил с последним в беседу:

— Вот, говорят, полицейский, такой-сякой, крючок и прочее. А только как же без полиции, сами рассудите. Когда господь бог изгнал из рая Адама и Еву, кого он у дверей поставил?.. Вот оно откуда еще началось!

— Товарищ, вы слышите? — смеясь, окликнул молодой Петрова.

Петров остановился и, не глядя на товарища, сказал околоточному:

— Ты свое остроумие оставь. Они тебя помиловали, а я тебя не миловал. Услышу твой голос, видишь,— он показал браунинг,— так в голову и всажу. Гадина!

Иван Иванович обиженно замолчал и всю дорогу шел молча, скучный и подавленный. Оглядываться он боялся, и на себя поглядеть как следует боялся, и было страшно и за себя и за пальто, которое он разорвет или испачкает. Так и шел, стараясь только не ускорять и не замедлять шага против остальных, а они шли неровно, то быстро, то тихо, как нарочно. Один раз молодой, сияющий потихоньку от Петрова подмигнул ему, но Иван Иванович угрюмо отвернулся: ему было очень нехорошо. А молодой нагнал Петрова и тихо сказал ему:

— Напрасно вы так, товарищ. Он, ей-богу, ничего. Конечно, невежественный, темный, а когда-нибудь и он поймет... Все поймут.

Петров хмуро повернул костлявую голову с темными запавшими глазами — и встретил задумчивые, тихо сиявшие глаза. Они сияли тихо, до самой глуби-

ны своей и глядели широко, с радостью и удивлением. И было мучительно глядеть в их светлую глубину, и хотелось разбудить его и крикнуть.

— Все поймут, товарищ, поверьте,— повторил молодой, и Петров кротко согласился:

— Может быть,— и шутливо крикнул околоточному: — Ну что, крючок, очухался?

— Оставьте, пожалуйста, ваши насмешки,— обиженно ответил Иван Иванович и, испугавшись своей дерзости, добавил: — Сами же велели молчать, а теперь... Это, что ль, баррикада-то? Ну, и нагородили!..

II

В действительности народу было много, работа шла веселая и живая, и Иван Иванович долго не мог никуда приткнуться. Пробовал и тащить, и подпихивать, и вязать проволокой, но все у него выходило не так и его прогоняли. Просто он не понимал назначения баррикады,— она казалась ему странной и нелепой игрушкой, сооружаемой какими-то баловниками для непонятного баловства, и что нужно сделать для того, чтобы она стала лучше, он не догадывался. И вид имел бестолковый, растерянный, и даже печальный, так как очень беспокоился к тому же за пальто. Одну полу он уже успел испачкать, и по серебристому сукну проходила скверная, темная полоса. Подумал — и пошел жаловаться к Петрову.

— Не знаешь? — презрительно сказал тот.— Видишь вон столб телеграфный? Ступай и пили.

— Да у меня и пилы нет.

— Поищи.

И опять его гоняли от одного к другому, но, наконец, нашел пилу и даже подручного для работы, какого-то старого рабочего.

— А ты бы шинель-то снял,— посоветовал рабочий.— Пальто хорошее, жалко, как испортится, да и работать легче.

— Боюсь, украдут,— сказал околоточный.

— Ну, вот! — удивился старик.— Кому оно нужно. Тут, брат, граждане, а не воры...

— Рассказывай! — не поверил Иван Иванович, но пальто снял, сложил комочком изнанкой наверх и ос-

торожно положил на подоконник, так, чтобы оставалось иа виду.

Работа пошла легко, и все вокруг как-то посветлело, стало проще и понятиее. Пригляделся околоточный и к народу, и народ был все простой, такой, с каким ои привык и умел обращаться; рабочие, какие-то мужики, полугоспода, приказчики из лавок. Были и женщины.

— Смотри-ка,— сказал Иваи Иванович,— и бабы тут. Тоже работают.

— А отчего же им ие работать. Всяк должеи свою лепту.

— Выдрать бы их за эту лепту, вот что.

— Ну, и гадюка же ты! — удивился рабочий.— Тебе-то оии чем помешали? А еще скажешь, позову ребят, они тебя иаучат, в лучшем виде все поймешь.

— Граждане, а деретесь,— упавшим голосом возразил околоточиый.

— Мы-то граждаие, а ты-то сволочь. Вас да не бить, кого же тогда бить?

И опять стало скучио и беспокойио. Невдалеке стоял Петров и искоса иаблюдал, и все кругом было враждебиое, злое, обидиое в своей веселости. Еще вчера ои был лучше их всех и каждому мог дать по морде, а сегодия они считают себя лучше, а сами грязиые, оборваииые, подлецы. Шагах в пятидесяти, у лавки, стоял лавочиик, толстый, седой, и, заметив его, Иван Иванович осклабился и закивал ему головой: первый, иакоиец, хороший человек. Околоточиый часто забегал к иему в магазии поговорить по телефону, зиал его и понимал, что и ему теперь противио смотреть на это безобразие. И действительно, лавочник строго и внимательно глядел на выраставшую баррикаду, потом неодобрительно закачал головой и скрылся в дверях.

— Ага! — сказал околоточиый.

— Ты что?

— Ничего, так. Рано вы в граждане записались.

— Ты опять?

Лавочиик вышел. Впереди себя ои катил огромиую пустую бочку, подкатил ее к баррикаде и поставил. Поглядел издали, подперши щеку рукой, выхватил у соседа топор и разбил бочку, так что острыми ребра-

ми своими она расползлась в стороны, как своеобразный букет. И среди других голосов и смеха послышался и его густой и самодовольный смех.

— Попробуй-ка, перескочи!

Пытался Иван Иванович для доклада приставу запомнить работающих, но, кроме седого лавочника да одного дворника, который со двора таскал один какие-то огромные бревна, никого признать не мог. Да и Петров, заметив его внимательные, изучающие взгляды, погрозил ему пальцем, и Иван Иванович скромно опустил глаза. «Привязался»,— подумал он, а рабочему насмешливо, но тихо фыркнул:

— Даже и смотреть нельзя, скажите, пожалуйста, какие цацы!

— Глаз-то у тебя нехороший,— серьезно заметил старик.— Напрасно они тебя взяли. Самое бы хорошее: повесить тебя на баррикаде заместо красного знамени. И дешево и сердито!

— Что же тут хорошего!

Рабочий, видимо, шутил, но Иван Иванович не мог разобрать, где кончается шутка и начинается серьезное, и сердце у него порывами начинало сильно трепыхаться и начиналась изжога, как будто он много съел дурного, прогоркшего масла. Но проходил час и другой, и никто его не трогал, хотя многие грозились, а один мальчишка снежком залепил ему в голову. Мальчишку обругали, а Иван Иванович совсем успокоился и за себя и за пальто и уже начал понемногу распоряжаться и повышать голос:

— Куда кладешь?! За тот конец бери! За тот, говорю. О господи, вот же народ бестолковый!

Теперь он понимал, что такое баррикада.

— Упри его концом сюда, так,— чтобы остряком оно вперед. Так, верно!

И уже развязно подходил к Петрову:

— Господин Петров! Извольте приказать, чтобы ваши товарищи помогли мне снять вывеску. Мы ее посередке поставим.

Петров, не оборачиваясь, коротко ответил:

— Убирайся вон.

— Как же это так? — пожимает околоточный плечами, но на время затихает и сжимается, поглядывая как-то исподнизу, как побитая собака. А потом снова

овладел положением и постепенно повышал голос, сразу, впрочем, переходя на шепот, когда встречался взглядами с Петровым. Необходимо было показать, что он хоть и без пальто, но лучше других, чище и благороднее.

— А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не брались,— сказал он женщине в платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду.— Лучше бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались.

Он сказал тихо, спокойно, а женщина вдруг закричала, так что отовсюду посыпал народ.

— Что?! Это ты мне говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь!

И со всего размаха ударила его по щеке. Он схватил ее за платок и сорвал, но тут сразу десяток рук вцепились в него и приковали его к месту. И опять от ужаса онемели ноги.

— Я не виноват! Она... Я не виноват, честное, благородное слово! Я ей сказал...

Женщина плакала, сидя на салазках, и дружинники смотрели угрюмо. Петров глядел долго и внимательно и не выдержал — плюнул.

— Гуманность! — сказал он презрительно.

— Господин Петров! Господин Петров! — звал его околоточный.— Я ей сказал...

— Молчать!

И опять жизнь Ивана Ивановича, как ему казалось, повисла на волоске. Но женщина повязала платок, улыбнулась сквозь слезы и сказала:

— Ну его к богу.

Пришел молодой, сияющий. Он куда-то уходил и только сейчас вернулся, радостный и возбужденный.

— Надо его на нашу квартиру. Я был там, говорят,— всех доставляйте сюда. Хорошо!

— Что хорошо? — спросил Петров.

— Так. Все хорошо. Погода хорошая.

Когда Василий и двое других дружинников повели Ивана Ивановича, он вдруг остановился и громко закричал:

— А пальто? Я не могу без пальто. Мне холодно. Я простудиться могу.

Вернулись и взяли пальто. Оно так и лежало комочком, как положил его Иван Иванович. Шли молча и торопливо, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь; на Ивана Ивановича и его новое пальто не обращали никакого внимания. Теперь, когда было столько случаев расстрелять его и его не расстреляли, он проникся уверенностью, что впереди ему ничего серьезного не грозит, и смотрел на своих спутников с презрением.

— Послушайте, вы,— сказал он молодому,— как вы шашку нацепили? Разве так носят?

— А что? — спросил тот.

— А то. По ногам бьет, вот что. Подтянуть надо.

— Сойдет и так,— засмеялся молодой.— Сие не есть важно.

«Сие,— подумал Иван Иванович.— Вот еще дурак: сие»,— и с отвращением сплюнул.

— Куда вы меня ведете-то? — грубо спросил он.

Один из дружинников сердито взглянул на него и оборвал:

— Молчать!

И опять словно тяжелая крышка захлопнулась над головой околоточного. Стало душно и нехорошо, и хотелось не то плакать, не то ругаться, не то просить о чем-то. Совсем недалеко, где-то за белыми крышами, посыпались частые выстрелы. Дружинники остановились и беспокойно оглянулись.

— Надо свернуть,— сказал один.

— Ничего, пройдем,— ответил молодой.

— Лучше свернуть,— поддержал другой и вынул револьвер.— А у вас есть револьвер, товарищ?

— Нет,— беззаботно ответил Василий. Оказалось, что у всех троих был только один револьвер, и Иван Иванович злорадно улыбнулся. «Так, так»,— подумал он.

Свернули в коротенький, безлюдный переулок, густо покрытый давно не сгребаемым снегом. Но не успели сделать и нескольких шагов, как из-за поворота вылетел беспорядочной лавиной отряд драгун, человек двадцать пять или тридцать. Прошла только минута или полминуты, и все изменилось: дружинник, у которого был револьвер, одной струей выпустил все заряды и убежал за угол; еще раньше убежал его то-

варищ. А Василий зацепился за шашку, попавшую ему между ногами, упал, и верхом на нем сидел околоточный, бил его кулаком по затылку и не кричал, а шипел что-то, какое-то бесконечное свистящее ругательство.

Иван Иванович торжествовал. От бурного ликования, от ненависти, от злобы он как будто терял мгновениями сознание и захлебывался словами. Он то смеялся, то начинал обиженно плакать, то визгливо вскрикивал что-то непонятное и все порывался ударить Василия, которого держали за руки драгуны. Постепенно из криков, ругательств и плача выделились визгливые слова:

— Этот самый! Этот самый!

Он бесконечно повторял: «этот самый!» — вкладывая в эти слова весь свой страх, и ненависть, и обиду... Толстый офицер неподвижно сидел в седле и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника.

— Так как же? — сказал он, задыхаясь.— Расскажи, как там было. Покороче!

Иван Иванович рассказал, но не так, как было, а по-своему, и главным виновником нападения выставил Василия. И все время тыкал в него пальцем и кричал:

— Этот самый!

Василий молчал, был страшно бледен, и губы его дрожали. Снизу лицо его озарял чистый, еще не загрязненный снег, сверху падал на него отсвет холодного, белого зимнего неба, и не было уже молодости в этом лице, а только смерть и томление смерти. Сразу все кончилось. Сразу обрывалась жизнь, которая еще сегодня цвела так пышно, так радостно, так полно. Все и навсегда кончалось: глаза не увидят, и уши не услышат, и мертвое сердце не почувствует. Все кончилось.

— Так как же? — сказал офицер.— Надо его расстрелять. Он вас расстрелять хотел, а мы его расстреляем. Вот и будет хорошо.

Солдаты уже прицелились, когда офицер широко раскрыл глаза и закричал:

— Стой! Вы куда же это его поставили, а?

Солдаты не понимали.

— К окнам поставили, идиоты! Стекла побьете. К стенке поставить. Ну, так. Валяй. Нет, погоди. Ты слушай, отвернись! Не понимаешь? Спиной стань.

Он тихо ответил:

— Не хочу.

— Что? Что ты там бормочешь?

Он так же тихо повторил:

— Не хочу.

Иван Иванович громко засмеялся. Толстый офицер перевел на него тусклые и странно-добродушные глаза и сказал:

— Чего вы смеетесь? Это его дело. Не хочет так не хочет. Ну валяйте.

Когда все кончилось, офицер приказал одному солдату отдать свою лошадь Ивану Ивановичу, а самому сесть позади товарища. Уже тронулись и перешли на рысь, когда офицер внезапно закричал:

— Стой!

Остановились. Офицер тяжело повернулся к околоточному и озабоченно спросил:

— А шашку-то вы взяли?

— Вот она! — весело ответил Иван Иванович.

— Ну то-то. Трогай!

Теперь Иван Иванович чувствовал себя еще лучше, чем утром. В том же новом пальто он ехал на лошади, рядом с настоящим офицером, и хоть сильно подпрыгивал, но держался крепко. Жаль только, что публики не было: улица была пуста, и где-то за белыми крышами бухали пушки.

1908 г.

ПРАВИЛА ДОБРА

I



Кто нс любит добра?

Случилось так, что некий здоровенный пожилой черт, по тамошнему прозвищу Носач, вдруг возлюбил добро. В молодости своей, как и все черти, он увлекался пакостничеством, но с годами вступил в разум и почувствовал святое недовольство. Хотя по природе он был чертом крепкого здоровья, но излишества несколько пошатнули его, и пакостничать уже больше не хотелось; склонность же к порядку — добродетель, весьма распространенная среди чертей,— твердый, положительный, хотя несколько и туповатый ум, некая беспредметная тоска, особенно овладевавшая им по праздникам, и, наконец, неимение опоры в семье и детях, так как Носач остался холостяком,— постепенно поколебали его убеждение, будто ад и адские порядки есть окончательное воплощение разума в бессмертную жизнь. Он с жадностью искал работы, чтобы отвлечься от своих тяжелых сомнений, и перепробовал ряд профессий, прежде чем надолго и окончательно не устроился при одной маленькой католической церкви во Флоренции в качестве соблазнителя. Тут он, выражаясь его словами, отдохнул душою; и тут же, по времени, было положено начало его новой подвижнической жизни.

Церковь была маленькая, и работы Носачу представлялось немного. От мелких пакостей, на которые так склонны юные черти, как-то: задувание восковых свечей, подставление ножки псаломщику и нашептывание молящимся старухам беспричинных гадостей, он уклонялся, чувствуя скуку, серьезное же дело не навертывалось. Молящиеся всё были люди скромные,

тихие и дьявольским наветам поддавались туго: ни золотом, которого они не видали, ни огневой любовью, которой они не знали никогда, ни гордыми мечтаниями высокого честолюбия, совершенно чуждого их непритязательной жизни, не удавалось Носачу поколебать мир и тишину их неглубоких душ. Пустяковые же грехи они охотно творили сами, и не было у черта ни надобности, ни охоты даром тратить воображение на приискивание новых, тем более что круг маленьких грехов весьма ограничен. Пытался он первоначально ввергнуть в бездну соблазна самого попа, но и тут потерпел естественную неудачу: поп был старенький, беззубый, наполовину впавший в детство — и, как дитя, невинный. Если черту и удавалось во время богослужения вышибить у попа из памяти необходимые слова и заменить их неподходящими и даже соблазнительными; если удавалось обкормить попика кашей или заставить проспать утреннюю мессу,— то и в этом был только внешний, формальный грех, а грех настоящий отсутствовал: разницу между тем и другим прекрасно чувствовал прирожденный черт. И мало-помалу в свои прямые обязанности соблазнителя он начал вносить равнодушие и холод формализма: наскоро расскажет старухе неприличный анекдот, плюнет раза два-три в угол, заставит попика каждый раз в одном и том же месте перепутать слова, и поскорее усядется на свое излюбленное место в тени колонны — по украденному молитвеннику внимательно следит за службой.

Такое времяпровождение, хотя и приятное, было, однако, враждебно деятельной натуре пожилого черта; и, незаметно для себя, он втянулся в обиход церковный, разделил интересы домоправительства, стал чем-то вроде второго сверхштатного сторожа. По утрам подметал церковь и чистил медные ручки, во время службы поправлял лампады и вместе с верующими гнусаво подтягивал клиру: «Ora pro nobis»[1]. И, входя в церковь снаружи, он уже привычным жестом окунал лапу в кропильницу со святой водой и кропил себя, а когда все шли под благословение, то шел и он, слег-

[1] Молись за иас (грешных) — *лат.* У католнков завершающие слова молитв, обращенных к богоматери и святым.

ка толкаясь, по своей грубоватой дьявольской привычке. В редкие свои посещения ада, куда он являлся, как и все черти, с фальшивыми докладами, Носач все больше и больше преисполнялся отвращением к его шуму, гвалту, грязи и дикой неразберихе. Визгливые ведьмы, которым в свое время он отдал полную дань восторга, ныне преисполняли его чувством омерзения; и не одной из них со своею былою ловкостью он прищемил хвост в дверях, радуясь страху и мучениям несчастной.

И так как все непрерывно лгали и каждое слово каждого было ложью, и сатана лгал впереди всех и за всех, то начинала, с непривычки, болеть голова, и скорее хотелось на воздух.

После одной из таких побывок Носач с особым удовольствием вернулся в тихую церковь и двое суток, как убитый, спал за колонной; проснувшись же, принял видимость и решительно направился к попику в исповедальню: был именно тот час, когда верующие исповедывались.

Попик очень удивился, что незнакомый пожилой господин с тщательно выбритым, сухим лицом, имевшим постное и даже мрачное выражение благодаря огромному отвислому носу и резким складкам вокруг тонких губ, есть самый настоящий черт. Но когда Носач клятвенно подтвердил свое заявление, стал с детским любопытством расспрашивать его об адских делах. Но черт только отмахивался рукой и угрюмо ворчал:

— Ах, и не говорите, святой отец, это — не жизнь, а чистый ад.

— А где же твои рога? — спрашивал поп.— И где же твои копыта? И ты зачем ко мне пришел: соблазнить меня хочешь или покаяться? Если соблазнить, то напрасно,— меня, сударь, соблазнить нельзя.

Попик засмеялся и похлопал его по плечу.

— А кашу помните? — угрюмо спросил черт.

— Какую кашу? — удивился попик.

— А на той неделе, в субботу, помните? Вы еще много съели, помните?

Попик заволновался:

— Так это ты мне? Ай-ай-ай-ай-ай! Поди прочь! Поди прочь отсюда, не хочу тебя и видеть! Надевай свои рога и уходи, а то сторожа позову.

— Я покаяться пришел, а вы меня гоните! — уныло сказал черт.— Аще, сказано, одну заблудшую овцу...

— Так ты и Евангелие знаешь! — удивился старичок.

Черт строго и гордо ответил:

— Проэкзаменуйте.

— Так, так, так! Ты, значит, серьезно,— а?

— Проэкзаменуйте.

— Ну, и удивил же ты меня... не знаю, как тебя назвать, ах, удивил. Пойдем же ко мне, я тебя поэкзаменую: тут тебе пока не место. Скажите, пожалуйста, черт, а Евангелие знает!.. Пойдем! Пойдем!..

И целый вечер у себя на дому попик экзаменовал Носача и восторженно удивлялся:

— Да ты богослов! Ей-богу, богослов. Ты занимался, что ли, этими вопросами?

— Занимался-таки,— скромно подтвердил черт. Вообще хотя он держался и скромно, но с большим достоинством, не лебезил, не забегал вперед, и сразу видно было, что это — черт строгий и положительный. Своими огромными познаниями он нисколько не кичился и все больше и больше нравился добродушному старому попику.

— Так чего же ты хочешь? — спросил поп.

Черт с размаху бухнул на колени и завопил:

— Святой отец, разрешите и научите меня творить добрые дела! Стосковался я о добре, святой отец. Жить не могу без добра, а как его творить, еще не ведаю. От сатаны же и от дел его отрекаюсь вовеки: тьфу, тьфу, тьфу!

Когда волнение поулеглось, попик благодушно потрепал черта по плечу, для чего ему пришлось приподняться на цыпочки: Носач чуть не вдвое был выше ростом. От прикосновения черт устранился,— он не любил фамильярного обращения,— и с угрюмостью, составлявшей главную черту его характера, настойчиво спросил:

— Так как же, святой отец, научите?

— Добру-то? Можно. Это можно! Но только

знаешь ли ты творения святых отцов? В библии ты силен, но этого, дружок, пожалуй, маловато. Да, маловато! Иди-ка погуляй, а я тебе вечерком составлю списочек: что читать.

Черт уже выходил, когда попик, с любопытством глядевший на его широкую спину, остановил его вопросом:

— Послушай, милейший: ты всегда это носишь?..

— Одежду?

— Нет, все это,— попик неопределенно очертил рукою фигуру дьявола,— вот у тебя нос этакой грушей... у тебя всегда так? И лицо у тебя очень постное, как будто ты мало кушаешь, и одежда у тебя черная... Мне это нравится, но всегда у тебя так, или же ты имеешь и другой вид? Если имеешь, то покажи, пожалуйста: я хоть и стар, а чертей еще никогда не видал.

Дьявол мрачно солгал:

— Другого вида не имею.

— Нет? Ну, что ж поделаешь: нет, так и нет. Иди же погуляй, а я поработаю. Хоть я давеча и сказал тебе комплименты, что ты богослов, но ты еще мало...— попик значительно поднял палец,— очень еще мало знаешь. Да!

— А про добро узнаю? Мне главное про добро узнать.

Попик успокоительно сказал:

— Про все узнаешь. Столько книг прочесть, да не узнать: какой ты, брат, мнительный!

Два года сидел черт над книгами и мучительно доискивался: что есть добро и как его делать так, чтобы не вышло зла. С древнееврейским языком черт и раньше был хорошо знаком, а теперь изучил еще и греческий: все читал в подлиннике, сверял, отыскивал ошибки, доселе ускользавшие от общего внимания, не без остроумия и даже убедительности создавал новые богословские схемы, впадая в несомненную ересь. Совсем измучился и даже похудел, но ответа на свой вопрос так-таки найти не мог и впал под конец в отчаяние. Два года терпел, ничего, а тут так вдруг загорелось и так страшно стало, что пошел к попу среди ночи и разбудил его: помогите!

— Ну, говори, несчастный, что такое у тебя случилось?

— Да то и случилось, что прочел я все ваши книги, а как допрежде не знал добра, так и теперь не знаю. Жить мне тошно, святой отец, и тьма ночная пугает!

— Да все ли ты прочел? Ой, не пропустил ли чего? Тороплив ты, сударь.

— Сейчас последнюю кончил. Умен я, святой отец, вот в чем мое горе: ум у меня дьявольский, тонкий, не терпящий противоречия: и раньше я других на противоречиях ловил, а теперь вот и сам попался!

Попик укоризненно покачал головою.

— Мудрствуешь?

— То-то и беда, что мудрствую. Вон у добрых людей, рассказывают, голос такой есть внутренний, указующий пути добра, а какой может быть у дьявола голос? Только от ума и действует дьявол. А как начал я с умом читать эти ваши книги, так только одни противоречия и вижу: и то можно и другое можно, и того нельзя и другого нельзя. Вот хочу я для начала земной моей жизни вступить с хорошей женщиной в брак и совместно с нею творить добро, а как начитался ваших книг, так и не знаю теперь: добро есть брак или зло.

— Могий вместити...

— Вместить-то я много могу, да не знаю, что вмещать. Вот вы, святой отец, безбрачны, и в этом даже ваша святость, а патриархи не хуже вас были, а жен имели даже по нескольку. И не будь бы в браке святые отцы Иоаким и Анна, то не было бы у них дщери...

Попик даже испугался и замахал рукой отчаянно:

— Молчи, молчи, грешник! С тобой и говорить опасно,— того и гляди, сам в ересь впадешь! Уж лучше женись, если не можется.

— Да разве это ответ?

— А что же тебе надобно, горлеливый?

— А мне такого ответа надо, чтобы годился он на все времени и для всяких случаев жизни, и чтобы не было никаких противоречий, и чтобы всегда я знал, как поступить, и чтобы не было никаких ошибок,— вот чего мне надо. Жениться я погожу, а вы пока подумайте. Даю вам семь дней сроку, а не по-

зовете меня через семь дней, вернусь я в ад,— поминай как звали!

Даже рассвирепел черт: вот до чего захотелось ему добра! Понял это добрейший попик и, не рассердившись нисколько, старательно думал шесть дней, а на седьмой позвал к себе дьявола и сказал:

— Черт ты внимательный, а главное-то в книгах и проморгал, да. Читал, что сказано: возлюби ближнего, как самого себя. Ясно ведь, а? — торжествовал попик,— возлюби — вот тебе и все.

Но измученный черт нимало не обрадовался и мрачно ответил:

— Нет, не ясно. Раз я про себя не знаю, что мне нужно, и желания мои неясны и даже противоречивы, то как же другому буду я благодеяния оказывать? Живым манером в ад его вгоню, опомниться он не успеет.

— Экий ты — не знаю, как тебя назвать,— раскоряка! Ну, не можешь ты, как самого себя, то просто возлюби. И когда возлюбишь, то все и увидишь, и все поймешь, и добро без усилий сотворишь: узенькая будет у тебя тропочка по виду, как канат натянутый, а никуда с нее не упадешь и ни в какую трясину не взвалишься.

— Возлюби! — мрачно ухмыльнулся Носач,— возлюбить-то я и не могу. Какой же был бы я черт, если бы мог возлюбить?.. Не черт бы я был, а ангел, и не я тогда у вас, а вы бы у меня учились. Поймите же меня, святой отец, потрудитесь: не могу я по природе своей любить ангельской любовью, но и зла делать не желаю, а хочу творить добро — вот вы этому самому меня и научите.

Сказал попик сокрушенно:

— Природа твоя гнусная.

— На что гнуснее! — согласился черт угрюмо: — вот потому-то и бороться с нею хочу, а не камнем на дно идти. Не для одних же ангелов небо, имею же и я право стремиться к небесам? — вот вы мне и помогите. Даю вам еще семь дней сроку, а не поможете,— махну на все рукою и провалюсь в тартарары!

Прошло еще семь дней, и, позвав мрачного черта, сказал ему попик следующее:

— По многом размышлении нашел я для тебя, несчастный, два весьма вразумительных правила: полагаю, что не промахнешься. Сказано: если кто попросит у тебя рубашку, то ты и последнюю отдай. И еще того лучше сказано: если кто тебя по одной щеке ударит, то ты и другую подставь. Делай так, как сказано, вот тебе и будет урок на первый раз, и сотворишь ты добро. Видишь, как просто!

Черт подумал и радостно осклабился:

— Это другое дело. Не знаю, как и благодарить вас, святой отец: теперь я знаю, что такое добро.

Но оказывается, что и тут не узнал он добра. Прошло две недели, и уже стал успокаиваться обрадованный попик, как снова явился к нему черт; и был он мрачнее прежнего, на лице же имел кровоподтеки и ссадины, а на плечах, поверх голого и темного тела, трепалась совсем новенькая рубашка.

— Не выходит,— мрачно заявил он.

— Что не выходит? — встревожился попик.— Лицо у тебя такое неприятное,— ах, боже ты мой,— и над глазом синяк... а нос-то, нос-то!.. Что же это ты, милейший, пошел добро творить, а вместо того — подрался. Или, может быть, ты с лестницы упал? — ничего я не понимаю.

— Нет, подрался.

— Да я же тебе говорил: аще кто ударит тебя по левой щеке, подставь правую. Помнишь?

— Помню. Две недели ходил я, святой отец, по городу и все искал, чтобы меня по щеке ударили, но никто меня не ударил, и не мог я, святой отец, выполнить заветы добра.

— А драка-то? А это что же такое?

— Это совсем другое дело. Заспорил я с одним гражданином, и он меня ударил тростью по голове, вот по этому месту,— черт указал на темя.— Тогда я его,— так мы и подрались: и скажу вам, не хвастаясь: я ему два ребра сломал.

Попик отчаянно замотал головой.

— Ах, господи, да ведь сказано же тебе: «Аще кто ударит тебя по левой щеке...»

Но черт кричал еще громче:

— Говорю же вам: не по щеке, а вот по этому месту! Сам знаю, что когда по щеке, то нужно

другую, а он по этому месту. Вот шишка,— попробуйте.

Руки опустились у несчастного попика. Отдышавшись, сколько следовало, сказал он с горечью:

— Ну, и дурень же ты. Ум у тебя глубокий, человек ты, или, как бы это сказать, высокообразованный, а в отношении добра любая курица больше тебя понимает. Как же ты не понял, что святые слова сии имеют распространительное толкование. Дурень ты, дурень!

— Вы же сами говорили — толкований никаких не надо.

— Да,— горько усмехнулся попик,— толкований никаких не надо,— ты так думаешь! Ну, что я буду с тобой делать, сам ты сообрази, ведь не могу же я с тобой по городу ходить. Сидел бы ты лучше дома. А что это за рубашка у тебя — подарил кто-нибудь?

— Сам я хотел ее подарить, да никто так ни разу и не попросил. Две недели ходил по городу среди самых бедных людей, и чего только у меня ни просили, а рубашки так никто и не догадался попросить,— уныло вздохнул черт.— Видно, сами они не понимают, что такое добро.

— Ах, несчастный,— снова заволновался поп,— вижу я, что наделал ты большого зла. Просили тебя, говоришь, о многом?

— Просили.

— И хлеба, например, просили?

— Просили.

— А ты ничего и не дал?

— Я все ждал, чтобы рубашку попросили. Не ругайте же меня, святой отец, и я сам вижу, что плохо мое дело. Да ведь хочу же я добра, подумайте, недаром же я от сатаны отрекся, недаром же я два года, как студент, сидел над книгами. Нет, видно, не будет мне спасения.

— Ну, ну, погоди, не отчаивайся, я тебя еще поучу. А скажи, за что тебя гражданин-то этот палкой ударил? Может быть, ты невинно пострадал, за это много прощается.

Черт развел руками.

— Уж и не знаю: тогда думал, что невинно, а теперь начинаю и в этом сомневаться. Так было дело.

После долгих моих скитаний по городу, утомленный, но по-прежнему пылающий жаждою добра, присел я на берегу Арно отдохнуть, чтобы набрать сил для нового хождения. И вижу: утопает в реке неведомый человек, закружило его водоворотом, и носится он с необыкновенной быстротой. Раз он проплыл мимо меня, и другой, и третий...

— И четвертый?

— Да и четвертый. И пока я размышлял, отчего он не тонет, приписывая это чудесное явление силе невиданных подводных течений, собрался на его крик народ, и тут,— теперь мне стыдно об этом рассказывать,— произошла эта самая скверная драка. Должен вам пожаловаться, святой отец: меня не один этот гражданин,— меня и другие били.

Стоял черт, опустив длинные руки, бессильные творить добро, и отвислый нос его, пораненный ударом, выражал уныние и крайнюю тоску. Посмотрел на него попик искоса и недружелюбно, еще раз взглянул, радостно вздохнул почему-то и, подойдя близко, наклонил к себе тугую голову дьявола и поцеловал его в лоб. И тут еще заметил: на темени, у самого корня седых волос, запеклась кровь. Дьявол покорно принял поцелуй и шепотом сказал:

— Страшно мне, святой отец! Видел я в аду крайние ужасы, до последнего страха касалась моя душа, но не трепетала столь мучительно, как теперь. Есть ли что страшнее: стремиться к добру так неуклонно и жадно и не знать ни облика, ни имени его! Как же люди-то на вашей земле живут?

— Так и живут, миленький, как видишь. Одни в грешном сне почивают, а кои пробудились, те мучатся и ищут, как и ты, с природой своей борются, мудрые правила сочиняют и по правилам живут.

— И спасаются? — недоверчиво спросил черт.

— А это уж одному богу известно, и нам с тобой в этот конец даже и заглядывать не годится. Да ты не отчаивайся, миленький, я уж тебя не оставлю, я тебя и еще поучу, у меня много времени свободного. Черт ты старательный, и все у тебя пойдет по-хорошему, только в уныние не впадай, да ранку на голове промой холодной водой, как бы не разболелась.

Так кончили они разговор; и не знали они оба, ни

огорченный унылый дьявол, ни сам попик с благостной душой, когда он лобызанием любви касался противного дьявольского чела, а дьявол в свою очередь жалел жалостью любовной мечущихся людей, что как раз в эту минуту совершалось то самое добро, имени и порядка которого тщетно доискивались оба.

Так и разошлись, не зная: попик — к себе, приискивать новые правила добра для поучения, а дьявол — к себе, в темноту запыленных углов, чтобы там зализывать раны и тщетно допрашивать бога об его грозных и непонятных велениях.

II

Вот и снова начал благостный поп обучать добру непокорную дьявольскую душу,— но тут-то и начались для обоих самые тяжкие мучения.

Пробовал попик давать подробные наставления на разные случаи жизни, и выходило хорошо, пока случаи совершались в том самом виде и в том порядке, в каком предначертал их его наивный ум. Не только со старательностью, а даже и со страстью, проявляя силу воли необыкновенную, черт выполнял предписанное. Но всего многообразия жизненных явлений не мог уловить в свои плохонькие сети человеческий ум, и ошибался черт ежеминутно. В одном месте сделает, а рядом пропустит, потому что вид другой и слова у просящего не те; а то бывает, что и черт не дослышит, либо не так поймет,— и опять ошибка, человеку обидно, а добру поправие. Уже и у попика начал мутиться разум: никак он до тех пор не предполагал, чтобы столько было у жизни лиц, темных загадок, вопросов неразрешенных.

«И откуда это все берется? — думал попик, пока черт в углу зализывал новую рану или тяжко вздыхал от гнетущего бессилия.— То ничего не было, а то вдруг так все и полезло, так все и полезло. Тут не только черт, а и священнослужитель не разберется. Но как же я раньше разбирался? — удивительно! Боюсь я этого, а ничего не поделаешь: надо попробовать распространительное толкование. Дам ему этакие общие законы, а он их пусть распространяет... Только бы не вышло чего, о господи!»

И на распространительное толкование черт покорно согласился: измучился он к этому времени до последней крайности и готов был на всякие жертвы,— да не принимались его жертвы. Били его столько, что за одно это он мог бы попасть в мученики, а выходило так, что и побои не только его не украшали, а налагали ярмо все нового и нового греха. Ибо за дело его били, и не могли этого не признать ни он сам, ни его великодушный покровитель. Уже и плакать черт научился, а раньше совсем как будто и слез не имел. Плакал он столько, что, казалось бы, за одни эти одинокие слезы и неутомимую тоску о добре мог бы попасть он в угодники, а выходило так, что и слезы не помогали, ибо не было в них творческой к добру силы, а только грешное уныние. Только и надежды теперь оставалось, что на распространительное толкование.

И совсем приободрился черт и даже с некоторою гордостью сказал попу:

— Теперь вы за меня, святой отец, не бойтесь: теперь я и сам могу. Это раньше мне трудно было, а раз теперь вы допускаете толкование, я уже не собьюсь. Ум у меня положительный, твердый, пить я уж давно ничего не пью, и никаких ошибок теперь уже быть не может. Только вы не таитесь от меня, а прямо скажите самый важный и самый первый закон, по которому жить. Когда этот закон исполню, тогда вы и другие мне скажете.

Собрал всю свою науку, все свои соображения старый попик, взглянул и в душу к себе,— вздохнул радостно и не совсем решительно сказал:

— Есть один такой закон, но только боюсь я тебе его открыть: очень он, как бы это сказать, опасен. Но так как на все есть воля божия, то, так и быть, открою, ты же смотри не промахнись. Вот, смотри.

И, раскрыв книгу, трепетно указал черту на великие и таинственные слова:

НЕ ПРОТИВЬСЯ ЗЛУ

Но тут и черта покинула его гордыня, как увидел он эти страшные слова:

— Ох, боюсь,— сказал он тихо.— Ох, промахнусь я, святой отец!

Было страшно и попу; и молча, объятые страхом, смотрели друг на друга черт и человек.

— Попробуй все-таки,— сказал, наконец, поп.— Тут, видишь ли, хоть то хорошо, что тебе самому ничего делать не нужно, а все с тобой будут делать. Ты же только молчи и покоряйся, говоря: прости им, господи, не ведают, что творят. Ты эти слова не позабудь, они тоже очень важны.

Вот и ушел черт в новые поиски добра; два месяца пропадал он, и два месяца, день за днем, час за часом, в волнении чрезвычайном поджидал его возвращения старый поп. Наконец вернулся.

И увидел поп, что черт совсем исхудал,— одна широкая кость осталась, а от мяса и след пропал. И увидел поп, что черт голоден, жаждет, до голого тела обобран придорожными грабителями и много раз ими же избит. И обрадовался поп. Но увидел он и другое: из-под закосматившихся бровей угрюмо и странно смотрят старые глаза, и в них читается все тот же непроходящий испуг, все та же неутолимая тоска. Насилу отдышался черт, харкнул два раза кровью, точно по каменной мостовой бочонок из-под красного вина прокатили, посмотрел на милого попа, на тихое место, его приютившее, и горько-прегорько заплакал. Заплакал и попик, еще не ведая, в чем дело, и наконец сказал:

— Ну, уж говори, чего наделал!

— Ничего я не наделал,— печально ответил черт.— И было все так, как и надо по закону, и не противился я злому.

— Так чего же ты плачешь и меня до слез доводишь?

— От тоски я плачу, святой отец. Горько мне было, когда я уходил, а теперь еще горше, и нет мне радости в моем подвиге. Может быть, это и есть добро, но только отчего же оно так безрадостно? Не может так быть, чтоб безрадостно было добро и тяжело было бы его творящему. Ах, как тяжело мне, святой отец. Присядьте, а я вам расскажу все по порядку, вы уж сами разберете, где тут добро,— я не знаю.

И долго рассказывал черт, как его гнали и били, морили жаждою и грабили по пустынным дорогам. А в конце пути случилось с ним следующее:

— Лежу я, святой отец, отлеживаюсь на камне, что при дороге. И вижу я: идут с одной стороны два грабителя, злых человека, а с другой стороны идет женщина и несет в руках нечто, как бы драгоценное. Говорят ей грабители: отдай! — а она не отдает. И тогда поднял грабитель меч...

— Ну! — вскричал попик, прижимая руки к груди.

— И ударил ее мечом грабитель, и рассек ей голову надвое, и упало на дорогу нечто драгоценное, и когда развернули его грабители, то оказалось оно младенцем, единым и последним сокровищем убитой. Засмеялись грабители и один из них, тот, что имел меч, взял младенца за ножку, поднял его над дорогою...

— Ну! — дрожал поп.

— Бросил и разбил его о камни, святой отец!

Поп закричал:

— Так что же ты! Так как же ты! Несчастный! Ты бы его палкой, палкой!

— Палку у меня раньше отняли.

— Ах, боже мой! Ведь ты черт, ведь у тебя же есть рога! — ты его бы рогами, рогами! Ты бы его огнем серным! Ведь ты же, слава богу, черт!

— Не противься злому,— тихо сказал черт.

Было долгое молчание.

Побледневший попик как стоял, так и пал на колени и покорно сказал:

— Моя вина. Не ты, не грабители убили женщину и ребенка,— я, старый, убил женщину и ребенка. Отойди же в сторону, мой друг, пока я помолюсь за наш великий человеческий грех.

Долго молился поп; окончивши молитву, разбудил уснувшего черта и сказал ему:

— Не для нас с тобой эти слова. И вообще не нужно ни слов, ни толкований, ни даже правил. Вижу я, что иногда хорошо любить, а иногда хорошо и ненавидеть; иногда хорошо, чтобы тебя били, а иногда хорошо, чтобы ты и сам кого-нибудь побил. Вот оно, сударь, добро-то.

— Тогда я пропал,— решительно и мрачно заявил черт.— Для себя вы как хотите, а мне дайте правила.

— А ты и опять промахнешься и меня подведешь: нет, сударь, довольно! — Попик даже рассердился.— Нету правил. Нету и нету.

— А раз правил нет, так и добра никакого нет.

— Что? Добра нет? А что я с тобой, с чертом, разговариваю, что я тебя, черта, учу, это — не добро? Поди, сударь, неблагодарный ты это, как бы сказать, господин!

Но то ли озлобился черт, то ли вновь до отчаяния дошел,— уперся мрачно и ворчит:

— То-то много вы меня научили, есть чем похвалиться!

— Да разве черта научишь?

— А раз черта не научишь, так чего же ваше добро стоит? Ничего оно не стоит!

— Эй, прогоню!

— Прогоняйте, если не жалко. Я в ад пойду.

Помолчали. Черт спросил:

— Так как же, святой отец, идти мне в ад?

Даже прослезился попик: так жалобно спросил его черт, и поклонился низко, говоря:

— Прости меня, миленький, обидел я тебя. А относительно добра вот что я тебя спрошу: черт ты любознательный, и во многих ты бывал храмах и хранилищах искусств, и много ты видел творений великих мастеров,— нравятся ли они тебе за красоту?

Черт подумал и ответил:

— Какие нравятся, а какие нет.

— А слыхал ли ты, чтобы для красоты были правила?

— Какие-то, говорят, есть.

— Какие-то! А можешь ли ты, раскоряка, узнав сии какие-то правила, сотворить красоту?

— Какой у меня талант? Нет, не могу.

— А добро без таланта творить хочешь? Тут, миленький, для добра-то таланта требуется еще больше, да. Тут такой талант нужен!

Черт даже засвистал:

— Вот оно что! Нет, святой отец, это вы уж через край хватили! Если я плохую картинку напишу, меня за это в ад не пошлют, а если я ближнему голову сверну, так ведь какой содом подымется! Да картинку-то меня никто писать и не понуждает, а добро, говорят, твори. Твори,— а правил не дают; твори,— а в чем дело не объясняют, да за каждую промашку в потылицу!

— Талант нужен, миленький!

— А если его у меня нет, так в ад мне и идти?

Поп покачал головою и руками развел:

— Уж и не знаю, голубчик, сам голову с тобою потерял.

— Знать не хочу вашего таланта! Правила мне давайте! Я не картинки писать хочу, а добро творить,— вот вы меня и учите, хоть сами выдумайте, а учите!

Совсем разбушевался несчастный дьявол, под конец пригрозил даже пойти к другому попу. Старик даже обиделся и укоризненно сказал:

— Вот уж это нехорошо, дружок! Сколько я на тебя труда положил, вот, думал, приведу к богу новую овцу, полюбил тебя, как сына, а ты хочешь к другому. У меня тоже самолюбие есть, за что же ты меня обижаешь? Ты меня лучше не обижай. А я тебе вместо правил, с которыми и человеку-то опасно, дам урок на каждый день. Времени у меня свободного много, и сяду я за труд: с самого раннего утра очерчу тебе каждый день, сколько их есть в году, что и как делать. Но только от писаного не отступай ни на единую черточку, а то ты сейчас же промахнешься; если же будут сомнения у тебя или что позабудешь, то в этих случаях бездействуй. Как бы тебе это сказать: закрой глаза, заткни уши и стой как истукан. Нынче же сажусь за работу, а ты иди наверх, приютись где-нибудь под крышей и бездействуй, пока не скажу. Если же скучно будет, то помогай звонарю,— он совсем у меня от старости ослабел и не в те веревки дергает. Звони себе во славу господню!

Вот и сел старый поп за свой великий труд, а черт начал бездействовать. Для этой цели разыскал он среди темных чердачных переходов, поблизости от колокольни, комнату не комнату, а так помещение: четыре стены глухие, вместо двери низкий сводчатый лаз, и только на одной стене, высоко над полом, светлело глубокое, запыленное, крытое паутиною оконце. Раз в два или в три дня приносил ему попик скудную пищу и присаживался для недолгой душевной беседы, а в остальное время, никого не видя, черт бездействовал и размышлял. Против этих размышлений напрасно предостерегал его попик, говоря,

что у дьявола его размышления есть действие; и притом вредное,— черт хоть и соглашался, но ничего поделать с собою не мог. Трудно было не думать об испытанном, а как начнет думать, так и покажутся со всех сторон мутящие разум противоречия: скользит прекрасное добро, как тень от облачка над морской водою, видится, чувствуется, а в пальцы зажать нельзя. Кому же верить, как не богу, а сам бог нынче одно говорит, завтра другое, а то и сразу говорит и то и другое; в каждой руке у него по правде, и на каждом пальце по правде, и текут все правды, не смешиваясь, но и не соединяясь, противореча, но где-то такое в своем противоречии странно примиряясь. Но где? — не может найти этого места несчастный черт. И от этого овладевает им крайний человеческий ужас, и страшно не только двинуть рукою, да и вздохнуть-то страшно.

— Ну, как,— спрашивает попик,— соскучился? Ничего не поделаешь, потерпи, миленький, скоро авось и кончу, тогда вот как заживешь. Здоровье у меня только плохое, и смерть близко,— ну, уж как-нибудь доведу, не оставлю тебя, сирого.

Черт еле слышно шепчет:

— Противоречия.

— Опять! — ужасается попик.— И где ты их только находишь? Это в разуме, брат, да в словах всякие противоречия, так на то он и разум, и не может без того, чтобы все четыре колеса не в одну сторону вертелись; а в совести, брат, все течет согласно.

Черт криво усмехнулся:

— Хорошо вы говорите, святой отец: так, значит, не бывает, что три колеса в одну сторону вертятся, а четвертое в другую?

— Ну и дурень! Конечно, не бывает.

— А вы говорите, что бывает.

— Я говорю? Да что ты на меня, миленький, валишь? Сам запутался, а на меня валишь. У меня и то после каждого разговора с тобою голова болит, а мне голова нужна, я для тебя же, дурака, работу сочиняю. Какой ты, брат, неприятный, как бы это сказать, господин. Лучше скажи-ка: строго бездействуешь или допускаешь послабления?

Черт угрюмо вздохнул.

— Строго. Вчера вот только муху убил, очень она на лицо липла, и не знаю, можно это или нельзя?

— Муху-то? — засмеялся попик.— Муху можно! Постой... Ну, вот и опять сбил ты меня, несчастный: то ли можно, то ли нет,— теперь уж и сам не знаю. Не взыщи, брат: сам меня запутал. Пока ты меня не спрашивал об мухе,— знал я хорошо, что бить их можно, и неоднократно бил, а вот теперь...

— Живая она,— мрачно сказал черт.

— Да, да, живая! — огорчился попик.— Так и я, значит, живых мух бил? Вот грешник! Ай-ай-ай, вот грешник!

Но черту этого мало. Ему нужны вывод и твердое решение.

— Значит, нельзя мух бить? Вы прямо скажите.

— Мух-то? — недоумевает попик.— Ты про мух говоришь?

И до того, случалось, они договорятся, что оба впадут в полное одурение и долго, не мигая, смотрят друг на друга. Но только у черта одурение было надменное и как бы снисходительное, а у попика тихое и скоропреходящее: еще до своей келейки после разговоров не успеет дойти, как все противоречия забыл, развеселился, а потом в благостном настроении уселся за тяжелую для дьявола работу. И мух опять бьет, и даже не без злорадства.

Но что за мухи для дьявола! Стоит он со своею непомерною дьявольскою силой, готовый сокрушить горы, и не знает, как поступить с ничтожной мухой, надоедливо ползающей по мрачному, изборожденному лицу, еще хранящему темный отблеск адских неугасимых огней. Что за муки для дьявола! Тонкий ум, изощренный в упражнениях, способный одним колебанием своим создать как бы новый, великий мир, в ужасном бессилии останавливается перед ничтожнейшим вопросом. А муха ползает, а муха надоедливо жужжит, забирается в волосатое ухо, глупо и нагло щекочет мрачно стиснутые губы, бесстыжая, нелепая, даже не подозревающая о тех страшных безднах, над которыми издевается бессмысленно! Многих и многого ненавидел дьявол; много и многого он страшился, но так и не узнала его душа образа

более ненавистного и страшного, нежели образ ничтожной мухи, ползающей по лицу.

Но все хуже здоровье попика, одолевает его белая старость. Попишет немного и полежит, и больше лежит, чем работает, а уже три года томится заключенный в бездействие дьявол и ждет обещанного добра. Поняв свою выгоду, уже не тревожит попика противоречиями, а только жалобно торопит:

— Ах, поскорей бы, святой отец!

— Не бойсь, миленький, не умру,— успокаивает его попик.— По моему расчету мне еще с полгодика осталось. Да, брат, с полгодика! А работа уже к концу подходит. Не пугайся, не волнуй себя. А я тебя сегодня как раз порадовать пришел: нынче одного еретика жечь будут, так пойдем с тобою, посмотрим, повеселимся.

«Сказано: не убий»,— мрачно подумал черт, глядя на улыбающегося попика, но вслух ничего не сказал и охотно собрался в путь, так как очень соскучился от долгого заключения.

Еретика долго жгли, и народ радовался. Приятно было и черту: немного напоминало ад; но вдруг вспомнилась муха, которой он не смел тронуть, и сразу затрещали в голове противоречия. Взглянул с тоскою на попика: тот покачивается от слабости, от волнения бледен, дрожат старческие руки, на голубеньких глазах слезы, а весь лик радостен и светится неземным светом. Жгли в аду и черти, но не было же святости в их лице! Ничего не может понять обезумевший дьявол. А попик-то радуется, даже светится весь! И от волнения, как только домой пришли, в постель слег, ослабел очень от радости. Не выдержал черт и, насупившись, вступил в диспут:

— Хотел бы я знать, чему вы радуетесь, святой отец?

— А как же? Еретичка сожгли! — ответил попик тихо и умильно.

— Так ведь сказано же: не убий! А вы человека убили и радуетесь.

— Никто его не убивал, что ты, миленький!

— Да ведь сожгли же его или нет?

— Слава богу, сожгли, сожгли, миленький!

Даже глаза закрыл от умиления и лежит себе, та-

кой беленький, чистенький, невинный, как младенец. «Неужто и здесь противоречие только в разуме да словах, а в совести его все течет согласно? — думал дьявол, беспомощно потирая рукой шишковатый лоб.— Ничего не понимаю! Видно, не в том добро, что делать, а в том, как делать... Нет, ничего я не понимаю, пусть он пишет свои уроки, а я уж до времени притаюсь, пальцем не шевельну!»

И с того времени в одиночество свое уже не возвращался, а остался при ослабевшем старце в качестве прислужника: подавал ему пищу, убирал келейку и с дьявольской силой и упоением чистил старое попиково платье, будучи уверен, что уже здесь-то наверное греха нет. Когда же, превозмогая слабость, садился поп за продолжение своего труда, черт вытягивал свою длинную, жилистую шею и через плечо с жадным любопытством заглядывал: ох, не промахнуться бы попу! Ох, не подвести бы ему несчастного черта: ведь последняя надежда.

Но вот и кончена рукопись, а с нею как будто кончена и жизнь старенького попа. Уже не поднимается он с постели и последние строки начертал лежа: неразборчивы они и кривы, но тем дороги, что последние. На коленях принял черт великий дар и громко с истинным наслаждением поцеловал сухую руку.

— Что, рад небось? — спросил попик.— Ну, радуйся, радуйся, давно пора. Только смотри, опять не промахнись!

— Теперь не промахнусь,— уверенно ответил черт.— Если только вы там в чем-нибудь не промахнулись, но это уж ваше дело; а я буду исполнять точно, как сказано.

— Черт ты старательный, это верно. И рукопись, смотри, не потеряй, другой не будет. Где ты думаешь подвизаться? Если поблизости, то загляни как-нибудь, навести, мне без тебя будет скучно. Привык я к тебе, дружок. Прежде я все твоему носу удивлялся, а теперь, знаешь ли, мне даже и нос твой нравится. Это ничего, что он отвислый: у многих людей бывают отвислые носы. Так где же ты думаешь подвизаться?

— Пойду по всему миру! — самонадеянно ответил черт.— Эх, пожили бы вы еще с полгодика,— много тогда хорошего рассказал бы я вам, святой отец! Вот до чего я хочу творить добро,— черт сжал огромные кулаки и яростно потряс ими,— что это только видеть надо, как я начну работать!

Так и ушел черт в ликовании, но вот что дальше случилось. Вместо того, чтобы сразу начать действовать по наставлениям, что, конечно, было бы самое лучшее, он отправился в ад для проповеди. Потерял ли он соображение от радости, гордыня ли его обуяла и захотелось похвастаться перед своими, или просто потянуло его к родным местам,— но только от попика прямою дорогою, мимо не колеблясь, полетел он в ад. И что же вышло? Только начал он проповедовать, а другие черти выскакивают вперед его и тоже проповедуют и даже с еще большей силой, так как свободно лгут. И в одно мгновение вся правда превратилась в ложь, и самые святые слова, яростно выкликаемые чертовскими глотками, приняли непристойный и страшный вид. Минуты, кажется, не прошло, а уж весь ад наполнился проповедниками и святыми; и впереди всех, обрадованный новой потехой, гнусавил псалмы вдребезги пьяный сатана. Визгливые истасканные ведьмы разыгрывали целые комедии на тему о благочестии и высоких подвигах; и никогда еще ад, даже в большие свои праздники, не был таким адом, как в этот несчастный день! А потом начались откровенные непристойности и всеобщая драка,— и больше всего попало Носачу, давно не упражнявшемуся и в значительной степени потерявшему ловкость. Но что самое печальное,— в драке у него порвали рукопись, и когда, отбившись от стаи шаловливых ведьм, он взглянул на свое сокровище,— горю и стенаниям его не было предела. В ярости он оскорбил самого сатану, назвал его лжецом и еле унес ноги: так разгневался пьяный оклеветанный владыка!

Со всею прытью, какая только доступна была его старым ногам, прижимая к груди истерзанную рукопись, примчался Носач к старенькому попику, но — увы! — попик уже умирал.

— Да погодите же минутку — у меня рукопись порвали,— завопил черт, падая на колени.

Еще с добрый десяток минут, не сообразившись, вопил черт, и жаловался, и требовал новой рукописи, взамен попорченной, потом стих и, бережно отложив рукопись, сам опустился на пол у поповской постели. После долгого молчанья разжал попик сухие, запавшие губы, бессильно пожевал ими и с трудом вымолвил:

— Опять промахнулся?

Черт мрачно взглянул на истерзанную рукопись и великодушно солгал:

— Так, пустяки, святой отец. Мне вас жалко: вы и вправду умираете или еще с полгодика поживете?

Попик ответил:

— Ни единого даже дня, дружок. Я уже вчера собрался умереть, да думаю: дай подожду денек — авось, и ты придешь. Вот ты и пришел! Спасибо тебе, дружок. Открой мне, пожалуйста, занавес на окне: хочу я последним взглядом проститься с дорогими местами.

Но в открытое окно только и видно было, что угол крыши, крытый красной черепицей, да уголок синего неба с проходящим облаком. Попик смотрит с радостью, а черт думает: «На что он смотрит?.. Тут и смотреть не на что: красная крыша да неба кусочек... Или он на облачко смотрит? Так понесу же я его на колокольню и покажу ему все облака, какие будут, и все красные крыши его возлюбленной Флоренции».

Так и сделал. Даже не спрашиваясь, подхватил он на свои жилистые руки сухонькое тельце, не оказавшее сопротивления, и с величайшею осторожностью донес до высокой площадки, где дух захватывало от высоты и сердце радовалось красоте города и божьего мира.

— Смотрите-ка, святой отец: это не то, что из окошка,— сказал он с гордостью.

И оба стали смотреть и радоваться. А уже близилось к закату солнце, и по ту сторону Арно на высоком холме чернели кипарисы, готовые своими острыми вершинами как бы пронзить падающее светило.

На востоке же, откуда сегодня утром поднялось ликующее солнце, воздушной цепью залегли недалекие горы; и мнилось, будто гигантскими гирляндами благоухающих сиреневых цветов опоясан прекрасный город. Розовыми цветочками казались далекие виллы, расположенные по склонам, и в ущельях прохладно синела вечерняя тень.

Попик тихо радовался и вспоминал:

— Вот за теми горами я родился, дружок. Там и сейчас находится моя деревня; там была прекрасная девушка, которую я полюбил и оставил для бога. И долго не было для меня иной радости, как смотреть на те далекие горы и тихо вздыхать. Давно это было, дружок, не помню когда.

Солнце заходило.

— А вот и милый город, по которому я ходил, много ходил. И нет, дружок, более приятного чувства, как ощущать под ногою горячие, родные плиты,— как бы матерью становится земля, когда походишь по ней лет семьдесят, и смягчается твердость острого камня. Но там, куда я пойду сейчас, будет еще лучше, дружок.

Черт воздохнул, колебанием груди своей приподняв легонькое тело. Попик понял его тоску и сказал гаснущим голосом:

— Ты...не вздыхай. Очень возможно, дружок, что ты также пойдешь со мною в рай. Ты... черт старательный.

Красною, жаркою кровью разбрызгалось солнце за черными кипарисами и погасло. И, не отстав от него ни на единое мгновение, умер старенький попик, ушел из родного города, покинул родимую прекрасную землю. Долго и напрасно будил его встревоженный черт, взывал грубым голосом:

— А звезды-то! Вы еще звезд не посмотрели, святой отец. Вы еще на луну не взглянули, а уже идет она, святой отец, поднимается, вот-вот бледным светом ляжет на ваши родные плиты. Откройте же глаза, святой отец, и взгляните, умоляю вас!

Когда же убедился, что покровитель его и друг умер навсегда, то отнес его и положил на холодную постель. И когда нес по лестнице, то думал: «Вот вверх я нес живого, а вниз несу мертвого!». И вели-

кая скорбь овладела душой дьявола: метался он по комнате, и вопил, выл, как зверь, бился о стены,— не привык он к человеческому горю и не умел выражать его тихо. И до того дошел, что, схватив свое единственное сокровище, цель долгих поисков и страданий,— изорванную рукопись,— с яростью швырнул ее в угол, как нечто негодное. Сделав же это, так и не понял, что именно в эту самую минуту им и совершалось то самое таинственное и недостижимое добро, имени которого он столь тщетно и мучительно доискивался. Так и не понял никогда!

Но какой неприятный вид имела драгоценная рукопись! Измятая, оборванная, растрепанная, испятнанная потными лапами чертей, лежала она перед угрюмыми глазами постаревшего дьявола, вновь вернувшегося к своим стремлениям и надеждам. С трепетом раскрыл он первую страницу и надолго погрузился в изучение добродушно неразборчивых, старательных строк. И по мере того, как читал, все больше таращил глаза, пугался, недоумевал, пока, наконец, с последнею страницею весь не превратился в одно сплошное недоумение и страх. Даже в самые тяжелые минуты жизни черт не имел такого растерянного и глупого вида, как теперь.

Что это — глумление? Насмешка над добром? Издевательство над бедным чертом, стремящимся к добродетели? Или же потерял свой последний разум старенький попик и с детской серьезностью лепечет наивные пустяки, придает характер важности ничтожным мелочам, путается в них, как в длинном, не по росту, платье? Но черт обманут,— черт в неистовстве и страхе: потеряна последняя надежда.

Вся книга, с начала своего до последней оборванной страницы, состояла из коротеньких деловых рецептов, точнейшего описания тех действий, которые надо совершать по дням недели, по часам дня. И ни единого закона, ни единого правила, ни единого общего начала,— даже самое слово «добро» не упоминалось ни разу. Делай то-то (точное описание поступка),— и больше ничего. Что-то вроде нынешних поваренных книг, с тою только разницей, что даже и в по-

варенных книгах у составителей их видно иногда старание дать общее начало: ешь только овощи, а мяса ни в каком случае не ешь! А тут — ничего.

И что особенно и больно укололо черта: во всей книге не было ни одной из тех прекрасных истин, что в таком огромном количестве собраны за тысячи лет существования человеческого разума и служат к украшению и прославлению добра. Он сам знал их немало и мог, казалось бы, ожидать, что старенький поп не поскупится на этот предмет,— недаром же он столько учился и так прекрасно чувствовал добро. Но нет ничего! Сухой перечень голых действий, иногда тщательно зализанная клякса, свидетельствующая только о трудолюбии писавшего — и все.

Но вдруг появилась надежда: может быть, попик нарочно не сделал общих выводов, предоставляя это уму и трудолюбию самого черта — о, он был достаточно хитер, этот старый, невинный попик! И снова садится старый черт за работу и взглядывается в каждое слово сквозь круглые огромные очки, выписывает, сверяет, грубыми пальцами ловит тонкую нить неназванного добра. Обрывается нитка,— но что до того старательному черту, возлюбившему добро! Отыскивает концы, вяжет хитрые узелки, путает и распутывает, складывает и вычитает,— вот-вот доберется до итогов, твердо и на все времена и для всех людей, какие были, есть и будут, установит неизмененные начала добра. Черт не честолюбив, сейчас ему дело только до своей шкуры, но минутами овладевает им истома гордости: не для всех лиц, ищущих добра, работает он так неутомимо, не ему ли некогда воздвигнется новый и великолепный храм?

Какими же словами можно описать отчаяние и последний ужас несчастного дьявола, когда, подведя последние итоги, не только не нашел в них ожидаемых твердых правил, а наоборот, и последние утратил в смуте жесточайших противоречий. Подумать только, какие оказались итоги:

когда надо,— не убий; а когда надо,— убий;

когда надо,— скажи правду; а когда надо,— солги;

когда надо,— отдай; а когда надо,— сам возьми, даже отними;

когда надо,— прелюбы не сотвори; а когда надо,— то и прелюбы сотвори (и это советовал старенький поп!);

когда надо,— жены ближнего не пожелай; а когда надо — то и жену ближнего пожелай, и вола его, и раба его.

И так до самого конца: когда надо... а когда надо,— и наоборот, не было, кажется, ни одного действия, строго предписанного попиком, которое через несколько страниц не встречало бы действия противоположного, столь же строго предначертанного к исполнению; и пока шла речь о действиях, все как будто шло согласно, и противоречий даже не замечалось, а как начнет дьявол делать из действия правило,— сейчас же ложь, противоречия, воистину безумная смута. И самое страшное и непонятное для дьявола было то, что наряду с действиями положительными, согласными с известным уже дьяволу законом и, стало быть, добрыми,— старый попик с блаженным спокойствием предписывал убийство и ложь. Черт никак не мог допустить, что не попик его обманывал, а обманывают слова; и вот наступил для него миг совершенного безумия,— вдруг показалось, что старый попик есть не кто иной, как самый величайший грешник, быть может, сам сатана, в виде сатанинской забавы пожелавший искусить черта.

Забившись в темный угол, черт горящими глазами глядел на дверь и думал:

«Да, да, это он! Он узнал, что я хочу добра, и нарочно оделся попом и даже богом, как я оделся человеком,— и погубил меня. Никогда не узнаю я правды и никогда не пойму, что такое добро. Быть же мне вовеки несчастным и в жажде добра вовеки неудовлетворенным. Проклят я вовеки».

И все ждал, что раскроется дверь, и покажется смеющийся сатана и, простив, позовет его в ад. Но не приходил сатана, и дверь молчала; и, подумав, так решил несчастный старый черт:

«Буду жить в отчаянии и творить предписанное, никогда не зная, что я такое творю. Проклят я вовеки!»

Так и жил черт, старея. Когда требовалось рукописью,— спасал, а когда требовалось убивать,—

убивал. И было ли противоречие только в словах, а в действиях все уживалось согласно, но постепенно наступил для черта покой, и почувствовал он даже как бы некоторое удовлетворение. И хоть и верил твердо, что проклят вовеки, но настоящего живого огорчения от этого не испытывал; и о добре перестал думать. Но были для него и черные дни,— обрывалась рукопись, и в зияющей пустоте вставал ужасный образ бездействия; и поднимали голову ядовитые сомнения и, как призрак манящий, звало в неведомую даль неведомое Добро.

Тогда удалялся черт в свой темный чердачный угол и там застывал в бездействии. Заложив уши, чтобы ничего не слышать, закрыв глаза, чтобы ничего не видеть, стоял он, черный, подобно истукану; и были крепко сложены на груди жилистые руки, способные сокрушить горы и обреченные на бездействие. Стар уж он был в это время: завивали голову космы седых волос, лезли из широких ноздрей, мшистым кровом крыли и лицо, и грудь, и застывшие руки; и, увидя его, не подумал бы ты, что это некто живой, обреченный на страдания, а сказал бы: вот и еще одна старая колонна в храме, которой я раньше не заметил. Ползали по лицу его мухи, серая пыль ложилась на голову, и пауки неторопливо плели на нем свои тенета,— и время стояло неподвижно, как проклятое.

...Кто не любит добра?

1911 г.

ОН

Рассказ неизвестного

I

Я был пьян от радости, я благодарил судьбу: мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние сорок копеек сделавшему объявление о занятиях, вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября, в темное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбою пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на Морской; а через полтора часа — еще не кончился дождь, под которым я шел из дому,— я уже имел урок, пристанище, двадцать рублей денег. Как во сне, как в сказке! И все было очаровательно: богатая гостиница, великолепный номер, в который меня провели, и необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен: жить в деревне, иметь собственную комнату, заниматься с мальчиком восьми лет и даром получать пятьдесят рублей в месяц.

— А море вы любите? — спросил меня Норден («господин» я не буду прибавлять в рассказе).

Я мог только пробормотать:

— Море? О, господи...

Он даже засмеялся:

— Ну, конечно, кто же в молодости не любит моря! Вам будет у нас приятно: вы увидите прекрасное море... немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться и улыбаться. Вы будете довольны.

Ну еще бы! Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил:

— В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка, Елена. Пять лет тому назад.

На это я так ничего и не ответил. Не нашелся. И, кроме того, меня смущала его улыбка — говорит о смерти дочери, а сам улыбается; и я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег, двадцать рублей, он сам предложил мне, и при этом, с крайней доверчивостью, не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии; в другое время я нисколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрепан и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был выгнан из университета за невзнос платы.

Но к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Нордена, а уже стала привычной вся роскошь моей жизни: и собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того, как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевкою студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не шуточных формах.

Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было невесело, просто невесело; и причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Нордена. Только шаг за шагом проникая в тайники этого странного дома и этой странной семьи,— вернее, лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томительной тоски, лежавшей над людьми и местом.

Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже роскошен: мне, приблудному студенту, гольтепе, отвели в нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и сад; и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство, его

растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок, да ели, да камни, да предутренние холодные туманы и ветер от серой, плакучей воды. Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштаи; было много цветов, целые кусты роз, жасмину, а пространство между этими никогда, как мне казалось, не могущими согреться растениями заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу; и сам Норден гордился садом, и я, как только увидел, пришел в искренний, горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев,— слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно одиноких,— что уже вскоре начинало томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного счастья.

Почему не было следов на дорожках? В доме жило много народу, было трое детей, и часто гуляли они по саду, но в воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов на дорожках.

Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны дорожки искусно, из особенной смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием; поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказал об этом Нордену. Он долго смеялся,— я не мог понять, отчего он смеется,— осторожно и крайне любезно коснулся моего локтя и сказал:

— А вы посмотрите утром. Если бы даже были следы, они должны были исчезнуть. Вы посмотрите рано утром.

И, точно по приказу, я проснулся рано утром, еще в полутьме, протер вспотевшее окно и увидел: по дорожке медленно двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за собой. Я понял, что это рабочие Нордена и что железными граблями они сдирают следы минувшего дня и ночи минувшей,— но мне не понравилось и это.

Разве только и есть следы, что от ног? Ребенок мог забыть игрушку — дети всегда разбрасывают иг-

рушки, рабочий мог оставить лопату или грабли, но здесь никто ничего не забывал, никто ничего не оставлял. Последние листья роняли деревья, и это было вовсе не весело: потемневшие, свернувшиеся листья, безнадежно припавшие к холодному гравию,— но и их убирала все та же покорная рука, сдиравшая следы. Порою казалось, что кто-то, быть может, сам Норден, отчаянно борется с воспоминаниями и делает так, чтоб все было пусто; но чем шире разевала рот пустота, тем осязательнее становились изгнанные воспоминания, убитые образы, содранные следы. И я, чужой, непосвященный и не особенно по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня касаются они — эти темные воспоминания о какой-то горькой ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде.

И вскоре я сделался добровольным сыщиком, искателем следов, и был им до тех пор, пока, подчиняясь чреде событий, из наблюдателя сам не превратился в наблюдаемого, из разыскивающего — в прячущегося, из преследователя — в преследуемого. Но до тех пор я все искал; и мое печальное воображение, склонное к тягостным вымыслам,— у меня было тяжелое детство и невеселая одинокая юность,— заселило странный сад всевозможными преступлениями, убийствами, смертями. Конечно, я был молод, и когда выпадал солнечный день, особенно радостный среди ноябрьских беспросветных потемок, я смеялся над вымыслами своими; но вот шли туманы с моря, низко опускалось, придушая свет, тяжелое мокрое небо, и я снова слышал, как скребут железом, сдирая следы, трое темных; и снова волновался.

Не знаю, сумел ли бы я найти хоть что-нибудь, если бы сам Норден, гуляя однажды со мной по берегу моря, уже за оградой сада, не указал мне на груду камней, имевших форму пирамиды и скрепленных цементом. Осенние прибои разъели цемент, и кой-какие круглые камни уже повывалились, несколько нарушая правильность формы: быть может, поэтому я и не обратил на нее внимания.

— Видите пирамиду? — сказал Норден.— Хоть и меньше Хеопса, но все же пирамида.

Он засмеялся — чему он постоянно смеялся? — и продолжал:

— Здесь я хотел построить церковь в норманнском стиле. Вы любите норманнский стиль? Но мне не позволили... такая узость взглядов!

Я молчал, не зная, что сказать: вообще я не находчив. Он подождал, сколько нужно для ответа или для вопроса, и охотно пояснил:

— Как раз на этом месте был найден труп моей дочери, Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется, вам говорил.

— Как же это случилось?

— А как тонут молодые люди? — улыбнулся Норден.— Поехала на лодке кататься одна, поднялся шквал, лодку перевернуло... как это обычно случается?..

Я посмотрел на серое море, покрытое мелкою рябью; кое-где чернели голые большие камни, кое-где вода особенно поблескивала — просвечивало дно.

— Здесь очень мелко,— сказал я.

— А она уехала далеко.

— А зачем она уехала далеко?

— А зачем молодые люди уезжают далеко? — засмеялся Норден и крайне любезно коснулся моего локтя.— У меня есть две прекрасные лодки, на зиму мы их прибираем, а весною снова спускаем на воду. Вы любите кататься на лодке?

— А ту лодку тоже прибило на берег?

Норден сперва не понял:

— Какую ту лодку? Ах, да, ту? Как же, как же, ее тоже прибило на берег. Но теперь она выкрашена, и ее нельзя узнать: прекрасная прочная лодка. Весной вы сами испробуете ее.

После этого разговора, открывшего, как мне казалось, многое, на самом же деле не открывшего ничего, я каждый день рассматривал разрушающуюся пирамиду. Сюда головой, сюда ногами. Но зачем же он, так безжалостно сдирающий следы, перекрасивший в белый цвет лодку, в которой утонула его дочь, зачем он этими камнями закрепил память о погибшей? Минутный порыв или обычная нелогичность, свойственная даже самым последовательным людям?

Не знаю. Я как-то успел об этом подумать. Все мое внимание захватило море — мне показалось, что

оно, именно оно, является главным источником той великой печали, что лежала над людьми и местом этим. Оно было...

II

Но раньше я расскажу о доме и о своей жизни среди этих странных и, несмотря на веселость свою, крайне неприятных и тяжелых людей.

По утрам я занимался с Володей. Это был благонравный восьмилетний человечек с прекрасными манерами взрослого джентльмена, исполнительный, вежливый и необыкновенно покорный. Он не задирал ног на стол, как другие мои ученики, не ковырял в носу, не пачкал бумаги и стола и не делал мне никаких гадостей; и каждое замечание мое он выслушивал с таким странным видом, как будто я был сам царь Соломон, а он скромнейший из учеников и подданных его. Верил он мне или только притворялся, что верит,— но было неловко от этого удивительного внимания, благодаря которому самые ничтожные слова мои вдруг приобретали огромную цену и раздувались в гору. Каждый день, кроме праздников, ровно в десять часов над столом появлялась его стриженая светлая, крупноватая голова, два часа занимала частицу зрения моего и ровно в двенадцать исчезала. Лицо у него было плоское, белое, почтительное, без бровей; и два большие, светлые широко расставленные глаза лежали выпукло, как на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя покрасивеет. Да, несмотря на свою почтительность, несмотря на то, что он доставлял мне хлопот меньше, чем какой-либо из моих учеников, настолько мало, что как будто его самого не было и совсем, он мне не нравился. И не нравилась, как кажется, именно эта самая покорность его и предупредительность: сам он никогда не смеялся и даже не улыбался, но если кто-нибудь из взрослых шутил, он предупредительно хохотал; сам он ничего не выражал на своем плоском, белом лице, но если кто-нибудь из взрослых желал вызвать в нем страх, удивление, или восторг, или радость, лицо тотчас же покорно принимало требуемое выражение. Словно это был не ребенок, а кто-то, в угоду взрос-

лым добросовестно исполняющий обязанности ребенка,— он и шалил, но только по приглашению и как-то дико, будто вспоминая чужие, виденные во сне шалости. Ибо у других двух детей — мальчика семи лет и и девочки пяти — он ничему научиться не мог: они были такие же, как Володя. Впрочем, этих я мало видел, они постоянно были со своей старой англичанкой, с которой я, по незнанию языка, не мог перекинуться даже словом.

Пробовал я брать Володю с собой на прогулку, но и гулял он отвратительно — деланно, как маленькая дорогая кукла, изображающая благонравного мальчика. И только раз, ненадолго, увидел я в Володе нечто живое. Я вышел побродить по саду, и у одной из чистеньких белых скамеек, на ровной дорожке, не хранящей следов, я увидел Володю: он сидел прямо на сыром песке и обеими руками держался за ногу. Повидимому, он очень больно ушибся, так как лицо его выражало страдание, и он плакал — сидел один и плакал. Но как только заметил меня, встал и, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу; и было плоско лицо, и высохли слезы, и весь он снова выражал почтительность и готовность.

— Ты ушибся, Володя?

— Да, немножко.

— Отчего же ты не плачешь?

Он внимательно взглянул на меня, стараясь понять, чего я хочу, увидел полную мою серьезность и покорно ответил:

— Я уже плакал.

Очень может быть, что, как в старинном анекдоте, он даже добавил: «Благодарю вас!» — так был вежлив этот странный и жалкий человечек.

Весь день я был свободен: гулял, если позволяла скверная ноябрьская погода, или читал в своей комнате: все свои книги, а их было множество, Норден любезно предоставил в мое распоряжение, и это вначале было одной из величайших радостей моей невеселой и однообразной жизни. Иногда я занимался в самой библиотеке Нордена, он и это позволил мне; и тут я чувствовал себя совсем как король: мягкие диваны, большие столы, заваленные журналами, множество книг в дорогих переплетах, тишина, как в Пуб-

личной библиотеке,— комната находилась во втором этаже, и никакой шум туда не проникал. Да и не было шума, если по каким-то одному ему известным причинам не заводил его сам Норден, заставляя собак лаять, детей танцевать и петь, и всех, у которых был рот,— хохотать.

Обедали мы все вместе: дети, англичанка, Норден и я. Гостей у Нордена я не видал ни разу, но за обедом иногда появлялся какой-то толстый, молчаливый немец, раскрывавший рот только для еды или для смеха, когда к этому приглашал его Норден; кажется, это был управляющий его имением, не то домами в Петербурге. За столом всегда смеялись — трудно сказать почему, но смеялись. Сам хозяин рассказывал анекдоты и всех настойчиво приглашал смеяться. Для англичанки он переводил их на английский язык, но если и забывал перевести, она все равно хохотала: так требовали, по-видимому, обычаи дома. Первое время я был серьезен, и Нордена это беспокоило и даже огорчало,— тревожно и близко заглядывая мне в глаза, он удивленно расспрашивал:

— Почему вы не смеетесь? Вам это не кажется смешным? Но ведь это же очень остроумно.

И объяснял, почему остроумно и почему я должен смеяться. Но если и тут я продолжал сохранять серьезность или только улыбался, а не громко хохотал, Норден начинал волноваться, настойчиво рассказывал все новые и новые тусклые анекдоты, выжимая из меня смех, как воду из масла; и казалось, что, не засмейся я и теперь, он станет плакать, целовать мои руки и умолять для спасения его жизни прохохотать хотя бы только раз. И кончилось тем, что я начал хохотать, как все,— помню до сих пор тот конвульсивный, нелепый, идиотский смех, который раздирал мне рот, как удила пасть лошади. Помню то мучительное чувство страха и какой-то дикой покорности, когда, оставшись один, совсем один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал испытывать странное давление на мышцы лица, безумное и наглое требование смеха, хотя мне было не только не смешно, но даже и не весело.

В течение нескольких дней, видя за столом только упомянутые лица, я решил, что в доме больше нет ни-

кого. Но однажды, как раз за обедом, наверху, в комнате, которая всегда была заперта, кто-то заиграл на рояле. Я удивился и, быть может, нарушая приличия,— я всегда путаю эти приличия,— спросил:

— Кто это играет?

Норден весело ответил:

— Ах, это? Разве вы не знаете? Это моя жена. Простите, если я забыл вас предупредить. Это моя жена. Она не совсем здорова и не выходит из своей комнаты. Но это удивительно талантливый человек! Вы послушайте, как она играет.

Но музыка была очень печальна, и Норден стал беспокоиться.

— Удивительно играет,— повторил он, отстукивая ножом по краю тарелки неуловимый такт. Но не выдержал и побежал наверх. А возвращаясь, еще с лестницы, весело кричал:

— Дети! Мисс Молль! Приготовьтесь, мама хочет, чтобы вы веселились.

Наверху действительно заиграли что-то веселое: какой-то модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорожно-веселых движений. В громкой игре чувствовалась неуверенность, и Норден дружески пояснил.

— Новые ноты. Я только что привез из Петербурга. Очаровательный танец, его сейчас танцует вся Европа.

И весело закричал:

— Танцирен, мейне киндер, танцирен. Мисс Молль!

И эти послушные куколки завертелись; и самая маленькая наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. Кажется, она одна из всех была искренно весела и смеялась от всей своей маленькой души. Сама мисс Молль, наблюдая за детьми, вертелась тупо и туго, как на арене цирка лошадь, поднятая на задние ноги звонкими ударами бича. Норден похлопывал в ладоши, вскрикивал, приободряя танцующих, и, наконец, сделав вид, что не может долее выдерживать, начал кружиться сам. И, кружась, спрашивал меня:

— А что же вы, что же вы?

Потом остановился и начал упрашивать:

— Ну, пожалуйста! Ну, немного, вы доставите всем нам огромное удовольствие. Вы не умеете? Мисс Молль вас очень быстро научит.

Но танцевать я отказался наотрез. Когда раскрасневшихся детей увели, Норден закурил сигару и, весело отдуваясь, сказал:

— Фу, устал. Не правда ли, как у нас весело?

С тех пор я почти каждый день слышал музыку наверху, иногда печальную, но чаще веселую и неуверенную: после каждой своей поездки в Петербург Норден привозил новые ноты какого-нибудь очаровательного танца, который танцует вся Европа. В Петербург он ездил довольно часто, у него там были какие-то большие дела, но ненадолго — на день, на два, не больше. Мне очень хотелось узнать, что такое делается с женою Нордена,— теперь мне казалось, что тут именно лежит разгадка той великой тоски, что покрывала дом и людей, но все попытки мои остались безуспешными. С прислугой сближаться я не хотел, да она, по-видимому, ничего и не знала, а Володя был почтительно скрытен и даже, несомненно, лжив.

— Ну что, как мама сегодня? — спросил я его.— Вы были у нее сегодня.

— Да. Мы каждое утро бываем у мамы. Мама очень жалеет, что не может с вами познакомиться.

— Она очень больна?

— Нет, не очень. Она очень хорошо играет на рояле. У нее очень большой талант.

— А часто она плачет? — резко спросил я.

— Мама? — удивился Володя.— Нет, она никогда не плачет.

— Смеется? — сердито усмехнулся я.

— А разве смеяться нехорошо? — виновато спросил почтительнейший из учеников, ожидая, видимо, что я прочту ему лекцию о смехе, и готовый, сообразно с выводами лекции, засмеяться или загрустить. Но лекции я ему не прочел, и больше мы о маме не говорили.

Как-то ночью, вернее, на рассвете — те трое уже скребли железом, сдирая следы,— в доме случился переполох, связанный, по-видимому, с болезнью невидимой музыкантши. Что-то упало, кто-то закричал,

как от страшного испуга или боли, в доме забегали огни, и в приоткрытую дверь я слышал, как Норден успокоительно говорил:

— Это ничего. Ветром оторвало ставню, и она немного испугалась. Уже все прошло.

Правда, был очень сильный, почти штормовой ветер с моря: всю ночь он выл в трубах и влажно скользил по углам дома, а иногда, как певец на эстраде, останавливался на газоне и обвивал себя свистом и дикой песнью — но ставни все были целы,— я это видел поутру. Солгал Норден. Но в то же утро я впервые увидел и его жену: я поднял глаза к ее окнам, и за зеркальным, фальшиво поблескивающим стеклом, в сумраке комнаты, увидел такой же неверный, фальшивый образ: она стояла и смотрела на разгулявшееся, грохочущее море. И, к удивлению моему, насколько я успел рассмотреть, она была не старуха, а совсем молодая красивая женщина с большими темными провалами глаз. С дерзостью,— я теперь иногда становился дерзким с Норденом,— я спросил, сколько лет его жене? Оказалось, что ей всего двадцать девять лет и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от первого брака.

III

Мой дневник, который я вел у Нордена, к е м-т о украден: по-видимому, и его коснулась все та же система сдирания следов, наивной и упорной борьбы с поверхностью. К т о б ы н и б ы л укравший, он ничего не достиг своим мелочным и гаденьким поступком, и благородная рука его напрасно трудилась, взламывая замок: я достаточно твердо и ясно помню события вплоть до последнего момента, когда ужас на долгие месяцы лишил меня сознания. И этих следов, отпечатленных в памяти моей, не могли бы уничтожить и те трое, что на рассвете волочат по дорожкам железные грабли.

Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море, лежавшее так плоско, как будто земля в этом месте перестала быть шаром? Думая о море, я всегда думал и о корабле, но здесь не показывались корабли, их путь проходил где-то дальше, за вечно смут-

ной и туманной чертой горизонта,— и серой, бесцветной пустыней лежала низкая вода, и мелко рябили волны, толкаясь друг о друга, бессильные достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лодку, темную и так мало подвижную, что ее можно было принять за выдавшийся из воды камень, и это было все, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную г-жу Норден, наступила неделя вялого затишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных туманов, не ощущаемых вблизи, но всю даль крывших безразличной мглою и полдень превращавших в серые сумерки; и вместе с туманами далеко отошла от берега мелкая вода, и открылись островки и целые материки песчаных отмелей. Их ровная, ни единым знаком не тронутая, ни единым предметом не отмеченная гладь нарушала все обычные и истинные представления о размерах и расстояниях, и когда я двинулся в глубину этой удивительной страны, мои шаги казались мне огромными, прыжки через узенькие проливчики гигантскими, и сам я представлялся великаном, загадочным существом, впервые обходящим только что сотворенную безжизненную и пустынную землю.

Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой серой воды, и маленькие плоские наплывы ее показались мне в этот раз огромными первозданными волнами, и тихий плеск ее — грохотом и ревом прибоя; на чистой поверхности песка я начертил чистое имя *Елена,* и маленькие буквы имели вид гигантских гиероглифов, взывали громко к пустыне неба, моря и земли. Почему назад я не пошел по своим следам? Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился, и всюду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой; испугавшись, я зашагал прямо по лужам и был счастлив, когда затемнела каменная пирамида — по случайности я вышел как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп Елены.

— Зачем вы здесь поселились? — в тот же вечер дерзко я спросил Нордена.— Здесь ужасно скучное море!

Норден, видимо, огорчился моим замечанием и тревожно повернул голову в сторону темного окна.

— Разве оно скучное? Нет, это неправда. Когда вы узнаете его ближе, оно очарует вас.

Оно уже и теперь очаровывало меня, но это было очарование тоски и страха, опасный и смертельный яд, от которого надо бежать. ...но разве поймет это Норден,— он уже рассказывает новый анекдот, и просительно заглядывает в глаза, и клещами тащит из меня нелепый, надорванный смех. И оба мы сидим глаз на глаз и смеемся — боже мой, как это было глупо и унизительно!

Последовавшие за этим разговором дни ничем не отмечены в памяти, точно их не было совсем, и я все время спал в тоскливом без сновидений сне, а пятого декабря замерзло море и выпал первый глубокий снег. И с первым снегом, в тот же день, пятого декабря, началось то необыкновенное, что еще более сгустило для меня печальную загадку унылого места и людей и жизни и что до сих пор не понято мною и порой самому мне кажется дурным вымыслом, неудачной сказкой. Здесь приходится, пожалуй, пожалеть о дневнике с его ежедневными и точными записями, так как только в строгой последовательности их можно если не объяснить, то понять чувство нестерпимого, под конец болезненного страха, постепенно овладевавшее мной.

Постараюсь, по возможности, быть точным и не пропустить ни одной мелочи, имеющей значение или хотя бы самое отдаленное отношение к происшедшему. И особенно важным кажется мне отметить первое появление того странного, необыкновенного существа, которое как бы воплотило в себе все мрачные силы, всю тоску и темную печаль, что тяготели над несчастным и проклятым домом Нордена и меня, дотоле постороннего человека, вовлекли в свой страшный водоворот.

Повторяю, в этот день, пятого декабря, выпал первый глубокий снег. Он падал всю предыдущую ночь и все утро; и когда после занятий с Володей я вышел наружу — было тихо, мертвенно-бело и прекрасно. Оставляя глубокие следы, я поспешно выбрался на берег и ахнул: моря не было. Еще вчера только вот отсюда начиналась его ледяная, исковерканная шквалами, тускло поблескивающая поверхность, а сегод-

ня все было ровно, не было никаких границ, малейших задержек взору. Если б мир был нарисован на бумаге, то можно было бы подумать, что здесь позади меня кончается рисунок, а дальше идет еще не тронутая карандашом белая бумага; и с тою потребностью чертить, оставлять следы, рисунок, которая является у людей перед всякой ровной нетронутой поверхностью, я снял с правой руки перчатку и пальцем крупно вывел на холодном снегу:

Елена.

Взглянул на пирамиду: ее уже не было. Был невысокий снежный холм с мягкими округлостями камней, что-то совсем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже навсегда. Сюда головой, туда ногами... Нет, трудно представить, когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидывающих лодку, а только вот это, ровное, белое, бесстрастное. И как будто освобождение я почувствовал: стало необычно легко и просто, и почему-то деловито подумалось, что надо съездить в университет, показаться педелю. А сам Норден представился просто чудаком, правда, неприятным, почему-то несчастным, но безобидным и, во всяком случае, чужим: заработаю деньжат, а там уеду, пусть живут как хотят, рассказывают анекдоты и танцуют.

«А ну-ка: как теперь будешь ты со следами!» — весело думал я, пробираясь обратно, и умышленно не ставил ногу в старый след, а прокладывал новый, широкий и растрепанный. И это было так приятно: оставлять след и помнить завтра, что сегодня я здесь шагал; и еще, быть может, много дней, до нового чистого снега, видеть себя уходящим в прошлое. И сад вдруг сделался прост и обыденен: в холодной ласке спокойного снега исчезли отчужденность и одиночество, которым томились деревья, наступил сон, тихие грезы. Только одно портило и нарушало мягкий покой: большие деревянные футляры, которыми Норден одел от мороза дорогие южные деревья. Я никогда прежде не видал, чтобы так делалось в саду, и мне были неприятны эти высокие, сразу непонятные, словно пустые, деревянные ящики; некоторые из них смутно напоминали большие гробы, ставшие на ноги перед началом какой-то дикой процессии. «Точно прерванное

воскресение мертвых»,— подумал я, с недоброжелательством вспоминая Нордена, который эти свои ящики считал очень остроумной, практической и веселой выдумкой.

Самого Нордена уже два дня не было дома, он уехал по своим делам в Петербург, и в огромном, хорошо натопленном доме, всех комнат которого я еще не знал, было пусто и тихо: по своим комнатам сидели с англичанкой дети и не шалили, затихла на кухне прислуга, и где-то в верхних комнатах за их зеркальными стеклами молчала в одиночестве и болезни молодая и красивая женщина, темная жертва каких-то неведомых сил. Я с час просидел в библиотеке, но читать не хотелось,— было на душе слишком как-то весело и беспокойно, и звал на приключения пустой, затихший и неисследованный дом; и, прислушавшись, не идет ли кто, я перешагнул порог тех комнат, в одной из которых находилась несчастная г-жа Норден. Двери были открыты; торопливо и осторожно я прошел одну и другую комнату, потом коротенький коридор и оказался на площадке с лестницею вниз — про эту лестницу я и не знал; и сразу понятно стало, что именно здесь, за этой высокой, молчаливой дверью находится больная. С отчаянной решимостью я попытался открыть дверь, но она не подавалась,— так я и остался на пустой площадке, не зная, что же мне делать дальше. Постучать? Но какое же я имею право!

Долго стоял я, сперва очарованный, потом смущенный и подавленный ненарушимой тишиной, которая с каждой минутой становилась все глубже, проникала все предметы, оковывала ступени пустой лестницы, глядела белыми глазами в широкое окно. Наконец внизу послышались чьи-то шаги, и я поспешно вернулся в библиотеку; и снова я почувствовал ту же беспокойную радость, безотчетное волнение, что и давеча. Но читать и в этот раз не мог и скоро с книгою в руках заснул на широком и мягком диване, последним воспоминанием унося с собою в сон картину снежного и мертвого мира, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянности в безбрежности его снегов и одинокого тепла от моего маленького защищенного крытого уголка.

Вечером, по обыкновению, я занимался в своей комнате, писал дневник и письма и в обычный час лег в постель, но после дневного крепкого и продолжительного сна не мог теперь уснуть и час или два лежал с открытыми глазами, с интересом приглядываясь и прислушиваясь к незнакомому дому и мало знакомой, а теперь в ночной полутьме и совсем чуждой комнате. Стояла та же тишина, что и днем; за окном, слабо защищенным тонкой белой занавеской, смутно белела ночь,— по-видимому, была луна за облаками и лила свой призрачный, рассеянный свет. Кажется, я начал уже засыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто-то стоит, что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске.

Должен здесь пояснить, что комната моя находилась в нижнем этаже, в том месте, где под углом сходились две стены здания, и окна были довольно низко над землею: ничего не стоило, поднявшись на носки или просто будучи высокого роста, заглянуть внутрь. «По-видимому, кто-нибудь приехал и не знает, как войти в дом»,— подумал я и с чувством легкой тревоги подошел к окну и отдернул занавеску... Да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над подоконником, стоял кто-то и неподвижно-темным лицом смотрел на меня. Немного растерявшись, я сделал рукой что-то вроде приветственного знака, но он не ответил и остался совершенно неподвижен; я постучал пальцами по стеклу — та же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного в тень лица.

— Что вам надо? — негромко спросил я, забывая, что сквозь двойные зимние рамы голос мой не может быть слышен.

И действительно, ответа не последовало, и так же неподвижно и прямо смотрело на меня темное лицо. «Ну погоди же,— подумал я сердито.— Я тебя поймаю!» Но не успел я повернуться от окна, как он уже начал отходить — медленно, не торопясь, на мгновение обрисовавшись темным профилем. Я успел еще заметить, что плечи его прямы и необыкновенно широки и что на голове у него невысокий котелок, но вообще в нем не было ничего необыкновенного и странного — разве только загадочность появления среди ночи под чужим окном. На всякий случай я решил

выйти наружу и посмотреть, но, пока я одевался, решенне мое ослабело, н я остался, думая с притворным равнодушием: «Завтра узнаю, в чем дело».

Утром я расспросил прислугу и домашних: оказалось, никто в течение ночи не приезжал, никого не видали, кто был бы похож на моего незнакомца. При расспросах моих дворник держался очень просто и спокойно, но молодой бритый лакей Иван выразил, как мне показалось, смущение и некоторую тревогу; еще раз заставив повторить рассказ о появлении незнакомца и под конец сразу успокоившись, решительно заявил, что все это мне только показалось. Как я узнал впоследствии, в доме многие боялись призрака, но все почему-то были убеждены, что таким призраком является утонувшая когда-то Елена. Впрочем, страх этот, неглубокий и несерьезный, носил все признаки тех поверий, что родятся в несчастных домах, возбуждающих мнительность и любопытство.

Ничего не добившись, я пошел заглянуть на мое окно, в надежде, что оно может дать мне какую-то разгадку случившегося,— но то, что я увидел и заметил, меня крайне смутило и как-то неприятно взволновало. Под окном не было никаких следов,— это первое, что бросилось мне в глаза; далее, я, видимо, ошибался в высоте окна, считая ее не превышающей обычного человеческого роста: в действительности я едва доставал подоконник кончиками пальцев, хотя рост имею выше среднего. Это обстоятельство имело для меня особую важность, так как вчерашний незнакомец возвышался над подоконником по грудь, другими словами: либо он был человеком чрезмерно, даже неестественно высокого роста, либо висел в воздухе, как... галлюцинация. Да, галлюцинация,— вот что я подумал в конце моих наблюдений и вот что так неприятно меня взволновало.

И объяснение это было довольно правдоподобное: то напряженное внимание и беспокойство, с которым я приглядывался к незнакомому дому, ожидая от него таинственных и мрачных чудес, пошатнули-таки мою нервную систему и подарили меня чудом, естественным, которое осталось на долю нашего скептического и образованного века. Да, несомненно, это была галлюцинация... если только это не был случайный

прохожий, или какой-нибудь безумец, или... Но как же тогда следы? Но если это действительно галлюцинация, то почему же я чувствую себя таким здоровым, крепким, нисколько не нервным, все предметы вижу с полной отчетливостью и соображаю ясно и точно? И почему моя тревога и нервность выродились именно в эту фигуру, правда, довольно мрачную, но простую и обыденную и никакого отношения к моим догадкам не имеющую? Как и многие в доме, я скорее ожидал бы увидеть *Елену,* но этот молчаливый господин в котелке,— какое мне дело до его котелка!

Так я и не решил вопроса, но и без всякого решения успокоился легко и быстро: чувство здоровья давало мне уверенность, что ничего серьезного быть не может, с какой стороны ни подходить к явлению. По обычной колее прошел день, а к вечеру приехал из города Норден и привез новые ноты какого-то развеселого и модного танца. И после обеда играла наверху невидимая мама, не совсем уверенно разбираясь в незнакомых нотах, а дети танцевали, и мисс Молль кружилась, как цирковая лошадь на арене, а сам Норден раза два прошелся по комнате, подражая приемам балетного танцора и комически утрируя их. Все очень смеялись, и когда слезящимися от смеха глазами я взглянул в окно, мне показалось, что там кто-то стоит. Сразу опомнившись, я внимательнее вгляделся: было темно и пусто за окном, да и никого там не могло быть, и все это были пустяки. Но уже забеспокоился Норден:

— Отчего вы не смеетесь? Это так смешно. Или вам не нравится наш новый танец? Этого не может быть, что бы вам не нравилось,— я буду жаловаться мисс Молль, и она вас накажет, как дурного мальчика. А! Вы уже испугались.

Показывая на меня, он по-английски сказал что-то мисс Молль, и заставил ее смеяться и покачивать головой, и, наконец, продолжая шутку, принудил ее подойти ко мне и шутливо, в виде наказания, ударить ее рукою по моей руке. Но и этого показалось мало: резвясь, как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей стать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними. Я просто не знал, что делать и что мне говорить: было и стыдно и противно, а то, что

это только шутка, совершенно связывало меня и делало немым. На мгновение я увидел в дверях изумленное лицо лакея Ивана, а через минуту и он, во фраке, как был, и в белых перчатках, также стоял на коленях и просил меня танцевать. А музыка все гремела, скатываясь к нам по тем ступенькам, что такими безмолвными видел я вчера, и становилось дико, болезненно смешно, как от смертельной щекотки. И кончилось тем, что я затанцевал, а танцуя и кружась перед темными бесчисленными, как казалось, окнами, странным кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением: где я? что со мною?

Долго еще не мог успокоиться Норден и, когда дети уже ушли спать, все еще держал меня в столовой и по мелочам перебирал все воспоминания вечера: как кружилась мисс Молль, и как вертелся Володя, как это было смешно, когда они все встали на колени упрашивать меня. И, доверчиво касаясь моего колена своею выхоленной барской рукою, близко склонив ко мне свое лицо, которого я до сих пор не успел ни рассмотреть, ни запомнить, он говорил задушевно:

— Нет, вы подумайте, как это хорошо, как это приятно, как это, наконец, культурно! Да, культурно. Мы живем в глуши, в деревне, вокруг нас сейчас на десять километров нет ни единого огонька, а в ту сторону,— он протянул руку по направлению к морю,— может быть, и на сотни километров, и что же мы делаем, однако! Мы смеемся. И еще что мы делаем! Мы танцуем! Мои друзья в Петербурге спрашивают меня, как я могу жить в таком уединении и не скучать? Да, но если б они видели наш сегодняшний день!

Он расхохотался и, трепля меня рукою по колену, хохотал очень долго, что-то очень долго, невыносимо долго. И пошел радоваться дальше:

— Да, если б они видели — они все бы приехали сюда, чтобы танцевать с нами! Но позвольте: почему же нам этого не устроить? Да, да, вот мысль! Вот блестящая мысль!

Он в волнении заходил по комнате, утрированно изображая человека, осененного гениальной мыслью: прижимал пальцы ко лбу, разводил руками, поднимал кверху глаза.

— А сегодня ночью...

Но он перебил меня:

— Да, да, конечно: мы позовем пятьдесят, сто человек, и мы все будем танцевать, и это будет так весело, так культурно!..

— А сегодня ночью...

Норден быстро обернулся и продолжительно, не улыбаясь, посмотрел на меня. И пока он молчал, я чувствовал, что не в силах произнести слово,— точно замок железный повис у меня на губах.

— Вы хотели сказать?..— вежливо наклонился он в мою сторону.

Но я уже ничего не хотел сказать и ничего не сказал.

Заснул я в эту ночь очень быстро, тяжело и мягко, точно провалился в яму, набитую доверху черным пухом, и спал приблизительно до двух или трех часов, когда кто-то разбудил меня громко прозвучавшими словами: пора вставать! Голос был так громок, что я даже привстал на постели,— но было в комнатке пусто и тихо, и дверь заперта, и я сразу понял, что это один из тех обманов слуха, что бывают у спящих. И уже повернувшись на правый бок, чтобы спать дальше, я вдруг вспомнил смутную тень за окном... Да, за окном по-вчерашнему стоял кто-то.

Это был он. Я погрозил ему пальцем, но, как и вчера, он ничего не ответил и продолжал стоять неподвижно. Теперь я ясно увидел, что он действительно обладает чрезвычайно и даже неестественно высоким ростом и стоит на земле; и, вместо того чтобы испугать, это как-то странно успокоило меня. И опять я подумал, что надо выйти во двор и поймать его, и опять при этой мысли, точно услыхав ее, он повернулся от окна и не торопясь пошел вдоль дома. Одеваться? — Нет, не стоит, все равно не успею.

«Если только это... если только это, то, пожалуй, это уж и не так страшно!» — подумал я, укрываясь одеялом, почти веселый от сознания, что на сегодня все кончилось.

Но руки мои и ноги были так холодны, что прикосновение одной ноги к другой причиняло почти боль: казалось, что это не мои, а чьи-то другие, ледяные ноги лежат под одеялом. И понемногу я весь начал дрожать мелкой дрожью, как от лихорадочного озноба.

В следующую затем ночь, седьмого декабря, я лег спать одетый, с твердой решимостью настичь незнакомца, схватить его за шиворот и так или иначе добиться разрешения неприятной и странной загадки. Чувства страха я не испытывал, но вполне естественное раздражение и даже гнев не дали мне уснуть; однако ожидание мое было бесплодно, и ни единая тень, ни единый звук не нарушили ночного молчания и пустоты за окном. Так же спокойно прошли следующие две ночи: никто не являлся, и с необыкновенной легкостью, удивительной при данных обстоятельствах, я почти совсем забыл о своем странном посетителе; редкие попытки вспомнить создавали почти болезненное чувство — так упорно отказывалась память вызывать неприятные для нее и тяжелые образы. И сон у меня после той ночи снова стал крепкий и спокойный, как всегда.

В субботу (Нордена снова не было: он уехал в город) я весь вечер сидел в его прекрасной библиотеке, рассматривал заграничные, весьма ценные художественные альбомы и с некоторой грустью размышлял о том, что мое эстетическое развитие не стоит на должной высоте. Задумавшись о способах и средствах, как устранить этот недостаток, я забыл о времени, и когда заглянул на библиотечные, без боя, часы, было уже начало двенадцатого, а ложился я в постель редко после одиннадцати. Я заторопился и, собирая свои листочки с заметками, равнодушно и случайно заглянул в темное окно: там, возвышаясь по грудь над подоконником, стоял он и смотрел в комнату. От неожиданности я выронил заметки и, нагнувшись, стал собирать их с ковра — не без надежды, что, когда я снова взгляну в окно, его там уже не будет... Однако надежда моя не оправдалась.

Теперь при свете лампы, падавшем в окно, я смог довольно хорошо рассмотреть его лицо: спокойное и даже равнодушное, само по себе оно не было страшно. На вид ему было лет тридцать пять, черты лица крупные и правильные, ни бороды, ни усов,— лицо даже лоснилось, как будто от тщательного и недавнего бритья; только одного я не мог рассмотреть — его

глаз. Они были освещены, как и все, и я их видел, но рассмотреть и понять мешал его взгляд, обращенный прямо на меня. Что было в этом взгляде, я не умею сказать: он был прям, неподвижен и давал ощущение почти физического прикосновения; и впечатление от него было ужасно. Сколько времени он стоял здесь и так смотрел на меня? Эта мысль почему-то подействовала на мое самолюбие и вернула мне силы: он показался мне просто наглым негодяем, и, сделав шаг к окну, я что-то угрожающе крикнул. И как тогда, у окна моей комнаты, он медленно повернулся и отошел, сразу пропав в темноте ночи.

Я засмеялся и, возбужденно ходя по комнате, несколько раз громко повторил:

— Какой негодяй! Нет, только подумать, какой негодяй!

Продолжая возмущаться все более и более, я уже решил, несмотря на поздний час, разбудить лакея Ивана и работников и идти обыскивать сад, когда одна простая мысль уничтожила и ярость мою, и эти нелепые планы: я вдруг вспомнил, что библиотека, а следовательно, и окна ее находятся во втором этаже дома!

Этот вечер — в субботу, в библиотеке — стал началом дикого, лишенного цели и смысла, но упорного и систематического преследования. Я не могу точно восстановить в памяти ни дней, ни чисел, но знаю, что была известная последовательность и даже осторожность в том, как он медленно и постепенно приближался ко мне, завладевал все новыми окнами и часами, как бы окружал меня своим странным и упорным вездесущием. Недели полторы он приходил только ночью, потом вечером, потом в сумерки,— вернее сказать, начиная с сумерек, так как одним посещением в сутки он уже не ограничивался.

Да и можно ли было называть посещением эти внезапные молчаливые появления то за одним окном, то за другим, к которому я переходил в стремлении избавиться от настойчивого посетителя? Помню, что однажды я быстро перешел комнату с одной ее стороны на противоположную — и меня удивило, что он уже был там, успел обогнуть большое расстояние вокруг дома и уже снова поджидает меня.

По-видимому, никто из домашних ничего не подозревал, и жизнь текла по-обычному, холодно и печально, в глухом молчании и покое, лишь изредка нарушаемом судорогами нелепого норденовского веселья. Почему в этом доме никогда громко не плакали и не капризничали дети? Только раз, возвращаясь в свою комнату после занятий с Володей, я услыхал где-то близко плачущий голос самой маленькой: это было так необычно, так не в порядке дома, что я остановился и наконец открыл тихо дверь, за которой находилась девочка. К удивлению, ни мисс Молль, ни старшего ее воспитанника не было, комната была пуста, и в углу, лицом к стене, стояла самая маленькая и что-то быстро плачущим голоском шептала. В одной ручонке ее, вытянувшись и плоско подогнув тряпичатые ноги, висела кукла с распущенными волосами и одним выбитым глазом, а другую ручонку самая маленькая часто подносила к глазам и как-то деловито, продолжая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая маленькая перестала шептать, но не обернулась и только осторожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за своим телом.

— Тебя наказала мисс Молль? — спросил я девочку, наклонившись, но не смея повернуть ее к себе лицом: так почему-то неприкосновенна и страшна показалась мне печаль самой маленькой. Три или четыре раза я должен был повторить вопрос, пока не услышал тихого ответа:

— Нет. Я сама.

— Хочешь пойти ко мне на руки? Я поношу тебя по комнате.

Ответа не было, но кукла снова медленно сползла на пол, и вся фигура девочки, ее узенькие и круглые плечики, завиточки русых волос на затылке выразили колебание; и я уже протянул руки, когда где-то через комнату послышался громкий смех самого Нордена. Я оставил девочку и быстро вышел, решив как можно скорее объясниться с Норденом и уехать.

V

Конечно, мне следовало уехать, и все доводы рассудка говорили за то, что отъезд должен быть поспешным, даже немедленным, быть может, в этот же

самый день, в ту же минуту, как только явилась спасительная мысль. Но что-то сильнейшее, чем рассудок с его скучным и вялым голосом, приковывало меня к месту, направляло волю и все глубже вводило в круг таинственных и мрачных переживаний: у печали и страха есть свое очарование, и власть темных сил велика над душой одинокою, не знавшей радости. Не знаю, думал ли я так или отыскал какие-нибудь лживые предлоги, но только почти без колебаний отбросил мысль об отъезде и остался для новых страданий.

Возможно, что отчасти меня удержали наступившие прекрасные погожие дни, полные солнца и тишины. Ночные морозные туманы опушали инеем деревья, проволоку мимо проходившего телеграфа, каждую тонкую веточку и прутик превращали в белый мохнатый отросток какого-то невиданного красивого растения. Поредевший за осень сад снова стал непроницаем, словно покрылся новой, белой листвою; и тени на ветвях были так слабы, что дальние и ближние деревья совсем сливались, все ветви путались, и казалось, что никогда ослепленные глаза не разберутся в этой серебристой, неподвижной, застывшей путанице. Но вот посмотришь еще,— и вдруг все отделилось, каждая веточка плавает в море голубого воздуха, и среди белых, толстых, пушистых ветвей одного дерева воздуха так много, как во всем мире. Это было прекрасно и необыкновенно, а когда еще солнечные желтовато-розовые лучи вмешивались в неподвижную игру, тихо гасли, и вспыхивали, и терялись где-то в отдаленнейших переходах инея, глазам и душе становилось даже больно от красоты.

Во все эти дни он не появлялся, сам Норден с его смехом и анекдотами находился в городе, а без него некому было шуметь,— и чувство тишины было так сильно, как будто во всем мире прекратились внезапно всякое волнение, крик и голоса. И в эти тихие и счастливые часы я совсем забывал об ужасах часов ночных, когда земля также переставала быть той, какой я всегда знал ее, когда также царила *тишина.* И каждое утро я надевал лыжи и шел на берег застывшего моря, к могильному холму, и смотрел на большие и глубокие буквы, выведенные в снегу и обозначавшие чистое имя: *Елена.*

А возвращаясь к дому, я вежливо, но неотступно смотрел в окна, за которыми жила и томилась невидимая госпожа Норден, в надежде хоть мельком увидеть явившееся однажды молодое и бледное лицо. Но никто не показывался у окна, и можно было подумать, что там нет живых и что совсем нет на свете никакой госпожи Норден, странной женщины с бледным лицом, о которой никто не говорит,— как нет на свете Елены. О ней не говорят, но ежедневно к ней водят детей, и редко — правда, очень редко — я слышу из своей комнаты, как в людской раздается нерешительный и слабый звонок, повторяемый трижды и не похожий ни на чьи другие звонки: это зовет она. И мне странно подумать, что дверь к ней открывается, как всякая другая дверь, и навстречу горничной поднимается кто-то, кто есть она, что-то говорит тихим голосом, о чем-то просит, показывает ей свое бледное лицо. А горничная равнодушна, называет ее «барыня», и ничего не может рассказать о ней — или не хочет?

Числа пятнадцатого декабря вернулся из города Норден, а вскоре затем круто изменилась погода, потемнели дни, повалил густой и словно серый снег и покрыл холодной и плотной пеленой начертанное имя *Елена.* И вместе с дурной погодой вернулся он, и в новую фазу вступили мои отношения с невыносимым посетителем.

Девятнадцатого декабря, в воскресенье, после завтрака, когда все разошлись из столовой, я стоял с Володей у окна и смотрел в сад на падающий снег, когда появился *он*. Это было первый раз, когда он пришел днем и при посторонних. Стоял *он* в каких-нибудь двух шагах от стекла, и на черном котелке его и на плечах белел снег; я ясно видел две-три снежные звездочки, которые тихо прилегли на темное платье и спокойно остались там. Но главное внимание мое обратил на себя Володя: его глаза сузились, и взор приобрел ту определенность, какую дает рассматривание близкого предмета; несомненно, Володя видел то же, что и я. Более того, когда незнакомец через несколько секунд повернулся и стал уходить, Володя даже шагнул вперед, чтобы дольше видеть. Очень взволнованный, я повернул к себе мальчика и строго спросил:

— Вы видели *его?*

И он спокойно, как взрослый, солгал:

— Я не понимаю, про кого вы спрашиваете, и я не вижу ничего, кроме падающего снега. А разве вы видите что-нибудь еще?

— Да.

— Что же вы видите еще?

Я знал, что он будет лгать до конца, и бросил попытку узнать что-нибудь через него. А на другой день точь-в-точь повторился такой же случай, только стоял я у окна не с Володей, а с его не менее лживым родителем, и так же, постояв несколько секунд на полном виду, отошел *он* и скрылся за углом. И так же следил за ним глазами г. Норден.

— Каково? — сказал я и с некоторым усилием засмеялся.

— Я очень рад, что вы наконец развеселились, но в чем дело? — с видом искреннего удивления спросил меня Норден и осторожно коснулся рукой моего плеча.

Но ведь он же видел, видел, я это знаю!

— Вы видели?

— Нет.

— Нет, это неправда, самая форма вашего ответа показывает, что вы видели. Что это значит?

Он смотрел на меня пристально и без улыбки. Охваченный чувством ужасающей беспомощности, почти отчаяния, я глупо крикнул:

— Я буду жаловаться!

— Жаловаться?

И, конечно, он немедленно воспользовался моей ребяческой выходкой. Выражение лица его внезапно изменилось, стало внимательным и до приторности любезным; чуть не обнимая меня,— казалось, еще минута, и он осыплет меня поцелуями,— Норден забросал меня вопросами о причинах моего недовольства.

— Вас кто-нибудь оскорбил, быть может, прислуга? Но я не могу допустить этого в моем доме! Назовите имя виновного, и я немедленно... о, в этих случаях быть строгим даже культурно! Нет? Но тогда вы, вероятно, скучаете,— да, да, не отпирайтесь, я догадываюсь. Когда-то я также был молод... Ах, молодость, молодость!

Он еще долго болтал, н трудно было понять, насмехается ли он явно надо мною, нлн же и сам хочет избавнться от беспокойства,— настойчивые просьбы быть веселым и сейчас, немедленно, начать смеяться временами переходили почти в угрозу. Кончилось все планом колоссально интересной, колоссально веселой елки, которую мы с завтрашнего же утра начнем приготовлять; сейчас же он закажет дерево,— особенное, колоссальное дерево, сейчас же составит спнсок покупок, сейчас же кто-то поедет в город...

Так нелепо кончился наш разговор. И последующие затем дни, наряду с мраком, сгущавшимся над моей душою, запестрели проблесками какой-то искусственно веселой суеты, крикливой и шумной работы над ненужным, шуток, которые никого не веселят, громкого смеха, похожего на треск раздираемых в отчаянии одежд. Принесли дерево, действительно очень большую ель, наполнившую комнату пряным, смолистым, немного похоронным запахом хвои, чадили восковые свечи, которые то зажигались для опыта, то тушились; и я с мисс Молль н детьми что-то навешивал, лазал по лестнице, которую держал сам Норден, и раскидывал по колючим, неподатливым ветвям серебристые нити. Потом танцевали, исполняли какие-то замысловатые обряды и хоровые песни, и снова играла нам невидимая музыкантша.

А ночью происходило следующее. Разговор с Норденом, вернее, моя собственная глупость, так возмутили меня, что я тут же решил, с новым приливом сил, не оставлять дела так, сделать что-то твердое и решительное. И снова, как в ту ночь, я лег спать в постель, не раздеваясь, и нетерпеливо ждал минуты, когда за пологом окна я почувствую его присутствие: в этот раз, сгорая от невыносимого возбуждения, я сам готов был позвать своего странного и беспощадного преследователя. Но *он* медлил, и было уже около часа ночи, когда обычное, никогда не обманывавшее меня чувство показало мне, что *он* тут. Я быстро подошел к окну н отдернул занавеску: да, здесь. С ненавнстью и гневом я окинул взглядом темный силуэт с широкими плечами и головой, казавшейся во тьме почему-то маленькой, погрозил пальцем и повернулся, чтобы идти,— и *он* также повернулся от окна.

Шагая быстро, но осторожно и без шуму, я прошел ощупью две темные комнаты, пока сильный запах меха не показал мне, что я уже в прихожей; тут я зажег спичку, тотчас же погасшую, и открыл дверь в холодный стеклянный фонарь, отделявший прихожую от наружной двери. Железный засов был холоден и обжигал руки; в темноте, не имея возможности зажечь спичку, я довольно долго возился с ним, наконец распахнул дверь и решительно шагнул в темноту — и почти столкнулся с *ним.* Он стоял на занесенной снегом небольшой каменной площадке всего в одном шаге от меня, был неподвижен и молчал. Темное лицо его было обращено ко мне. Ростом он был немного выше меня. Не знаю, сколько времени стояли мы так друг против друга; он не делал попыток войти, не двигался, но с каждым мгновением мне становилось все страшнее,— и, тихонько шагнув назад, я стал медленно, с какой-то бессмысленной, но казавшейся мне необходимой вежливостью закрывать дверь. Когда я, закрыв дверь, поспешно задвигал засов, мне почудилось, что *он* слабо тянет ручку двери к себе, но, несомненно, это было только воображение.

В темной прихожей было тепло и уютно и опять сильно пахло мехом от зимних одежд. Дрожа, я отправился в свою комнату.

VI

Тогда меня еще не покинул разум; и наутро, после долгой и бессмысленной ночи, я отдался размышлениям о происходящих событиях. Помню хорошо, что в то утро я был очень серьезен, очень спокоен, и голова у меня была свежа, как у всякого другого, совершенно здорового и ничем не напуганного человека. Чтобы ничто не мешало размышлениям, я, под предлогом легкого нездоровья, отказался участвовать в дальнейшем, еще не законченном убранстве елки и пошел пройтись по широкой, накатанной дороге, ведущей к станции. День был морозный и хмурый.

Из книг и рассказов старых людей я знал, как и всякий знает, что людей одиноких, несчастных, потрясенных внезапным горем или совершивших преступле-

ние, посещают фантастические видения. Но я не совершал преступления, и не было у меня такого горя, и, что самое главное, непонятное, бессмысленное и нелепое: и никакой вообще связи с *моей жизнью* не имел и не мог иметь этот уличный и в то же время необыкновенный господин в котелке, летающий по воздуху, сторожащий меня у окон, полюбивший меня такой привязчивой и загадочной любовью. Что ему надо от меня? Я только репетитор в этом доме, и я ничего не знаю о той печальной ошибке, горькой неправде, быть может, преступлении, тень от которого покрывала чуждых мне людей и чуждое место. И я совершенно здоров, ежедневно прибавляюсь в весе, и все это так бессмысленно, что я даже не могу поехать к психиатру. Что ему надо от меня? Я только репетитор в доме.

Я несколько раз вслух — на дороге не было никого — повторил, как заклинание, эту фразу: я только репетитор в доме; и она была настолько убедительна и ясна, что на мгновение даже явилось желание поговорить с призраком и объяснить ему, что он ошибается, что я — только репетитор в доме. Но разве с призраками говорят, разве им доказывают что-нибудь? Бессмыслица, бессмыслица!

И снова я шагал по дороге и напряженно размышлял, пока не заметил, что мысли мои повторяются, двигаясь в одном и том же порядке, что я мыслю по кругу, соответствующему бегу цирковой лошади, и что круг замыкается в одном и том же месте, одним и тем же словом: бессмыслица. Надо сойти с круга, надо думать как-то иначе, но как? — я не знаю. А круг повторялся снова, я уже не шел, а бежал по замкнутой линии, возвращаясь, устремляясь вперед, теряя надежду и силы; и тогда мне стало нестерпимо страшно. Не от призрака, нет, он как-то потерял значительность, а от того, что делается и что *может* делаться в бедной человеческой голове. Помню, что я чуть не закричал и, повернувшись, быстро зашагал домой: даже *это* казалось домом рядом с призраком пустоты, явившимся сознанию.

И дома мне показалось совсем весело, тепло и приятно; и что было совсем радостно и заставило меня смеяться: без меня приехали приглашенные на рож-

дество два студента, племянники Нордена, очень милые и очень вежливые молодые люди, очень похожие друг на друга. Вместе с самим Норденом они возились около елки, кончая ее убранство, и тут же были дети, а вверху звучала музыка, в этот раз также показавшаяся мне непритворно-веселой — играла невидимая г-жа Норден новые танцы, привезенные студентами. Помню, что со студентами я ходил гулять, потом за обедом мы пили вино и чему-то очень много смеялись, а вечером уже совсем по-настоящему танцевали, так как приехала какая-то толстая дама с двумя дочерьми, молоденькими девушками, очень веселыми и любезными. Забегая несколько вперед, упомяну, что в последующие дни приехало еще много гостей, приглашенных на рождество, очень милых и приветливых людей, и мне даже странным показалось, как мог наш дом, хотя и большой, вместить такое количество людей, исчезавших к ночи по своим комнатам. Кто они были, я, собственно, не знаю; и еще я должен указать на некоторый курьез памяти: я не помню ни одного лица, ни старого, ни молодого. Очень хорошо помню платья, мужские и женские, черные и цветные, очень ясно вижу до сих пор даже один генеральский мундир, но над ним настолько бессилен вызвать памятью хоть какое-нибудь лицо, словно это не было настоящим и живым, а только вывеской у военного портного.

Возвращаюсь к тому дню, когда приехали студенты и толстая дама с двумя дочерьми. После вина и танцев, в которых я принимал самое оживленное участие и всех смешил своей неловкостью, у меня сильно кружилась голова; и, придя в свою комнату, когда все разошлись, я, не раздеваясь, бросился на постель и тотчас же уснул. Проснулся я часа через два или три среди глубокой ночи: томила жажда и что-то еще другое, беспокойное и повелительное, звало меня проснуться и встать; было мертвенно-тихо в спящем доме, и за окном, у которого я забыл задернуть занавеску, стоял *он*. Помню, что я еще пожал плечами и, не торопясь, но в то же время не сводя глаз с окна, налил один за другим два стакана воды и выпил. Но *он* не уходил. И, уже леденея от холода, словно открылось окно наружу, в мороз и тьму зимней ночи,

совсем позабыв о недавнем вечере с его танцами и музыкой, весь отдаваясь чувству дикой покорности и тоски, я медленно показал *ему* рукой на дверь и по-вчерашнему, в темноте, направился к выходу. И опять по-вчерашнему пахло мехом в передней, и был холоден железный засов, долго не поддававшийся усилиям моих дрожащих слегка рук; и снова, как вчера, уже стоял на площадке *он* и молча ждал. Я также молчал и ждал, очень внимательно почему-то прислушиваясь к далекому и одинокому лаю собаки, единственному живому звуку, нарушавшему безмолвие ночи; не знаю, сколько прошло времени, когда *он* вдруг шагнул в дверь, сильно толкнув меня плечом. Я последовал за ним и еще видел, когда *он* открывал дверь из передней в комнаты, его темный силуэт, мелькнувший на фоне далекого окна; и меня нисколько не удивило, что *он* вошел в мою комнату — именно в мою комнату. Вошел и я, по привычке закрыв за собой дверь, но дальше порога не двинулся: было очень темно, я не знал, где *он,* и мог на него наткнуться. Только спустя некоторое, довольно долгое время, когда глаза мои освоились с полумраком комнаты, я увидел темное, высокое неподвижное пятно у стены; если бы я не знал, что в этом месте стена пуста, я мог бы принять это пятно за какую-то мебель или груду висящего платья. Дыхания не было слышно.

Времени прошло так много и неподвижность *его* была так ненарушима, что я начал сомневаться, и, сделав шаг вперед, далеко протянутой рукой осторожно коснулся пятна: на мгновение мои пальцы ощутили прикосновение к материи и чему-то за ней твердому, плечу или руке. Я отдернул пальцы и опять долго стоял, не зная, что я должен делать дальше; наконец я пересилил сухость в горле и громко, хотя и хриплым голосом, сказал:

— Что вам надо? Я только репетитор в доме.

Но *он* молчал, и мне стало смешно, что я сказал ему «вы». Но все же я понял из его молчания, что мне надо ложиться в постель; и я сделал это, медленно и по порядку раздевшись под его невидимым в темноте, но угадываемым взглядом,— сидел я на своей кровати, сильно скрипевшей при моих движениях,

что меня почему-то очень смущало. И уже ложась под холодное одеяло, я еще подумал, что не выставил за дверь ботинок, но решил: теперь все равно. Лег я навзничь, лицом вверх, иначе казалось невежливым; и в ту же минуту *он* сел,— осторожно подвинув меня к стене,— на край постели и положил свою руку мне на голову.

Она была умеренно холодна и очень тяжела, и от нее исходили сон и тоска. В жизни моей я испытал много тяжелого, видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раз думал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвется от печали и горя, но такой тоски я даже не мог представить себе до этой ночи, до первого прикосновения к моему лбу этой холодной и тяжелой руки. Сразу же я почувствовал, что я засыпаю, но странно: сон и тоска не боролись друг с другом, а вместе входили в меня, как единое, и от головы медленно разливались по всему телу, проникали в самую глубину тела, становились моей кровью, моими пальцами, моей грудью. Я еще сознавал тот момент, когда тоска и сон дошли до сердца и залили его, но дальше все, и сознание, и страх, и отрывочные мысли о происходящем,— все погасло в чувстве единой и все исчерпывающей, все покрывающей тоски. Погасли все образы, все мысли и воспоминания, и отошла молодость; погасли все желания, сама жизнь погасла, и было душе так больно, такая тоска овладела ею, для какой нет на нашем языке ни образа сравнения, ни слова. Уже стало совсем неинтересно, что возле сидит *он* и держит на голове свою страшную руку; и медленно, тоскуя смертельно, тоскуя неподвижно, тоскуя вне всяких пределов, какие полагает ограниченная действительность,— медленно я погрузился в сон без сновидений.

Утром я проснулся в свое обычное время. Комната была пуста, и все было на своем месте, как всегда. В окно светило красноватое, морозное солнце; чувствовал я себя ни плохо, ни хорошо, а как-то пусто и плоско, и в зеркале, одеваясь, увидел свое обычное, нисколько не изменившееся лицо — серое и некрасивое лицо часто голодавшего человека, которого никто не ласкает. И все было как обычно, как всегда, но одно я знал твердо: что-то изменилось в мире, и преж-

него, еще вчерашнего мира нет и больше никогда не будет. Тут же, еще не выходя нз комнаты, я сделал одно интересное н как-то тускло меня порадовавшее наблюдение: от недавнего страха перед загадочным призраком, терзавшего меня все это время, не осталось н следа. А выйдя в столовую, где уже собрались гости и Норден рассказывал прн общем смехе свои анекдоты, я почувствовал непреодолимое отвращенне ко всем этим людям. Настолько было велико отвращение, что, здороваясь, при каждом новом рукопожатии я испытывал чисто физическое ощущение томительной, подступающей к горлу тошноты. Правда, в течение шумного н разнообразного дня чувство отвращения сгладилось, почти исчезло, но каждое следующее утро начнналось для меня томительной тошнотой, ндущей за каждым крепким пожатием незнакомой руки.

VII

В то же утро, возвратнвшись с прогулкн, во время которой все мы под предводительством господина Нордена играли в снежки, я ушел на несколько минут в свою комнату и написал письмо товарищу-студенту, жнвшему в городе. Друзей в жизни у меня не было, н этот студент не был моим другом, но относился он ко мне лучше других, был добрый н хороший человек, всегда готовый помочь. Смысл письма и чувство, с которым я писал его, было то, что я нахожусь в ужасной опасности и он должен прнехать и спасти меня; но выражено все это было в очень вялой форме, звучало скукой, почтн равнодушнем и едва ли достигло бы цели, пошли я письмо. Но почему-то я даже не послал его, и уже долго спустя, после выздоровления, я нашел его в кармане тужурки запечатанным и без адреса. Может быть, я тогда забыл адрес? — не знаю. Даты на пнсьме нет; и вот что в нем напнсано: «Дорогой М. И., если вы не очень заняты, то приезжайте сюда. Здесь что-то происходит, н меня надо взять». И подпись.

И вообще надо думать, что с этого именно дня у меня началось то странное ослабленне памятн, а временами почтн полная потеря ее, вследствие которой

на весь последний период моей жизни у Нордена ложится налет отрывочности и беспорядка. Я уже говорил, что я не помню ни одного лица многочисленных гостей Нордена и вижу только платья без голов: как будто это не люди были, а раскрылся, ожил и затанцевал платяной шкап; но должен добавить, что и речей я не помню, ни одного слова, хотя знаю твердо, что все, и я с ними, очень много говорили, шутили и смеялись. Совершенно не помню я чисел и до сих пор не знаю, сколько времени, сколько дней и ночей прошло до того момента, как я покинул дом,— и иногда мне кажется, что прошло не менее нескольких недель, а иногда — что все совершилось в два-три дня. И в то же время я с величайшей ясностью помню отдельные мелочи, многие свои тогдашние мысли и чувства и храню ощущение от того периода не беспамятства, а, наоборот, памяти твердой и сознания вполне ясного, как будто только теперь, после болезни, я забыл, что происходило, а тогда помнил все и все сознавал.

Так, первое, чего и нельзя забыть, я помню те ночные часы, когда приходил *он* и клал мне на голову свою холодную и тяжелую руку. Эти посещения стали как бы порядком моей жизни и каждый раз происходили при одних и тех же обстоятельствах: с вечера, когда гости расходились по своим комнатам, я одетый бросался в постель и несколько часов спал; потом в темноте шел в прихожую, открывал наружную дверь и впускал *его,* уже стоявшего на площадке. Потом мы шли в мою комнату, я раздевался и ложился навзничь под холодное одеяло, а *он* садился возле и клал мне на голову свою руку. И от руки исходили сон и тоска — сон и тоска. Страх перед незнакомцем совершенно исчез; правда, я никогда не пытался сам коснуться его или заговорить, но это не от страха, а от какого-то чувства ненужности всяких слов; и все делалось по виду так спокойно и просто, словно *он* не был величайшим злом и смертью моею, а простым, аккуратным, молчаливым врачом, ежедневно посещающим такого же аккуратного и молчаливого пациента. Но тоска была ужасна.

А потом начиналось короткое утро, лишенное света, и долгий, шумный, беспорядочный и, по-видимому,

веселый вечер — очень быстро, одно за другим. Не знаю, что сделалн без меня с елкой, но с каждым вечером оиа горела все ярче и ярче, заливала светом потолок и стеиы, бросала в окна целые снопы ослепительного огия. И целый день с утра до иочн раздавался иепрерывиый смех Нордеиа и его прнглашающнй возглас:

— Таицнреи! Танцирен!

Я ие помню другнх голосов, но этот крик до снх пор стонт у меня в ушах, преследует меня во сие, врывается в глубину монх мыслей н разгоняет их. Покрывая музыку, смех, топот иог, весь тот шум, который пронзводят людн, собравшнсь для веселья, резкий, как голос попугая, ои звучал во всех углах и становился иевыносим. И ниогда Норден кричал весело н шутливо, но часто — как мне помиится — голос стаиовнлся хрнплым, почтн угрожающнм; казалось порою, что и сам ои устал, ио уже не может остановнться н кричнт с угрозой, почтн со слезами:

— Таицнрен! Танцнреи!

Одии такой случай я хорошо помню. Не зиаю, почему вдруг смолкла музыка наверху и иаступила тншииа, иеобычайиая для этого временн; ие знаю, ие обратнл виимання, вероятно, что делалн гости, собравшнсь у стеиы, залитой светом елки. Помию только самого Нордена. Вероятно, он был пьян, потому что н борода его, н волосы былн в беспорядке, и выражеине лнца у него было днкое н страиное. Он стоял посереднне комнаты и, потрясая кулаками, яростио вопил:

— Таицирен!

И кому-то грозил. Дальше была сиова музыка и танцы; и в этот, кажется, вечер, нмеиио в этот, состоялся тот самый большой, даже грандиозный бал, от которого у меия в памяти сохранился образ миожества движущнхся людей и иеобыкновенно яркого света, похожего иа свет пожара илн тысячи смоляиых бочек. Положнтельно иевозможно, чтобы иа балу присутствовали только обычные гости Нордеиа: людей было так миого, что, вероятио, былн и другне, только иа этот вечер приглашеииые гости, потом разъехавшнеся. И с этнм же вечером у меня связано очеиь страиное чувство — чувство близости *Елены:*

словно и она присутствовала на балу. Очень возможно, что в саду и на дворе действительно горели смоляные бочки и что я случайно или умышленно пробрался к тому месту берега, где стояла занесенная снегом пирамида, и долго думал там о Елене, но в тогдашнем состоянии моем вообразил себе иное — другого объяснения я не могу найти. Но это только объяснение, чувство же близости *Елены* было и остается до сих пор таким убедительным и несомненным, что всю правду я невольно приписываю ему; я помню даже те два стула, на которых мы сидели рядом и разговаривали, помню ощущение разговора и ее лица... но тут все кончается, и теперь мне кажется минутами: стоит мне сделать какое-то усилие над памятью — и я увижу ее лицо, услышу слова, наконец пойму то важное, что тогда происходило вокруг меня, но нет — я не могу, да и не хочу почему-то сделать это усилие. Пусть лучше будет так, как оно есть. Потом *Елена* ушла и больше уже не возвращалась.

Из тогдашних чувств моих особенно ясно сохранилось в памяти одно: будто я оказываюсь невольным и слепым свидетелем каких-то огромных и чрезвычайно важных событий, совершающихся возле меня, какой-то огромной мучительной и страшной борьбы недоступных моему зрению существ. Свидетелем я оказался случайным, ненужным и совершенно слепым, но самый воздух вокруг меня, в котором двигались, борясь, эти существа, колыхался так сильно, размахи были так широки и властны, что и меня захватило в круговорот... Но не думаю, чтобы и сам Норден знал больше меня; и если он и был одним из действующих лиц, то, вероятно, не менее слепым, чем я, как свидетель. Но эти чувства и догадки, ничего не объясняющие, существовали только днем, а ночью приходил *он* — и все: волнения и догадки, желания и воля — все поглощалось смертельной, ни с чем не сравнимой тоской. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась с ним воедино, делало ее непреодолимой и ужасной. Когда человек тоскует наяву, к нему еще приходят голоса живого мира и нарушают цельность мучительного чувства; но тут я засыпал, тут я сном, как глухой стеной, отделялся от всего мира, даже от

ощущения собственного тела,— и оставалась только тоска, единая, ненарушимая, выходящая за все пределы, какие полагает ограниченная действительность.

Не знаю, сколько прошло дней после необыкновенного бала, когда неумолчный крик Нордена: «Танцирен! Танцирен!» — вдруг оборвался внезапно, был поглощен хаосом каких-то других громких, беспокойных и многочисленных голосов. Так же внезапно оборвался и танец, был поглощен потоком какого-то нового движения, беспорядочного, хаотичного и печального, как печальны были голоса. Произошло это ночью, около того часа, когда должен был прийти *он,* и по характеру напоминало мне ту ноябрьскую ночь, когда была буря и с невидимой госпожой Норден случился припадок. Я проснулся и, не знаю — почему, не счел нужным выходить из комнаты; и так же равнодушно, с непонятной, но твердой уверенностью, что сегодня *он* не придет, я позволил себе раздеться и лечь в постель. Но голоса и движение по дому продолжались еще долго, и особенно настойчив был один звук: кто-то непрерывно бегал по деревянной лестнице вверх и вниз. Взбегал вверх и тотчас же, с той же стремительностью и грохотом ног по деревянной пустой настилке, сбегал вниз: и снова вверх, и снова вниз. В другое время этот беспокойный звук, говорящий о несчастье, показался бы мне мучительным и, конечно, не дал бы мне уснуть, но теперь я не думал о значении его и был даже рад: он давал мне эту уверенность, что, пока в доме шумят, *он* не посмеет прийти и я могу спать спокойно. И совсем равнодушно, без тоски и мыслей, как неживой, я быстро уснул, последним звуком унося в сон грохот пустых ступеней под тяжелой, беспокойной и торопливой ногой. Тогда я еще не знал, что *он* больше никогда не придет и никогда больше я не увижу широких плеч с маленькой темной головой.

Утром, когда я проснулся в обычный час, в доме было необыкновенно тихо. Обычно в этот час уже начиналась жизнь, но теперь, после беспокойной ночи, все, даже прислуга, вероятно, еще спали, и во всем доме царила необыкновенная тишина. Я оделся и вышел в столовую, и тут увидел: на том столе, где вче-

ра мы ужинали, лежала мертвая женщина, обряженная так, как обыкновенно обряжают покойников.

Хотя я никогда не видал госпожи Норден, но тут сразу узнал — это была она.

VIII

Не было над нею ни свечей, ни чтеца, и стояла кругом ненарушимая тишина; и от этого мне показалось в первую минуту, что никто еще в доме не знает о смерти — так одинока была она на своем ложе. Но тотчас же я понял, что все они действительно спят, и перестал думать о них. Это было не от недостатка сознания: наоборот, именно в этот час вернулось ко мне сознание более ясным, чем оно было когда-нибудь раньше. Нет, потому я перестал думать о людях, что они стали не нужны.

Она была молода и прекрасна. Нет, она не была прекрасна, но она была та, которую я знал всю жизнь и всю жизнь любил. И любил я ее, не зная, что люблю, и искал ее, не зная, что ищу. Мне не нужно было заходить с той стороны, чтобы увидеть маленькое темное пятнышко у глаза, милую родинку — я и так знал, что она есть. Мне не нужно было касаться ее тонких ледяных пальцев, сложенных на груди, чтобы увидеть их живыми, такими я их знал всегда, и не нужно было поднимать мертвых век, чтобы увидеть ее знакомый взгляд, живое сияние дорогих и вечно любимых глаз. Мне жаль только ее дорогих и милых пальцев, которые должны были играть веселые, незнакомые танцы, пока там, внизу, смеялся и танцевал — смеялся и танцевал несчастный Норден. Прости его, он не знал. Прости и меня, что я чертил на песке пустое имя *Елена:* я не знал тогда твоего имени — как не знаю и сейчас.

Нет, она не была прекрасна, и никто не мог бы сказать, какая она. Но она была та, которую я любил всю жизнь, не зная, что люблю. Всю жизнь я думал о других и о другом, а о ней не подумал ни разу,— и оттого все мысли мои были ложью; всю жизнь я видел другие лица, слышал другие голоса, а ее никогда не видал и голоса никогда не слышал,— и оттого ненастоящими казались мне все люди. Толь-

ко тебя одну я знал, и только тебя одну не видел ни разу.

Я не могу припомнить вполне точных выражений, но так приблизительно думал я, стоя перед мертвой. Теперь я не знаю, насколько правдиво было тогдашнее чувство мое, и больше того: я не могу вспомнить отчетливо бледного лица, на которое смотрел так долго и которое — тогда — я знал так хорошо. Но я знаю, что чувство любви, внезапно открывшей свои глаза, было тогда глубоко и непостижимо, и так же глубока была начавшаяся тихо, но все растущая печаль. Кажется, я не сразу понял, что она мертва, и только постепенно, видя неподвижность трупа, ощущая пустоту и тишину мертвого дома, я начал чувствовать горькую и неутолимую печаль. Я заплакал и плакал долго, и так, продолжая плакать, плохо различая первые свои шаги, я вышел из норденовского дома.

Я вышел раздетый, только в одном сюртуке, без фуражки, но холода не почувствовал, да и день был не особенно морозный, иначе я, конечно, замерз бы в пути. На дорогу я не пошел, но, миновав сад с его глубоким снегом, выбрался на берег и оттуда дальше в море. На льду снег был почему-то не так глубок, идти было легче, и уже скоро я оказался далеко от берега, в центре пустынного, ровного и белого пространства. Плакать я перестал, ни о чем не думал и только шел, с каждым шагом точно растворяясь в пустоте белой и безграничной глади. Ни дороги, ни следа ноги, ни темного пятна не было передо мною и вокруг меня; и когда я, начиная уставать и поддаваться холоду, приостанавливался на минуту и озирался кругом — всюду было то же пустынное, ровное белое пространство, почти сама пустота, какою ее можно видеть только во сне. И скоро мое движение вперед приобрело все черты долгого и однообразного сна, покорной и безнадежной борьбы с неодолимым пространством; так, вероятно, грезят измученные оглохшие лошади к концу далекого пути и те особенные люди, что ходят из конца в конец земли и тягучим ритмом своих шагов гасят сознание жизни. Время от времени слой снега утолщался, ноги вязли в глубоких сугробах, и я останавливался, минуту смотрел вокруг и говорил:

— Какое горе! Какое несчастье!

Говорил я эти слова с таким выражением, как будто убеждал кого-то, и глаза мои, которыми я смотрел на бесконечную плоскую равнину, казались мне такими же белыми, мертвыми, ничего не отражающими, как снег. Но это было еще в начале пути, когда я что-нибудь говорил,— потом я совсем умолк и двигался и останавливался молча.

Долгое время холод совсем не был заметен, и голове и груди было даже приятно от острого ощущения воздуха, как бы отделявшего платье от тела, и просто, без боли и неприятного, стали неметь руки в локтях и ноги в коленях — трудно становилось сгибать их. Но я не думал и не понимал, что замерзаю, и все шел, внимательно разглядывая снег под ногами, и снег был все один и тот же. И сколько я ни поднимал и ни опускал ногу, снег был все один и тот же. И наступила ли ночь действительно, или мрак шел изнутри меня — все вокруг меня начало медленно и тихо темнеть, из ровно-белого превращаться в ровно серое, стало совсем не на что смотреть. А когда совсем не на что смотреть, то это слепота: я так тогда это и понял и дальше, не знаю сколько, шел уже слепой. Момента, когда я упал и началось беспамятство, я не помню.

Больше сказать мне нечего.

Как передавали потом, меня нашли на льду и спасли рыбаки: случайно я упал на ихней дороге. В больнице у меня отрезали несколько отмороженных пальцев на ногах, и еще месяца два или три я был чем-то болен, долго находился в беспамятстве. У Нордена умерла жена, и он прислал денег на мое лечение. Больше о нем я ничего не слыхал. Также не появлялся с той ночи *он* и, я знаю, больше никогда и не появится. Хотя, приди он теперь, я, может быть, встретил бы его с некоторым удовольствием.

Дело в том, что я почему-то умираю. Они все допрашивают меня, что со мной и почему я молчу и отчего я умираю,— и эти вопросы — сейчас самое трудное для меня и тяжелое; я знаю, что они спрашивают от любви и хотят помочь мне, но я этих вопросов

боюсь ужасно. Разве всегда знают люди, отчего они умирают? Мне нечего ответить, а они все спрашивают и мучают меня ужасно. Живу я сейчас с М. И.— товарищем, которому я писал,— он очень любезен и через неделю, в конце мая месяца, хочет везти меня куда-то в деревню. Это все хорошо, я ничего не возражаю, но не нужно все время спрашивать, не надо говорить так много. Как мне объяснить ему, что молчание — есть естественное состояние человека, когда сам он настойчиво верит в какие-то слова, любит их ужасно.

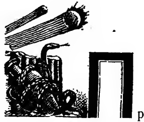
Вчера вечером мы ездили на острова. Там очень хорошо, было много гуляющих. Вышла в море, несмотря на ночь, какая-то яхта с очень белыми парусами и долго еще виднелась на горизонте.

Да: кажется, нужно еще добавить, что я не люблю ни Елены, ни госпожи Норден и совсем не думаю о них. Теперь все.

ЗЕМЛЯ

Сказка

I



Призвал Всеблагий ангела в белых одеждах и говорит ему:

— Преклони ухо твое к земле и послушай. И когда услышишь нечто, скажи.

Долго слушал ангел и отвечает:

— Слышу я как бы плач. Плачет земля. И слышал я как бы крик, вопли и стон, голоса детские. Страдает земля. И слышал я хохот глумливый, визги сладострастия и ворчание убийц. Грешит земля. И страшно тому, кто на земле живет.

Сказал Всеблагий:

— Многих из белого стада моего посылал я на землю, и доселе никто еще не вернулся. Жду я их напрасно и плачу от горести, а их все нет, а земля все стонет, и потускнели мои звездные ночи. Жалко мне тебя, но настал ныне твой черед: лети на землю, обернись человеком и, ходя меж людей, узнай, что им нужно. От болтунов бегай, но молчащих не оставляй, доколе не заговорят; и слова их храни бережно, как жемчуг. С веселыми детишками поиграй, но есть дети печальные, у которых личико мало и бледно, а глаза огромны и темны; которые не смеются и не играют, не знают забав, свойственных их возрасту; которые печалью своей устрашают даже бога; и тем детям отдай твою любовь и милость ангельскую. А я буду ждать тебя с волнением, задержу потемнение звезд и свет их светом надежды моей умножу.

Принял ангел благословение и покорно низринулся на страшную и чуждую землю, сверкнув белыми одеждами. В ту ночь на земле была гроза и буря, и много людей погибло под развалинами домов, в морской пучине. И молнии сверкали...

Вот и вернулся ангел, сверкнул белыми одеждами и стал покорно в ожидании вопросов. Обрадовался Всеблагий и для торжества повелел возгореться многим новым кометам: пусть сияют полукружием. И еще то понравилось Всеблагому, что так белы и светлы одежды ангельские. С этого и начал он вопросы:

— Меня радует твой вид, воистину достойный неба; но скажи мне, миленький,— или на земле совсем нет грязи? На одеждах твоих я не вижу ни единого пятнышка.

Ангел ответил:

— Нет, отец, на земле очень много грязи, но я избегал прикосновения к ней и оттого и не запачкался.

Нахмурился Всеблагий и спрашивает с сомнением:

— Но неужели на земле перестали лить красную кровь? — На твоих одеждах нет ни единого пятнышка, и белы они, как снег.

Ангел ответил:

— Нет, отец, льется на земле красная кровь, но я избегал соприкосновения с ней, и оттого я так чист. И так как нельзя, ходя меж людей, избежать грязи и крови ихней и не запачкать одежд, то на самую землю я не спускался, а летал на небольшой высоте, оттуда посылая улыбки, укор и благословения...

Сказал Всеблагий:

— Таким образом очень трудно узнать, что надо людям. Но, может быть, ты все-таки узнал?

Ангел ответил:

— Нет, отец. Главным образом я сам им рассказывал, как надо жить, чтобы не было страданий, слез и грязи; но плохо они слушают, отец, грязны они попрежнему, как животные, и надо их всех истребить, по моему мнению.

— Ты так думаешь?

— Да, отец. И не то еще плохо, что сами они денно и нощно, бранясь и плача, наравне клянясь тобою и дьяволом, месят кровавую грязь, но то ужасно, возмутительно и недопустимо, что ангелов твоих, тобою посланных, чистых агнцев белого стада твоего, запят-

нали оии до иеузнаваемости, грязью забрызгали и кровью залили, приобщили к грехам своим и преступлениям.

— Ты их видел?!

— Увы! — видел, отец. Но ие поклонился и даже сделал вид, что ие узнал, ибо многие из иих были даже не трезвы и вели буйиые, соблазнительиые речи, совершали неподходящие и даже зазорные поступки.

— Где же ты их видел, миленький?

— Даже сказать стыдио, отец. Видел я их в кабаках и тюрьмах, где питаются они из общего котла с ворами и убийцами; видел я их среди прелюбодеев, журналистов и всякого рода грешников. Что с одеждами их сталось, рассказать иевозможно: ие только утрачен ангельский фасон, но в клочья изорвана материя и цвет почти неразличим: стремясь к аккуратности, накладывают они латки других цветов, даже красные. Слыхал я стороною, что миогие из иих тоскуют о небе и будто бы даже имеют рассказать нечто, но в таком виде страшатся возвращения. Однажды ночью, при дороге, увидел я спящего бродягу; был он пьян и бредил, и узнал я в ием реиегата, одиого из посланных тобой с доверием; и вот что я подслушал среди бессвязиых и кощунственных выкликов его: «горько мне без неба, которого я лишен, по не хочу быть ангелом среди людей, не хочу белых одежд, ие хочу крыльев!» Буквально так и говорил, отец: «не хочу крыльев!»

III

Так рассказывал ангел, расправляя белоснежиые перышки, и ждал великой похвалы за свою чистоту и мудрую осторожность. А вместо того великим и страшным гневом разгневался отец и предал чистоплотного ненарушимому и вечному проклятию. Когда затихли громы слов его и молнии очей смягчили мало-помалу свой ужасающий блеск, перешел Всеблагий к тихой речи и сказал:

— Ступай отсюда и ие возвращайся, пока духом и телом твоим не приобщишься к страдающему человеку. Пойми и запомни, миленький, что белая одежда обязательна для тех, кто никогда еще не покидал не-

ба; но для тех, кто был на земле, такая вот чистенькая одежда, как у тебя,— срам и позор! Себя, я вижу, ты берег, и противен ты мне за это. Ступай поскорее, а то опять громы подступают к груди. И когда ты увидишь на земле тех, прежних посланцев моих, что боятся возвращения, скажи им кротко и милостиво, ибо от моего лица говорить будешь: «возвращайтесь на небо, не страшитесь, отец вас любит и ждет».

Горько и даже ядовито усмехнулся обиженный ангел, но сделал скромный вид и, потупив хитрые глаза, ответил:

— Я уж им говорил. Не хотят.

— Чего не хотят?

— Возвращаться на небо.

— Боятся? Скажи, что я им дам новые одежды.

— Нет. Не хотят. Они так говорят, отец: «Вот мы пойдем на небо и снова оденем белые одежды, а как же те, которые останутся? Если идти, так уж всем, а одни мы не пойдем».

Задумался Всеблагий и думал долго. Наконец сказал:

— Так вот какова земля. Вижу я бессилие моих ангелов и начинаю думать так: не пойти ли мне самому на землю?

Ангел сказал:

— Они все давно зовут тебя и ждут. Но прости за дерзость, отец: если ты сам пойдешь на землю, то ты и сам сюда не вернешься.

Воскликнул Всеблагий:

— Но как же тогда мое небо?! Оно станет пусто.

— Они говорят: тогда твое небо будет на земле, и ни им, ни тебе, ни людям страдающим не нужно будет иного неба. Так они говорят, и теперь я вижу, что они правы. Прощай, отец, навсегда!

С этими словами вновь низринулся ангел на землю и навеки потерялся среди слез ее и крови. И в тяжелой думе онемели небеса, пытливо смотря на маленькую и печальную землю — такую маленькую и такую страшную и непобедимую в своей печали. Тихо догорали праздничные кометы, и в красном свете их уже пустым и мертвым казался трон.

ОСЛЫ

Новелла

1

Знаменитый Энрико Спаргетти по справедливости считался любимцем богов и людей. Сильный и прекрасный собою, он обладал чарующим голосом, несравненным bel canto [1], и уже при первом выступлении своем затмил всех других известных певцов и получил прозвище Орфея; а к тридцати годам жизни его слава распространилась по всему Старому и Новому Свету, от солнцепламенного Рио-Жанейро до холодных гиперборейских стран.

Родители его были людьми простого звания и жили в бедности, но Энрико божественным даром своим приобрел неисчислимые богатства и сделался другом многих весьма высокопоставленных особ: английских пэров, немецких графов и даже тогдашнего владетельного принца Монако. И многие философы, чуждые дешевых обольщений, вступали в близость с великим певцом, стремясь разгадать тайну его необыкновенного дарования, живописцы же и скульпторы соревновались друг с другом в изображении и увековечении его прекрасной головы и лица, в чертах которого явственно виделась печать избранничества. Излишне упоминать, что и женщины всего света дарили его своей благосклонностью, порой доходившей до неистовства ничем не сдерживаемой страсти; но, будучи человеком благоразумным и больше всего любя свое искусство, Энрико часто оставлял без ответа их неосторожные домогательства и сумел, наряду с турецким многоженством, сохранить всю прелесть и удобства холостой жизни. Многочисленные дети, бывшие

[1] Прекрасное пение *(ит.)*.

плодом этих случайных любовных связей, не оставлялись им, однако, без попечения и богато содержались в пансионах Парижа, Лондона, Петербурга, Нью-Йорка и других городов.

В ту пору, когда подвизался Энрико Спаргетти, еще не были изобретены граммофоны, и мы не имеем возможности хотя бы отдаленно судить о свойствах и силе его голоса, но в мемуарах современников и тогдашних журналах находим многочисленные указания на то, что голос этот обладал обольстительностью, превосходившей всякое вероятие, и казался принадлежащим всесильному чародею. Рассказывают, что тысячи собравшихся, слушая Энрико, теряли всякую волю над собою и покорно переходили, послушные чародею, от горьких слез к неудержимому смеху, от отчаяния к ослепительному восторгу и почти безумному экстазу. Первым же звуком своего голоса, возносящимся к небу на крыльях свободного вдохновения, он подчинял себе самую непокорную душу и вел за собою человека, как поводырь слепца или магнит железные опилки; правда, многие гордецы пытались сопротивляться таинственным чарам, но еще не было случая, чтобы такое сопротивление увенчивалось успехом и несчастный не становился самым горячим поклонником Энрико Спаргетти.

Так, передают, что один государственный муж, великий в своей области, создатель царств и железных легионов, но совершенно равнодушный к музыке и красоте, долго не соглашался послушать Спаргетти, уверяя, что он немедленно при первых же звуках заснет в своем кресле, как некогда засыпал под пение няньки.

— За бочонком вина и под аккомпанемент барабана — пожалуй, я готов его послушать и даже могу и сам подтянуть, как бывало на наших студенческих пирушках; но эти трели и пиано... извините, я слишком занят! — сердито отвечал он приближенным, которые уговаривали его посетить концерт приехавшего певца.

И что же оказалось? Приглашенный в свою ложу царственной особой и не смея отказаться от приглашения, равного приказу, великий муж не только не заснул, но впал в состояние, близкое к экстазу и поте-

ре сознания. Красный от восторга, он так выразился по окончании концерта в беседе с царственной особой:

— Ваше величество! Если бы мне дать такой голос, я без единой капли крови завоевал бы и сложил к вашим стопам Францию, Австрию и Великобританию. Одним я спел бы: марш за мной! другим я спел бы: вы мною покорены! Смирно! — и дело было бы в шляпе с позволения вашего величества. Должен сознаться, что это сильнее штыка и даже — сильнее пушки!

А Энрико, награжденный высоким знаком отличия, поехал дальше, всюду сея очарование и не видя границ своей чудодейственной власти. Ибо то, о чем только грезил государственный муж, уже отчасти сбылось с великим певцом, однажды имевшим случай испытать свою власть над грубой толпою. Это было в Лондоне, в одном из его темных и опасных кварталов, куда Энрико один, без спутников, пробирался на свидание: внезапно окруженный толпою грабителей, угрожавших его жизни, он пением заставил их отказаться от своего преступного намерения и, продолжая петь, довел их, как рачительная бонна ведет послушных детей, до самых ворот полицейского участка, куда и сдал их немых от восхищения и неожиданности.

Вполне естественно, что при таких условиях Энрико Спаргетти проникся верою в свою сверхъестественную мощь и, порою, глядя на себя в зеркало, не на шутку задумывался о своем божественном происхождении.

2

Как и все певцы, не имеющие времени для литературных занятий, Энрико долгое время совсем не знал, кто такой Орфей, именем которого часто называли его поклонники и журналы; и однажды он обратился с вопросом по этому поводу к своему секретарю и другу, Гонорию ди-Виетри.

— Скажи мне, кто был этот Орфей, имя которого я так часто слышу, как похвалу? Мне это надоело. Когда он жил? И неужели этот тенор был настолько лучше меня, что меня украшают его именем? Я в этом сильно сомневаюсь.

Почтенный и высокообразованный Гонорий в ответ рассказал певцу миф об Орфее, который своей песней чаровал леса, скалы и диких зверей пустыни.

— Деревья,— повествовал Гонорий,— привлекаемые силою прелестных звуков, толпились вокруг певца и давали ему тень и прохладу; очарованные скалы теснились к нему; птицы лесные оставляли свою чащу, а звери — свои трущобы и тихо и кротко внимали сладким песням Орфея...

— Так это сказка! — со вздохом облегчения сказал гордый певец: — Ну, а как же окончил Орфей свою жизнь?

— Очень дурно, Энрико,— отвечал Гонорий,— он был безучастен к женщинам, которых привлекал своими песнями, и за это был насмерть растерзан фракиянками. Берегись, Энрико!

Певец засмеялся:

— Да, в этом мы похожи, и я также буду когда-нибудь растерзан. А скажи, мой друг, этот Орфей мог бы покорить того графа, который дал мне орден?

— Мог бы, я полагаю.

— А мог бы он пением привести грабителей в полицию?

— Также мог бы, я думаю. Но ведь это сказка, а ты живешь, и тебе не в чем завидовать ему, несравненный.

Энрико задумался и, помедлив, сказал:

— Да, я живу. А хочешь, я завтра утром выйду на площадь и подниму восстание в Италии?

— Не сомневаюсь, что ты можешь это сделать,— ответил осторожный и расчетливый Гонорий ди-Виетри,— но не знаю, что ты дальше будешь делать с восставшими. Чтобы ими управлять, ты должен будешь петь непрерывно, днем и ночью, а это едва ли выдержит твое здоровье!

Оба посмеялись шутке, и на том окончился их разговор. Но самолюбивый и гордый Энрико не мог примириться с тем, что, хоть и сказочный, Орфей стоит во мнении людей выше его, и, снова слыша его имя, произносимое в похвалу, каждый раз чувствовал как бы укол в самое сердце. Если бы еще он мог хоть раз услышать пение Орфея и сравнить голоса и манеру! Очень возможно, что это сравнение указало бы преувеличенность славы Орфея и рассеяло предрассу-

док, от которого теперь он должен так несправедливо страдать. Но скалы, которые теснились к певцу? Конечно, скалы — это глупость, о которой не стоит говорить, но птицы и звери? Правда, теперешние птицы напуганы человеком и не так доверчивы, как были тогдашние; да и зверей теперь можно найти только в зверинцах — но все же?

Уже совсем позабыл о разговоре занятый делами Гонорий, когда певец неожиданно спросил его, по привычке руководиться его знаниями и советами:

— Послушай... а этот Орфей мог своим пением укрощать и увлекать домашних животных? Например, коров, собак и кур.

Гонорий подумал и ответил осторожно:

— Я не знаю, существовали ли тогда домашние животные, которых ты перечислил, но если существовали, то, конечно, и их Орфей очаровывал своим пением. Но ведь это сказка, Энрико, и ты напрасно так много об этом думаешь.

— Мне все равно, сказка это или нет! — сердито ответил певец: — Но мне это раз и навсегда надоело. Чтобы я никогда больше не слыхал об этом Орфее, о котором столько лгут!

Испуганный секретарь поспешно согласился, но это лишь по виду успокоило взволнованного и оскорбленного певца. И чем выше были его успехи, чем больше несла ему судьба цветов, денег, любви и поклонения, тем ненавистнее становился лживый образ непревзойденного Орфея, чаровавшего не только людей, но и животных. Здоровье знаменитого певца заметно портилось, и часто удивленные и испуганные поклонницы не знали, чему можно приписать внезапные вспышки гнева и раздражения, с каким встречал несчастный Энрико их нежные взгляды, цветы и лобзания. А он, хмурый и печальный, скупо отвечая на поцелуи горячих и душистых губ, думал в отчаянии: «Ах, если бы ты была корова, очарованная мною! А теперь чего стоит твое поклонение? Ничего».

Наконец, терпение Энрико истощилось, и в один знаменательный день он сухо сказал своему секретарю Гонорию ди-Виетри:

— Слушай меня и, пожалуйста, не возражай и не спорь. Это мое решение. Я хочу доказать Орфею и его

поклонникам, что я, Энрико Спаргетти, могу сделать не меньше, чем он, и что мой дар очарования не ограничивается только людьми. К следующему воскресенью собери в моем загородном саду три или четыре дюжины ослов...

— Ослов! — воскликнул изумленный и ужаснувшийся Гонорий, но певец гневно топнул ногой и закричал на высоких нотах своего прекрасного голоса:

— Ну, да, ослов! Ослов, я говорю тебе! Если ты и тебе подобные понимают меня, то почему ты смеешь думать, что и ослы не поймут! Они очень музыкальны.

Гонорий почтительно склонил голову:

— Твое желание будет исполнено, несравненный. Но я первый раз слышу, чтобы ослы были музыкальны — наоборот: и пословицы, и опыт народов учит нас, что животные этой породы совершенно лишены слуха и критического чутья. Так, в басне о соловье...

— А ты сам очень любишь вульгарного соловья? — возразил певец и добавил: — Оставь, Гонорий, эту жалкую клевету на ослов, в которой, как я убежден, столько же преувеличения и неправды, как и в славе этого проклятого Орфея. Несчастье ослов не в том, что они лишены голоса, но не слуха и потребности в пении; самая их потребность кричать, которая обходится им так дорого и придает их крику сильно драматический характер, свидетельствует о их глубокой музыкальности. Кого они слышат в своей жизни? Только погонщиков, голос которых груб и отвратителен. И ты увидишь, мой друг, что будет с ними, когда их слуха коснется мой вдохновенный голос: я им спою все то, что я пел бразильскому императору, грабителям и английской королеве.

Напрасны были уговоры трусливого и благоразумного Гонория: непоколебимо веря в свою чародейскую мощь и всесилие, Энрико ничего не хотел слушать и под конец даже поколебал самого секретаря: быть может, Энрико и прав,— думал последний, отправляясь нанимать ослов,— и в этих животных не все еще погасло для искусства, сила же Энрико воистину безгранична!

Уверенный в своем торжестве, Энрико пожелал придать состязанию особую пышность и велел пригласить синдика и многих других почетных лиц города,

не считая обычного состава поклонниц и поклонников, которые были неизбежны и появлялись во всякий момент, как только раскрывал он рот для пения. Но первые три ряда кресел он, с надлежащим извинением перед почтенными гостями, предоставил ослам, желая иметь их непосредственно перед своими глазами, остальным же слушателям оставил боковые и задние места.

Одно только обстоятельство несколько удивило и даже огорчило славного певца: оказалось, что за каждого приглашенного осла его собственнику надо платить от трех до пяти лир. Это был первый случай из жизни Энрико, когда не публика ему платила, а он платил публике; но здесь его успокоил Гонорий, сказав, что — это недорого сравнительно с обычными ценами на первые места в его концертах; и, молитвенно вздохнув, добавил:

— А если ты победишь в состязании, в чем я теперь не сомневаюсь, я с полным правом подниму плату на следующие твои концерты, и, таким образом, ты останешься в выгоде. Главное — победить!

— А в этом уже положись на меня,— ответил Энрико, смеясь и почти любовно думая об ослах, еще не подозревающих, какое ждет их наслаждение.

3

Тем временем, пока рабочие спешно строили в саду певца эстраду для приглашенных и раковину для самого артиста, и призванные декораторы украшали все это гирляндами цветов, флагами и фонариками, пока весь город взволнованно говорил о дерзкой затее гениального Спаргетти и спорил, разбившись на партии, об исходе состязания — сам Энрико и озабоченный Гонорий каждый делали свое дело.

Поколебленный в традиционном взгляде на ослов, но все еще окончательно не уверенный, Гонорий ди-Виетри принимал все возможные меры к тому, чтобы хоть несколько приготовить этих непривычных слушателей к предстоящему удовольствию; решив затратить даже лишние деньги, он уже три дня выдерживал ослов в саду, перед раковиной, чтобы приучить их к обстановке, и старательно оберегал их от всего волну-

ющего, печального и раздражающего, способного нарушить их столь необходимое душевное равновесие. В справедливом предположении, что, будучи сыты, ослы приобретут большую способность к сосредоточению и вниманию, он усиленно питал их и даже по совету врача тайно примешивал в их пищу значительные дозы брому и других успокоительных лекарств.

Усилия его увенчались успехом, и к воскресенью хорошенькие, тщательно вычищенные ослики с их маленькими детскими ножками и задумчивыми, даже печальными глазами, напоминали скорее группу превращенных ангелов, нежели упрямых и грубых животных; одолеваемые бромом и сытостью, они почти перестали и кричать, и лишь при восходе солнца, на рассвете воскресного дня, два или три ослика с мучительными потугами выразили громкий привет лучезарному светилу, разбудив и слегка напугав чутко дремавшего Гонория.

Со своей стороны, Энрико Спаргетти тщательно приготовил и обдумал то, что в противоположность утилитарным заботам Гонория можно было назвать «духовною пищею» для ослов. Перебрав весь свой богатый репертуар, артист остановился на таком подборе песен: для первого отделения — нечто лирическое, любовно-мечтательное и задумчивое, погружающее душу как бы в некий волшебный и нежно печальный сон.

Для второго, после краткого антракта,— каскад веселых и ликующих звуков, игривых песенок, капризных трелей, как бы знаменующих восхождение солнца после лунной ночи и щебетание птиц; и, наконец, для третьего, решительного — трагический взрыв страсти, вопли жизни, побеждаемой смертью, томление вечных разлук, любви безнадежной и горькой... нечто такое, над чем может зарыдать и камень! И, если скалы, приходившие к Орфею, еще не потеряли окончательно способности к передвижению, они придут, чтобы вместе со всеми приветствовать победоносного певца!

Наступило воскресенье. Концерт был назначен днем, и весеннее солнце ослепительно сияло, когда приглашенные заняли свои места, восхищаясь сказочною красотою сада и с трепетом ожидая появления на эстраде своего кумира, Энрико Спаргетти.

Первые четыре ряда, предназначенные для ослов, были превращены в маленькие изящные стойлица, обитые красным бархатом; и когда животные, украшенные пучками лент и высокими перьями, заняли свои места, остальная публика встретила их шепотом восхищения; кроткие и задумчивые, со своей мышиной блестящей шерстью, отливавшей серебром под лучами солнца, они были прекрасны! На всякий случай, дабы кто-нибудь из ослов не выскочил раньше, они были привязаны к своим местам толстыми шелковыми шнурами.

И вот — при громе аплодисментов показался на эстраде Энрико Спаргетти, несколько бледный, несколько взволнованный, но решительный и прекрасный в своей смелости; как он рассказывал потом, даже перед императорами он не испытывал такого волнения, как в этот раз. Обычным низким поклоном ответив на приветствия, он с легкой насмешливостью, оцененной журналистами, послал несколько воздушных поцелуев ослам и, сделав бесстрастное лицо, приказал аккомпаниатору начинать.

И все смолкло.

При первых же звуках чарующего голоса, превратившего все земное в небесное, слушатели были покорены и совершенно забыли об ослах, ранее вызывавших такое тревожное любопытство; и когда кончилась первая песенка, за нею вторая и третья, никто и не заметил, с какою трогательной задумчивостью, с каким глубоким вниманием слушали певца ослы. Но Энрико и Гонорий торжествовали, переглядываясь, и Энрико даже шепнул аккомпаниатору значительно:

— Это — победа!..

— Si, signor!.. [1] — ответил аккомпаниатор восторженно и покорно.

Надо думать, что молчание ослов обусловливалось скорее какими-то их собственными соображениями, нежели прелестью и очарованием звуков, ибо при четвертом, как раз наиболее трогательном романсе, два осла сразу взревели,— в начале, как всегда, беспомощно захлебываясь и стеная, в середине возвышая

[1] Да, господин! *(ит.)*

голос почти до раскатов пророческого крика и кончая теми же беспомощными и страдальческими выдыхами. Крик этот был настолько неожиданный, что задние ряды, забывшись, закричали: «тише!», а Энрико, бледный, но вежливый, сделал аккомпаниатору знак переждать и дать гг. ослам откричаться.

Но лишь только Энрико снова открыл рот, уже не два, а десять, двадцать ослов нестройно взревели, путаясь в голосах друг друга и своими громовыми раскатами покрывая не только нежнейшее пианиссимо певца, но и самые его отчаянные форте. Напрасно расстроенный Энрико повышал голос и вкладывал всю силу выразительности в свою изящную мимику — лишь моментами, в случайные прорывы ослиного крика улавливало ухо его божественные трели, рыдания и слезы: уже все четыре дюжины ослов, взаимно заражаясь, мрачно ревели, как в последний день земли.

Так, при гробовом молчании оскорбленных поклонников и замирающем ослином вопле закончилось первое неудачное отделение.

— Это же невозможно! — говорил в уборной Энрико, в слезах припадая на грудь также потрясенного Гонория: — У меня чуть не лопнули голосовые связки! Хоть ты-то слышал меня? Я себя не слыхал!..

— Конечно, я слышал тебя, мой бедный друг. Но я говорил же тебе, что ослы...

— Ах, оставь! — воскликнул Энрико: — Но почему они начинают выть как раз тогда, когда я открываю рот, и умолкают вместе со мною? Ты слышишь: сейчас они тихи, как ангелы. Отчего это?

Гонорий нерешительно ответил:

— Да, молчат. По-видимому, на них все-таки действует твое пение, и как только ты...

— Но ведь это же глупо! Ведь так они ничего не могут слышать! Ах, Гонорий, а ведь над этой песенкой рыдал сам император бразильский! — горестно восклицал певец, роняя крупные алмазные слезы.— А как я для них старался! Я сам — сам! — плакал для этих ослов, чего не делал даже для английской королевы... Нет, я их проберу: долой лирику — я дам им драму, и тогда мы увидим. Я их перекричу!

— Пожалей голос, Энрико, я умоляю тебя! — плакал Гонорий, поддерживаемый рыдающим аккомпаниатором:

— Пожалейте, синьор!

— А Орфей жалел? Нет, я их перекричу! Я их перереву, если с ними нельзя иначе. Звонок!

При могильном молчании людей и ослов началось второе отделение; и люди казались взволнованными и утомленными, а ослы свежими и спокойными, как будто они только что искупались. Но и в этот раз все усилия Энрико оказались бесплодными; дружно взревев при первых же нотах, ослы поднялись почти до пафоса, и трудно было понять, откуда столько дикой мощи в этих маленьких ангелоподобных животных! Они ревели, как горная лавина, и напрасно, бегая по сцене, поднимаясь на носки и краснея от натуги, старался перекричать их божественный певец — слушателям был виден только его открытый рот, безмолвный, как колодец.

Пользуясь минутным затишьем, Энрико прокричал аккомпаниатору:

— Посмотри на того, с левого края: он все время молчит!

— Si, signor.

— Он будет моим первым учеником! Начинай!

— Si, signor.

И снова дружно заревели ослы и,— о ужас! — к ним присоединился и тот, кого Энрико в тщетной надежде приуготовил в свои первые ученики; более того: именно он оказался тем воистину несравненным по мощности горлодером, который сделал дальнейшее состязание невозможным без опасности для жизни и здоровья присутствующих. Полный свежих сил и бодрости, он, шутя, покрывал голос уже охрипшего Энрико в то время, как остальной хор мучительно терзался и захлебывался, а через цветы и кресла уже пробирались погонщики с палками и дубинами, ведомые что-то кричащим Гонорием.

Так печально окончилось состязание Энрико Спаргетти с Орфеем, и молчаливо разъезжались приглашенные, когда Энрико сказал едва слышно ужаснувшемуся секретарю:

— Гонорий, пригласи доктора. Кажется, я сорвал голос.

К счастью, тревога оказалась ложною и через месяц утомленный голос знаменитого певца восстановился до прежнего блеска и силы. В то же время, благодаря стараниям Гонория, самому случаю было придано лестное для певца толкование, и журналы вполне согласно объяснили непрерывный рев ослов именно тем, что они были восхищены и покорены чарующим bel canto великого артиста. И прозвище Орфея утвердилось за ним навсегда.

Сам же Энрико говорил, улыбаясь, что ослы хороши для перевозки тяжести и других работ, но как слушатели оставляют желать многого, и безумен тот, кто захочет перекричать осла.

Так он шутил с друзьями, прекрасный и сияющий. И никто не знал, даже Гонорий, что душа его всю остальную жизнь страдала от обиды и что вид мирного ослика, трудолюбиво везущего повозку, вызывал в нем дрожь и чувство, близкое к паническому страху.

ЖЕРТВА

I

Мать и дочь — двое, и в нужде. Такими они остались после «с душевным прискорбием» Якова Сергеевича Воробьева, полковника в отставке и под судом.

Умер полковник внезапно, от порока сердца, а под судом состоял за растраченные полковые суммы, растратил же для радостей семьи: жену баловал и дочь содержал в институте, и тоже баловал. Был он красивый старик, высокий ростом, бледный, сдержанный и крайне благородный, и женщину ставил так высоко, что всякий труд почитал для нее за оскорбление; и, не смущаясь ядовитыми шепотами знакомых, сам вдвоем с денщиком вел свое хозяйство, сам под большие праздники ходил в Андреевский рынок и сам вел списки грязного и чистого белья. Единственный труд, который он позволял жене,— это собственноручно мыть его собственный большой чайный стакан; но, принимая этот стакан, уже налитый крепким чаем, он всякий раз испытывал большое, даже до боли, острое чувство благодарности. Все же остальное делали по дому горничная, портниха, кухарка и экономка; к последней оба они с денщиком относились с недоверием и держали ее единственно для виду. А кроме того, театры и концерты в первых рядах, конфекты и фрукты зимой, гости и ужины на пятнадцать персон с вином — так и не заметил он, как совершил растрату и наделал неоплатных векселей.

Год пребывания в отставке и под судом был для него временем холодного и безграничного ужаса: крайне благородный, он не допускал и мысли, чтобы жена, Елена Дмитриевна, хоть в чем-нибудь испытала

лишение; вперед же, где открывалась бездна, он не решался и заглядывать. Хотя дочь Таисию пришлось взять из института, но в остальном обиход не изменился, и роскоши как будто даже прибавилось: нужно чуду приписать, откуда в эту пору доставал полковник деньги. И все так же перемывала большой стакан своими немолодыми, но нежными ручками Елена Дмитриевна, и все так же спокойно почивала ночи рядом с мужем, даже не подозревая, что ни одной ночи за это время полковник не спал. Но он дышал тихо, не ворочался, чтобы не обеспокоить, и это в совершенстве походило на крепкий сон. И когда полковник одиноко, избегая шуму и беспокойства, умирал в своем кабинетике, на турецком диване, под стеной, увешанной длинными чубуками,— она кушала грушу-дюшес, даже не подозревая, что превращается во вдову.

Несчастья для женщин начались сразу и уже длились без конца. Полковник умер, и его закопали, имущество, ковры и серебро продали кредиторы, а частью разворовала прислуга, и осталась Елена Дмитриевна вдвоем с дочерью на крохотном пенсионе, который ей кто-то выхлопотал во внимание к благородству полковника. Груши-дюшес исчезли так бесследно, как будто только во сне виделись они, и наступила томительная, позорная, бесконечная бедность — почти нищета. Не всякий день обедали Елена Дмитриевна и дочь Таисия, бывшая институтка, некрасивая девушка с плоской грудью, напудренным носиком и неизбывною наивностью во взорах. Плакали, молились и ничего не понимали, но все ждали откуда-то конфект. Если душа полковника не умерла вместе с телом, а взирала на них с высоты, то страданиям ее не могло быть краю и предела.

Исключительных положений не терпит, однако, жизнь, и двух женщин она привлекла к некоему правилу: кто-то добрый и влиятельный устроил Таисию на службу, впряг ее в работу, и она заработала, и началось терпимое и обычное: вдова мать-старуха и дочь на службе, существование бедственное, но возможное. Так прошло десять лет со смерти полковника. И вначале Таисия плакала день и ночь, так как ничего не умела делать, и ее без стеснения ругали дурой

и гоняли со службы; потом приспособилась, крепко уселась в конторе одного большого торгового дома и успокоилась; и несколько лет единственным настоящим ее мучением была краснота носа, ничем не устранимая, противная, заметная даже под пудрой. У всех девушек в конторе, и магазине, и на улице носы были белые и краснели только от холода или от сырости, а у Таисии у одной, может быть, на десять тысяч, нос все время и без причины краснел. Почему?

Потом стала у нее болеть грудь, вся костяная доска, и началась невралгия. Потом она почувствовала себя усталой, так устала, что хотелось умереть. Потом усталость прошла, и началась почти одновременно страстная любовь к Михаилу Михайловичу Веревкину — и такая же страстная ненависть к матери Елене Дмитриевне, бесполезной старухе. Это было страшно и грешно: ненавидеть мать, задыхаться в ее присутствии от ярости, молить бога о ее смерти, мечтать о том, как она подкрадется сзади и начнет бить ее обоими кулаками — по ее голове, по толстой спине, по бездеятельным пухлым рукам, которые она поднимет для защиты. Но Таисия была хорошо воспитана и молчала, только худела от ненависти; но однажды вечером вернулась она после работы слишком усталая, и не захотелось быть воспитанной, а мать сидела на своем обычном месте перед круглым столом, раскладывала свой бесконечный пасьянс и безмятежно улыбалась. И Таисия, не здороваясь и не целуя протянутой пухлой руки, сорвала цветную скатерть вместе с картами на пол и отчетливо прошипела:

— Хоть бы ты умерла! Я тебя ненавижу, ты дармоедка, ты бесполезная старуха, злая, вредная, дрянь! Без тебя на мои сорок пять рублей я жила бы хорошо, я была бы невестой для всякого молодого человека, а с тобой я пропадаю. Ты пола подмести не умеешь, ты скатерти постлать не умеешь, только стаканы моешь. Из-за тебя я кухарку держу, и чтоб ты сдохла, дрянь!

После этого с ней начались корчи и молчаливая истерика — за тонкой перегородкой жили внимательные соседи — и стакан с водой она яростно выплеснула на мать. Та не посмела переодеться и так до конца вечера просидела мокрая и в молчании, потому что

молчала Таисия. «Какое красивое имя: Таисия!» — думала девушка, уже успокоившись, но глаз нарочно не открывала, чтобы побольше помучить мать. Намучивши, сколько следует, встала, молча и не глядя, как бы не видя мокрой и онемевшей матери, она напилась чаю и громко стучала ложечкой; потом приготовила постель, помолилась, улеглась, и только тогда коротко приказала:

— Ложись, что же ты? Мне завтра рано вставать.

Елена Дмитриевна поперхнулась и сказала:

— Но полковник, твой покойный папа...

— Если ты,— перебила ее Таисия и встала на колени на своей постели, худая, несчастная, красноносая,— если ты мне хоть раз скажешь про покойного папу, то — смотри! То смотри!

И по виду спокойно Таисия легла на правый бок, а мать заплакала и плакала часа полтора, пока Таисии не надоело слушать, и она не уснула. И с того дня для Елены Дмитриевны стало две Таисии: одна, которая при посторонних почтительно сдержанная, воспитанная в институте, образцовая дочь; другая, которая вдвоем — молчаливый ужас, проклятие, призрак чего-то мертвого. А пола все-таки мести не сумела, а скатерти постлать не смогла, а пасьянс потихоньку раскладывала — бесполезная старуха, истинная дармоедка.

Но вид у нее был величественный, покорявший сердца. Была она высока, крупна, дородна, имела двойной подбородок и правильные черты лица, ходила не торопясь, как царица на сцене, и сановитостью своею очень напоминала Екатерину Великую, императрицу. На это сходство не раз указывал покойный полковник и сам глубоко и мистически верил в него, считал за честь для дома; но стоило всякому поближе взглянуть в добрые, голубые и слишком ясные ее глаза, чтобы сразу и наверное сказать: нет,— это не Екатерина Великая.

И как бы внутренне ни страдала она, величественный вид оставался нетронутым, и в присутствии бесполезной старухи, при посторонних, совсем пропадала маленькая и щупленькая Таисия, выродок.

Здесь на первый план выдвигается Михаил Михайлович Веревкин, молодой человек из Государственного банка. Одевался он безукоризненно, был невысок ростом, но держался с достоинством, и примечательного в его внешности были только огромные плоские щеки, поверхность которых до странности не соответствовала размерам глаз, носа, усиков и острого подбородка.

Веревкин искренно любил Таисию, но началом его любви была Елена Дмитриевна, маман, как называл он старуху: ее величественность покорила его сердце и наполнила восхищением вплоть до любви и к Таисии. Он ее уважал, он ее боялся, он считал ее настоящей Екатериной Великой, как и полковник, он втайне молился ее бесконечному пасьянсу, в котором ничего не понимал, ее французской речи. Сам он собственными великими трудами изучил французский язык и целый год посещал курсы Берлица для прононса, и в банке он вел корреспонденцию на этом языке, но у Елены Дмитриевны французский был как бы прирожденным, легким и свободным, как щебетание. Что Таисия! — Таисию он сам поправлял. И когда он воображал, как после брака сидят они втроем в прекрасной комнате и все трое — все трое! — говорят между собой — между собой! — по-французски, ему казалось это нестерпимым, нечеловеческим блаженством.

— Но, Таисия! — говорил он на свидании, когда они в десятый раз под ручку проходили темную улицу,— но Таисия! сейчас наш брак невозможен. Подумайте, Таисия, как мы можем устроить маман? Мы люди маленькие, мы люди работающие, но маман привыкла к роскоши, для нее нужно помещение! Нельзя же ее как-нибудь... вы понимаете меня, Таисия?

— Но маман вовсе не так требовательна, Мишель,— пробовала возражать Таисия,— ее можно устроить в детской...

— В детской? — ужасался Михаил Михайлович,— что вы, Таисия! Как можно! Дети так безобразны, они будут кричать... как можно! Нам надо, нам необходимо подождать, что же поделаешь. Но вы мне разре-

шите зайти завтра к вам и засвидетельствовать мое почтение Елене Дмитриевне? Я не побеспокою ее?

— Ну, что вы! Она будет так рада,— с тоской возражала Таисия, в одиннадцатый раз поворачивая на темную улицу с одинокими фонарями.

Было противно, что он уже презирал будущих детей. Было противно, что он не чувствовал и не понимал всей прелести одухотворенного образа Таисии и непременно хотел Екатерину Великую, как и несчастный папа. Он и ростом был ниже Елены Дмитриевны, но даже этого не понимал, ничего не понимал!

И каждый раз после свидания Михаил Михайлович чувствовал себя так возвышенно, словно видел в прекрасном сне дворец и лакеев в красных с золотом ливреях, а Таисия плакала, хваталась за костлявую грудь и до полуночи сдавленно визжала над головой величественной маман, трясшейся от страха: она и в страхе была величественна. Эти часы неистовства Таисия называла про себя «уроками»; но однажды, после урока, затянувшегося особенно долго, с матерью случился легонький удар, она с гулом завалилась на пол и дня четыре пролежала в постели без языка. Михаил Михайлович был расстроен до слез и часами почтительно просиживал у изголовья больной, читал в ее закрытые глаза французский роман, пока Таисия готовила компрессы и по капелькам тщательно отмеривала лекарство.

Потом садилась сама и делала вид, что слушает, а на самом деле внимательно и с ненавистью разглядывала Михаила Михайловича, гундосившего французские фразы. Свет низенькой лампочки слабо освещал его острый подбородок, мелькал на усиках и терялся где-то в бесконечности его щек; и было ясно, что умри Елена Дмитриевна — и Веревкин может самым глупым и подлым образом покинуть Таисию. «Вот подлец!» — с отчаянием думала она и решила, что на будущее время ей необходимо воздержаться от неистовства.

Совсем, конечно, она не воздержалась, но некоторую осторожность внесла, визжала и шипела меньше, а по окончании урока толкала к матери посуду, грубо говоря:

— Ну? Что же не моешь? Мой!

Она знала, что в этом занятии Елена Дмитриевна черпала успокоение. И пухлыми, дрожащими пальцами, которых когда-то так нежно и почтительно касался полковник, Елена Дмитриевна мыла стаканы и чашки и, действительно, успокаивалась.

III

Хотя Михаил Михайлович был совершенно сухопутен, но обожал море и морские виды и на этом основании, вымолив аванс в своей конторе, Таисия наняла на лето комнатку в Оллиле. Ей и самой хотелось отдохнуть, и была притом мечта, что морские виды, белые ночи и одинокие ночные прогулки по пляжу поднимут любовное настроение Веревкина, отвлекут его от мыслей о Елене Дмитриевне и разрешат болезненный вопрос о браке .И белые ночи вообще очень шли к бледному и вялому лицу Таисии, скрывали красноту носика и выделяли черноту довольно густых бровей — и этим также надо было воспользоваться.

В первый же праздник, идя под розовым зонтиком на станцию для встречи Михаила Михайловича, Таисия решительно сказала матери:

— Слушай, ты! Вечером мы пойдем с Мишелем гулять на пляж, вдвоем, понимаешь? И если ты увяжешься с нами, то — смотри!

— Но, Таисия...

— Я сказала. Заела мою жизнь, а теперь извольте помолчать, на вас смотрят. Дармоедка!

И в этот вечер они пошли с Михаилом Михайловичем вдвоем и под ручку. Было море и морские виды, была белая ночь и песок любовно шуршал под ногами, но Веревкин был скучен и вял и на остановках целовался так неподвижно и отвлеченно, что хотелось зарыдать и ударить его по физиономии. На несколько минут увлекся было разговором о Биаррице, куда впоследствии они поедут, говорил горячо и красиво, а потом внезапно повернул домой.

— Ведь еще рано, Мишель! — сказала Таисия со слезами: — и посмотрите, какая красивая туча на том горизонте!

— Нет, неудобно, Таисия: мы оставили маман одну. Это положительно неудобно!

— Она любит одна, оставьте, Мишель! Смотрите, какая туча на том горизонте.

— Вы знаете, Таисия, что я люблю тучи и всегда стремился к морю, но мне еще дороже уважение к вашей почтенной матушке,— внушительно ответил Михаил Михайлович и непреклонно зашагал назад, топча следы маленьких ножек Таисии.

То же повторилось и в следующую прогулку, через неделю, и Таисия плакала, а Михаил Михайлович был почти груб и отвратителен со своими плоскими, бесчувственными щеками; и кончилось тем, что Таисия сама разрушила свои мечты, пригласив Елену Дмитриевну гулять с ними. Ужасно было гулять втроем, когда сердце полно любви и неудовлетворенной нежности, но самое ужасное для Таисии и даже неожиданное заключалось в том, что почтительный Михаил Михайлович всю дорогу вел под руку мать, а Таисия шла впереди — одна. Пыталась она, вся сотрясаясь от подавляемых слез, цепляться за левую руку Веревкина, но это было и неудобно, и некрасиво, и не соответствовало французскому языку, на котором все трое говорили.

И в первые минуты этой неестественной прогулки Елена Дмитриевна, помня уроки дочери, замирала от страха, трудно дышала и старалась молчать, но искреннее поклонение Веревкина, шуршание песка под ногами и морские виды постепенно погрузили ее в сладкий и обманчивый туман. Ей смутно грезилось, что с нею идет, почтительно касаясь, сам полковник или, если не идет, то откуда-то сверху благословляет ее; и в нежном полузабытьи, на прекраснейшем французском языке, она что-то болтала, тихо смеялась куда-то внутрь уходящим смехом и рассказывала о Биаррице, где она уже была. На мгновение, при виде костлявой спины Таисии, становилсся холодно и страшно, а потом опять сладкий туман и невнятные шепчущие грезы. Изредка, величественно и ласково, она поправляла Веревкина, все еще не могшего усвоить трудного прононса, и он каждый раз благодарил и, вызывая ее снисходительный смех, снова старательно повторял неудающееся слово.

После первой такой прогулки Таисия неистовствовала почти до утра и даже не поехала на службу. После второй и третьей она молчала, как застывший камень, и страшно было смотреть на ее почти мертвецкое лицо с побледневшим носом. А после пятой прогулки, когда Михаил Михайлович уехал в город, она позвала мать снова на берег:

— Пойдем. Я не хочу, чтобы нас слышали соседи; довольно уж. Надень платок, тебе будет холодно.

Были страшны и ее мертвецкое лицо, и эта непривычная забота, и загадочная решительность слов; и они пошли. В тот день на Финском заливе была буря, как назвал это Михаил Михайлович, и сильный ветер забирался в рот и уши, мешая говорить; негромко плескался прибой, но вдалеке что-то сильно и угрожающе ревело одинаковым голосом, точно с самим собою разговаривал кто-то угрюмый, впавший в отчаяние. И там вспыхивал и погасал маяк.

— Садись на этот камень, спиною к ветру, так,— приказала Таисия, а сама осталась стоять; и говорили они не лицом, а боком друг к другу, словно объяснялись с кем-то третьим. Трудно было поверить, что они только недавно были здесь с Михаилом Михайловичем и весело, по-французски, говорили о буре.

— Я слушаю,— сказала Елена Дмитриевна, не зная, что еще будет.

— Или ты, или я — понимаешь?

— Нет.

Таисия крикнула, или это ветер так усилил и оборвал ее слова:

— Не понимаешь? Или ты, или я,— тебе говорю. Вот смотри: я крещусь, видишь? Крещусь! Если еще продолжится и повторится то же, я отравлюсь. У меня яд есть,— слыхала? Яд есть у меня, я отравлюсь.

И долго и по виду спокойно говорила о своей проклятой жизни и о своей проклятой любви к Веревкину, который дурак и трус и не смеет жениться на ней, потому что беден и не знает, какой ему дворец построить для Елены Дмитриевны. Говорила о себе, что она плюгавая, красноносая и знает это; и что скоро у нее все равно будет чахотка, а замужем она еще могла бы поправиться.

— Иногда... иногда...— всхлипнув, сказала Елена Дмитриевна,— от детей бывает здоровье. Я тоже до тебя слабая была.

— Вот видишь! — подтвердила сухо Таисия: — так как же мне жить, подумай. Но разве вам втолкуешь? Вы белоручка, вы всегда на чужой счет жили, а мы с Мишелем люди работающие, вы нас заедаете. Ты думаешь, он тебя потом не проклянет? Проклянет. Это теперь вы его околпачили вашим французским да вашим видом, а как придется каждый день кормить вас... Вы и едите много, больше меня, а мне скорее надо бы — но разве у вас есть совесть?

— Есть, Таичка!..

— Оставьте, пожалуйста. Из-за вас папа казенные деньги растратил и всю жизнь был мучеником, из-за вас и я отравлюсь. А вам что? Только бы пасьянс у вас не отняли... Ах, ну и дрянь же ты, старая дрянь. Кокотка!

Последнего слова еще ни разу не произносила Таисия, и оно остановило ее; и в молчании сильнее зашумел ветер в волосах: платок уже давно соскочил с головы Елены Дмитриевны. Но подумав, Таисия настойчиво повторила:

— Ну да, кокотка, конечно. Содержанка. У них тоже такие руки, как у вас. Да, если бы вы только могли почувствовать, как я вас ненавижу!

— Я чувствую, Таичка!

— Врете, куда вам, вот умру, тогда почувствуете, да поздно будет.

— Я постараюсь,— сказала Елена Дмитриевна.

— Что постараетесь?..

— Я постараюсь... Что же мне еще сказать, Таичка?

Таисия засмеялась и, смеясь, все громче и зачем-то вскинув обе руки, пошла вдоль берега, против ветра.

— Куда ты?

Она все смеялась, и шла и все выше закидывала руки; потом упала лицом вниз и, хохоча и плача, стала грызть себе пальцы, вырывать космы волос, разрывать одежды на груди — новенькую блузочку, сегодня впервые надетую. А Елена Дмитриевна беспомощно стояла над нею и, тоже зачем-то подняв обе руки, беззвучно рыдала в себя, в глубину груди, где тяжко

ворочалось, не справляясь с работой, старое ожиревшее сердце.

— Хочешь, я утоплюсь? — спрашивала она Таисию, но или тих был ее голос, или море заглушало его своим шумом: Таисия не отвечала и, перестав биться, лежала, как мертвая. Это темное пятно на песке; это маленькое одинокое тело, мимо которого своим чередом, не замечая его, проходили и ночь, и широкая буря, и грохот далеких волн — было ее дочерью, Таисией, Таичкой.

Громко вскрикнув от укусившей тоски, точно копируя все движения и поступки дочери, Елена Дмитриевна засмеялась, подняла обе руки и пошла вдоль берега, против ветра; все шире открывались навстречу подвижной тьме ее голубые, величественные, безумные глаза. Вероятно, в эти минуты она сошла с ума, потому что громко начала вызывать из тьмы:

— Полковник! Яков Сергеич!

IV

Недостаток Елены Дмитриевны был в том, что она совершенно не умела думать и даже не знала, как это делается другими. Говоря, она никогда не знала вперед, что скажет; умолкая же — либо задремывала с открытыми глазами и величественным видом, либо продолжала в голове плетение беззвучных слов, не имеющих ни начала, ни конца. Оттого она и пасьянс так любила.

И теперь ей было очень трудно: понадобилось удержать в голове новую мысль, и не только удержать, не дать ей выскользнуть во время сна, но даже и развить ее до каких-то сложных и значительных последствий. Явилась эта мысль случайно, как будто на вокзале, когда в ожидании билета у кассы она прочла страховое объявление — приглашение пассажиров страховаться на случай железнодорожного несчастья.

«Вот если бы я застраховалась в десять тысяч,— сказала она себе, так как умела не думать, а только говорить себе,— и потом упала бы с поезда, то моя несчастная Таичка получила бы десять тысяч и стала бы счастливою с Мишелем».

Сказав это себе, она тотчас же хотела по обычаю забыть сказанное, но почему-то оно не забылось и еще два раза вспоминалось в вагоне. Даже пришли в голову некоторые новые подробности: именно, что Мишель и Таичка могут тогда съездить в Биарриц, где она может указать им хороший недорогой пансион с видом на океан.

«Но самоубийцам, вероятно, не платят»,— сказала она себе дальше и стала искать, кого бы об этом спросить. Но в третьем классе, где она ехала, были только финские мужики и дешевые дачники; и она перешла в первый и с удовольствием опустилась на зеленый потертый бархат сидения. Против нее, в том же купе, читал газету пожилой полковник, почтительно принявший длинные ноги, когда она садилась. Улыбнувшись и поблагодарив полковника, Елена Дмитриевна с видом знатной дамы, привыкшей иметь свиту, спокойно и просто обратилась к нему с французской фразой, но он не знал французского и густо покраснел, извиняясь. Тогда с тем же спокойствием она по-русски спросила о самоубийцах, платят ли им?

Кажется, он ответил, что не платят — она забыла, вернувшись домой; да и самую мысль позабыла, пока не приехала поздно вечером усталая и немая Таисия.

— Вот, Таичка, деньги за пенсионную книжку,— сказала Елена Дмитриевна и с некоторой гордостью подала дочери деньги,— это были единственные минуты за месяц, когда она чувствовала себя полковницей, у которой полон двор послушной и влюбленной челяди. И до сих пор Таисия каждый раз благодарила и даже целовала руку, хотя и сухо, по привычке; но теперь — все так же молча, не меняя выражения каменного лица, взяла и бросила деньги на пол.

— Таисия!..— воскликнула мать, но, увидев сумасшедшие глаза Таисии, не посмела продолжать. Не посмела она поднять деньги, так как Таисия нарочно ходила по бумажкам и по мелочи, и даже напевала что-то, будто не замечая ни матери, ни ее денег. Так они и пролежали на полу до минуты, когда обе женщины ложились спать. «Ночью поднимет»,— подумала Елена Дмитриевна, но и ночью, когда она вставала, и утром деньги продолжали валяться на полу. Со слезами собрав их, Елена Дмитриевна положила

на стол — и со стола снова на пол сбросила их Таисия. И, завиваясь перед маленьким зеркальцем, будто с беззаботностью мурлыча и косясь глазами, чтобы увидеть в зеркале свои бледные уши, Таисия захохотала и спросила:

— Это ваши тридцать серебреников?

— Так-таки и не возьмешь, Таичка?

— Ваши тридцать серебреников? Ах, пожалуйста, пусть полежат на полу ваши тридцать серебреников.

— Таисия!..

Но опять встретила сумасшедшие глаза Таисии и не посмела продолжать. Так Таисия и не взяла денег, так и уехала в город, и больно было подумать, как она теперь будет вертеться с своими грошами; и еще ничто в жизни так не жгло рук Елены Дмитриевны, как эти деньги, эти тридцать серебреников, когда она запирала их в свой комод — на что они ей-то? На другой день все-таки робко спросила дочь:

— Как же ты теперь, Таичка, без денег?..

— Как? — Очень просто. Я теперь не завтракаю. И чаю пью одну чашку. А что? Жгутся серебреники?

Она действительно не завтракала, и ненависть горела в ней: было страшно за ее впалую грудь, где вмещалось столько безысходной злобы, себя самое кусающей. А еще через день, и потом уже каждое утро Таисия сама спрашивала мать:

— Ну, что же? Целы ваши тридцать серебреников?

— Целы, Таичка.

— Ах, целы? Ну, берегите, берегите ваши тридцать серебреников! — и хохотала, вертя перед зеркалом свое желтое лицо с присохшими к деснам губами. Что-то обезьянье появилось в ней, вертлявое, нервно-раздраженное, остро-мигающее; и подбородок выдвинулся от худобы тупо и зло, и приподнялись костлявые плечи. Из окна комнаты видна была лесистая дорога на станцию, и, как очарованная, не сводила глаз Елена Дмитриевна с удалявшейся дочери, с ее несчастной и непримиримой спины. Уже точкой становилась эта спина в отдалении, а все грозила и влекла к себе взоры.

Так проходили дни и недели, и все не брала денег Таисия, и стали эти деньги чем-то вроде колдовства, частицею нечистой силы, попавшей в дом: никуда от них нельзя было спрятаться, целый день колдовали они над головою Елены Дмитриевны, сидели в ее мыслях. К ящику комода, где они лежали, стыдно и страшно было подойти, как убийце, хотелось спрятать их под тюфяк или зарыть в землю. А тут пропал и Михаил Михайлович: потом оказалось, что он ездил по поручению банка в провинцию, но Елена Дмитриевна этого не знала, Таисии спросить не осмеливалась и мучилась страшными догадками: что-то вроде настоящих длинных мыслей появилось у нее. Точнее это была одна мысль, внушенная ей страховым объявлением, но такая длинная, словно клубок, медленно распускающийся.

Наконец, и во сне увидела Елена Дмитриевна свои тридцать серебреников,— эти ненужные, злые и страшные деньги. Сон был страшный, и старуха стонала, металась по постели, задыхаясь и плача, пока гневным толчком не разбудила ее Таисия.

— Что же это такое! — плакала от злости и горя Таисия,— куда мне от тебя деваться? Богом клянусь, я больше не могу!

— Таичка!..

— Я человек работающий, я не могу без сна, а ты храпишь, как мопс,— как вам не стыдно, и где у вас совесть? Что же это! Я и не ем, и не сплю: хотите, чтобы я сейчас же яду приняла? Я человек работающий, я и жизни не видала за работой... куда мне деваться? Куда?

— Мне сон страшный приснился, я не виновата, я больше не буду.

— Врете вы! Сон — какие у вас сны! Нажралась за ужином, вот и храпит... Ах, куда же мне деваться от тебя!

Укрылась с головою одеялом и долго еще и горько плакала, пока не затихла. А мать, боясь возвращения сна, и что снова она разбудит Таисию стонами, долго лежала с открытыми глазами; потом, борясь с набегающей дремой, села на кровати и до утра вздрагивала и никла головой, на которой пышные волосы вздымались, как старинный придворный парик.

V

Страха перед смертью Елена Дмитриевна совершенно не испытывала, так как не понимала самого главного: что такое смерть? В ее представлении смерть имела только два образа: похорон, более или менее пышных, если военных, то с музыкой — и могилки, которая может быть с цветами и без цветов. Был еще тот свет, о котором рассказывают много пустяков, но если чаще молиться и верить, то и на том свете будет хорошо. И чего же ей бояться, если мужу, полковнику, она никогда не изменяла?

И не о смерти она думала, не о ее существе, пугающем людей, а о том, что самоубийцам не платят, если они страхуются, и надо сделать какую-то случайность, представить некоторый театр — тот самый театр, в котором когда-то она так любила кушать конфекты и груши-дюшес. Но что представлять? Сбивчивы и путаны были образы, возникавшие в непослушном воображении Елены Дмитриевны, и были минуты столь трудных и неразрешимых противоречий, что сидела она, как потерянная, с совершенно бараньим видом, раскрыв рот и выпуча свои голубые, побледневшие, бездумные глаза.

«Что же это я сижу? — говорила она себе, будто в этом заключалось все недоумение: что же это я сижу и сижу? Сижу и сижу?»

Но не только она сидела: она и по садику бродила, и на пляж выбиралась, но и это не облегчало понимания. Походит и начнет себя спрашивать: «Что же это я хожу?» Кроме того, на пляже встречалось много знакомых дам — у нее всегда набиралось множество знакомых — и начиналась болтовня, приятные разговоры о здоровье и дачниках, и совсем терялось соображение, где-то в самом низу задыхалась придавленная мысль. И опять вопрос: «Что же это я говорю? Все говорю и говорю?»

И не будь колдовских тридцати сребреников, пожалуй, вернулась бы к прежнему бездумью изнемогавшая Елена Дмитриевна, но с ними под конец преодолела все затруднения и поняла-таки, что ей надо представить на ее театре без конфект и груш-дюшес: надо ей представить — во-первых, счастливую мать,

всем довольную, веселую; во-вторых — хорошо одетую, пожилую барыню, которая до глупости боится железнодорожных катастроф и оттого страхуется. Созданный такими трудами образ вылепился так отчетливо и властно, что и играть не понадобилось: какой она себя задумала, такой сразу и стала, будто все существо ее подверглось перемене, будто ее заново перекрасили, как старое платье в химической прачечной. И улыбка счастья запорхала в ее устах, и добродушием непроходимым стали дышать два ее вельможных подбородка, и со страхом самым искренним расспрашивала она знакомых дам о том, какие бывают катастрофы на железной дороге.

Первою заметила эту перемену Таисия и была возмущена: спрашивает про тридцать серебреников, а та улыбается, как дура! Грубо и коротко Таисия спросила:

— Ты одурела?

Слегка испугавшись — но только слегка! — мать покорно и глупо ответила:

— Одурела, Таичка, не сердись.

— Это и видно. Вы дуреете, а мне доктор сказал, что у меня придыхание в левом легком: скоро умру.

— Это ничего, Таичка, не волнуйся!

Таисия подняла густые брови:

— Да вы... Да ты и вправду с ума сошла? Что ты говоришь? Тебя в богадельню надо, вот что. Слышишь?

Елена Дмитриевна промолчала, а когда Таисия вышла — гордо улыбнулась, снисходительно вздохнула и с важным видом оправила прошивную покрышку на постельке Таисии, маленькой девочки, которая любит кружева и прошивки. В это время Елена Дмитриевна, пустив в обращение тридцать серебреников, весьма пригодившихся, имела уже и подновленное шелковое платье для катастрофы и страховой полис на восемь тысяч — на десять не хватило серебреников. Как она очаровала страховую барышню в киоске! — и все это только одним видом глупой испуганной барыни да французским обращением: мой ангел! моя милая!

Был очарован и вернувшийся Михаил Михайлович! Провинция глубоко возмутила его своей грубостью и отсутствием приличных людей, и он с неопису-

емым наслаждением вел под руку, высоко подняв локоть, царственную Елену Дмитриевну, любовался морскими видами и восклицал:

— Шарман! Шарман!

После же прогулки, совсем разнеженный, пригласил в садик несчастную Таисию, обнял ее тонкую талию, не замечая ни костей, ни худобы этой талии, и долго, с необыкновенной прочувствованностью, говорил о выдающихся достоинствах Елены Дмитриевны, маман. И заключил так:

— Вы знаете, Таисия, что я верю в наследственность — и мне очень, очень приятно, что у вас такая маман. Сейчас вы еще очень молоды, вы еще не сложились ни физически, ни морально, но в будущем вы, несомненно, станете похожи... Что это?.. Но, Таисия, о чем вы плачете?

— Так себе. Ничего. У меня в правом легком придыхание.

— Что вы говорите, Таисия? Но как же это! Какое придыхание — это опасно?

И кончился их вечер тем, что оба они плакали: Михаил Михайлович, действительно, был очень добрым человеком и любил Таисию, и очень перепугался, его огромные щеки побледнели. Совершенно забыв французскую речь, он вытирал слезы своим платком то у Таисии, то у себя, и растерянно говорил:

— Да, да, надо поскорее венчаться, но как же это сделать? Господи, как же это сделать? Но я не думал, что это надо так скоро... ах, да не плачь же, Таичка, я сам плачу! Это правда, от командировки я сберег двести рублей, и с теми, что в сберегательной... нет, разве это деньги!

И в этот вечер впервые Таисия была счастлива. А через два дня, во вторник, к ней пришло и полное благополучие, исполнение желаний, как говорят гадалки: Елена Дмитриевна сделала-таки свою случайность и погибла под колесами вагона жертвою собственной неосторожности. Так записал в протокол обманутый жандарм со слов обманутых свидетелей и на основании психологии.

Произошло это очень просто, и были примечательны только некоторые подробности. Ехала Елена Дмитриевна из Петербурга, когда это случилось, ез-

дила получать пенсию — и в мешочке у нее действительно оказались и книжка, и деньги, новые тридцать серебреников. В городе она купила яблок, чего самоубийцы не делают, понятно; и яблоки эти нашлись тут же, недалеко от трупа. А в сетке были обнаружены и некоторые сверточки с покупками, огурцы и коробочка сардин. Было очевидно, что у старухи, при переходе с площадки на другую, закружилась голова, и она упала вниз, между вагонами: такие случаи часто бывают, и недаром она боялась железной дороги, недаром страховалась!

Да.

А боль? А страх? А бешеное биение сердца? А неописуемый ужас живого тела, которому предстоит сию минуту быть раздробленным железными, тяжелыми катящимися колесами? И это мгновение, когда она решилась упасть, и руки отлипли от поручней, и вместо их твердости и защиты — пустота падения, наклон, невозвратность — и этот последний вопль, беззвучный, как молитва, как зов о помощи во сне: полковник! Яков Сергеич!

Но обо всем этом ничего не было сказано в протоколе, и разве только дочь Таисия могла бы прибавить нечто новое, доставшееся ей среди прочего наследства.

VI

Это была маленькая и бестолковая записочка, найденная Таисией в комоде матери, в том как раз ящике, где так долго покоились неприкосновенные тридцать серебреников; перед тем, как упасть в обморок, Таисия записочку сожгла на спичке, и содержание ее осталось в памяти смутно, как нечто в высокой степени отрывочное и безалаберное. Видимо, главной целью записки было указать пансион в Биаррице с видом на океан: прямо из окон видно море; дальше утверждалось, что Мишель составит счастье Таисии, после чего мысли старухи перескочили на какие-то кофточки в шкафу — довольно длинное перечисление, и еще на что-то хозяйственное, бестолковое и явно придуманное, чтобы показать себя женщиной солидной и понимающей. О смерти не было ни слова; и

где-то сбоку, поперек письма, торопливая и легкомысленная по начертанию подпись: любящая мать.

Но смысл письмеца был ясен, и правильно поступила Таисия, что сожгла его, как уличающий документ. Вернувшись в чувства после недолгого обморока, Таисия тщательно и со страхом обыскала все ящички, шкапчики и коробочки с новеньким наперстком и неупотреблявшимися нитками: никаких иных документов, кроме полиса на восемь тысяч, не оказалось, все было в порядке, чисто и открыто, хоть вся полиция смотри. И тогда она снова упала в обморок и лежала на полу долго, основательно, пока не пришли жильцы и не отлили ее водою.

Так поступила Таисия в наследование капиталом, впоследствии составившим основу ее семейного благополучия. Убитый горем Михаил Михайлович очень мало внимания обратил на деньги и с глубоким, еще более возросшим уважением к памяти Елены Дмитриевны, вступил в брак только через год, по истечении траура; и Таисия, у которой и характер и лицо заметно изменились к лучшему, нисколько не противоречила ему. Но и венчались они скромно, только при двух шаферах, товарищах Веревкина, и венец над огромными его щеками придавал ему внушительный вид какого-то древнего, но очень скромного бога счастья.

Потом было у них с Таисией много радости с устройством квартиры, с мебелью и арматурой, потом со счастливым рождением первого ребенка, девочки, названной в честь бабушки Еленой, Леночкой — жертва не оказалась бесплодной. Но и люди не оказались неблагодарными, и если Таисия больше молчала, храня свою тайну, то Михаил Михайлович каждый день вспоминал о маман и твердо, и на все времена для детей и внуков, установил ее культ.

Он говорил Таисии:

— Маман умерла, но маман должна незримо присутствовать среди нас и благословлять наше маленькое гнездышко. Но не подумай, Таисия, что это какие-то деньги, которые ее благородная душа оставила нам: я готов бы всю жизнь работать поденщиком, только бы она была бы жива!..

— Я знаю, Мишель. Ты сам — благороднейший человек.

— Что я! — искренне восклицал Михаил Михайлович,— что я! Я человек маленький, я человек работающий, но она, наша дорогая, наша незабвенная... ты помнишь, Таисия, как мы гуляли по пляжу? И можно ли было подумать, что какая-то глупая случайность погубит эту драгоценнейшую — драгоценнейшую жизнь!

И по огромным щекам его медленно стекали маленькие искренние слезинки и застревали в нафабренных усиках. Так он и до сих пор любил величавую Елену Дмитриевну, продолжал поклоняться ее дармоедству.

С маленькой карточки Елены Дмитриевны было сделано увеличение в лучшей мастерской и в роскошной раме повешено в кабинетике Веревкина, прямо над его головою; и за рамою — это была мысль Таисии — торчал пучок искусственных цветов. Что цветы! — Михаил Михайлович и лампаду бы повесил, не будь это явным кощунством и в то же время смешным преувеличением, что он и сам сознавал в спокойные минуты. Но взгляд, в одиночестве и даже при людях, обращенный им на портрет, был взглядом молящегося; и в ответ ему смотрели с портрета большие глаза Елены Дмитриевны, слегка подведенные ретушером, веселые, как от пьянящего газа, и водянистые. Даже в фотографии чувствовалась их бездумная голубизна, как у тех цветочков, что через тонкий слой слюды невинно смотрят с белого изразца.

— Она смотрит! Она смотрит! — восклицал Михаил Михайлович, переходя с одного конца комнаты в другой и всюду встречая этот прямой и веселый взгляд: — Таичка, она смотрит!

— Да, это удивительно,— соглашалась Таисия, также переходя из одного угла в другой и наклоняя голову: — это прямо поразительно, Мишель!

Но одна, убирая письменный стол мужа, неохотно смотрела на портрет; раз только, задумавшись, с метелкою в руке, больше получаса вглядывалась в глаза и губы Елены Дмитриевны, словно изучала их или чего-то искала. Потом с легким вздохом принялась за уборку: одно Таисия знала твердо — что и на пытке, и на самом Страшном суде не выдаст она тайну о смерти матери.

То спокойствие и даже как бы некоторая мудрость, которые сразу пришли к ней со смертью матери, уже не покидали ее; и на многое, что прежде волновало ее до истерики, теперь она смотрела с легкой, почти насмешливой улыбкой. Так, с улыбкой вспоминала она свою неистовую ревность — к старухе-то! — свою ненависть, дикие выкрики и слезы: смешно подумать — кокоткой ее называла, старуху-то! С той же улыбкой мудрости, спокойствием человека, сытно пообедавшего, глядела она на маленькие и, действительно, смешные попытки Михаила Михайловича в чем-то подражать полковнику: он и халат себе такой же сделал, пользуясь указаниями Таисии, и чубуки развесил над турецким диваном, хотя сам и не выносил табачного дыма, и что-то военное старался придать своему безнадежно мирному и тихому лицу. Пусть — это никому не мешает.

Уже после первого ребенка, Лелечки, она заметно пополнела и окрепла, и исчезли всякие придыхания в легком, а после второго, большеголового Яшеньки, у нее появилось даже некоторое дородство, сановитость, и определенно прорезалась морщинка на том месте, откуда в будущем обещал набухнуть второй подбородок. Намечалось несомненное сходство с покойной матерью. На это обстоятельство первый обратил внимание Михаил Михайлович и был, конечно, в восторге: теперь его мечта окончательно сливалась с действительностью.

— Но это замечательно, Таисия! — восклицал он, сличая портрет и жену,— это замечательно: ты становишься вылитая покойница,— маман! Это такое счастье для нашего дома... ты знаешь, как я всегда уважал твою маман!

— Да, я знаю, Мишель, ты благородный человек.

— И ты так пополнела, милочка, просто прелесть! — он деликатно, ощупывая жировые складки на пояснице жены, обнял ее и усадил с собою на турецкий диван, откуда особенно хорошо был виден портрет Елены Дмитриевны с подведенными веселыми глазами. Таисия положила голову ему на плечо и подтвердила:

— Да, скоро хоть лечиться от полноты, а помнишь, какая худая я была? Ужасно. Это от детей, Мишель:

мама говорила, что и она до моего рождения была слабенькая. А ты заметил, Мишель?.. Нет, не скажу!

Михаил Михайлович отвел глаза от портрета:

— Что, моя козочка? Говори, говори — ну?

Таисия отодвинулась и слегка покраснела.

— Мишель, ты помнишь, как у меня всегда краснел прежде нос? Понимаешь, во всякую погоду, всегда?

— И в комнатах?

— Ну да: и в комнатах!

— Да, что-то помню.

— А теперь? Нет, ты внимательно посмотри, это чудо. А теперь?

Михаил Михайлович старательно всматривался, но не мог найти даже намека на красноту:

— А теперь... А теперь... Нет, Таисия, ничего подобного. Совершенно белый нос, совершенно! Даже представить трудно, что хоть когда-нибудь он был красный!

И, счастливо вздыхая, Таисия подтвердила:

— Был, Мишель, был, это только ты не замечал, глупенький мой мальчик.

Они поцеловались, дружески и нежно, как муж и жена, живущие счастливо. Потом молча, в задумчивости, стали смотреть на портрет, и он молча, не мигая, смотрел на них из роскошной рамы. Невинно и пьяно, как от веселящего газа, глядели подведенные глаза покойницы, принесшей мир и благополучие дому сему.

1916 г.



сатирические пьесы


БУФЕТЪ

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

Шуточное представление в одном действии

Дикая местность в горах

На скале, представляющей собою почти правильный отвес, на маленьком, едва заметном выступе стоит какой-то человек в отчаянной позе. Как он туда попал, объяснить трудно, но ни сверху, ни снизу достать его нельзя: коротенькие лестницы, веревки и шесты показывают, что к спасению незнакомца делались попытки, но остались безуспешными.

По-видимому, несчастный давно уже находится в таком отчаянном положении; внизу успела собраться значительная толпа, очень разнообразная по составу. Здесь и торговцы с прохладительными напитками и даже целый маленький буфет, около которого, весь в поту, мечется запыхавшийся лакей — он один и не успевает исполнять все требования. Расхаживают разносчики с открытыми письмами, кораллами, сувенирами и всякою дрянью; какой-то субъект настойчиво пытается всязать черепаховую гребенку, которая на самом деле не черепаховая. И со всех сторон продолжают стекаться туристы, привлеченные слухами о готовой совершиться катастрофе: англичане, немцы, русские, французы, итальянцы и т. д., со всеми их национальными особенностями в характере, манерах и костюме. Почти у всех альпенштоки, бинокли и фотографические аппараты. Разноязычный говор, который для удобства читателей переводим: на один русский. У подножья скалы, там, куда должен свалиться незнакомец, два полицейских сержанта отгоняют ребят и тоненькой веревочкой на колышках отгораживают место. Шумно и весело.

Полицейский. Прочь отсюда, негодяй! Упадет тебе на голову — что тогда скажут твои мать и отец?

Мальчик. А он сюда упадет?

Полицейский. Сюда.

Мальчик. А если дальше?

Второй полицейский. Мальчишка прав: в отчаянии он может прыгнуть, перелететь веревку и причинить неприятности зрителям. В нем не меньше четырех пудов.

Первый полицейский. Прочь! Ты, девчонка, куда лезешь? Это ваша дочь, сударыня? Прошу вас убрать ее: молодой человек сейчас упадет.

Дама. Уже сейчас? Ах, боже мой! А мужа нет!

Девочка. Он в буфете, мама.

Дама *(в отчаянии)*. Ну конечно, всегда в буфете! Позови его, Нелли, скажи: сейчас будет падать. Скорей! Скорей!

Голоса. Кельнер!

— Гарсон!

— Человек!

— Пива!

— Пива нет.

— Что? Что такое? Хорош буфет...

— Сейчас привезут.

— Поторопитесь!

— Кельнер!

— Кельнер!

— Гарсон!

Первый полицейский. Ты опять, мальчишка!

Мальчик. Я хотел принять вон тот камень.

Полицейский. Это зачем?

Мальчик. Чтобы ему не так больно было падать.

Второй полицейский. Мальчишка прав; камни следует убрать, и вообще место необходимо очистить. Нет ли здесь опилок или песку?

Подходят два туриста англичанина. Рассматривают незнакомца в бинокли, обмениваются замечаниями.

Первый. Молод.

Второй. Сколько?

Первый. Двадцать восемь.

Второй. Двадцать шесть. Кажется старше от страха.

Первый. Пари.

Второй. Десять на сто. Запишите.

Первый *(записывая, к полицейскому)*. Скажите, пожалуйста, как он попал сюда? Отчего его не снимут?

Полицейский. Пробовали, но безуспешно. Все лестницы коротки.

Второй. Давно он здесь?

Полицейский. Двое суток.

Первый турист. Ого! К вечеру упадет.

Второй турист. Через два часа. Сто на сто.

Первый турист. Запишите! *(Кричит незнакомцу).* Как вы себя чувствуете? Что? Не слышу.

Незнакомец *(чуть слышно).* Скверно.

Дама. Ах, боже мой! А мужа нет!

Девочка *(подбегая).* Папа сказал, что он поспеет, он с каким-то господином играет в шахматы.

Дама. Ах, боже мой! Скажи, Нелли, что я требую. Впрочем... А он скоро упадет, господин сержант? Нет, Нелли, иди лучше ты, а я поберегу место для папы.

Высокая худая дама, имеющая необыкновенно самостоятельный и воинственный вид, спорит с каким-то туристом из-за места. Турист низкоросл, слабосилен и тих и плохо отстаивает свое право; дама же наступает решительно.

Турист. Но это же мое место, сударыня, я уже два часа стою тут.

Воинственная дама. Мне-то какое дело до того, сколько вы тут стоите? Я здесь желаю стоять, вы поняли? Отсюда мне будет виднее, вы поняли?

Турист *(слабо).* Но отсюда и мне будет виднее.

Воинственная дама. Скажите пожалуйста! А вы что-нибудь в этом понимаете?

Турист. Что же тут понимать? Человек должен упасть, вот и все.

Воинственная дама *(передразнивая).* Человек должен упасть, вот и все! Скажите пожалуйста! А вы видели, как падает человек? Ну? Нет? А я видела целых трех: два акробата, один канатоходец и три аэронавта.

Турист. Выходит шесть.

Воинственная дама *(передразнивая).* Выходит шесть! Скажите, какие блестящие способности к математике! А вы видали, чтобы в зверинце на ваших глазах тигр разрывал женщину? А? Что? Ну то-то! А я видела! Прошу вас, прошу вас.

Оскорбленно пожимая плечами, турист отступает, и худая дама победоносно рассаживается на завоеванном камне. Раскладывает вокруг себя ридикюль, носовые платки, мятные лепешки, бутылоч-

ку с каким-то эликсиром; снимает перчатки и протирает стекла бинокля, приятно посматривая на окружающих. Обращается к даме, которая ждет мужа из буфета.

Воинственная дама (*благосклонно*). Вы так устанете, душечка. Вы бы сели.

Дама. Ах, и не говорите! У меня совсем занемели ноги.

Воинственная дама. Теперешние мужчины такие нахалы, никогда не уступят место женщине. А мятных лепешек вы не взяли?

Дама (*испуганно*). Нет. Разве они нужны?

Воинственная дама. Когда долго смотреть вверх, то обязательно начинает тошнить. А нашатырный спирт у вас есть? Нет? Боже мой, какое легкомыслие! Как же вас будут приводить в чувство, когда он свалится? И эфира нет? Ну конечно! Если уж вы сама такая... неужели у вас нет никого, кто бы мог о вас позаботиться?

Дама (*испуганно*). Я скажу мужу. Он в буфете.

Воинственная дама. Ваш муж негодяй!

Полицейский. Чья это куртка? Кто бросил сюда эту рвань?

Мальчик. Это я. Я бросил куртку, чтобы ему не было так больно падать.

Полицейский. Убрать.

Несколько туристов, вооруженных кодаками, спорят из-за более удобной позиции.

Первый. Я здесь хотел стать.

Второй. Вы хотели, а я уже стал.

Первый. Вы только стали, а я уже двое суток стоял здесь.

Второй. А зачем же вы ушли и даже не оставили своей тени?

Первый. Не стану же я, черт возьми, умирать от голода?

Продавец с гребенкой (*таинственно*). Черепаховая.

Турист (*свирепо*). Ну?

Торговец. Настоящая черепаховая.

Турист. Пошли вы к черту!

Третий турист-фотограф. Бога ради, сударыня, вы сели на мой аппарат.

Дамочка. Ах, но где же он?

Турист. Да под вами же, под вами!

Дамочка. Но я так устала! Фи, какой скверный ваш аппарат. Я думаю, отчего мне так плохо сидеть, а это оттого, что я сижу на вашем аппарате.

Турист *(в отчаянии)*. Сударыня!

Дамочка. А я, знаете, думала, что это камень. Вижу — лежит что-то такое, и думаю: неужели это камень — отчего же он такой черный? А это, оказывается, ваш аппарат.

Турист *(в отчаянии)*. Сударыня, бога ради!..

Дамочка. Но отчего же он такой большой? Аппараты бывают маленькие, а этот такой большой. Честное слово, я и не подозревала, что это аппарат. А меня вы можете снять? Мне бы хотелось на фоне гор, в такой обстановке.

Турист. Да как же я вас сниму, когда вы на нем!

Дамочка *(вскакивая в ужасе)*. Разве? Отчего же вы мне не сказали? Он снимает?

Голоса. Кельнер, пива!

— Отчего вы не подаете вино?

— Вам уже давно заказали.

— Что прикажете?

— Сейчас.

— Сию минуту.

— Кельнер!

— Кельнер!

— Зубочистку!

Быстро входит толстый, запыхавшийся турист, окруженный многочисленной семьею.

Турист *(кричит)*. Маша! Саша! Петя! Где Маша? Ах, боже мой, где же Маша?

Гимназист *(уныло)*. Она здесь, папочка.

Турист. Да где же она? Маша!

Девица. Я здесь, папаша.

Турист. Да где же ты? *(Оборачиваясь.)* Ах, вот! Ну кто же стоит за спиною? Да смотри же, смотри! Куда же ты смотришь, господи боже мой!

Девица *(уныло)*. Я не знаю, папаша.

Турист. Нет, это невозможно! Вы подумайте, она молнии ни разу не видала: таращит-таращит гла-

за, как луковицы, а как только блеснет — она их и закроет. Так и не видала ни разу! Маша, опять прозеваешь! Вот он, видишь!

Гимназист. Она видит, папаша.

Турист. Последи за ней. *(Внезапно переходя на тон глубочайшей жалости.)* Ах, бедный молодой человек! Нет, вы подумайте, неужели так и свалится? Посмотрите, дети, какой он бледный: видите, как опасно лазить.

Гимназист *(уныло)*. Он сегодня не упадет, папаша.

Турист. Вздор! Кто это сказал?

Вторая девица. Папа, Маша опять глаза закрыла.

Первый гимназист. Позвольте мне посидеть, папаша. Он, ей-богу, сегодня не упадет... Мне швейцар в отеле сказал. Я не могу! Вы нас таскаете с утра до ночи по всяким галереям...

Турист. Что такое? Для чьей же пользы это делается? А? Ты думаешь, мне с тобой, с болваном, приятно...

Вторая девица. Папа, Маша опять моргает.

Второй гимназист. И я не могу. У меня все страшные сны. Мне нынче всю ночь гарсоны снились.

Турист. Петька!

Первый гимназист. А я так исхудал, что у меня только кожа да кости. Я не могу, папаша. Отдавайте меня в пастухи, в свинопасы...

Турист. Сашка!

Первый гимназист. Главное, будь бы он вправду упал, а то наврет вам всякий, вы и верите. Бедекер, тоже. Врет ваш Бедекер!

Маша *(уныло)*. Папаша, дети, он валиться начинает.

Незнакомец сверху что-то кричит. Общее движение. Голоса: «Смотрите, он падает»; поднимаются бинокли, несколько фотографов в ажитации щелкают кодаками; полицейские энергично очищают место для падения.

Фотограф. Фу ты черт! Зачем же это я... Проклятая торопливость!

Второй фотограф. Коллега, у вас объектив закрыт.

Первый. Фу ты черт!

Голоса. Тише! Он собирается падать.

— Нет, он говорит что-то.

— Да нет же, падает!

— Тише!

Незнакомец *(слабо)*. Спасите!..

Толстый турист. Ах, бедный молодой человек! Маша! Петя! Вот вам трагедия: небо ясно, погода прекрасная, а он сейчас должен упасть и расшибиться насмерть. Ты понимаешь, Саша, как это ужасно!

Гимназист *(уныло)*. Понимаю.

Толстый турист. А ты, Маша, понимаешь? Ты подумай, вон небо, вон люди закусывают, все так приятно, а он должен свалиться. Какая трагедия! Петя, ты помнишь Гамлета?

Вторая девица *(подсказывает)*. Гамлет, принц датский, в Эльсиноре.

Петька *(угрюмо)*. В Гельсингфорсе, ну, знаю. Чего вы ко мне лезете, папаша?

Маша *(уныло)*. Ему всю ночь гарсоны снились.

Сашка. Лучше бы бутербродов заказали.

Торговец с гребенкой *(таинственно)*. Черепаховая. Настоящая.

Толстый турист *(доверчиво)*. Краденая?

Торговец. Что вы, сударь!

Толстый турист *(сердито)*. А если не краденая, так какая же она настоящая?

Воинственная дама *(благосклонно)*. Это все ваши дети?

Толстый турист. Да, сударыня. Обязанности отца... Но, как видите, протестуют: вековечная рознь между отцами и детьми, сударыня. Здесь такая ужасная трагедия, сердце сжимается от боли... Ты опять моргать начинаешь, Маша?

Воинственная дама. Вы совершенно правы: детей необходимо закалять. Но только почему вы это называете ужасной трагедией? Любой кровельщик падает с большой высоты. Ну сколько здесь — сто, двести футов? А я видела, как человек падал прямо с неба.

Толстый турист *(в восторге)*. Да что вы! Саша, дети, слушайте. Прямо с неба.

Воинственная дама. Ну да. Аэронавт. Вылетел из облаков и тр-рах об железную крышу.

Толстый турист. Ка-кой ужас!

Воинственная дама. Вот это трагедия! Меня два часа из насоса поливали, чтобы привести в чувство. Чуть не утопили, негодяи! С тех пор вожу нашатырь.

Появляется бродячая труппа итальянцев — певцов и музыкантов. Низенький, толстый тенор с рыжеватой бородкой и большими водянистыми, глупо-мечтательными глазами; поет необычайно сладко. Худой горбун в жокейской фуражке, поет скрипучим баритоном; бас, похожий на разбойника, он же мандолинист; тощая девица со скрипкой, закатывает глаза так, что видны одни только белки. Выстраиваются и поют.

Итальянцы *(поют)*.

Sul mare lucido l'astro d'argento,
Placida è l'onda, prospero è il vènto.
Venite all agile... Barchetta mia...
Santa Lucia!..[1].

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите: он начинает размахивать руками.

Толстый турист. Неужели это влияние музыки?

Воинственная дама. Очень возможно. Вообще все эти вещи делаются под музыку. Но только так он упадет скорее, чем следует. Эй, вы, музыканты, пошли отсюда — пошли, пошли!

Горячо жестикулируя, в сопровождении нескольких сочувствующих любопытных, подходит высокий турист с закрученными кверху усами.

Высокий турист. Это возмутительно!.. Почему его не снимут? Господа, вы все слышали, как он кричал: «спасите меня»?

Любопытные *(хором)*. Все, все слышали.

---

[1] Куплет из неаполитанской песни «Санта Лючия»:
«Лунным сиянием море блистает,
Попутный ветер парус вздымает.
Лодка моя легка, весла большие...
Санта Лючия!»
(Пер. с ит. А. Горчаковой.)

Высокий турист. Ну вот! И я слышал совершенно отчетливо именно эти слова: спасите меня. Почему же его не спасают? Это возмутительно! Полицейский, полицейский! Почему вы его не спасаете? Что вы тут делаете?

Полицейский. Очищаем место для падения.

Высокий турист. А! Это разумно. Но почему вы его не спасаете? Вы должны его спасти. Это ваш долг человеколюбия. Раз человек просит, чтобы его спасли, так его необходимо спасти. Не так ли, господа?

Любопытные *(хором)*. Верно, совершенно верно! Его необходимо спасти.

Высокий турист *(горячо)*. Мы не язычники, мы христиане, мы должны любить ближнего. Раз он просит его спасти, должны быть приняты все меры, какие есть в распоряжении администрации. Полицейский, вы приняли все меры?

Полицейский. Все.

Высокий турист. Все до одной? Господа, все меры приняты. Молодой человек, послушайте — все меры приняты, чтобы вас спасти. Вы слышите?

Незнакомец *(чуть слышно)*. Спасите!..

Высокий турист *(взволнованно)*. Господа, вы слышите: он опять крикнул — спасите. Полицейский, вы слыхали?

Один из любопытных *(робко)*. По моему мнению, его необходимо спасти.

Высокий турист. Вот именно! Я же два часа только об этом и говорю. Полицейский, вы слыхали? Это возмутительно!

Тот же любопытный *(несколько смелее)*. По моему мнению, следует обратиться к высшей администрации.

Остальные *(хором)*. Да, да, необходимо жаловаться. Это возмутительно! Государство не должно оставлять своих граждан в опасности. Мы все платим налоги. Его необходимо спасти.

Высокий турист. А я что говорил? Конечно, необходимо идти жаловаться... Молодой человек, послушайте, вы платите налоги? Что? Не слышу.

Толстый турист. Петя, Катя, слушайте, какая трагедия! — Ах, бедный молодой человек! Он сей-

час должен свалиться, а с него требуют квартирный налог.

Катя *(девочка в очках, учено)*. Разве это может быть названо квартирой, папа? Понятие квартиры...

Петька *(щиплет ее)*. У, подлиза!

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите — он опять валиться начинает.

В толпе снова движение, с теми же криками и беспокойством фотографов.

Высокий турист. Необходимо торопиться. Господа, его необходимо спасти во что бы то ни стало! Кто идет за мною?

Любопытные *(хором)*. Мы все, все!

Высокий турист. Полицейский, вы слыхали? Идемте же, господа.

Уходят, горячо жестикулируя. В буфете оживление растет; слышится стуканье кружками и начало громкой немецкой песни. Окончательно заболтавшийся лакей отбегает в сторону, в отчаянии смотрит на небо и салфеткою вытирает потное лицо. Яростные требования: «Кельнер! Кельнер!»

Незнакомец *(довольно громко)*. Кельнер, не можете ли вы дать мне содовой воды?

Кельнер вздрагивает, в ужасе смотрит на небо, отыскивает глазами незнакомца и уходит, делая вид, что не слышал. Яростные голоса: «Кельнер, пива!»

Кельнер. Сейчас, сию минуту! Сейчас.

Подходят двое пьяных из буфета.

Дама. Ах, вот и муж! Сюда, скорее иди сюда!

Воинственная дама. Какой негодяй!

Пьяный *(отмахиваясь рукою)*. Эй, вы там, наверху — что, очень скверно? А?

Незнакомец *(довольно громко)*. Скверно. Надоело.

Пьяный. И выпить нельзя.

Незнакомец. Куда там!

Второй пьяный. Ну что ты говоришь, как он может выпить? Человеку надо умирать, а ты волнуешь его разными соблазнами. Послушайте, мы все время пьем за ваше здоровье. Вам не повредит?

Первый пьяный. Ну что ты говоришь, как это может ему повредить? Это его может только приободрить. Послушайте! Нам, ей-богу, очень жалко вас, но вы не обращайте на это внимания: мы сейчас опять уйдем в буфет.

Второй пьяный. Посмотри-ка, сколько народу!

Первый. Пойдем, а то упадет он, и буфет закроют.

Появляется новая кучка туристов, во главе ее весьма элегантный господин — корреспондент главнейших европейских газет. Его провожают шепотом почтительного удивления и бескорыстного восторга; многие покидают буфет, чтобы видеть его, и даже кельнер делает легонький крюк, взглядывает быстро, счастливо улыбается и несется дальше, что-то расплескивая из судка.

Голоса. Корреспондент!

— Корреспондент, смотрите!

Дама. Ах, боже мой — а мужа опять нет!

Толстый турист. Петя, Маша, Саша, Катя, Вася, смотрите — это главный корреспондент... Понимаете, самый главный; что он напишет, то и будет.

Катя. Машечка, ты опять не туда смотришь.

Сашка. Лучше бы бутербродов заказали! Я не могу, папаша! Человека надо кормить...

Толстый турист *(в упоении)*. Какая трагедия! Катечка, дружок, ты понимаешь, как это ужасно: такая прекрасная погода — и главный корреспондент! Книжечку вынь, Петя, записную книжечку вынь.

Петька. Я ее потерял, папаша.

Корреспондент. Где же он?

Голоса *(услужливо)*. Вон он, вон!

— Немного выше, еще выше!

— Немного ниже!

— Нет, выше!

Корреспондент. Позвольте, позвольте, господа. Я сам найду. Ага, вон он! Н-да, положение...

Турист. Не хотите скамеечку?

Корреспондент. Благодарю вас. *(Садится.)* Н-да, положение! Очень, очень интересно. *(Приготовляет записную книжечку; к фотографам, любезно.)* Уже снимали, господа?

Первый фотограф. Да, как же, как же! Дали общий характер местности...

Второй фотограф. Трагическое положение молодого человека...

Корреспондент. Да-а? Очень, очень интересно.

Толстый турист. Слышишь, Сашка: умный человек, главный корреспондент, и говорит: как это интересно. А ты — бутерброды!.. Болван!

Сашка. Так, может, он уже наелся...

Корреспондент. Господа, прошу вас соблюдать тишину.

Услужливый голос. Эй там, в буфете, тише!

Корреспондент *(кричит вверх)*. Позвольте представиться: главный корреспондент европейской прессы, прислан сюда по специальному предложению редакции. Желал бы предложить несколько вопросов относительно вашего положения. Как вас зовут? Ваше имя, общественное положение, возраст?

Незнакомец что-то бормочет.

(В некотором недоумении.) Ничего не слышно. Это он все время так?

Голоса. Да, ничего не разберешь.

Корреспондент *(что-то записывая)*. Прекрасно! Вы холосты?

Незнакомец бормочет что-то.

Не слышу! Женаты, да? Повторите.

Турист. Он сказал, что холост.

Второй турист. Да нет же! Конечно, женат.

Корреспондент *(небрежно)*. Вы так думаете? Запишем: женат. Сколько у вас детей? Что? Не слышу. Кажется, он сказал — трое? Гм... запишем на всякий случай пятеро.

Толстый турист. Ах, какая трагедия! Пятеро детей. Вы подумайте!

Воинственная дама. Врет.

Корреспондент *(кричит)*. Как вы попали в такое положение? Что? Не слышу, громче! Повторите, что вы сказали. *(В недоумении, к публике.)* Что он говорит такое? У малого дьявольски слабый голос.

Первый турист. Мне показалось, что он крикнул, что он заблудился.

Второй турист. Нет, он сам не понимает, как он попал туда.

Голоса. Он охотился!

— Он лазил по скалам.

— Да нет же, он просто лунатик.

Корреспондент. Позвольте, позвольте, господа,— во всяком случае, он не с неба свалился. Впрочем... (*Быстро записывает.*) Несчастный молодой человек... уже с детства страдает припадками лунатизма... Яркое сияние полной луны... дикие скалы... сонный швейцар... не доглядел...

Первый турист (*второму, тихо*). Да ведь теперь новолуние.

Второй турист. Ах, вы думаете, публика понимает что-нибудь в астрономии?

Толстый турист (*в восторге*). Маша! Обрати внимание — здесь перед тобою наглядный пример влияния луны на живые организмы. Но какая ужасная трагедия: выйти в лунную ночь погулять — и вдруг залезть так, что снять нельзя!

Корреспондент (*кричит*). Что вы чувствуете? Не слышу. Громче! Ах, вот что! Н-да, положение.

Публика (*заинтересованно*). Слушайте, слушайте, что он чувствует. Как это ужасно!

Корреспондент (*записывает, бросая отдельные громкие замечания*). Смертельный ужас сковывает члены... Ледяной страх холодом пробегает по спине... Никакой надежды... Пред мысленным взором проходят картины семейного счастья: жена делает тартинки, пятеро детей ангельскими невинными голосами выражают нежнейшие чувства... Бабушка в кресле, с трубкой... то есть дедушка с трубкой, а бабушка... Взволнован сочувствием публики... Выразил предсмертное желание, чтобы последний вздох его был напечатан в нашей газете...

Воинственная дама (*возмущенно*). Как он врет!

Маша (*уныло*). Папа, дети, смотрите — он опять начинает валиться.

Толстый турист (*сердито*). Не мешай! Тут такая трагедия, а ты... Ну чего таращишь глаза?

Корреспондент *(кричит)*. Держитесь крепче! Так, так! Последний вопрос: что бы вы хотели передать вашим согражданам, уходя в лучший мир?

Незнакомец *(слабо)*. Чтобы все они пошли к черту.

Корреспондент. Что? Ах, да! Решительный противник закона о полноправности негров... Последний завет, чтобы никогда эти черномазые...

Пастор *(запыхавшись, раздвигает толпу)*. Где же он? Ах, вот! Несчастный молодой человек! Господа, здесь еще никто не был из лиц духовного звания? Нет? Благодарю вас. Неужели я первый?

Корреспондент *(записывает)*. Потрясающий момент... Появился священник... Все замерли в ожидании, многие плачут!..

Пастор. Позвольте! Позвольте, господа. Заблудшая душа желает последнего примирения с небом. *(Кричит)*. Не желаете ли вы, сын мой, примириться с небом? Откройте мне ваши грехи, и я немедленно дам вам отпущение. Что? Не слышу.

Корреспондент *(записывает)*. Рыдания потрясли воздух. В трогательных выражениях служитель церкви увещевает преступника, то есть несчастного... Со слезами на глазах, слабым голосом, несчастный благодарит...

Незнакомец *(слабо)*. Если вы... не отойдете, я прыгну вам на голову. Во мне шесть пудов.

Все испуганно отскакивают и прячутся друг за друга.

Голоса. Падает, падает!

Толстый турист *(в волнении)*. Маша, Саша, Петя!

Полицейский *(энергично)*. Место, прошу очистить место.

Дама. Нелли, скорей беги за папой, скажи — падает.

Фотограф *(в отчаянии)*. Боже мой, а у меня катушка вся. *(Мечется, жалобно смотрит на незнакомца.)* Одну минуту, я сейчас. Они у меня там, в пальто. *(Отходит несколько, продолжая глядеть на незнакомца, и опять возвращается.)* Нет, не могу, но если... Ах, боже мой! Они у меня там, в пальто! Я сейчас, сию минуту. Вот положение!

Пастор. Поторопитесь, мой друг, соберите силы хотя бы только для главнейших грехов. Мелочи мы оставим.

Толстый турист. Какая трагедия!

Корреспондент *(записывая)*. Преступник, то есть несчастный, приносит всенародное покаяние... Разоблачаются ужасные тайны... Злодей, взорвавший банкира...

Толстый турист *(доверчиво)*. Какой негодяй!

Пастор *(кричит)*. Во-первых, не убивали ли? Во-вторых, не крали ли? В-третьих, не прелюбодействовали ли?..

Толстый турист. Маша, Петя, Катя, Саша, Вася, заткните уши!

Корреспондент *(пишет)*. Возмущенная толпа... Крики негодования...

Пастор *(торопливо)*. В-четвертых, не богохульствовали ли? В-пятых, не желали ли осла ближнего? Вола его, рабыни его, жены его? В-шестых...

Фотограф *(беспокойно)*. Господа, осел.

Второй фотограф. Где, где осел? Я не вижу.

Первый фотограф *(успокаиваясь)*. Мне послышалось.

Пастор. Поздравляю вас, сын мой, вы примирились с небом. Теперь вы можете спокойно... Ах, боже мой, что я вижу? Члены Армии Спасения? Полицейские, гоните их!

Несколько членов Армии Спасения, мужчин и женщин, в парадных мундирах, с музыкой приближаются к месту происшествия. Инструментов только три: барабан, скрипка и какая-то необычайно пискливая труба.

Первый член Армии Спасения *(неистово барабанит, кричит протяжно, в нос)*. Братия и сестры...

Пастор *(стараясь заглушить, кричит еще более громко и еще более в нос)*. Он уже покаялся, братие. Будьте свидетелями, господа! Он уже покаялся и примирился с небом.

Второй член Армии Спасения, дама *(влезая на камень, вопит)*. Как этот грешник, я блуждала в темноте и злоупотребляла алкоголем, когда свет истины...

Голос. Да она и сейчас пьяна, как стелька.

Пастор. Полицейский, вы слышали, что он покаялся и помирился с небом?

Первый член Армии Спасения неистово барабанит, остальные затягивают песню. Крики, хохот, свист. В буфете также поют и на всех языках зовут кельнера. Растерявшиеся полицейские отбиваются от пастора, который их куда-то тащит: фотографы вертятся, как угорелые. Появляется туристка англичанка верхом на осле, который, расставив передние ноги, не хочет идти дальше и присоединяет свой голос к остальным. Несколько затихают, Армия Спасения торжественно удаляется, пастор, размахивая руками, уходит за нею.

Англичанин турист *(другому)*. Как неприлично. Этот сброд совершенно не умеет себя вести.

Второй англичанин турист. Уйдемте отсюда.

Первый. Одну минуту. *(Кричит.)* Послушайте меня, почтеннейший: не желаете ли вы свалиться поскорее?

Второй. Что вы говорите, сэр Вильям?

Первый *(кричит)*. Разве вы не видите, что они только этого и ждут? И, как джентельмен, вы должны доставить им удовольствие, а себя избавить от унижения — страдать публично перед этим сбродом.

Второй. Сэр Вильям!

Толстый турист *(в восторге)*. Вот она, правда-то! Саша, Петя, слушайте: говорят правду. Какая трагедия!

Какой-то турист *(наступая на англичанина)*. Как вы смеете?

Первый англичанин *(отстраняя его)*. Бросайтесь скорее, слышите? Если не хватает смелости, то я вам помогу хорошим выстрелом. Соглашаетесь или нет?

Голоса. Этот рыжий дьявол сошел с ума!

Полицейский *(хватает англичанина за руку)*. Вы не имете права этого делать. Я вас арестую.

Какой-то турист. Варварская нация!

Незнакомец что-то кричит. Внизу движение. Голоса: «Слушайте, слушайте!».

Незнакомец *(громко)*. Уберите к черту этого осла, он меня застрелит. И скажите хозяину, что я больше не могу.

Голоса. Что такое?

— Какому хозяину?

— Он сходит с ума, несчастный!

Толстый турист. Саша, Маша, картина безумия. Петя, скорее, вспоминай Гамлета.

Незнакомец *(сердито)*. Скажите, что мне всю поясницу разломило.

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите, он начинает дергать ногами.

Катя. Это называется конвульсией, папа?

Толстый турист *(в упоении)*. Не знаю. Кажется. Какая трагедия!

Сашка *(мрачно)*. Катька, дура! Ее учат, а она не знает, что это называется агония. А еще очки надела! Я больше не могу, папаша.

Толстый турист. Вы подумайте, дети: сейчас человек расшибется насмерть, и о чем же он заботится? О пояснице!

Слышится шум. Несколько разъяренных туристов почти волокут какого-то сильно испуганного господина в белом жилете. Он улыбается, клаияется во все стороны, разводит руками и то, подталкиваемый, быстро бежит вперед, то старается ускользнуть в толпу, но его хватают и вновь волокут.

Голоса. Наглый обман!

— Это возмутительно!

— Полицейский, полицейский!

— Его надо проучить!

Другие голоса. Что такое?

— Какой обман?

— В чем дело?

— Господа, вора поймали.

Господин *(кланяясь и улыбаясь)*. Это шутка, почтеннейшие господа. Просто шутка! Публика скучает, и я хотел немного развлечь.

Незнакомец *(яростно)*. Хозяин!

Господин. Сейчас, сейчас.

Незнакомец. Что ж, я тут до второго пришествия стоять буду? Уговорились до двенадцати часов, а сейчас сколько?

Высокий турист с закрученными усами *(вне себя от возмущения)*. Вы слышите, господа? Оказывается, что этот негодяй, что этот господин в белом жилете нанял другого негодяя и просто-напросто привязал его к скале.

Голоса. Так он привязан?

Высокий турист. Ну да, привязан и не может упасть. Мы тут волнуемся, мы тут беспокоимся, а он и упасть не может!..

Незнакомец. Еще бы захотел! Стану я тебе за двадцать пять рублей шею ломать! Хозяин, я больше не могу. Тут меня какой-то осел застрелить хотел. Пастор два часа отчитывал — это не по договору!

Сашка. Говорил вам, папаша, что Бедекер врет, а вот вы всякому верите, таскаете нас, не евши.

Хозяин. Публика скучает... Единственное желание развлечь почтеннейшую публику...

Воинственная дама. Что такое? Я ничего не понимаю. Почему он не будет падать? А кто ж тогда будет падать?

Толстый турист. Я тоже ничего не понимаю. Конечно, он должен упасть.

Петька. Вы никогда ничего не понимаете, папаша. Вам же говорят, что он привязан.

Сашка. Да разве его убедишь! Он всякого Бедекера любит больше, чем родных детей.

Петька. Тоже — отец!

Толстый турист. Молчать!

Воинственная дама. Что такое? Он должен упасть!

Высокий турист. Нет, вы подумайте, какой обман! Вы должны объясниться, милостивый государь.

Хозяин. Публика скучает. Извините, господа. Но в желании угодить... Несколько часов приятного волнения... подъема нервов... вспышки альтруистических чувств...

Англичанин. Буфет ваш?

Хозяин. Мой.

Англичанин. И отель внизу ваш?

Хозяин. Мой. Публика скучает...

Корреспондент *(записывает)*. Наглый обман... Содержатель буфета, в желании повысить доход со спиртных напитков, эксплуатирует лучшие человеческие чувства... Негодование публики...

Незнакомец *(яростно)*. Скоро вы меня снимите, хозяин, или нет?

Хозяин. Ну а вы-то чего? Вы еще чем недовольны? Снимают вас по ночам или нет?

Незнакомец. Еще бы, недостает, чтобы я тут и по ночам висел.

Хозяин. Ну так можете потерпеть несколько минут. Публика скучает...

Высокий турист. Нет, вы понимаете, что вы такое сделали, негодяи этакие! Ради своих отвратительных целей вы безбожно эксплуатируете любовь к ближнему. Вы заставили нас пережить страх, сострадание, отравили наше сердце жалостью — и что же оказывается? Оказывается, что этот негодяй, ваш гнусный сообщник, привязан к скале и не только не упадет, как все того ожидают, но и не может упасть.

Воинственная дама. Что такое? Он должен упасть!

Толстый турист. Полицейский, полицейский!

Появляется запыхавшийся пастор.

Пастор. Что, еще жив? Ага, вот он. Какие шарлатаны эти господа Армия Спасения!

Голос. Вы еще не слыхали: он привязан.

Пастор. Что? К чему привязан? К жизни? О все мы привязаны к жизни, пока смерть не развяжет. Но, привязан он или не привязан, я примирил его с небом и баста! А эти шарлатаны...

Толстый турист. Полицейский! Полицейский, необходимо составить протокол!

Воинственная дама *(наступая на хозяина)*. Я не могу позволить, чтобы меня обманывали. Я видела, как из облаков летел аэронавт и тррах о крышу, я видела, как тигр разорвал женщину...

Фотограф. Я три катушки испортил, снимая этого негодяя. Вы мне ответите за это, милостивый государь!

Толстый турист. Протокол, протокол! Какая наглость! Маша, Петя, Саша, Вася, зовите полицейского

Хозяин *(отступая, в отчаянии)*. Да не могу же я заставить его падать, если он не хочет. Я сделал все, что мог. Господа, господа!..

Воинственная дама. Я не позволю!

Хозяин. Позвольте, господа. Честное слово, он в следующий раз упадет, а сейчас он же не хочет!

Незнакомец. Что такое в следующий раз?

Хозяин. Молчите, вы там!

Незнакомец. За двадцать пять рублей?..

Пастор. Скажите, пожалуйста, какой наглец! Я его только что с опасностью для жизни примирил с небом — вы слышали, как он грозился упасть мне на голову? А он еще недоволен. Прелюбодей! Вор! Убийца! Пожелавший осла ближнего!

Фотограф. Господа, осел.

Второй фотограф. Где осел? Я не вижу.

Первый фотограф *(успокаиваясь)*. Мне послышалось.

Третий фотограф. Это вы осел. У меня из-за вас глаза перекосились.

Маша *(уныло)*. Папа, дети, смотрите, идет полицейский.

Движение, шум. С одиой стороиы тормошат полицейского, с другой — хозяииа, и оба оии кричат: «Позвольте, позвольте».

Толстый турист. Полицейский, городовой! Вот он, этот обманщик, жулик...

Пастор. Полицейский! Вот он, прелюбодей, убийца, пожелавший осла ближнего...

Полицейский. Позвольте, позвольте, господа, сейчас мы его приведем к сознанию и раскаянию.

Хозяин. Да не могу же я его заставить падать, если он не хочет!

Полицейский. Эй, вы там, молодчик, наверху, вы можете упасть или нет, сознайтесь!

Незнакомец *(угрюмо)*. Не желаю я падать.

Голоса. Ага, сознался! Какой негодяй!

Высокий турист. Пишите, полицейский. Желая... в целях наживы... эксплуатировать чувство любви к ближнему... святое чувство... э... э... э...

Толстый турист. Дети, слушайте, составляется протокол. Какая выразительность!

Высокий турист. Святое чувство, которое...

Полицейский *(старательно пишет, высунув язык на сторону)*. Любовь к ближнему... святое чувство, которое...

Маша (*уныло*). Папа, дети, смотрите: вон объявление идет.

Показывается несколько музыкантов с трубами и барабанами. Впереди их какой-то субъект на высоком шесте несет огромный плакат с изображением отчаянно волосатого человека с надписью: «Я был лысым».

Незнакомец. Опоздали! Тут, братцы, протокол идет! Проваливайте поскорее.

Субъект (*останавливаясь, говорит высоким голосом*). Я был лысым с первых дней рождения и много времени спустя. Та скудная растительность, которая на десятом году покрыла мой череп, походила скорей на шерсть, нежели на волосы. При вступлении же в брак мой череп был гол, как подушка, и юная новобрачная...

Толстый турист. Какая трагедия! Новобрачный, и вдруг такая голова — вы понимаете, дети, как это ужасно?

Все слушают с интересом, и даже полицейский застыл с пером в руке.

Субъект (*вдохновенно*). И наступил момент, когда супружеское счастье висело буквально на волоске. Все средства для рощения волос, рекомендуемые шарлатанами...

Толстый турист. Вынь-ка записную книжечку, Петя.

Воинственная дама. Но когда же он будет падать?

Хозяин (*предупредительно*). В следующий раз, сударыня, в следующий раз! Я его привяжу не так крепко... и понимаете?..

Занавес

18 октября 1908 г.



ПРЕКРАСНЫЕ САБИНЯНКИ

Картина первая

Дикая, неблагоустроенная местность. Рассвет. Вооруженные римляне волокут из-за горы похищенных сабинянок, полуодетых красивых женщин. Они сопротивляются, визжат, царапаются; и только одна совершенно спокойна и, кажется, спит на руках несущего ее римлянина. Вскрикивая от боли при новых царапинах, похитители торопливо сваливают женщин в кучу, а сами поспешно отскакивают в сторону, оправляются, едва могут дышать. Визг стихает. Женщины тоже оправляются, недоверчиво следя за движениями похитителей, шепчутся, тихо щебечут.

Разговор римлян.

— Клянусь Геркулесом, я мокр от испарины, как водяная крыса. Мне кажется, что моя весит не меньше двухсот килограммов.

— Не нужно было гнаться за самой большой. Я взял маленькую, худенькую и...

— А что у тебя с лицом? Неужели это маленькая, худенькая?

— Увы! Она царапается, как кошка.

— Они все царапаются, как кошки! Я был в сотне сражений: меня били мечами, палками, камнями, стенами и воротами, но еще ни разу мне не было так скверно. Я боюсь, что мой римский нос сейчас никуда не годится.

— А если бы я не брился наголо — как все древние римляне, у меня не осталось бы ни одного волоска. У них, знаете ли, очаровательные тонкие пальцы с изумительно острыми ноготками. Вы говорите: кошки! Ах, но что такое кошки?.. Моя ухитрилась выдергивать даже пух и трудолюбиво всю дорогу занималась этим. Даже замолчала!

Высокий толстый римлянин *(говорит басом)*. А моя забралась под латы и щекотала меня под мышками. Я всю дорогу хохотал.

Среди сабинянок тихий, ядовитый смешок.

— Тише, они нас слышат. Господа, оправьтесь и бросьте жалобы; нехорошо, если с первого же дня они перестанут нас уважать. Посмотрите на Павла-Эмилия — вот человек, который держится с достоинством.

— Он сияет, как Аврора!

— Клянусь Геркулесом! У него ни единой царапины. Как ты это сделал, Павел?

Павел *(с притворной скромностью)*. Не знаю. Она с первой минуты привязалась ко мне, как к мужу. Я поднял ее на руки, она с готовностью обняла меня за шею, и если чего я и боялся, так только того, что она удушит меня в объятиях: у нее тонкие, но очень сильные руки.

— Вот счастливец!

— Но ведь это же так просто! Ее доверчивое невинное сердце шепнуло ей, что я искренно люблю ее и уважаю, и вы, пожалуй, не поверите: полдороги она спала, как убитая.

Толстый римлянин. Но позвольте, господа римляне: как же мы теперь узнаем каждый свою? Мы похищали их в темноте, как кур из курятника.

Из кучки примолкших сабинянок доносится негодующий возглас: «какое гнусное сравнение!»

— Тише: они нас слышат.

Толстый римлянин *(понижая голос до октавы)*. Как же мы теперь разберемся? Моя была очень веселая, и я никому ее не уступлю. Вообще я не позволю наступить себе на ногу.

— Какие глупости!

— Мою я узнаю по ее голосу: кажется, до самого рождества Христова я не в состоянии буду забыть ее визга.

— Мою я узнаю по ее ноготкам.

— Мою — по дивному запаху ее волос.

Павел. А я мою — по кротости и красоте души. О римляне, вот мы на пороге новой жизни! Прощай, томительное одиночество! Прощайте, бесконечные но-

чи с их проклятыми соловьями! Пусть теперь поет соловей или какая угодно птица,— я готов.

Толстый римлянин. Да, пора приступить к семейной жизни.

Со стороны женщин иронический возглас: «да, как же, попробуйте, приступите».

— Тише: они нас слышат.

— Пора, пора.

— Господа римляне, кто первый?

Молчание. Все стоят неподвижно. Среди женщин тихий, ядовитый смех.

Толстый римлянин. Я уже достаточно хохотал. Пусть похохочут другие. И вообще я не позволю наступать себе на ногу. Эй, ты, Павел, выходи!

— Чудовище! Разве ты не видишь, что моя еще спит. Вон, посмотри: темный клубочек под камнем,— это она. О, невинное сердце!

Сципион. По вашим позам, господа римляне, полным нерешительности и справедливой тревоги, я вижу, что в одиночку никто не осмелится подойти к этим безжалостным созданиям. И вот мой план, господа древние римляне...

Толстый римлянин. Ну и голова у этого Сципиона!

— Вот мой план: двинемся все сразу, укрываясь друг за друга и вообще не торопясь. Если уж мы не побоялись их мужей...

Толстый римлянин. Ну, мужья — это что!

Среди женщин громкие вздохи и демонстративный плач.

— Тише — они слышат.

— Опять ты, Марк-Антоний, со своей глоткой! И вообще нужно избегать этого несчастного слова: мужья,— вы видите, как оно ужасно действует на бедных женщин. Итак, господа, согласны ли вы на мой план?

— Согласны, согласны.

— Итак, господа!..

Римляне готовятся к нападению, женщины — к защите: вместо очаровательных лиц видны одни только острые ноготки, готовые впиться в лицо и волосы. Тихое, как у змей, шипение. Римляне

наступают согласно плану, то есть укрываясь друг за друга; но это приводит их к тому, что все они пятятся назад и скрываются за кулисы. Среди женщин смех, римляне выходят растерянные.

— По-видимому, в твоем плане, Сципион, есть какой-то недостаток. Намереваясь прийти, мы ушли,— как сказал бы Сократ.

Толстый римлянин. Я ничего не понимаю.

Павел. Господа римляне, будем смелы. И что такое одна или две царапины, раз впереди — неземное блаженство? Вперед, господа римляне, на абордаж!

Римляне нестройной толпой — за исключением Павла, мечтательно глядящего в небо,— бросаются на женщин, но через мгновение молчаливого боя поспешно отступают. Молчание. Все ощупывают свои носы.

Сципион *(в нос)*. Вы заметили, господа, что они даже не визжали? Скверный признак! Я предпочитаю женщину, когда она визжит.

— Как же быть?

— Я хочу семейной жизни!

— Я хочу семейного очага! Что за жизнь, когда нет семейного очага? Довольно, черт возьми, мы основали Рим, надо же и отдохнуть!

Сципион. К сожалению, среди нас, господа древние римляне, нет ни одного человека, который хорошо знал бы психологию женщины. Занятые войнами и основанием Рима, мы огрубели, потеряли лоск и забыли, что такое женщина...

Павел *(скромно)*. Не все.

Сципион. Но ведь были же у этих женщин мужья, которых мы вчера побили? Отсюда я заключаю: есть какой-то особый, таинственный способ приблизиться к женщине, которого мы не знаем. Как его узнать?

Толстый римлянин. Надо расспросить самих женщин.

— Они не скажут.

Среди женщин ядовитый смех.

— Тише — они слышат!

Сципион. Но вот какой придумал я план...

Толстый римлянин. Ну и голова у этого Сципиона!

— ...Наши очаровательные похитительницы — не кажется ли вам, господа, что не мы их похитили, а они нас? — занятые тем, чтобы царапать наши лица, выдергивать пух, щекотать под мышками, просто не могут нас слышать. А раз они не могут слышать, то мы не можем их убедить,— они не могут быть убеждены. Это факт!

Римляне, повторяя: «это факт», впадают в мрачное состояние. Женщины прислушиваются.

Сципион. И вот мой план: выберем из своей среды парламентера, согласно военным обычаям, и то же предложим сделать нашим обворожительным врагам. Надеюсь, что, под защитой белого флага, представители воюющих сторон, находясь в полной безопасности *(трогает себя за нос)*, в состоянии будут прийти к определенному, говоря по латыни, модусу вивенди. И тогда...

Римляне перебивают его блестящую речь, разражаясь криками: «ура». Единогласно выбирают парламентером Сципиона, и тот с белым флагом осторожно приближается к женщинам, говоря назад: «Вы же не очень далеко отходите, ребята».

Сципион *(вкрадчиво)*. Прекрасные сабинянки, пожалуйста, пожалуйста, не трогайтесь с места: вы видите, что я под защитой белого флага. Белый флаг священен, я уверяю вас, и личность моя неприкосновенна, честное слово! Прекрасные сабинянки, только вчера мы имели удовольствие похитить вас, а уже сегодня между нами начались несогласия, распри, странные недоразумения.

Клеопатра. Какая наглость! Вы напрасно думаете, что если вы надели на палку эту белую тряпку, то вы можете говорить нам всякие гадости!

Сципион *(вкрадчиво)*. Помилуйте — какие гадости? Наоборот, я очень рад, то есть, вернее, мы все очень несчастны *(и с отчаянной решимостью)*, сгораем от любви, клянусь Геркулесом! Сударыня, я вижу, вы сочувствуете нам, и осмелюсь просить вас о маленьком одолжении: выберите, как и мы, из вашей среды парлам...

Клеопатра. Знаем, уже слыхали, не притворяйтесь.

Сципион. Но мы же говорили тихо?

Женские голоса.

— А мы все равно слыхали.

Клеопатра. Ступайте с вашей тряпкой на свое место и подождите. Мы посоветуемся друг с другом. Нет, нет, пожалуйста, подальше. Мы не желаем, чтобы нас подслушивали. А это что за молокосос с разинутым ртом? *(Указывает на мечтающего Павла).* Уберите его, пожалуйста.

Римляне, шепча: «дело налаживается», на цыпочках отходят; некоторые добросовестно затыкают себе уши.

Разговор сабинянок.

— Какая наглость! Какое издевательство! Так гнусно пользоваться своей силой — о, наши бедные мужья!

— Клянусь: я лучше выцарапаю тысячи глаз, чем хоть на иоту изменю моему несчастному мужу! Спи спокойно, дорогой друг, я бодрствую на охране твоей чести!

— И я клянусь!

— И я клянусь!

Клеопатра. Ах, дорогие мои подруги: мы все клянемся, но что толку в этих клятвах: — эти люди так невоспитанны и грубы, что они не могут оценить клятвы. Я моему изгрызла нос...

— А ты помнишь своего?

Клеопатра *(с ненавистью).* Я не забуду его до гробовой доски! От него так пахло латами и мечом, и вообще грубым солдатом, он так неосторожно тискал меня... Мой бедный, дорогой муж!

— От них от всех пахнет солдатом.

— И они все ужасно тискаются! Может быть, у них так принято?

— Когда я была еще совсем девочкой, к нам пришел солдатик и сказал, что он из той далекой стороны, где...

Клеопатра. Господа! Сейчас не место воспоминаниям!

— Но этот солдатик...

— Ах, Юноночка, клянусь Венерой, нам не до твоего солдата, когда у нас свои на шее! Как же нам быть, дорогие подруги? Я вот что предложу вам...

Подходит проснувшаяся Вероника, сабинянка почтенного возраста и тощая, и, томно щуря глаза, перебивает:

— А где же они? Почему они так далеко? Я хочу, чтобы они подошли ближе. Мне очень стыдно, когда они далеко. Я была все время в обмороке и теперь не могу найти: где мой мальчик, который нес меня. От него пахло солдатом!

Клеопатра. Вот он стоит, разинув рот.

Вероника. Я пойду к нему: мне стыдно.

Клеопатра. Держите ее! Ах, Вероника, неужели ты уже забыла своего несчастного мужа?

Вероника. Клянусь, я буду его любить вечно. Но отчего мы не идем туда? Вы чем-то озабочены, дорогие подруги? Впрочем, я на все согласна: пусть они сами идут сюда. Мужчины непозволительно зазнаются, как только на них взглянешь без гнева.

Клеопатра. Итак, мои милые подруги: первое, что я предложу, это поклянемся, что мы никогда не изменим нашим дорогим, несчастным мужьям. Пусть делают с нами, что хотят, но мы останемся верны, как Тарпейская скала. Когда я вспомню, как он теперь скучает без меня, как тщетно взывает он к пустому ложу: «Клеопатра! О, где ты, Клеопатра!..» Когда я вспомню, как он меня любил...

Все плачут.

Клеопатра. Поклянемся же, дорогие подруги, а то они ждут.

— Клянемся, клянемся! Пусть делают с нами, что хотят, но мы останемся верными!

Клеопатра. Теперь я спокойна за наших мужей. Спите спокойно, дорогие друзья! Дальше, милые подруги: выберем, согласно их желанию, парламентерку, и пусть она...

— Выцарапает ему глаза!

— Нет, пусть она скажет негодяю всю правду. Они ведь думают, что мы умеем только царапаться,— пусть они узнают, как мы говорим!

Вероника *(пожимая худыми плечами)*. О чем тут говорить, когда сила на их стороне!

Клеопатра. Держите ее! Ах, Вероника, сила не есть еще право, как сказано в римском праве. Пустите меня, и я им докажу, что они не имеют права нас держать, что они обязаны нас отпустить, что по законам божеским и человеческим и вообще, как там говорится, они поступили прямо по-свински.

Голоса.

— Иди, иди, Клеопатра.

— Держите Веронику.

Клеопатра. Эй вы, парламентер с белой тряпкой! Идите-ка сюда, мне надо с вами поговорить.

Сципион. Прикажете снять меч?

Клеопатра. Нет, зачем же: не думайте, что мы боимся ваших мечей. Да, пожалуйста, не бойтесь: я вас не укушу... Однако вчера, когда вы ночью ворвались в наш мирный дом и грубо вырвали меня из объятий моего несчастного мужа, вы не были так трусливы... Да идите же наконец!

Сципион осторожно подходит. Римляне и сабинянки, расположившись по сторонам сцены в две симметричные группы, внимательно следят за разговором.

Сципион. Я так счастлив, сударыня...

Клеопатра. Вы счастливы? Ну так я вам скажу: вы негодяй, вы с ума сошли, вы разбойник, грабитель, вы убийца, злодей, чудовище, изверг! Это безбожно, отвратительно, возмутительно, неслыханно, невиданно!..

Сципион. Сударыня!

Клеопатра. Вы мне противны, вы мне отвратительны, я вас видеть не могу, от вас пахнет солдатом! Если бы ваш нос не был так исцарапан, я бы...

— Позвольте, это вы же и исцарапали!

— Я! Так это вы тот самый, который... *(Смотрит на него с презрением)*. Простите, я вас не узнала.

— *(Радостно)*. А я вас сразу узнал. Не правда ли, что ваши волосы пахнут вербеной?

— А вам какое дело, чем они пахнут? Вербена — духи не хуже других.

— Я и говорю...

— Мне дела нет до ваших слов. Я же не говорю, чем от вас пахнет — и вообще, что это за странный разговор о запахах. Я прошу вас, милостивый государь, как честного человека, сказать нам прямо и открыто: чего вы от нас хотите?

Сципион скромно потупляет глаза; но, не выдержав, фыркает в кулак. Фыркают все римляне, и среди женщин негодование.

Клеопатра *(краснея)*. Фыркать не значит отвечать! Это гнусно! Я вас спрашиваю: чего вы от нас добиваетесь? Вам, надеюсь, известно, что все мы замужем?

— Как вам сказать, сударыня?.. С одной стороны, мы также намерены предложить вам руку и сердце...

— Ага! Значит, это серьезно? Но вы с ума сошли!

— Сударыня! Взгляните на нас: мы не какие-нибудь ловеласы с Невского! Мы только что основали Рим и пылаем желанием увековечить... Войдите в наше положение, сударыня, и пожалейте нас! Неужели вы не пожалели бы ваших, например, мужей, если бы они в один прекрасный день остались совсем без женщин? Мы одиноки, сударыня!

Толстый римлянин. Одиноки!

Вероника *(утирая глаза)*. Мне их жалко.

Сципион. Средь бурь военной непогоды, занятые основанием Рима, мы упустили, так сказать, момент, когда... Сударыня, мы от души жалеем ваших мужей...

Клеопатра *(с достоинством)*. Вы меня радуете, сударь.

— Но какого же черта они вас отдали?

Римляне радостно подтверждают: «так, так, Сципион!» — но женщины в негодовании. Слышны возгласы: «Это гнусно! Он оскорбляет наших мужей! Это инсинуации!».

Клеопатра *(сухо)*. Если вы хотите продолжать переговоры, то я прошу вас отзываться о наших мужьях с уважением.

Сципион. С удовольствием! Но, сударыня, как бы мы их ни уважали, мы не можем не признать, что они недостойны вас! В то время, как вы раздираете

нам сердце вашими нечеловеческими страданиями; когда ваши горячие слезы, вызванные утратой, льются подобно горным рекам весною; когда даже камни, содрогаясь от жалости, ропщут и стонут; когда ваши очаровательные носы, теряя форму, начинают пухнуть от жестоких слез...

— Это неправда!

— Когда вся природа и так далее — где же в это время находятся ваши мужья? Я их не вижу. Их нет! Они отсутствуют! Они вас покинули! Скажу, рискуя вызвать ваш гнев: они вам подло изменили!

Римляне гордо подбочениваются. Среди женщин волнение и слезы. Спокойный голос Прозерпины: «Отчего они и в самом деле не идут? Пора бы!».

Клеопатра. Это звучит очень гордо, милостивый государь, и вашей позе я не могу отказать в красоте, но как поступили бы вы, если бы ночью пожелали нас похитить?

Сципион. Мы будем бодрствовать всю ночь!

— А днем?

— А днем тогда вы сами не уйдете.

Томный голос Вероники: «Почему они так далеко? Мне стыдно, когда они так далеко. Я хочу, чтобы они были ближе!» И шепот женщин: «Держите ее!».

Клеопатра. Какая самоуверенность! Но мне жаль вас, сударь, правда, я не могу отказать вам в чувстве почтительности и уважения к нашим страданиям, но ваша молодость вовлекает вас в ошибки. Сейчас я приведу вам аргумент, который сразу разрушит вашу чудесную мечту и, надеюсь, заставит вас даже покраснеть. А дети, милостивый государь?!

Сципион. Какие дети?

— Дети, которых мы оставили?

— Признаюсь, сударыня, это вопрос серьезный. Позвольте удалиться мне на минуту для совещания с товарищами.

Клеопатра идет к своим. Шепотом совещаются.

Сципион. Сударыня!

Клеопатра. Я слушаю.

— Мои товарищи, господа древние римляне, после

продолжительного совещания, поручили передать вам, что у вас будут новые дети.

Клеопатра *(пораженная)*. Ага! Вы так думаете?

— Мы клянемся! Господа, клянитесь!

Римляне клянутся нестройным хором.

Клеопатра. Но у вас здесь очень некрасиво.

Сципион *(обиженно)*. У нас?

— Да. Ужасная местность! Горы, буераки, вообще что-то непонятное. Зачем здесь лежит этот камень? Уберите его, пожалуйста.

— Сударыня *(убирая камень)*.

— Какие-то деревья! Это бог знает что, я здесь задыхаюсь! Пожалуйста, что это за глупое дерево? Вы сконфужены, милостивый государь? Впрочем, позвольте мне удалиться: кажется, я должна вам дать какой-то ответ.

Сципион. То есть как: какой-то?

— Вы о чем-то спрашивали, кажется?

— Я? Простите, сударыня, я немного одурел! О чем я вас спрашивал?

— Ну вот! Теперь вы оскорбляете меня.

— Я?

— Ну да. Вы говорите, что вы одурели!

— Я?

— Не я же! Вы забываетесь, милостивый государь!

— Я?

— Впрочем, я удаляюсь. Оправьтесь, милостивый государь, пока мы будем совещаться: на вас жалко смотреть! У вас есть носовой платок? Вытрите лицо: оно у вас так потно, будто вы целый день таскали камни!

Намеревается уйти.

Сципион. Нет, сударыня, позвольте: я, кажется, действительно таскал какой-то камень, но ведь это вы же меня заставили!

Клеопатра. Я? И не думала!

— Позвольте, сударыня, но в чем же дело?

— А я почем знаю: это ваше дело, а не мое!

— Вы, кажется, смеетесь надо мною.

— А вы заметили?

— Я не позволю смеяться!
— Как же вы это сделаете?
— Я, слава богу, еще не муж!
— Ага! Теперь уже: слава богу! Недурно, сударь! Хороши мы были б, если бы поверили вашим клятвам. *(К своим)*. Вы слышите: они уже радуются, что мы не их жены!
— Нет, это невозможно! Или вы прекратите...
— Или...
— Или уходите домой! Да, да, уходите-ка домой, сударыня! Довольно! Клянусь Геркулесом, мы не для того основывали Рим, чтобы вязнуть в ваших нелепых рассуждениях, как мухи в варенье!
— Нелепых?
— Да, да, идиотских!
Клеопатра *(плачет)*. Вы меня оскорбляете.
— О Юпитер, теперь она плачет! Что вам надо, сударыня? Чего вы ко мне привязались? Хоть я и древний римлянин, но я, ей-богу, сейчас с ума сойду! Да перестаньте же плакать, я ничего не понимаю, что вы там бормочете!
Клеопатра *(плача)*. Вы нас отпускаете?
— Да, да! Товарищи! Господа древние римляне! Вы слышали? У меня больше нет сил!
Толстый римлянин. Пусть уходят: мы отберем жен у этрусков.
Сципион. Это не женщины, а...
Клеопатра *(плачет)*. Честное слово?
Сципион. Да что честное слово?
— Вы нас отпустите? Может быть, вы это говорите нарочно? А как только мы захотим уйти, вы нас схватите?
— Да нет же — уходите. Вот привязалась!
— А вы нас отнесете?
— Что такое?
— Ну да, как вы не понимаете? Раз вы нас принесли сюда, так вы должны отнести и назад. Тут очень далеко.

Женщины ядовито смеются. Сципион, задыхаясь от гнева, мечет бешеные взгляды, что-то хочет сказать, но, топнув ногой, идет к своим. Все римляне демонстративно оборачиваются к женщинам спиной и так сидят во время дальнейшего. Женщины спокойно совещаются.

Клеопатра. Вы слыхали, дорогие подруги: нас отпускают.

Вероника. Да, это ужасно!

— Нет, скажите лучше: прогоняют! Это возмутительно: похитить ни в чем неповинных женщин, взбудоражить среди ночи весь дом, перевернуть всю мебель, разбудить детей, а теперь извольте: мы им не нужны!

— А наши бедные мужья! За что же они пострадали?

— Нет, вы подумайте: ночью, когда все спят!

— А вы знаете дорогу отсюда?

— Неужели вы думаете, что я наблюдала за дорогой? — конечно, нет. Знаю, что только ужасно далеко.

— Но ведь они нас не понесут.

Тихий смех. Вероника стонет.

— Ах, мой бедный мальчик! Смотрите: они и его заставили сесть спиной. Я пойду к нему.

— Да подождите же, Вероника: не уйдет от вас ваш мальчик. Нам надо поговорить.

Прозерпина. А я думаю, не все ли равно, какие мужья, те или эти. И те хороши и другие хороши. Ведь я знаю, что от меня первым делом потребуют, чтобы я приготовила горячую похлебку. И мне даже нравится, что муж будет новый: тому уже надоело мое меню, а этот ротозей будет рад.

Клеопатра. Это цинизм, Прозерпина! Нас осудит история.

— Ах, много понимает история в наших делах. И тут у них очень недурно.

Клеопатра. Вы ужасны, Прозерпина!.. Ах, если б они нас подслушали! Но вот мой план, дорогие подруги: кончено, мы немедленно уйдем домой к нашим дорогим, покойным мужьям. Но идти далеко, мы так устали...

— У меня совершенно расстроены нервы!

— Никакое здоровье этого не выдержит. Вдруг среди ночи взбудоражить весь дом...

Клеопатра. Останемся здесь дня на два и отдохнем — ведь это ни к чему нас не обязывает? А они будут так рады и, видя наш веселый и кроткий нрав, легче расстанутся с нами. Признаюсь, мне моего бы-

ло несколько жаль: с его носом делается что-то ужасное!

— Но только на два дня!

— Я думаю, и одного будет достаточно. Мы немного погуляем... Идите скорее, Клеопатра, они, кажется, уже заснули.

Клеопатра. Сударь!

Сципион *(не оборачиваясь)*. Что угодно?

— Подите-ка на минутку.

— К вашим услугам.

— Мы решили воспользоваться вашим великодушным предложением и немедленно уходим. Вы не сердитесь?

— Нет.

— Но раньше мы хотели бы немного отдохнуть. Вы позволите пробыть нам здесь день или два? Пока мы оправимся? У вас очень красивая местность.

Все римляне разом поворачиваются и вскакивают на ноги.

Сципион *(в экстазе)*. Дорогая сударыня, да что местность! Да что — о, Юпитер! Сударыня, клянусь Геркулесом! Клянусь Венерой! Клянусь Вакхом! Сударыня, будь я трижды анафема, если... Клянусь Афродитой! Господа древние римляне! На абордаж!!

Клеопатра. Мы пойдем немного погулять, не правда ли?

— Сударыня!.. Господа древние римляне! Шагом марш! Соблюдать очередь! Правой, левой! Ряды вздвой!

Подхватывает Клеопатру под руку и волочит ее в горы. За ним по команде, подхватив каждый свою сабинянку, гордо маршируют остальные.

— Левая, правая, левая, правая! Раз, два, раз, два!

Мечется по сцене один Павел-Эмилий, жалобно восклицая.

— Где же она? Господа древние римляне, погодите! Я потерял ее! Где же она?

Вероника стоит, скромно опустив глаза, как невеста. Павел сослепу налетает на нее.

— Виноват! Сударыня, вы не видали ее?

— Глупый!

— Я?
— Да! Ты — глупый.
— Да за что же вы ругаетесь?
— Ругаюсь? О... глупый! Разве ты не видишь? О дорогой мой мальчик — я тридцать лет ждала тебя. На̀ — возьми.
— Что?
— Меня! Ведь это я — она. О глупый!
— Вы? Нет, не вы.
— Нет, я.
— Нет, не вы.

Садится на пол и плачет.

Вероника. Слушай, мы остались здесь одни — мне стыдно. Идем.
— Это не вы.
— А я тебе говорю, что это я, черт возьми! Скажите, пожалуйста: тот твердит тридцать лет, что это не я, этот молокосос — тоже! Руку!

Павел *(воет, с ужасом)*. Это не вы! Ай, ай, ай, спасите! Она меня по-хи-ща-ет!

Занавес

Картина вторая

До последней степени мрачная картина, изображающая печальное положение ограбленных мужей. Очень возможно, что идет дождь, свистит ветер, и черные тучи закрывают небо, но очень возможно, что все это только кажется. Ужасно! (Было бы желательно показать в самом пейзаже, что мужьям хочется выть от тоски). При открытии занавеса расположение действующих лиц таково: по бокам, в две симметричные группы, часть сабинян занимается гимнастикой. Вторя движениям рук, они шепчут сосредоточенно: «пятнадцать минут ежедневного упражнения — и вы будете совершенно здоровы». Посередине, на длинной скамейке рядом сидят мужья, имеющие детей, и каждый держит на руках младенца. Головы уныло склонены набок, вся поза выражает стилизованное отчаяние. Ужасно! Долгое время только и слышен зловещий шепот: «пятнадцать минут ежедневного упражнения и вы...»

Входит Анк Марций, издали показывая письмо.

Марций. Адрес, господа сабиняне! Получен адрес наших жен! Адрес, господа, адрес!

Тихие голоса.

— Слушайте! Слушайте! Адрес, получен адрес!

Анк Марций быстро вынимает из кармана колокольчик и звонит.

— Тише! Тише!

Марций. Господа сабиняне! История не упрекнет нас ни в медлительности, ни в нерешительности. Ни медлительность, ни нерешительность не присущи характеру сабинян, буйный, стремительный нрав которых едва сдерживается плотинами благоразумия и опыта. Вспомните, ограбленные мужья, куда бросились мы в то достопамятное утро, которое наступило за той достопамятной ночью, когда эти разбойники гнусно похитили наших несчастных жен? Вспомните, сабиняне, куда несли нас резвые ноги, пожирая пространство, уничтожая случайные препятствия и грохотом своим наполняя страну? Да вспомните же, господа!

Сабиняне кротко молчат.

— Да ну же! Вспомните же, господа!

Робкий голос. Прозерпиночка, дружочек, где ты? — ау!

Сабиняне молчат и с восторгом ожидания смотрят в рот оратору. Анк Марций, не дождавшись ответа, восклицает патетически:

— В адресный стол — вот куда! Но вспомните, господа, наше горе: адресный стол, это отжившее учреждение, еще ничего не знал и дал нам справку на прежний адрес! И целую неделю он давал нам все ту же убийственно-ироническую справку, пока наконец не дал вот этой, горчайшей *(читает)*: «Выбыли неизвестно куда». Но успокоились ли мы, сабиняне? — вспомните!

Сабиняне молчат.

— Нет, мы не успокоились! Вот сухой, но красноречивый перечень того, что мы сделали в эти краткие полтора года. Мы поместили объявление в честных газетах с обещанием дать награду нашедшему. Мы пригласили всех наличных астрологов, и каждую ночь по звездам они угадывали адрес наших несчастных жен...

— Прозерпиночка, дружочек,— ау!

— Мы погубили тысячи кур, гусей и уток, мы взрезали животы всем кошкам, пытаясь по внутренностям птиц и животных угадать роковой адрес. Но — увы! — наши нечеловеческие труды по воле богов не увенчались успехом. Вспомните, господа сабиняне... впрочем, не надо, я так скажу: ни опытное знание, ни неопытное не дали нам ответа. Сами небесные светила, к которым с тоской и вопросом обращались наши взоры, соглашались ответить, но не больше, чем адресный стол: выбыли, выбыли, выбыли... а куда? — неизвестно!

Сабиняне тихо плачут.

Робкий голос. Прозерпиночка — ау!

— Да, господа сабиняне: странный ответ со стороны небесных светил, если принять в расчет, что оттуда не видно! Но... продолжаю с гордостью перечень наших дел. Вспомните, господа, чем занимались наши ученые юристы, пока астрологи гадали по звездам? Да ну же!

Сабиняне молчат.

— Да вспомните же, господа!.. Ведь так с вами трудно говорить! Стоите, как статисты, ей-богу! Я уверен, что вы помните, только стесняетесь говорить. Да ну же, господа! Ну? Ну? Ну вспомните: что делали наши юристы, пока...

— Прозерпиночка — ау!

— Да постойте, не мешайте с вашей Прозерпиночкой! Ну, я помогу вам, господа: вспомните, зачем вы занимались гимнастикой? Да ну же!

Робкий голос из задних рядов. Чтобы развить мускулы.

— Ну конечно! Прекрасно... ну, а зачем нам нужны мускулы? Да ну же! С вами, господа, всякое терпение лопнет. Вспомните: зачем нам, сабинянам, нужны мускулы?

Нерешительный голос. Чтобы драться?

Марций в отчаянии поднимает руку к небу.

— О, небо! Драться! И это говорит сабинянин, друг закона, опора порядка, единственный в мире не-

поддельный образец правового сознанья! Драться! Мне стыдно за эту хулиганскую выходку, достойную разбойника-римлянина, гнусного похитителя законнейших жен!

— Прозерпиночка — ау!

— Да замолчите вы с вашей Прозерпиночкой! Тут вопрос о принципах, а он о Прозерпиночках! Я вижу, господа, что утрата несколько затмила вашу блестящую память, и повторяю вкратце: мускулы нужны нам для того, чтобы, поднявшись походом на римлян после того, как станет известен адрес — понимаете? — нести всю дорогу очень тяжелый свод законов, собрание узаконений и кассационных решений, а также — понимаете теперь? — те четыреста томов изысканий, которые добыли наши юристы по вопросу о законности наших браков — что, поняли? — и незаконности похищения! Наше оружие, господа сабиняне,— наше право и чистая совесть! Гнусным похитителям мы докажем, что они — похитители; нашим женам мы докажем, что они действительно похищены. И небо содрогнется, ибо адрес получен, и дело в шляпе. Вот!

Потрясает письмом, сабиняне на цыпочках заглядывают.

— Заказное письмо за подписью: раскаивающийся похититель. В нем неизвестный друг выражает свое раскаяние по поводу необдуманного поступка, уверяет, что никогда больше похищать не будет, и умоляет судьбу смилостивиться над ним. Имя неразборчиво; большая клякса, по-видимому, от слез. Вот что значит совесть! Кстати он сообщает, что сердца наших жен разбиты...

— Прозерпино...

— Послушайте наконец: с вашей Прозерпиночкой вы не даете мне сказать слова! Поймите же, что ваша Прозерпиночка — частность. В то время, как все мы с таким воодушевлением разрабатываем общие вопросы, создаем план,— я сейчас скажу о нем,— готовимся к поражению или смерти, вы скулите о какой-то Прозерпиночке! От лица собрания выражаю вам порицание. Итак, господа, в поход! Слушать команду! Стройтесь в ряды... да поживее, господа! Это возму-

тительно, вы до сих пор не отличаете правой от левой! Куда? Куда? — стойте!

Хватает сбившегося сабинянина и учит:

— Чтобы узнать, где правая, станьте — смотрите на меня! — станьте лицом к северу... или нет, станьте лицом к югу, а спиной к востоку... да где у вас лицо? Ведь это же не лицо, а спина, ведь вот же ваше лицо! Поняли? — ну, больше не могу, смотрите у соседей, где правая. Теперь, господа, у кого есть перочинные ножи? Выверните карманы. Так! А зубочистки? Оставить! Ни намека на насилие, господа, ничего колющего и режущего: наше оружие — наше право и чистая совесть! Теперь каждый берет по тому законов и изысканий... так... надо бы переплести, да уж потом... вот что значит мускулы! Так, так! Трубачи, вперед! Помните же: марш ограбленных мужей! Впер... Позвольте, а вы помните, как идти?

Сабиняне молчат.

— Нет? Ну, я вам напомню. Два шага вперед — шаг назад. Два шага вперед — и шаг назад. В первых двух шагах мы должны выразить, сабиняне, весь неукротимый пыл наших буйных душ, твердую волю, неудержимое стремление вперед. Шаг назад — шаг благоразумия, шаг опыта и зрелого ума! Делая его, мы обдумываем дальнейшее; делая его, мы как бы поддерживаем великую связь с традицией, с нашими предками, с нашим великим прошлым. История не делает скачков! А мы, сабиняне, в этот великий момент — мы история! Трубачи — трубите!

Трубы заунывно воют, то судорожно дергаясь вперед, то плавно оттягиваясь назад и таща за собою все войско ограбленных мужей. Делая два шага вперед и шаг назад, они медленно проходят сцену *.

Занавес падает. Трубы заунывно воют, и вторая картина переходит в третью.

---

* Петербургский театр «Кривого зеркала» очень удачно применил здесь Марсельезу: первые два такта, отзвучав торжественно и бодро, переходят в нечто заунывно-попятное... как бы в мучительную отрыжку. *(Прим. авт.)*

Картина третья

Первая дикая местность. Зачатки благоустройства. У одной из хижин стоит римлянин в ленивейшей позе и блаженно ковыряет в носу. Из-за левой кулисы показывается войско мужей, сосредоточенно шагающее в том же первоначальном темпе: два шага вперед — и шаг назад. Первую минуту, при виде их, римлянин как бы слегка оживляется и даже приостанавливает изыскания в носу, смотрит с благодушным любопытством; но медленное движение, по-видимому, снова усыпляет его: зевает, истомно потягивается и тихо опускается на камень. По знаку Анка Марция трубы смолкают.

Анк Марций (*отчаянно кричит*). Стойте, господа сабиняне! Да стойте же!

Сабиняне останавливаются как вкопанные.

Анк Марций. Да стойте же! О, боги, какими силами можно удержать падающую лавину? — какими силами... Слава богу, стали! Слушайте команду! Трубачи — назад! Профессора — вперед! Остальные — смирно!

Трубачи отступают, профессора выступают, остальные стоят как вкопанные.

Анк Марций. Профессора — готовься!

Профессора быстро опускаются на корточки, раскладывают маленькие столики, кладут на каждый по толстой книге и с шумом откидывают крышки переплетов — получается подобие батареи. Проснувшийся римлянин — Сципион — видимо заинтересован и с участием спрашивает:

— В чем дело, господа? Не могу ли я служить... Но если это цирк, то должен вас предупредить: Колизей еще не окончен.

Анк Марций (*равнодушно*). Молчи, гнусный похититель. (*К своим.*) Итак, мы у вожделенной цели, господа сабиняне. Позади нас — путь долгих лишений, голода, одиночества, консервов; впереди — неслыханная в истории битва. Воодушевитесь, господа сабиняне, овладейте собой, успокойтесь, сдержите чувство естественного негодования и спокойно ждите роковой развязки. Вспомните, сабиняне: зачем мы сюда пришли?

Сабиняне молчат.

— Да вспомните же, господа! Ведь не гулять же мы шли сюда с этими книжищами? Да вспомните же, господа: зачем мы сюда пришли?

Сципион. Ну, ну! Да вспомните же, господа!

Анк Марций (*к Сципиону*). И вы подумайте —вот так все время!

Сципион. Да что вы!

Анк Марций. Честное слово! Стоят, как истуканы, хлопают глазами, да и только. Ну подумайте: можно ли сказать хорошую речь, ни разу не прибегнув к возгласу: «вспомните!»?

Сципион (*любезно качая головой*). Едва ли, какая же это будет речь!

Анк Марций. Вот видите, даже вы это понимаете. А эти господа...

Из рядов сабинян доносится дрожащий голос:

— Прозерпиночка, дружочек, где ты? Ау!

Сципион (*нерешительно*). Кажется, он вспомнил?

Анк Марций (*с презрением*). Ах, это, это он все время помнит. (*К своим.*) Смир-рно! Сейчас мы потребуем наших жен — горе похитителям, если совесть их еще не проснулась: мы заставим их поступить по закону. Эй, гнусный похититель! Зови своих гнусных товарищей и готовься к страшному ответу.

Сципион. Сейчас я позову жену.

Идет в хижину, крича: «Клеопатрочка, выйди-ка, к тебе пришли за делом». Из-за угла выглядывает Павел-Эмилий и, узнав сабинян, воет от радости:

— Мужья пришли! Мужья пришли! Господа древние римляне, просыпайтесь: мужья пришли!

Бросается к Марцию и в слезах виснет у него на шее; Марций в недоумении. Павел мчится дальше с тем же радостным криком: «мужья пришли!». Выползают заспанные римляне и занимают правую сторону сцены. Марций, воинственно подбоченившись, надменно ждет, пока соберутся.

Толстый римлянин. Клянусь Вакхом! — я так сладко спал, как в первый день основания Рима. Что это за чучело?

— Тише: это мужья.

— А! — пить хочется! Прозерпиночка, дай квасу, дружок!

Из рядов сабинян скромный призыв:

— Прозерпиночка,— ау!

Толстый римлянин. А этому что надо? Он тоже зовет мою жену.

— Тише, это ее муж.

— А! Я и забыл. О, небо!— как хочется пить: после этой похлебки и крепкого сна я готов выпить целое озеро! Но как готовит Прозерпина! Воистину, господа древние римляне, это дар божий!

— Тише!

— А! Я и забыл. Но какой я нынче видел странный сон: будто сплю я и вдруг вижу: Рим начинает падать, падать, падать... Так и упал.

— Но что же наши жены? К ним пришли, а они и не показываются, это неловко.

— Верно, одеваются.

— О, это вечное женское кокетство! Казалось бы, что такое: бывший муж! — а и тут надо проявить свое вечно-женственное. Нет, никогда я не пойму психологии женщины!

— О, небо! — как хочется пить. Долго будут стоять эти истуканы? — хоть бы сыграли: у них трубы. Глядите, глядите — они шевелятся.

Анк Марций. Господа римляне, теперь, когда мы стоим лицом к лицу, вы, надеюсь, не станете долее скрываться и дадите нам прямой и честный ответ. Вспомните, римляне, что совершили вы в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля?

Римляне растерянно переглядываются и молчат.

Анк Марций. Да вспомните же! Неужели и вы ничего не помните? Да постарайтесь же припомнить, господа! Поймите, что я не могу тронуться, пока вы не припомните.

Толстый римлянин в испуге шепчет другому: «Может быть, ты помнишь, Агриппа? Что-то должно быть важное, а?» — «Нет, не помню».— «Это у меня, должно быть, от сна память отшибло».— «Я лучше уйду, ты мне после расскажешь».— «Да что ему нужно?»

Анк Марций *(громким голосом).* Так я вам напомню, римляне: в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля совершилось величайшее злодеяние, какое только знает история — кем-то, о ком я скажу дальше, были злодейски похищены наши жены, прекрасные сабинянки!

Римляне, вспомнив, радостными кивками подтверждают: «Да, да; да, да. Так вот в чем дело!» — совершенно верно: именно двадцатого апреля!»

Толстый римлянин *(почтительно).* Ну и голова у этих сабинян!

Анк Марций. И эти похитители — вы, римляне! О, я знаю, вы станете оправдываться, опровергать факты, гнусно искажать юридические нормы, прибегая к той отвратительной казуистике, которая неизбежно сопутствует всякому нарушению права. Но мы готовы. Господа профессора — начинайте!

Первый с края профессор начинает ровным, вне времени и пространства, голосом:

— О преступлениях против собственности. Том первый, раздел первый, глава первая, страница первая. О краже вообще. В древнейшие времена, еще более древние, чем настоящее время, когда птицы, насекомые и жуки бестрепетно порхали в лучах солнца и никакие правонарушения не входили в сознание, так как и сознания не было,— в те далекие времена...

Анк Марций. Слушайте, слушайте!

Сципион. А нельзя ли короче?

Анк Марций. Нельзя!

— Но они заснут.

— Вы полагаете?

— Вы посмотрите: они уже дремлют. А когда они дремлют, они ничего не слышат. Нельзя ли хватить с конца, а? Будьте добры, скажите прямо, чего вы хотите.

— Воистину, странный диспут! Но так и быть,— снисходя к слабости ваших друзей, я скажу прямо: мы хотим доказать, что вы были неправы, похитив наших жен, что вы, римляне,— похитители, что никакими ухищрениями софистики вам не удастся оправдать вашего гнусного поступка. И небо содрогнется!

Сципион. Позвольте, позвольте, уважаемый: да мы и не спорим.

Анк Марций. Нет?! Тогда зачем же мы сюда пришли?

— Не знаю. Гуляли, может быть?

— Нет, мы пришли именно доказать. Вот странность!.. Так вы согласны, что вы — похитители?

— Совершенно; нахожу, что слово очень удачно: похитители.

— Но, может быть, вы не вполне уверены в этом. Тогда профессор с готовностью — не правда ли, господин профессор, вы с гот...

— Да нет же, не надо! Мы совершенно уверены! Господа римляне, да поддержите же, а то он опять начнет.

Римляне.

— Согласны! Согласны!

Анк Марций. Так в чем же дело?

— Не знаю.

— Вот странное недоразумение! Господа сабиняне, торжествуйте: виновные сознались. Один только вид наших грозных приготовлений разбудил в них мощный голос правового сознания, и небо содрогнулось! Нам остается, с сознанием совершенного долга, повернуться и...

Дрожащий голос: «А Прозерпиночка?»

— Ах, да! Если выражение не совсем удачно, то мысль все же верна.— Вы правы, товарищ! Господа римляне, вот подробный и точный список наших жен — потрудитесь возвратить. За пропажу, какую-либо порчу... и — как там, профессор?

Профессор. Утечку, усышку...

— Ах, нет,—ущерб! Да, за всякий ущерб ответственны вы. Прочтите статьи, профессор. Впрочем... вот и наши жены! Внимание, сабиняне, овладейте собою, умоляю вас, сдержите порыв любви, пока не кончен вопрос о праве... два шага вперед — шаг назад, смирр-но! Привет вам, сабинские жены! Здравствуй, Клеопатра!

Женщины занимают середину сцены, глаза потуплены, вид скромный, но полный достоинства и покорности.

Клеопатра *(не поднимая глаз)*. Если вы пришли нас упрекать, Анк Марций, то мы не заслужили ваших упреков. Мы долго боролись, и если уступили, то только насилию. Клянусь вам, дорогой Марций, я ни на минуту не перестаю вас оплакивать!

Плачет, и за нею плачут все сабинянки.

Анк Марций. Успокойся, Клеопатра,— они уже сознались, что они похитители. Идем же к пенатам, Клеопатра.

Клеопатра *(не поднимая глаз)*. Я боюсь, что вы будете упрекать нас. Но мы уже так привыкли к этой местности. Вам нравятся горы, Марций?

Анк Марций. Я не понимаю тебя, Клеопатра. При чем тут горы?

— Я боюсь, что вы рассердитесь, но право, мы не виноваты. Я уже оплакала вас, Марций, и теперь совершенно не могу понять, чего вы хотите. Еще слез? О, сколько угодно. Дорогие подруги, они думают, что мы недостаточно их оплакивали,— докажем же противное. О, плачьте, плачьте, дорогие подруги! Я так люблю вас, Марций!

Все женщины заливаются слезами.

Сципион. Клеопатрочка, успокойся,— в твоем положении это вредно. Милостивый государь, вы слыхали? — Поворачивайте же оглобли. Иди же, Клеопатрочка, приляг и успокойся — я сам присмотрю за супом.

Анк Марций. Но позвольте, при чем тут суп? Успокойся, Клеопатра,— здесь недоразумение. Ты, очевидно, не понимаешь, что ты — похищена!

Клеопатра *(плача)*. Ну, я и говорила, что вы будете упрекать. Сципиончик, не у тебя ли мой носовой платок?

— Вот, душечка.

Анк Марций. Но позвольте, при чем тут носовой платок?

Клеопатра *(плача)*. И такие сцены из-за носового платка! Не могу же я без носового платка,

если я плачу... по вашей вине. Это жестоко, вы чудовище, Анк Марций.

Теперь все плачут: и сабинянки, и сабиняне, и даже некоторые из римлян.

— Прозерпиночка,— ау!

Анк Марций *(зычно)*. Успокойтесь, господа сабиняне, овладейте собою. Ни с места! Сейчас я все устрою. Здесь, по-видимому, недоразумение юридического свойства. Несчастная женщина думает, что ее обвиняют в похищении носового платка, и не догадывается, что она сама жертва похищения. Сейчас мы докажем ей это. Господа профессора, приступите.

Профессора готовятся. Римляне в ужасе. Сципион хватает Клеопатру за руку.

— Сознавайся, Клеопатра! Да скорей же. О, небо! — он сейчас начнет.

Клеопатра *(плача)*. Мне не в чем сознаваться. Это клевета!

Анк Марций. Господин профессор, мы ждем.

Сципион. Да скорей же! Сознавайся! О, Юпитер!— он уже раскрывает рот, он его сейчас раскроет... Господа сабиняне, постойте — она созналась! Закройте рот профессору,—она созналась.

Клеопатра. Ну хорошо: я созналась. *(К женщинам.)* Дорогие подруги, вы также?

Сципион *(поспешно)*. Все, все сознались. Дело конченое.

Анк Марций *(в недоумении)*. Но позвольте! Ты, Клеопатра, признаешь, что ты и другие сабинские женщины были похищены в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля — не так ли?

Клеопатра *(ядовито)*. Нет, мы сами убежали.

Анк Марций. Ну, вот видите—она не понимает. Господин проф...

Клеопатра. Это гнусно, Марций! Сами же проспали нас, не заступились, оставили, забыли, покинули—и теперь нас же обвиняют в том, что мы убежали! Мы были похищены, Марций, гнусно похищены! Вы можете прочесть об этом в любом учебнике, не говоря *(плачет)* про энциклопедический словарь.

Сципион *(кричит)*. Да закройте же рот профессору!

Но рот профессора остается открытым. Римляне в панике, некоторые убегают.

Анк Марций. Господа римляне, господа сабиняне, смирр-но! Я сейчас все устрою. Здесь недоразумение механического свойства. Позвольте осмотреть вас, господин профессор... Ну да, конечно, я так и знал: затвор испортился, и он не может закрыть рта. Но это пустяки — дома мы все поправим. Теперь я слышал собственными ушами: они сознались в том, что они похищены. Цель достигнута, и небо содрогнулось. Идем же к пенатам, Клеопатра!

Клеопатра. Не хочу к пенатам!

Сабинянки. Не хотим к пенатам! Долой пенаты! Мы остаемся здесь! Нас оскорбляют! Нас собираются похитить! Спасите! Помогите! Защитите!

Римляне, бряцая оружием, становятся между женщинами и сабинянами и понемногу оттесняют женщин в глубину сцены. Бросают на сабинян гневные взгляды. Голоса: «К оружию, римляне! В защиту жен! К оружию, римляне!»

Анк Марций *(звонит в колокольчик)*. В чем дело? Сейчас будет драка. Мой ум мутится. Господа сабиняне, мой ум мутится!

Выступает Прозерпина и говорит спокойно и положительно:

— Успокойтесь, римляне. Я одна поговорю с Марцием.

Из рядов сабинян дрожащий голос, тоскливый призыв любви:

— Прозерпиночка, дружочек,— ау!

Прозерпина *(положительно)*. Ау, мой дружок,— как твое здоровье?.. Подойдите-ка сюда, Анк Марций — не бойтесь: ваше войско не уйдет. Вы поняли, что ни ваша жена Клеопатра, ни я, ни другие сабинянки не желаем возвращаться. Понимаете?

Анк Марций. Мой ум мутится. Как же я буду без Клеопатры? Я не могу без Клеопатры. Она моя жена совершенно законная. Вы думаете, что она ни за что не пойдет?

Прозерпина. Ни за что.

Анк Марций. Что же мне делать? Я ведь ее люблю. Как же я буду без нее жить? *(Плачет.)*

Прозерпина. Успокойтесь, Марций. *(Шепчет.)* Мне вас жалко, и я скажу вам по секрету, что есть еще одно только средство, единственное: похитить ее.

Марций. И она пойдет?

Прозерпина *(пожимая плечами)*. Как же она может не пойти, когда вы ее похитите?

Марций. Но это ведь гнусно! Вы предлагаете мне совершить насилие! Куда же я дену мое правовое сознание? Или для вас, женщины,— где сила, там и право? О, женщины, женщины!

Прозерпина. Слыхали уж мы это: о, женщины, женщины! Ах, Марций: в плохую минуту тебя создали боги, ты ужасно глуп! Да, я хочу сильного, самого сильного, не только потому, что я хочу быть верной. Ты думаешь, нам так приятно, чтобы нас похищали, крали, требовали назад, возвращали, теряли, находили...

— Прозерпиночка, дружочек,— ау!

Прозерпина. Ау, дружок,— как твое здоровье?.. Чтобы с нами обращались, как с вещью. Только я привыкла к одному — приходит другой и увозит меня; только я привыкла к этому — приходит старый и требует: возвращайся. Ах, Марций, если хочешь, чтобы женщина была твоя, на что ты так претендуешь, то будь же самый сильный, не уступай ее никому, дерись за нее ногтями и зубами, наконец, умри, защищая ее. Поверь мне, Марций, для женщины нет высшей радости, как умереть на гробе мужа, который пал, ее защищая. И узнай, Марций, что женщина изменяет только тогда, когда ей изменил мужчина.

Анк Марций. У них мечи, а мы безоружны.

Прозерпина. Вооружитесь.

— У них сильные мускулы — у нас их нет.

— Станьте сильными. Вообще, Марций, ты непроходимый дурак.

Анк Марций *(отскакивая)*. А ты, женщина, безумна и ничтожна. Да здравствует закон! Пусть грубой силой отнимут у меня жену, пусть разрушат мой дом, погасят мой очаг — я не изменю закону! Пусть весь мир будет смеяться над несчастными сабинянами — они не изменят закону. И в рубище почтенна добродетель! Сабиняне, вертайте вспять!

И плачьте, сабиняне, горькими слезами, рыдайте, бейте себя в грудь и не стыдитесь слез! Пусть в вас бросают камнями, пусть над вами смеются — вы плачьте! Пусть вас забрасывают грязью — плачьте, сабиняне, ибо вы плачете над попранным законом. Вперед, сабиняне! Смирр-р-но! Трубачи, трубите. Два шага вперед — шаг назад. Два шага вперед — шаг назад!

Женщины начинают плакать.

Клеопатра. Марций, подожди!

Анк Марций. Прочь, женщина, я тебя не знаю. Шагом мар-р-ш!

Трубы заунывно воют. Женщины с плачем и громкими криками тянутся к прежним мужьям, но римляне удерживают их силой. Хохот победителей. Не обращая внимания ни на слезы, ни на смех, согнувшись под тяжестью законов, сабиняне медленно удаляются: два шага вперед — шаг назад.

Занавес



КОНЬ В СЕНАТЕ

Водевиль в одном действии из Римской истории

«Калигула! твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела».

Державин.

Здесь собирается Римский Сенат. Все в огромном масштабе, все грандиозно, кроме людей.

Медленно и величественно, едва волоча ноги от важности, сходятся сенаторы к нынешнему торжественному заседанию. Наиболее важных и старых окружает толпа челяди, вольноотпущенников и рабов. Во множестве вьются льстецы. Всюду заглядывают с рассеянным видом, все слушают, все пробуют, все щупают какие-то скромные остролицые полусенаторы в гороховых хитонах. Солнце светит, погода прекрасная. Один старый и важный патриций приветствует другого, такого же старого и важного.

— Привет тебе, достойнейший Публий.

— Привет тебе, Сципион, величайший из римских граждан, украшение Сената.

Кланяются и расходятся, валясь назад от гордости. Первый льстец шепчет на ухо первому сенатору:

— И чтобы у такого вора и мошенника и такая свита!

Второй льстец также шепчет второму:

— И чтобы у такого казнокрада, прелюбодея и стервеца — и такая свита.

Оба, каждый на своем месте, отчаянно потрясают головами, выражая гражданскую скорбь.

Здороваются несколько сравнительно молодых сенаторов, собираются в кружок.

Первый. Здравствуй, Клавдий.

Второй. Здравствуй, Марк.

Третий. Что с тобою, Марк? Вчера твое лицо наполовину не было так широко, как сегодня.

Марк. Меня насилу разбудили. *(Хрипло откашливается.)* За какой глупостью нас созвали? Голова трещит.

Четвертый. Тише!

Второй. Какое-то очень важное дело. Мне так сказал посланец. Цезарь...

Четвертый. Тише! Тебе чего здесь надо?

Полусенатор. Мне? Решительно ничего. Вот странно, ей-богу. Я просто так.

Марк *(угрожающе)*. Так?

Полусенатор. Какие колонны! Какие арки! А портики-то? Это не портик, а...

Четвертый. Все рассмотрел?

Полусенатор *(поспешно)*. Благодарю вас, все. *(Отходит.)* Ах, какая замечательная архитектура!..

Марк *(хрипло)*. Презренное ремесло! Вот я его поймаю как-нибудь возле Капитолия...

Пятый *(здороваясь, взволнованно)*. Вы слыхали?

Голоса. Нет. Что?

— Что такое?

— Говори, Агриппа.

Агриппа. Я просто не понимаю, куда мы идем. Это Плутон знает, что такое. У нас хотят укоротить тогу.

Четвертый. Не может быть! Укоротить?

Агриппа. На целый локоть или два: одним словом — выше колен. Нет, вы понимаете — какие же мы будем после этого римляне?

Все поражены.

Марк *(вздыхая)*. Здорово!

Агриппа. И хотят, чтобы мы сами проголосовали это — нет, вы понимаете!

Марк *(вздыхая)*. Здорово. А ничего не поделаешь, отрежут.

Четвертый. Не отрежут!

Марк *(мрачно)*. Так укоротят, что мое почтение.

Агриппа. Нет, не укоротят. Мы свободные граждане, а не рабы.

Второй. Никто не смеет коснуться Римского Сената!

Агриппа. А если резать, пусть отрежут вместе с ногами. Если мой предок, Муций Сцевола, сумел пожертвовать рукой, то я...

Марк. Тебе хорошо, Агриппа, у тебя все ноги в мозолях, тебе будет легче, а каково мне?

Третий. Ты больше пьешь и лежишь, Марк, чем ходишь,— зачем тебе ноги? А вот каково мне!

Все мрачно задумались. Сопровождаемые толпой челяди, встречаются и здороваются два важных сенатора.

Марк. Нет, как можно без ног! Не хочу я без ног! *(Обращается к важному сенатору.)* Привет тебе, великий Тит! Не слыхал ли ты чего о новой воле нашего божественного, нашего...

Тит. Слыхал. Здравствуйте. Вчера я был у цезаря... но какая то голова, какой светлый ум!

Все. О, еще бы, голова!

Второй важный сенатор *(завидуя первому)*. Я тоже был у цезаря. Меня он звал. Но какое вино! Меня выносили пять рабов, так я был тяжел!

Тит. А меня несли шестеро, не понимаю, что здесь такого? *(Марку.)* Когда ты бываешь пьян, тебя сколько рабов несут домой?

Марк *(нехотя)*. Двенадцать. Но скажи на милость, Тит, ты не слыхал, чтоб великий наш цезарь, божественный Калигула, выразил пожелание укоротить нашу тогу?

Тит. Тогу?

Второй важный сенатор. Укоротить?

Оба снисходительно смеются.

Тит. Какое ему дело до нашей тоги?

Второй важный сенатор. Какие пустяки!

Агриппа. Но почему же такое торжественное собрание? Мне сказали, что посланец отправлен даже

за теми, кто живет в загородных виллах, в Альбано. Ты видишь, сколько уже собралось. А мы так обеспокоились...

Тит. Пустяки! Цезарь хочет устроить ряд особенно пышных празднеств...

Радостное движение и возгласы.

Ну да, да — и ему нужны, вы понимаете, деньги. *(Смеется, потирая сухими пальцами.)* Келькшоз даржан!

Агриппа *(радостно)*. Кредиты? Ну, это другое дело.

Все. Это другое дело.

Марк. Этого сколько угодно! Главное, чтобы ноги.

Четвертый. Даже история признала, что «хлеба и зрелищ»... вообще этот принцип... одним словом *(запутывается)*. Я даже не понимаю, о чем тут... Тише!

Второй полусенатор. Нет, я ничего, я так. Мне послышалось, что тут анекдот рассказывают, а я, знаете, люблю это сальце. Хе-хе. Скоромненькое!

Тит *(благосклонно)*. А, это ты! Ну, здравствуй, бестия, здравствуй. Отчего не заходишь? Посидели бы, поболтали.

Полусенатор. Да все некогда, почтеннейший мой благодетель. Столько забот, что воистину голова кругом идет...

Все остальные почтительно отодвинулись.

Тит. Заходи, заходи.

Полусенатор. За долг почту, благодетель, у меня такие есть новости, что... *(Наклоняясь.)* А ты не слыхал, о чем они тут? Этот Агриппа давно у меня на следу.

Тит. Ну и дурак же ты, братец. Раз я тут, так о чем они могут, а? Пойдем. Вчера цезарь и спрашивает меня...

Уходят. Остальные возвращаются на свое место.

Марк. Даром только напугали! Беспокойный ты человек, Агриппа.

Второй. А это хорошо, что празднества! Чернь что-то беспокойна. Вчера мои рабы палками прочищали мне дорогу.

Агриппа. Я сам, брат, доволен. Тише — идет Марцелл.

Голоса. Марцелл!

— Однако и его призвали!

— Нет, это что-то важное.

Марк. Я его боюсь. Вдруг возьмет и скажет: ну и подлец же ты, Марк,— что я ему отвечу? Ведь правда.

Агриппа. Не много таких осталось.

Все почтительно приветствуют Марцелла. Тот останавливается.

Марцелл. Привет, друзья. Вы не знаете, зачем нас сегодня призвали? Весь Рим шумит о нынешнем собрании. Не новая ли война с Галлией?

Агриппа. Где ты уже стяжал однажды такие лавры, великий Марцелл,— о, нет! Говорят, что ожидаются большие празднества и нужны деньги.

Марцелл. А!

Глухой и полуслепой сенатор. А я всегда голосую за. А? Что? Ну да. Раз я глухой, как же я могу голосовать против? Ну да. Что ты говоришь? Говори, что хочешь, я все равно ничего не слышу. Это не ты, Марцелл, что-то я плохо вижу. Мы вместе были в Галлии, я Антоний, помнишь?

Марцелл. Я Марцелл, но ты уже не Антоний. *(Уходит.)*

Глухой. Что он? Ну и не надо. Говори что хочешь, я все равно ничего не слышу. Пойду с другими поговорить. *(При общем смехе уходит и вмешивается в чей-то разговор.)*

Сенаторы почти все в сборе, разбились на группы. К нашей группе подходит донельзя взволнованный, круглый, как шар, сенатор Менений. Не может говорить, задыхается, машет руками.

Агриппа. Что с тобой, Менений?

Марк. Что с ним? Эх, опомнись.

Менений. Ох! Ох-охо-хохошеньки. Ох...

Четвертый. Ну? Да говори.

Менений. Ры... ры... ры... Сенаторы... Ох.

Подходят еще.

Голоса. Что здесь?
— Слушайте. Слушайте.
— Да говори же, Менений. Кто умер?
— Никто.

Менений. Цезарь... Цезарь... Божественный цезарь, ох! Назначит сенатором Рыжего! Ох! Рыжего! *(Плачет.)*

Марк. Какого рыжего? Да он пьян, ей-богу.

Менений. Нет.

Марк. А чего же ты плачешь? Да говори же ты.

Агриппа. Какого рыжего? Отчего он так взволнован? Мало ли у нас сенаторов...

Третий. А кто у нас рыжий? Сципион — раз.

Второй. Камилл — два. Гельвидий — три.

Менений *(машет рукой)*. Да нет, нет. Лошадь!

Все. Какую лошадь? Что он говорит?

Менений. Цезарь назначил свою лошадь... ну рыжего жеребца, знаете?

Голоса. Знаем!
— Знаем!
— Ну так что же? Говори!

Менений *(трагически)*. Цезарь назначил его — сенатором! Ох!

Молчание — и затем всеобщий громкий смех. Подходят новые н, узнав в чем дело, также хохочут. Менений машет руками, но на него не обращают внимания.

Голоса. Ну и сказал. Жеребца — сенатором!
— Ха-ха-ха!
— Кто сказал?
— Он. Ха-ха-ха!

Наконец стихают.

Менений *(кричит).* Ослы! Дураки! Идиоты! Что смеетесь? Я вам истину говорю: назначил — назначил — и сегодня его введут...

Опять громкий хохот.

Ну да — введут, а то как же, и мы должны жеребца приветствовать, и вот речь, которую я сам произнесу. *(Показывает свиток и плачет.)* Вот и консулы, они все знают, спросите их... идиоты!

Недоуменное молчание. Кой-кто еще фыркает, но многие уже серьезны. Подходят консулы, двое, одеты щеголевато, важны, но любезны.

Первый консул. Прекрасное настроение! Очень приятно. Какой чудный день, не правда ли?

Второй консул. Прекрасная погода! Птицы! Слава Юпитеру, наш божественный цезарь сегодня чувствует себя прекрасно и повелел благодарить. Я думаю, скоро и начнем?

Агриппа *(запинаясь).* А это правда?

Оба консула *(любезно).* Что, дорогой товарищ?

Марк *(вздыхая).* Насчет Рыжего. Тут такого наврал Мененций.

Консулы делают приятное, но несколько грустное лицо; впрочем, оно одной только стороной грустное, а на другой на нем сияет кроткая радость.

Первый консул. Ах, вы уже слыхали? Да, да, как же. Могу всех вас поздравить с радостью, господа. К нам назначен милостью цезаря, и мы сегодня же можем приветствовать в нашей среде нового, так сказать, сочлена...

Полусенатор *(просовывая голову).* Сенатора.

Консул. Ах, да, благодарю тебя, конечно, сенатора. А то как же? Это вполне достойный... или, вернее, достойное...

Второй консул *(подсказывая).* Животное.

Консул. Да, да, животное. Господа, но разве и все мы не животные? Все животные. И если у одного из вас две ноги, то есть некоторые, у кого всего одна,— почему же не быть и четырем?

Второй консул. И в наказе ничего не упомянуто относительно количества ног. И если означенный жере...

Марк (*мрачно*). ...бец — договаривай уж! О Юпитер, Юпитер!

Первый консул. Его блестящее прошлое всем нам известно. Еще только в прошлом году он... или оно получило приз на ристалище... и вообще мы должны гордиться и приветствовать.

Второй консул. Если и есть какие сомнения по наказу, то только возраст. Новому нашему почтенному товарищу всего шесть лет.

Первый консул. Здесь я позволю себе не согласиться с уважаемым товарищем. Для существ, имеющих четыре ноги, возраст измеряется несколько иначе. Для существ, имеющих четыре ноги, полная умственная зрелость наступает...

Агриппа. Я протестую.

Общие крики негодования и возмущения.

Голоса. И мы!

— И мы!

Агриппа. Еще не было такого прецедента — с тех пор как стоит Рим!

Голоса. Не было!

— Долой жеребца!

— Долой Рыжего!

Агриппа (*воодушевляясь*). К нам назначили разных мерзавцев — и мы молчали, мы соглашались. Но у них по крайней мере было две ноги, а не четыре...

Голоса. Верно.

— Нельзя четыре!

Агриппа. К нам сажали воров и любовников цезаря...

Марк (*хватая его за руку*). Ты с ума сошел!

Все крики стихли. Молчание.

Первый консул (*любезно*). Ты что-то сказал, Агриппа?

Полусенатор *(шепчет)*. Сказал: и любовников цезаря.

Первый консул. Но таково, впрочем, повеление божественного Калигулы. Если тебе не нравится, Агриппа, ты можешь сказать об этом: через несколько минут прибудет сам цезарь. И тогда же при... введу...

Полусенатор. Пригласят.

Первый консул. Пригласят нашего нового и уважаемого сочлена. Должен заметить, что цезарь особенно рассчитывает на ваш теплый и радушный прием новому товарищу. Цезарь глубоко убежден, что обычная ваша сдержанность, отцы отечества, не помешает вам в этот раз вполне выразить ваш восторг и благодарность божественному Августу за его милость. После приветственной речи, которую выразил желание произнести Мenений...

Менений. Ох!

Первый консул. А, это ты, Марцелл! Очень рад тебя видеть.

Марцелл. Я также. Ты сам введешь коня?

Первый консул. Нет. *(Ядовито.)* Но ты скажешь ему вторую приветственную речь... Так повелел божественный цезарь. Он заранее в восторге от твоего испытанного красноречия.

Марцелл *(бледнея)*. Я плохой оратор. Я воин.

Первый консул. Могу передать только то, что повелел Калигула.

Марцелл. Скажи цезарю...

Первый консул *(поднимая обе руки)*. Нини, достойнейший воин! Я ничего не смею передавать цезарю. *(Любезно улыбаясь.)* Могу только повторить, что он заранее в восторге. Итак — поздравляю, господа.

Оба консула в сопровождении ликторов и свиты уходят. Возле Марцелла образовалась пустота. Марцелл, очень бледный, медленно удаляется. Молчание — и затем общий крик негодования.

— Это неслыханно!
— Это невиданно!
— Нас засмеет чернь! Выгнать эту лошадь!

— Долой жеребца! Долой Рыжего!

Одинокий голос. Долой Калигулу!

Внезапное молчание. Все оглядываются — и Марк за шиворот выволакивает на середину испуганного полусенатора. Хохот.

Марк. Вот он. Ты это что кричишь, а? Ты кого хочешь долой?

Полусенатор. Да разве я что? Юпитер! Да разве я...

Все. Вон!

Полусенатора вышвыривают пинками; за ним, испуганные, удаляются и прочие полусенаторы. Прислушиваются издали, стараясь хоть что-нибудь схватить; в глазах отчаяние. Здесь становится несколько тише.

Третий. Мы не должны соглашаться. Помилуйте, что же это будет — на всех воротах написано: Сенат и Народ Римский — и вдруг.., какая-то лошадь. Рыжий жеребец!

— Это конюшня, а не Сенат!

— Стойло!

Четвертый. Тише, тише, сенаторы! Надо обсудить... Вон идет Тит — спросим его, и он... Тит, а Тит!

Сквозь толпу протискивается почтенный Тит, утративший значительную долю важности.

Тит. Я уходил и не слыхал, что тут... Крики, шум, что случилось, друзья? Говорят о какой-то лошади...

Марк. Не о какой-то, а цезарском жеребце. Рыжего знаешь? Жеребца?

Тит. Знаю. Ну?

Марк. Вот тебе и ну. Назначен сенатором. Рядом с тобою сидеть будет.

Снова крики и хохот. Тит в обмороке валится назад.

Голоса. В носу! Щекочите ему в носу!

— Водой его!

Тит приходит в себя.

Т и т (*слабо*). И это правда? О Юпитер!

Г о л о с а. Что же нам делать, Тит?

А г р и п п а. Я говорю, что надо обратиться к народу и легионам...

Т и т (*машет руками*). Что ты! Ни в каком случае. Погодите, дайте подумать! (*Думает.*)

Остальные, разинув рты, смотрят на него.

Итак...

Г о л о с а. Слушайте! Слушайте!

Т и т. Как старейший в высоком собрании, я решительно говорю: мы не должны подчиняться.

Возгласы одобрения.

Божественный Август, видимо, впал в какую-то ошибку. Как можно назначать лошадь сенатором? Что же, и я тогда тоже лошадь? (*С горькой иронией.*) Жеребец? Видимо, цезарю что-нибудь не так доложили, и в своем стремлении к благу народа божественный просто не рассчитал, сколько...

Г о л о с. Сколько ног у Рыжего?

Т и т. Ну да — и сколько ног, и вообще. Но едва ли здесь в ногах дело: вопрос, по моему мнению, стоит глубже. И надо просто обратиться к Калигуле с петицией, просить его отменить неправильный... или, вернее, непро... нетактичный выбор.

П о л у с с н а т о р (*просовывая голову*). И ты, Тит?

Т и т. Пошел ты к Плутону! Ну и я, Тит, так что? Убирайся.

При криках «вон» п о л у с е н а т о р исчезает.

И надо прежде всего указать божественному на наши заслуги, на нашу готовность, которая лишает, так сказать, необходимости вводить в нашу среду новых...

Г о л о с. Животных.

Т и т. Ну да, животных. Разве мы не всегда соглашались? Мы все молчали, когда цезарь обобрал, так сказать, весь народ и бросал деньги на ночные празднества и оргии. Мы молчали, когда он растворял

жемчуг в уксусе и пил этот весьма дорогой и малополезный напиток. Мы молчали, когда он бросал римских граждан на корм своим зверям в зверинце, вполне доверяя его заявлению, что такой корм обходится дешевле. Помню, я сам тогда исследовал этот вопрос и пришел к убеждению, что действительно при дороговизне припасов такой корм...

Голоса. Короче! Известно!

Тит. Мы молчали, когда, отправившись в поход на Британию, он врал оттуда, что побеждает, а сам собирал ракушки на берегу. Мы молчали, когда, объявив себя богом, он приказывал отсекать головы у других богов и на их место ставить свою. А если это так, то — за что же такое оскорбление. За что? *(Плачет.)* Я старый человек, я отец отечества и я не могу, чтобы какая-то рыжая лошадь... *(Плачет.)*

Менений *(плачет)*. Жере... жеребец...

Тит *(рыдает)*. Надевши тогу... надевши тогу... *(успокаивается)* вела себя неприлично возле самого моего места. За что? — спрашиваю я. Где наша вина? В чем наше преступление? Не мы ли молчали, когда...

Голоса. Довольно!
— Просить!
— Нет нашей вины!
— Просить!
— Долой проклятую лошадь!

Агриппа. Я протестую! Римские сенаторы, опомнитесь!

Глухой сенатор *(шамкающе вопит)*. А я за! За, за!

Агриппа. Не просить, а требовать мы должны, римские сенаторы. Если мы виновны, то пусть нам назначат наказание по суду, но чтобы так! — чтобы вдруг прямо и лошадь! — что же это такое? Здесь многие указывали на рыжую масть жеребца, а по-моему, дело не в масти, а в том, чтобы подняться и всем уйти отсюда.

Голоса. Уйдем!
— Оставим Сенат!

Агриппа *(заслушавшись себя)*. И когда мы

все, покрыв тогой голову, с видом мрачного отчаяния и гордой непокорности судьбе...

У входа движение. Показываются консулы и преторианская гвардия императора. Ликторы кричат: «На места! На места! Дорогу императору!» Окружавшие Агриппу сенаторы поспешно разбегаются на свои места.

(Не слыша). Кто тогда останется в Сенате? Кто будет заседать? Один жеребец. На том месте, где некогда славный Брут...

Преторианец *(толкая его).* Дорогу!

Агриппа, опомнившись, бежит на свое место. Шумное движение, суматоха; престарелые сенаторы, сбившись с толку, путают свои и чужие места, спорят. Проходят писцы. Изо всех углов и щелей торчат головы полусенаторов, готовящихся к составлению умственного отчета о заседании. У выходов размещаются преторианцы. В сопровождении толпы изнеженных любимцев, префектов и других высших воинских чинов показывается Калигула. Он пьян, и двое друзей, Приск и Дион, поддерживают его под руки. На голове цезаря золотой лавровый венок. Его маленькие припухшие глаза смотрят сонно и свирепо. Из озорства цезарь волочит одну ногу и выделывает ею кренделя, но потом, рассмеявшись, отталкивает друзей и один, довольно твердо, всходит на возвышение, где цезарская ложа (в правом углу авансцены). Свита помещается возле него.

Когда Калигула занимает свое место, весь Сенат поднимается и устраивает ему продолжительную овацию, по-тогдашнему — триумф. Крики: «Виват цезарь! Виват!» Калигула, не кланяясь, рассматривает орущих, потом машет рукой: довольно!

Крики стихают, сенаторы сели. Первый консул открывает заседание.

Первый консул. Римские сенаторы! В непрестанном попечении о благе народа римского и блеске республики божественный цезарь повелел и соизволил назначить нового сенатора. Не останавливаясь перед жертвами, сколько ни тягостны они его великому сердцу, Калигула отказался для нужд государственных от своего любимого жере... е... лош...

Второй консул *(подсказывая).* Коня.

Первый консул. Коня, и ныне последний, уже в качестве сенатора и отца отечества, окажет нам честь своим посещением. И мы счастливы...

Калигула *(громко).* Что он врет? Останови его, Приск. Скажи, что я буду ездить на Рыжем. Что еще придумал, дурак!

П р и с к *(лениво)*. Послушай, как тебя!..

К о н с у л. Да, я знаю. И милость цезаря столь велика, что он и впредь не оставит нового сенатора своим вниманием и будет на нем... как это сказать, будет на нем... упражняться.

В т о р о й к о н с у л. По наказу всякий сенатор в свободное от государственных занятий время может быть... как это сказать, употребляем или вообще приспособляем...

К а л и г у л а *(громко и сердито)*. Скажи ему: когда хочу!

К о н с у л *(поспешно)*. Так как служба цезарю есть важнейшее государственное дело и первая и самая святая наша обязанность, то новый сенатор всегда будет готов для этого... для упражнений. И затем я счастлив передать Сенату благодарность императора за то, что римские сенаторы, в сознании лежащего на них долга, столь поспешно и в таком отрадном количестве собрались на сегодняшнее заседание. Теперь прошу ввес... привес...

В т о р о й к о н с у л. Пригласить.

К о н с у л. Пригласить достойнейшего Рыж... сенатора.

Все с волнением смотрят. Несколько конюхов вводят рослого рыжего жеребца, звонко шагающего по каменному полу. Конь действительно прекрасен; слегка взволнованный, он тревожно косит черными гордыми глазами. Вместо попоны на нем накинута сенаторская тога.

К а л и г у л а *(бормочет в восторге)*. Какая лошадка! Приск, какая лошадка, а?

К о н с у л. Римские сенаторы, что же вы! Приветствуйте же товарища. Виват!

Сенаторы встают и единодушно громкими и продолжительными криками «виват» приветствуют коня.

К а л и г у л а *(щуря оплывшие глазки)*. Все встали, Приск?

П р и с к. Все.

К а л и г у л а *(со вздохом)*. А может, кто не встал, вглядись?

П р и с к. Все.

Калигула. Дай вина. *(Тянет вино, сердито поглядывая на толпу.)*

Около нового сенатора собралась кучка особенно восторженных патрициев и осторожно, боясь его зубов, похлопывает с нежной улыбкой по спине и крутой шее. Конь волнуется.

Приск. Не кажется ли тебе, божественный, что эти новые поклонники слишком раздражают Рыжего?

Калигула. А? *(Кричит.)* Скажи, чтобы не трогали! Чтобы вон, вон!

Консул. Цезарь просит не обременять сенатора излишней ласковостью, которая его волнует...

Калигула. Чтобы вон! вон!

Консул *(поспешно.)* И занять свои места.

Восторженные, с поклонами и улыбкой понимания отходят на свои места. Затишье. Сенаторы негромко, с выражением на лицах лояльности, переговариваются. Кто-то лояльно зевает, показывая тем, что все обстоит благополучно.

Калигула *(мрачно)*. И это — все?

Приск *(зевая)*. Что же еще, божественный? Твой Рыжий принят достойно.

Калигула. Достойно, достойно... Приск, тебе интересно?

Приск *(небрежно)*. Нет. Я говорил: назначь им петуха.

Второй приближенный. И с петухом было бы то же.

Калигула. Не говори глупостей! Какого еще петуха? Я люблю Рыжего и никакого петуха не хочу. Сам ты петух! Нет, ты понимаешь, Приск, что же это такое? Свинство! Я хочу повеселиться, мне скучно, а они ничего не умеют. *(Плачет.)* Плутон меня побери, я ищу сильных ощущений, а разве это си... сильные ощущения? О Афродита, какая скука, какая зеленая скука!

Приск. Успокойся, божественный, ты раздираешь нам сердце.

Префект *(берясь за меч)*. Негодяи! Расстроили цезаря!

Второй приближенный. Успокойся! Твое здоровье необходимо для отечества! Может быть, еще что-нибудь выйдет...

Калигула *(рыдая)*. Да, выйдет, как же. Я их знаю!

Приск. Вот сейчас Менений скажет коню приветственную речь...

Калигула *(переставая плакать и тараща глазки)*. Менений... Да ты с ума сошел.

Приск *(небрежно)*. Почему же? Знатный патриций, род свой ведет непосредственно от кухарки Нумы Помпилия, почтенная личность, безукоризненная репутация, уважаем Сенатом...

Калигула. Менений? Да пойми ты: он только на похоронах говорит. Я помню, когда еще папашу Тиверия одеялами душили, так он хорошую речь сказал, я тогда плакал. *(Опять плачет.)*

Приск. Да успокойся, божественный, утишь свою чувствительность! То-то и интересно: привык говорить на похоронах, пусть-ка вывернется теперь. Мы с консулом нарочно его выбрали, чтобы ты посмеялся.

Приближенные смеются. Калигула, поняв, присоединяется к ним и громко хохочет.

Калигула. Ну пусть, пусть, Менений!..
Голоса. Менений!
Менений!..

Речь Менения.

— Божественный Калигула и вы, римские сенаторы. Какую тяжелую утрату... кхе, кхе... понесли бы мы, если бы наш божественный цезарь не назначил к нам этого... как его... кхе, кхе... вот этого... сенатора. Какое душевное прискорбие испытали бы мы все, здесь собравшиеся над... под... над тем, что отнюдь не есть прах, да — если бы император вдруг пожалел своего жеребца и не по... покрыл его тогой. Слезы душат меня при одной только мысли. Отцы отечества! Вы все знали его и любили, и не мне вызывать в вашей памяти его незабвенный образ, да — незабвенный. Как он скакал! Как он носился, подняв трубою хвост, по императорскому ристалищу, как он вообще резвился, а ныне, что видим? Он заседает. *(Плачет.)* И если даже для нас, имеющих так мало ног, это

трудно, а в летнее время даже невыносимо — заседать, то каково же ему при его, да — многоножии... и хвосте? Почтим же его еще раз вставанием и возблагодарим нашего великого и славного Августа за то, что не пожалел для Сената даже своего... *(плачет)* родного... жеребца. *(Садится.)*

Все встают; крики: «виват», хохот. Хохочут и в цезарской ложе, и только Калигула не совсем понял и недоволен.

Калигула. Что он, хорошо сказал?

Второй приближенный. По-моему, хорошо.

Приск. И по-моему, хорошо. Вот только последние слова...

Второй приближенный. Да и последние слова... если принять в расчет глубокую искренность оратора, его слезы...

Снова хохочут. Цезарь подозрительно оглядывает всех своими оплывшими глазками — и внезапно приходит в ярость.

Калигула. Молчать, вы — рабы! Я вам покажу. Я вас всех, я вас!.. *(Захлебывается яростью.)*

Наступает могильное молчание. Багровый от гнева, Калигула встает, шатаясь, и кричит через барьер ложи.

Эй вы, отцы отечества, рабы! Не смеяться! И чтобы без этих, этих ваших... я вас знаю. Кто вам позволил смеяться? Не сметь. Это моя лошадь! И если вы будете смеяться, то я вас, я вас... Молчать, навозная куча, дрянной сенатишко! А то велю вас всех бичами, бичами... Молчать. Кто я? Я — бог, вот. Я Кастору отрубил голову, я Полуксу отрубил голову и вам всем велю отрубить, мне надоело. Я — бог. Захотел я — и жеребца сделал сенатором, а захочу — всех вас сделаю жеребцами и отправлю на ристалище бегать. Вы мне побежите. Всем хвосты приставлю. Слыхали? *(Садится и пьет вино, косясь кровавыми глазами на приближенных. Те шепотом переговариваются.)*

Приск. Какая речь! Это одна из лучших речей божественного.

Калигула *(пьет)*. То-то!

Второй приближенный. А насчет хвостов? Какая мысль!

Калигула. Ну, довольно. Надоели. Пусть говорит там кто. Только, чтобы это была настоящая речь, а не над покойником.

Приск. Кажется, очередь Марцелла.

Калигула. А, старый буян. Разве он еще жив?

Приск. Ты забыл о нем, божественный.

Калигула. А вы не можете и напомнить? Ну, пусть говорит. Марцелл!..

Робкие голоса: «Марцелл!», «Марцелл!»

Речь Марцелла.

Привет тебе, божественный и несравненный Август! Привет, сенаторы! Привет и тебе, наш новый и достойный товарищ! *(Кланяется коню.)* Я воин, а не оратор, и биться мечом мне пристойнее, нежели бросаться легкими словами; и заранее прошу простить меня, если моя речь будет недостаточно искусна. Этот недостаток я постараюсь возместить воинскою прямотою и честностью старого римского гражданина.

Да, ты прав, Калигула. Ты во всем прав. И когда ты гневно пожелал заткнуть смеющиеся глотки, я всем сердцем присоединился к твоей яростной речи. Бичей! Бичей им! Они клянутся и нарушают клятву, они говорят глупости, их нечистый рот набит нечистыми словами — он один с достоинством молчит. Кто же здесь лучший? Кому же быть сенатором в этом Сенате, как не рыжему жеребцу?

Но в одном я упрекну тебя, божественный: ты остановился на полдороге. Ты не довел до конца начатое тобой и не завершил мудрого дела достойным венцом: не уступил Рыжему твоего лаврового венка и высокого сана...

Калигула еще не понял; приближенные что-то поспешно шепчут ему, но он отмахивается рукой.

Ты бог, и ты все можешь! Сделай же рыжего коня цезарем, как ты сделал его сенатором, укрась жеребцом ряды великих римских владык. Но я вижу:

ты покраснел, ты сомневаешься, достоин ли такого божеского дара ненавистный тебе римский народ? Успокойся: народ достоин. Если долгие годы он молчаливо и покорно терпел двуногую скотину, подобную тебе, божественный, то четвероногое животное будет только новою ступенью к славе! Долой венец, ублюдок, отдай его коню!

Шум. Легионеры поспешно направляются к Марцеллу, чтобы взять его. Многие сенаторы поспешно удаляются, чтобы не видеть дальнейшего. Калигула яростно вопит: «Взять его! Я тебя брошу диким зверям! я...»

Марцелл (*кланяясь*). Я кончил!

Шум растет, все убегают. Преторианцы схватывают Марцелла.

Занавес



КАЮЩИЙСЯ

Представление в одном действии

Действующих лиц двое: купец Краснобрюхов, кающийся, — и лицо со служебным положением. Еще есть некто Гавриленко, который привел кающегося, и другие живые механизмы, которые его выводят.

Канцелярия: нечто вроде фабрики на ходу. Лицо со служебным положением отрывисто лает, удивляется и гневается по телефону. Гавриленко, почтительно держа всего двумя пальцами, вводит купца Краснобрюхова, толстого, здорового, рыжебородого старика, вспотевшего от волнения. Шапки на нем нет, одежда в некотором подозрительном беспорядке, несмотря на явную почтительность Гавриленки.

Лицо *(у телефона)*. Кто? Кого? Почему? Да, конечно, слышу, если говорю... зарезанный? Ага! Да, да, двое... Да слышу же я. Что такое? На какой почве? — Ну? — Ничего не понимаю. Кто убежал — раненый убежал? Что вы городите: куда раненый побежал?

Гавриленко. Ваше благородие, как я привел...

Лицо. Не мешать! Ага: один убежал, другого везут... А убийцы? — что, тоже убежали — послушайте, вы мне вашей почвой очков не втирайте — что такое? Ничего не понимаю.— Если вы хотите докладывать, вы слышите, то и докладывайте, а не свистите носом, я вам не кларнет! Что, какая музыка? — это я кларнет — вы слышите? Алло! А, чтоб тебя черт. Алло!

Вешает трубку, мельком сердито оглядывает Краснобрюхова и садится.

Лицо. Ну? Чего там?

Гавриленко. Как, ваше благородие, позвольте доложить, они задерживали движение екипажей, стамши по середки площади, где езда, говоримши, что как они купец и как они убимши, я их взямши...

Лицо. Пьяный? Ишь, борода, напился — в приемной!

Гавриленко. Никак нет, ваше благородие, окончательно тверезый, а только как они стамши по середки площади, где езда, и говоримши, так что, ваше благородие, никакого движения екипажей. И трамвай стамши... народ собрамши, кричит голосом: убил я, православные, каюсь! Как я их взямши, так что: совесть замучила, ваше благородие!

Лицо. Так бы сразу и говорил, тетеря! Вы что?.. Пусти его, Гавриленко, чего вцепился... Вы кто?

Краснобрюхов. Купец Прокофий Карпович Краснобрюхов. *(Становится на колени, другим, покаянным голосом)*. Каюсь, православные, берите меня, вяжите меня: человека я убил!

Лицо *(вставая)*. А! Так вот ты как!

Краснобрюхов. Каюсь, православные, желаю принять искупление грехов. Не могу больше! Берите меня, вяжите меня — человека я убил! Злодей я непокаянный, изверг естества! Человечка я зарезал! *(Кланяется в землю)*.

Гавриленко. Вот так они и орамши, ваше благородие, по самой по середки, где езда.

Лицо. Молчать! Встань! Рассказывать толком. Кого убил?

Краснобрюхов *(тяжело вставая, бьет себя в грудь)*. Я убил. Желаю искупления грехов, больше не могу, нет моего терпения. Совесть замучила, православные! На, брей!

Лицо. Что брей?

Краснобрюхов. Голову брей, кандалы давай: желаю искупиться. *(Громко плача)*. Человека я зарезал, простите, православные!..

Опять валится на колени и кланяется земно.

Лицо. Встать! Говорить толком!

Гавриленко. Вот так они, ваше благородие, стамши по самой середки и орамши.

Лицо. Молчать! Эй, послушайте, как вас: это не ваша корзина?

Краснобрюхов *(встав и вытирая пот и слезы)*. Какая корзина? Никакой корзины я не знаю.

Овощью мы торговали. Эх, господи! Что уж: овощью мы торговали.

Лицо. Какая корзина? Теперь не знаешь? А как запрятывать в корзину, знаешь? А как по железной дороге трупы отправлять, знаешь?

Краснобрюхов. Никакой корзины я не знаю. Водички бы мне. *(Гавриленке)*. Дай-ка, милый, водички, охрип я *(густо вздыхает)*. Эх!

Лицо. Не давать! А какая корзина не знаешь? Гавриленко, сколько у нас корзин?

Гавриленко. Четыре корзины, ваше благородие, да один чемуданчик. Три корзины распечатамши, ваше благородие, а четвертую никак не успемши.

Лицо *(купцу)*. Слыхал?

Краснобрюхов *(вздыхая)*. Никакой корзины не знаю.

Лицо. А где же твой?

Краснобрюхов. Кто мой?

Лицо. А я почем знаю, кто твой, кого ты там зарезал, удушил, убил. Труп где?

Краснобрюхов. Труп-то? Да уж истлел поди. *(Снова валится на колени)*. Православные: каюсь я, человечка я зарезал, господи! В землю его закопал. Думал я, православные, народ обмануть, а видно не обманешь его: совесть меня замучила. Ни сна, ни покою, одно мученье-мученьское, свету я в глазах лишился. Желаю искупиться — на, брей!

Лицо. Встать! Говорить толком!

Краснобрюхов *(вставая и вытирая пот)*. Я толком и говорю: ну, думаю, пройдет времячко, авось и забуду, радостями какими развлекусь, на помин души свечечку поставлю, ан не тут-то было: замучился сверх естественно, всякого покою лишился! И что ни год, то все тяжелее: нет, думаю, потерплю еще, авось пройдет, авось забудется. Каюсь, православные! Имущества я жалел, овощью мы торгуем, детей, жены стыдился; как же это вдруг, что же это такое: был человек, а вдруг злодей, смертоубивец, изверг естества!

Лицо. Толком говорите!

Краснобрюхов. Я толком и говорю: плачу ночью-то, разливаюсь, а жена и говорит: чем плакать-

то, да подушки мочить, пошел бы ты, Карпыч, да и покаялся, народу православному земно преклонился, мучения принял. И что тебе, говорит, ты уж старый и на каторге проживешь, а мы за тебя помолимся — иди, говорит, Карпыч, не моргай. Плакали мы с ней, плакали, а все решиться не можем: жалко, страшно, православные! Как это посмотришь округ себя, овощью мы торгуем, морковкою всякою, капусткой, лучком... *(плачет)*. А она все решает, все решает: иди, Карпыч, не моргай, попей чайку, побалуйся, да иди, несчастненький, преклонись. Раз уж и пошел было, рубашку она на меня чистую надела, чаем с медком попоила, волосы мне сама рукой пречистой своей причесала — да не осилил! Ослаб! Дух потерял! До самой этой площади уже дошел и как раз на середку вышел, а тут трамвай — я в трактир и повернул. Каюсь, миленькие: заместо честного покаяния, три дня и три нощи стойку трактирную лощил, полбуфета вылакал: что значит совесть-то, и куда только лилось!

Лицо. Да, что, брат, вот оно, совесть! Но приятно, приятно наконец приветствовать... Гавриленко, слышишь?

Гавриленко. Вот так они и орамши, ваше благородие...

Лицо. Молчать! Ну! Продолжай, мой друг.

Краснобрюхов. Какой я друг, недруг я человеческий, изверг естества. Бери меня, вяжи меня, человечка я зарезал, к злодеям сопричислился! Вот он я, бери! Вяжи! Брей!

Лицо. Так, так, приятно приветствовать!.. Гавриленко, не помнишь такого случая относительно убийства? Какие у нас есть?

Гавриленко. Не могу помнить, ваше благородие.

Краснобрюхов. Вяжи!

Лицо. Так, так, я понимаю твое благородное нетерпение, но... А когда это было, человечка-то? Конечно, мы все знаем, но столько случаев вообще... Видал корзин одних сколько, точно багажная станция! — и вообще... Кого ты и когда, одним словом, мой друг?

Краснобрюхов. Когда? Да уж двадцать один год минул, да еще с привеском поди. А то и двадцать два считай, не ошибешься.

Лицо. Двадцать два? Так что же ты?

Краснобрюхов. Думал оттерпеться, говорю. А какое тут терпение: что ни год, то тяжеле, что ни день, то горше. То хоть явлений не было, а то и явления начались: вчистую приперло. Каюсь, православные, убил!

Лицо. Но, позвольте... двадцать два... Вы какой гильдии?

Краснобрюхов. Первой. Оптом мы торгуем.

Лицо. Так, так. Гавриленко, подать стул. Прошу садиться.

Краснобрюхов. Водички бы мне, охрип я.

Лицо. А чаю-то с медком опять попили, чудак! Гавриленко, два стакана чаю: один покрепче... небось жиденький пьете? Имя, отчество?

Краснобрюхов. Прокофий Карпович Краснобрюхов. Когда же, ваше благородие, вязать?

Лицо. Садитесь. Так-то, Прокофий Карпыч,— это не ваша торговля на углу?.. знаете, еще такая вывеска — удивительная вывеска. Искусство! И до чего теперь эти вывески хорошо пишут, знаете, я прямо удивляюсь. Мне знакомые говорят, отчего вы, Павел Петрович, не пройдетесь в картинные галереи, там Эрмитаж и вообще... но я отвечаю — зачем? У меня весь квартал — одна картинная галерея, хе-хе! Ну, а медку у нас не водится, хе, уж извините. Канцелярия!

Краснобрюхов. Какой уж тут мед! Детям я торговлю передал, пусть торгуют. Когда же, ваше благородие, вязать-то будете? Поскорей бы, замаялся я.

Лицо. Вязать? Гавриленко, пошел вон! И раз почтенное лицо на площади, то можешь поделикатнее. Шапка ихняя где?

Гавриленко. Там и осталась, публика ногами затоптамши. Да они, ваше благородие, голосом орамши...

Лицо. Пошел вон! Вот народ, извольте, попробуй с ним провести начало, так сказать, законности-с! Надоели, как горькая редька! Знакомые и то

говорят: и что это такое, Павел Петрович, слова от вас толком не услышишь — а какой тут может быть толк! Разве я бы не рад— только о том и мечтаю, чтобы светский разговор, мало ли чего на свете! Война, крест на св. Софии и вообще... дипломатия!

Краснобрюхов. Уж вязали бы поскорей! Не мучали бы.

Лицо. Вязать? Чистейшее недоразумение, Прокофий Карпыч, чистейшее недоразумение. Но от чего ж вы чайку? Ваше благородное волнение делает вам честь и вообще приятно приветствовать, но — давность! Изволили забыть: давность. Надеюсь, не родителей изволили зарезать?

Краснобрюхов. Ну, ну, родителей. Девицу одну, в лесочку, да там же и закопал.

Лицо. Ну вот видите: я и сразу понял, что не родителей, сразу видно человека! Вот если бы родителей изволили, ну там отца или мать, тогда действительно печально: на родителей давности нет. А за девицу и вообще всякие уголовные преступления, убийства там и вообще покрываются десятилетней давностью. Как же-с, как же-с, изволили не знать? Конечно, нужно будет там кое-какое расследование, подтверждение, но это пустяки, не стоит и волноваться. Торгуйте себе овощью, а мы ваши покупатели... Ну что же чайку?

Краснобрюхов. Какой уж тут чай? Тут уголья под ногами, а не чай.

Лицо. Напрасно мучились! Напрасно мучились! Но, конечно, незнание законов. Вот вам бы вместо жены да к адвокату и пойти, адвокат бы...

Краснобрюхов *(падает на колени)*. Вяжите, не мучайте!

Лицо. Ну, ну, встаньте же, наконец! Нельзя же, наконец, вязать, чудак! Если всех таких вязать, так и веревок не хватит! Ступайте себе и... адрес ваш мы знаем...

Краснобрюхов. Да куда ж я пойду? Я пришел. Вязали бы уж, ей-богу, ну зачем эти слова? Веревок, говорите, нету, ну и зачем такая насмешка. Я по чистой моей совести, а вы издеваетесь... *(вздохнув)*. Но, конечно, заслужил я. Сми-

ряюсь. Вяжи! Брей! Издевайся надо мною, народ православный! Тычь пальцем в старую харю, не жалей бороды моей холеной: изверг я!

Снова валится на колени.

Лицо *(с некоторым нетерпением)*. Но позвольте, это уж слишком. Встать! Вам говорят, чтоб вы домой шли, некогда мне с вами, домой!

Краснобрюхов *(не вставая)*. Нету у меня дома, православные, нету у меня пристанища, окромя каторги! Вяжи меня! *(Орет)*. Брей!!

Лицо *(также орет)*. Да что я тебе, парикмахер? Встать!

Краснобрюхов. Не встану! Каюсь я, и должен ты меня уважить: совесть меня замучила! Не хочу я твоего чаю: вяжи меня, на руки, крути лопатки. Брей!

Лицо. Гавриленко! Скажи как разорался тут, а? С совестью своей, а? Есть мне с тобою время... Гавриленко, поднять!

Гавриленко старается поднять купца, тот сопротивляется.

Гавриленко *(бормочет)*. Вот так-то они и орамши... Его не подымешь, ваше благородие, упирается.

Лицо. А, упирается? Петрученко! Сидоренко! Ющенко — поднять.

Означенные поднимают упирающегося купца, пока лицо продолжает гневаться.

Лицо. Нет, скажите: прямо на площадь прет, движение экипажей задерживает, я тебе задержу! Я тебе покажу, я тебе поору в присутственном месте!

Краснобрюхов. Не смеешь так. Вяжи — а то жаловаться буду! Ни на кого не посмотрю! До самого министра дойду! Поиздевался и буде! Православные, братцы, человечка я зарезал. Совесть замучила! Каюсь!

Лицо. Совесть? — скажите, обрадовался! А где ж ты раньше был, ты чего раньше не приходил с твоей совестью? А теперь прямо на площадь прешь, беспорядок делаешь — ты чего раньше не шел?

Краснобрюхов. Оттого и не шел, что не домучился еще. Вот домучился и пришел! Не смеешь ты мне отказывать!

Лицо. Не домучился! Нет, скажите, какое издевательство. Тут их ищут, тут их разыскивают, одних корзин пять штук, собак для них завели — так вот нет: спрячется, подлец, и сидит, и ни гу-гу, и как будто его и нет! А теперь прямо на площадь: совесть, вяжите меня — какая цаца! Тут с очередными голову потеряешь, вздохнуть некогда, а он еще со своей девицей... Вон! Уходи!

Краснобрюхов. Не пойду. Не смеешь выгонять! Я уж с женой попрощался — не пойду.

Лицо. Ну и поздороваешься: скажите, пожалуйста, с женой попрощался, чай с медом пил, рубашку чистую надел, цаца какая! Небойсь стаканов двадцать выдул, пока пузо налил, а теперь извольте!.. Вон!

Краснобрюхов. А ты видел, как я его пил? Может, там-то чаю всего наполовину, а наполовину-то слезы моей горькой! Не пойду вон! Каторгу мне давай, кандалы желаю — брей!

Лицо. Нет тебе каторги. Скажите, пожалуйста, каторги захотел! Ну и нанимай себе... комнату на каторге, квартиру с мебелью, а у нас нет для тебя каторги.

Краснобрюхов. Нет, ты мне дашь! Не уйду без каторги — последний мой сказ. Православные, мучения я хочу, каторгу мне на двадцать лет за злодейство мое. К злодеям сопричислился, человечка я убил.

Лицо. Нету тебе каторги, слыхал? Раньше бы приходил, а теперь нету тебе каторги! Скажите, пожалуйста: тут для настоящих каторги не хватает, а он еще со своей совестью: замучился, подлец! Ну и мучайся — нет тебе каторги.

Краснобрюхов. Не дашь?

Лицо. Не дам.

Краснобрюхов. Нет, ты меня обреешь!

Лицо. Сам брейся!

Краснобрюхов. Нет, ты меня обреешь. *(Старается стать на колени, поджимает под себя ноги, но вышеозначенные держат его на весу.)* Православные, смилуйтесь, вяжите меня, жа неужто ж обрывочка не

найдется, хоть мочалкой вяжи, я не развяжусь, православные. Совесть меня замучила. Хоть обрывочком, хоть мочалочкой! Эх, каторга матушка,— да неужто ж местечка не найдется, ваше благородие? Много ли мне надо, ваше благородие, православные. Окажите милость божескую, да скрутите ж вы меня, голову мою седую обрейте! Эх, Владимирка, дорожка, мать ты моя родная, дай хоть по краюшку пройти, пылью твоею опылиться, в слезе твоей вековечной душу нечистую омыть. Эх тузик бубновый, каторжный, палачушко, братушко, клещи огневыеродненькие, клеймо каиново ужасное!

Лицо. Гавриленко! Вывести его! Сидоренко, помоги!

Краснобрюхов *(упираясь)*. Не пойду! Волоком волоки, так не пойду! — Ты меня обреешь.

Лицо. Ющенко, поддержи! Ты у меня пойдешь!

Краснобрюхов *(барахтаясь)*. Ты меня обреешь! Жаловаться буду! Не смеешь!

Лицо. Гавриленко — выноси!

Гавриленко. За ногу, да за ногу! Хватай под мышки!

Краснобрюхов *(барахтаясь)*. Не вынесешь!

Лицо. Выноси!

Купца почтительно выносят. Лицо оправляет усы и берет стакан чаю, но он оказывается холодным.

Лицо. Василенко! Чаю горячего! Черт знает что... Чаю горячего! Да... Раненого привезли?

Василенко. Они уже умерли, ваше благородие, так что охолодамши.

Лицо. Пошел вон!

Занавес



МОНУМЕНТ

Комедийка в одном действии

В городе Коклюшине, наконец, решили поставить памятник Пушкину; объявили всенародную подписку, устроили конкурс на проект памятника и учредили комиссию. Проектов было представлено множество, но Ее Превосходительство, по инициативе которой воздвигается памятник, остановила свое внимание только на двух проектах, принадлежащих художникам Фракову и Пиджакову. И в настоящий момент комиссия заседает в квартире Ее Превосходительства как для обсуждения означенных проектов, так и других важных вопросов, связанных с небывалым происшествием. Члены комиссии, кроме Ее Превосходительства, следующие:

Градский голова, Павел Карпович Маслобойников, лицо почтенное, но лишенное образования. Крупен, лыс, бородат и мордаст. Гавриил Гавриилович, податный инспектор, бывший учитель гимназии, уволенный за то, что ругал учеников дурными словами. Учитель географии в прогимназии, Петр Петрович Еремкин, чахоточный. Местный барон. Некто, внушающий почтение и легкий трепет. Мухоморов Анатолий Наполеонович — самый умный человек в городе; ходит в наваченных брюках, в ушах вата, пальцы длинны и костлявы. Его супруга, Анна Титовна; большие черные усы, Иван Иванович, обаятельный молодой человек без речей. И еще два члена без речей: один — всегда смеется с Гавриилом Гаврииловичем; другой — ужасается и скорбит с Некоим, внушающим почтение.

Тут же присутствуют и оба художника с проектами. Фраков ненавидит Пиджакова, последний презирает Фракова. По этой причине сидят они в разных концах комнаты. Из посторонних лиц присутствует специально командированный представитель столичной прессы, господин Исполинов.

При открытии занавеса Ее Превосходительства нет: она еще не выходила из своих апартаментов. Члены комиссии собрались кружком около журналиста.

Некто *(Исполинову)*. Пешком изволили? У нас извозчики с семи часов спать ложатся.

Исполинов *(глядя на концы брюк)*. Пешком, да, представьте! Но очень, очень милый городок, та-

кой оригинальный. Однако, почему столько собак? почти, как в Константинополе.

Еремкин *(страстно)*. А вы и в Константинополе были?

Исполинов. Как же! Два года писал оттуда корреспонденции, ведь это же рядом с Одессой, ну да! А скажите, у вас это первый памятник?

Барон. Пока первый. Культура этого края еще не... не... Да, первый пока.

Маслобойников. А на кладбище-то забыли, барон? Есть, есть, вы сбегайте, поглядите, господин хороший.

Некто. Кладбище у вас знаменитое.

Еремкин. Но г. Исполинов говорят, если не ошибаюсь, о городских монументах. Полководцы, вообще фигуры великих мужей и...

Некто. Напрасно утруждаете себя объяснениями: здесь вам не ваши ученики. Вот воздвигаем памятник Пушкину, тогда и любуйтесь, сколько хотите, тогда ваша воля.

Еремкин. Но...

Гавриил Гавриилович. Нет, вы вот что нам скажите, г. Исполинов: почему Пушкину? Ну, я понимаю, как этого не понять, ну, город и вообще культура, и нельзя же, чтобы одни собаки и калачи,— но почему именно Пушкину? Мало ли других великих людей? А то все Пушкин, Пушкин, ведь это может и надоесть!

Еремкин. Но с точки зрения...

Гавриил Гавриилович. Вас не спрашивают. А вот вы, г. Исполинов, как представитель столичной печати, не удостоите ли нам объяснить?

Исполинов. Виноват, я в вашем городе только гость и...

Барон. Как известно, Пушкин наш величайший поэт, и задачи культуры — как же можно, иначе нельзя. Где же тогда культура?

Гавриил Гавриилович. Нет уж, барон, извините,— конечно, я не противоречу,— но кому это известно, а мне нет, неизвестно. А вам, Пал Карпыч, известно?

Голова *(вздыхая)*. Мне ничего не известно. Вы

меня, Гаврил Гаврилыч, не приводите, я здесь не в пример.

Гавриил Гавриилович *(хохочет)*. Вот оно-с! Не любит Пушкина наш почтеннейший городской голова, не одобряет! Но, виноват, вы желаете сказать, г. Исполинов?

Исполинов. Как гость я, право, затрудняюсь ответить, почему вы решили ставить именно Пушкину. Это даже странно.

Гавриил Гавриилович. А я что говорю?! Но ваше отношение к памятнику?

Исполинов. Мое отношение? А что касается моего отношения к памятнику, то оно двоякое: одно — пока памятник еще не поставлен, и другое — когда он уже стоит. В первом случае я имею материал... ну, положим, и не так много... ну, когда десять, а когда и сотню строк; а во втором случае... Ну, и что мне от памятника, когда он уже стоит, сами посудите? Скажу просто: от всех памятников, какие стоят в Петербурге и Москве, я не имею даже рубля! Да и никто не имеет, это же не требует доказательств!

Голова *(вздыхая)*. Да, под квартиру не отдашь.

Еремкин. Но с точки зрения исторической...

Гавриил Гавриилович. Пошла история с географией: вот уж чего не люблю, так не люблю. И почему, господин Еремкин, вы не можете слова сказать без но?

Еремкин. Но...

Некто. Вот так они всегда: но! Не могут, повидимости, иначе, не могут. И сколько раз я имел удовольствие их слушать, и каждый раз на этом месте удивлялся: но.

Еремкин *(пугаясь и оглядываясь)*. Но как же мне быть, если так начинается: но? Я совсем ничего не думаю сказать лишнего, и вообще я, но...

Гавриил Гавриилович *(хохочет)*. И опять! Не может!

Некто. Очень жаль, если не можете. Позвольте вам внушить следующее: но — есть знак гордости человеческой, а что такое гордость? Но — есть отвращение ума не токмо от законов человеческих, но даже и божеских,— а что такое ум? Но — есть знак высо-

кой непочтительности, своеволия, так сказать, и даже дерзости. Нехорошо-с, молодой человек, нехорошо-с! обидно!

Еремкин *(в отчаянии)*. Но...

Голова. Цыц! сама.

Входит Ее Превосходительство, поддерживаемая Иваном Ивановичем; ее почтительно приветствуют.

Ее Превосходительство. Уже? здравствуйте, уже? Я так счастлива, наконец, видеть и вообще, наконец, приблизиться — не так ли, господа? Моя мечта — садитесь, господа,— или лучше сказать моя идэя наконец близка... Не хотите ли чаю? впрочем, чай потом, а сперва нужно что-то другое... что? Надеюсь, господа, вы простите слабую женщину, которая, это правда, так богата идэями, но совершенно беспомощна в вопросах — как это называется?

Мухоморов *(подсказывая)*. Прозаической действительности, Ваше Превосходительство.

Ее Превосходительство. Мерси. Вот видите, какая у меня голова, ах, я такая бедная. Раз это не идэя, то я уже ничего не понимаю, я бессильна, как дитя,— нет, нет, не спорьте. Я даже удивляюсь иногда: зачем у меня тело? Ну, у других я понимаю, ну, там на что-нибудь нужно; а зачем мне?

Мухоморов. Вы, Ваше Превосходительство, по моему скромному мнению,— я заранее извиняюсь, если что-нибудь не соответствует в моих словах,— вы просто дух, Ваше Превосходительство.

Ее Превосходительство. Вы так думаете? Ах, как это необыкновенно. Но я очень счастлива... Господа, позвольте вам представить нашего достоуважаемого сочлена, господина, господина...

Голова. Кто его не знает, знаем.

Мухоморов *(подсказывая)*. Мухоморов, Анатолий Наполеонович...

Ее Превосходительство. Мерси. Вот видите, какая у меня голова! Я, право, не знаю, зачем у меня самой есть имя? Это так ненужно, когда вся душа: не так ли, достоуважаемый Павел Егорович?

Голова. Карпович, Карпов сын. *(Потея.)* Не могу знать, Ваше Превосходительство. Стало быть, нужно, коли дают.

Гавриил Гавриилович *(хохочет)*. А для вывески-то? «Павел Карпович Маслобойников и сыновья, мука и бакалея».

Ее Превосходительство. Ну вот, вы все что-то понимаете и даже смеетесь, а я — как это необыкновенно — но к делу, к делу, как говорит монмари[1]. Господа, я пригласила г. Мухоморова в нашу дорогую Пушкинскую комиссию...

Голоса. Просим, просим!

Мухоморов и его жена встают и кланяются.

Ее Превосходительство. Ах, как это трогательно! Г. Мухоморов, как вам, надеюсь, известно, самый умный человек в нашем городе; его открыл нам наш дорогой барон...

Барон. Это такой русский ум!

Голоса. Известно, известно!

— Просим!

— Садись, Мухоморов.

Мухоморов *(кланяясь, рукою как бы отстраняя честь)*. Польщен! высоко польщен! Но как глас народа, то — молчу и покоряюсь. Однако не скрою... Анна, выступи! Моя супруга и равным образом моя муза.

Ее Превосходительство. Ах, как романтично! Садитесь, пожалуйста, или что? Но — уже, это прекрасно. Скажите, ведь у нашего Пушкина также была муза?

Мухоморов. Как же-с. Была.

Ее Превосходительство. Ах, господа, когда я подумаю, что тень великого Пушкина присутствует между нами, то мне становится страшно, я плачу. Не удивляйтесь, господа, я слабая женщина. Правда, когда мне пришла идэя поставить в нашем Коклюшине памятник великому Пушкину, я — вы понимаете? Но теперь, когда — вы понимаете? Но почему же мы не заседаем? Или мы уже? Прошу вас, г.г., заседайте, заседайте! Я умоляю!

[1] Mon mari — мой муж (*фр.*).

Гавриил Гаврилович. Что же, можно. Пал Карпыч, вы, как градский голова, бессменный наш председатель — открывайте.

Голова. Открывать-то, открывать... *(Вздыхает.)* А то вы бы, барон, а?

Барон. Нет, нет, просим.

Голова. Наше дело простое, торговое, и как по примеру прочих, так куда уж: с суконным рылом, да в калачный ряд. Главное, не могу я за себя поручиться: такого могу наговорить, что и до завтраго не прочихаешься... А тут еще тень, говорите. Эх! Стало быть, открывается. Звоночек бы мне...

Ее Превосходительство. Я даже боюсь вас! Иван Иванович, дайте председателю звоночек — но как, уже?

Голова. Спасибо, милый. Кому желательно?

Мгновение некоторой нерешительности.

Некто *(Исполинову, тихо)*. Вы уж ко мне поближе. Блокнотик вынули? Записывайте, записывайте, освещайте!

Еремкин. Позвольте мне, я быстро. Нет, нет, я без но. Просто надо, чтобы Павел Карпович, в ознаменование и, так сказать, в присутствии столь почтенных лиц, выяснил нам значение, если смею так выразиться, высказал свой просвещенный взгляд на творения и личность усопшего поэта. Я уже, кончил!

Гавриил Гавриилович. Да, не мешало бы выяснить, а то я что-то не понимаю. Нуте-ка, Пал Карпыч, понатужьтесь! *(Хохочет.)*

Голова. Что? шутите вы, что ли? Да как же я выясню? Нет уж, господа, ей-богу, увольте: что касается остального, так я на все согласен, ей-богу, а уж выяснить ничего не могу. Учены мы на медные деньги, я и счета правильно-то написать не умею, а вы говорите: выяснить. Ну, Пушкин и Пушкин — что ж тут неясного?

Ее Превосходительство. Ах, как стыдно! Неужели вы не знаете Пушкина?

Голова. Как не знать — знать-то я его хорошо знаю, я его окончательно знаю — как не знать! Но только зачем это выяснять? Ну, собирались, ну,

и слава богу, и тому порадоваться надо. Я, извините, от дела отбился с этим Пушкиным, а вы еще говорите, выяснять. Стало быть, ясно, коли собрались. Я же первый и три рубля взнес: стало быть, знаю, коли взнес; не знал бы, так не взносил бы. А вы, Гаврил Гаврилыч, чем усмехаться над моим убожеством да голову мне морочить, лучше взяли и сказали бы.

Гавриил Гавриилович. Позвольте, при чем я тут? Как всем известно, я вовсе уж не такой поклонник господина Пушкина, и зачем я стану говорить? Не желаю говорить, вот и все. В комиссию я согласен, потому что образованный человек, все понимаю, а говорить мне нечего. Пушкин! Ну, и ставьте памятник Пушкину, а если вы его не знаете, так это стыдно. Я, например, все наизусть знаю; не люблю — но знаю.

Еремкин. Да, стыдно, стыдно.

Некто. Нехорошо.

Барон. И даже некультурно.

Маслобойников *(звонит)*. Да что стыдного-то: я же говорю, знаю. Может, оттого, что знаю, оттого и выяснять не хочу. Не желаю выяснять. И что это, господа, привязались вы: стыдно, стыдно. Разве я прикословлю? Будь бы я прикословил, а то нет? Пушкин, так Пушкин, я против него ничего не имею. А чем препираться и председателю огорчения делать, так лучше делом займемся. Вон и энти господа, художники-то, на нас косятся, думают, чем занялись вместо дела. Верно, господа?

Фраков. Помилуйте! Нам оказана такая честь.

Маслобойников. Прожектики-то принесли? Ну, ну, сейчас, дайте о деньгах сказать. Как на мне лежит счетная часть, так должен я отчитаться... Вот тут *(показывает на боковой карман)* лежит у меня три миллиона двести тысяч, да еще не знаю, сколько нынче по почте пришло — миллион или два. Отбою нет от денег — так и жертвуют, так и жертвуют: кто копейку, кто две.

Ее Превосходительство. Три миллиона — этого хватит?

Маслобойников. Обойдемся как-нибудь. Так что же, картинки будем смотреть или что? Да-

вайте уж картинки посмотрим. Ну-ка, милый, покажь, что намалевал? Разверни, разверни.

Ф р а к о в. Вот. Пожалуйста, *(Развертывает на стене проект памятника.)*

На рисунке Пушкин изображен в короткой римской тунике с венком на голове.

Г о л о с а. Удивительно!
— Какая прелесть!
— Нет, но как классично, какая поза!
— Великолепно!

Г о л о в а. Так. Это самое и есть Пушкин? Скажи ты! А отчего же он без брюков? По-моему, брюки бы надоть.

Ф р а к о в. Извините, почтеннейший, но Минин и Пожарский...

Г о л о в а. Чудак! Так то — Минин и Пожарский: тогда и все без брюков ходили, а теперь стыдно.

Г а в р и и л   Г а в р и и л о в и ч *(хохочет)*. Вот так ляпнул городской голова!

Е е   П р е в о с х о д и т е л ь с т в о *(страдая)*. Здесь недоразумение, дорогой Павел Карпович, вы просто не знаете требований классицизма!

Художник Пиджаков насмешливо хохочет.

Г о л о в а. Я-то? Извините, Ваше Превосходительство, но как у меня самого два сына в классической прогимназии, так я эти требования вот как знаю, здесь сидят! *(Бьет себя по шее.)* Но чтобы вовсе без брюков, этого даже и не слыхал, извините, врать не стану! *(От души хохочет.)*

Е е   П р е в о с х о д и т е л ь с т в о. Барон, объясните ему, я не могу!..

Б а р о н. Но мне и самому... Конечно, я не о той части костюма, о которой, но... Да, да, несколько странно. Но, может быть, коллега, автор следующего проекта, нам что-нибудь скажет... компетентное мнение...

Ф р а к о в *(гордо)*. Я слушаю.

П и д ж а к о в. Я ему не коллега.

Б а р о н. Но почему же?

Пиджаков. Он академик. А я нет.

Фраков. Горжусь, что я академик!

Пиджаков. Горжусь, что я не академик!

Барон. Но, господа, позвольте, зачем так остро переживать? Я извиняюсь и, может быть, лучше, если сам автор проекта объяснит нам свою мысль...

Фраков. Что же тут объяснять?

Ее Превосходительство. Ах, пожалуйста, мы просим.

Фраков. Подчиняюсь приказанию Ее Превосходительства. Итак — что тако́е памятник? Памятник — это монумент. Надеюсь, никто не возражает?

Пиджаков. Я возражаю.

Фраков *(окидывая его презрительным взглядом)*. А раз монумент, то он должен быть монументален. Все временное, все слишком человеческое, все слишком обыденное и пошлое — отпадает.

Голова *(иронически)*. И брюки?

Фраков. Да-с — и брюки, как вам угодно выражаться. Моя скромная задача дать величие, а не брюки, я художник, а не портной. Брюки и на вас есть, почтеннейший!

Голова. Ну да: еще я б тебе без брюков ходить стал, чего захотел.

Гавриил Гавриилович хохочет.

Ее Превосходительство. Боже мой, что они говорят! Но где же идэя, идэя?

Голова *(звонит)*. Прошу господ собрание не ржать, тише! И вот мой сказ: голого нельзя. У нас мимо памятника девицы ходить будут, нельзя. Так — я ничего не имею: Пушкин — ну и Пушкин, а неприличия, как градский голова, допустить не могу, на мне медаль. Одень — тогда и ставь: тут тебе не спальня, а прохожая улица. А вы опять ухмыляетесь, Гаврил Гаврилыч — ну, чего вы?

Гавриил Гавриилович. Так-с. Величие! Скажите пожалуйста! Конечно, я все понимаю, тут и понимать нечего,— но почему именно Пушкин велик? Стихи писал — но, позвольте, что тут такого? Стихи всякий может писать, я сам их мальчишкой сколько написал. Наконец, ставят памятник человеку, который был убит в какой-то драке...

Некто. Смерть нехристианская, это верно. Но раз начальство ничего против такой смерти не имеет, то мы должны покориться. При всем том голизны одобрить не могу: человек умер, и бог ему судья, а не мы. *(Исполинову.)* Округлив, запишите.

Еремкин. Осмелюсь и я. Та широта, под которой находится наш город, условия сурового климата заставляют и меня присоединиться к протесту. Было бы странно, если бы зимой, в мороз до тридцати градусов и более, на площади, занесенной сугробами, возвышался голый человек! Несоответственно.

Голова. На него и глядя-то зубами заляскаешь!

Фраков. Но не могу же я его в шубу!..

Голова. А не можешь, так чего ж берешься? Какой важный! Не ты стоять будешь, а он: так чего же ты ерепенишься?

Ее Превосходительство. Боже мой, что они говорят!

Фраков *(гневно)*. Это... это папуасы! Это... это... Извиняюсь, Ваше Превосходительство, но я... позвольте мне удалиться!

Голова. Ну, ну, какой обидчивый,— и слова сказать нельзя. Посиди, посиди, не расстраивай компании. Может, другой-то еще хуже твоего: вместе ругать будем; возьми папиросочку, покури. Ну — твой черед, разворачивай... Эх, Пушкин!

Пиджаков (не совсем трезвый молодой человек, лохматый, поэтической внешности) развертывает и прикалывает свой проект. На рисунке Пушкин стоит, широко расставив ноги, одну руку положив в карман, другою — сморкаясь. Снова недоумение.

Голова. Так. Хорошо! Отчего же он за нос-то держится?

Пиджаков *(гордо)*. Сморкается.

Голова. Монумент-то? Да что вы, ей-богу, морочите, от дела отрываете?

Барон. Да, странно.

Некто. И опять-таки неприлично...

Ее Превосходительство *(страдая)*. И где же идэя?

Гавриил Гаврилович *(хохочет)*. Нет, хорошо! А то — величие! Знаю я это величие, видал великих немало: прекрасно знают, где раки зимуют,

ваши великие. Нет, хорошо. Очень хорошо! — так его и надо. Браво, молодой человек.

Пиджаков *(гордо)*. Несколько слов. И надеюсь, вы меня поймете, хотя от рождения я одинок. Мне надоело ваше лживое искусство, и я кладу ему конец! Довольно! *(Бьет кулаком по столу.)* К черту!..

Еремкин *(тихо)*. Но какой он сердитый.

Голова *(также тихо)*. Выпил, оттого и сердится. Погоди, еще бить нас с тобою будут... Эх, Пушкин!

Пиджаков. Довольно! Я больше не хочу! Я ненавижу ваши лживые города с их бездушными героями на нелепых конях. Долой старую ложь! Пушкин был велик не тем, что писал стихи, как здесь сказал какой-то идиот...

Гавриил Гавриилович. Но, позвольте, кто дал вам право!..

Пиджаков. Виноват, это только полемический прием, и лишь идиот может принимать это буквально. Пушкин велик тем, что он был — человеком! Человек — вот что такое Пушкин, и человека я вам даю. Вам, ничтожным людишкам, нужно, чтобы ваш герой сидел на коне, а мой — сморкается!

Ее Превосходительство *(робко)*. Но где же идэя?

Пиджаков. Вы не понимаете? Ха-ха — в насморке. Что, не понравилось? не любишь?

Барон. Но послушайте, дорогой мой!..

Пиджаков. Я вам не дорогой. Если у меня нет знаменитого имени, как вот у этого академического тупицы, так это не дает вам права называть меня «дорогой»!

Фраков *(вскакивая)*. Я протестую!

Пиджаков. Ну и протестуй, сморчок несчастный.

Фраков. Я ухожу!

Пиджаков. Ну и уходи ко всем чертям! Ты думаешь, что если я молчал, так это от восторга? Молчал потому, что все вы подошвы моей не стоите — вот!

Фраков выходит. Пиджаков сатанински хохочет.

Некто *(Исполинову, тихо)*. Этого не пишите!

Голова. Говорил, бить начнут.

Ее Превосходительство. Милостивый государь, вы позволяете себе такое, что я, право, не знаю. Что в этих случаях делается?

Гавриил Гавриилович *(яростно)*. Вывести надо, вот и все!

Некто. Правильно!

Пиджаков. Я все позволил и все позволяю. Выводите — я всегда готов. Я сам крикну по вашей подлой терминологии: эй, человек, выводи человека! Вы думаете, я молчал от восторга? — рожи проклятые!

Некто *(быстро)*. Этого не записывайте!

С Ее Превосходительством дурно. Ее успокаивают, пока голова осторожно выводит Пиджакова, уговаривая его.

Голова. Ну, ну, иди! Я это дело знаю: завтра проспишься, тогда и поговорим. Ну, сморкается и сморкается, чего же плакать-то?

Пиджаков *(плача)*. Ты — хам, но только ты один меня понял. Поцелуемся.

Голова. Изволь, сколько хочешь. В калошах пришел или так? Калоши-то не забудь. Ну, и сморкается, эка! Не плачь, все там будем. На извозчика-то есть? А то у меня возьми, потом отдашь. *(Выводит его в переднюю.)*

Здесь некоторое смущение и печаль о несовершенстве человеческого рода.

Барон. Какое некультурное происшествие! Молодой человек сидел так скромно,— и кто бы мог подумать!

Мухоморов. Водка-с. Вот кто наш истинный враг.

Гавриил Гавриилович. А по-моему,— дурак и больше ничего! нахал!

Некто *(Еремкину)*. А вот вы все твердите: но. Вот оно, ваше «но», молодой человек, видали? Хорошо, по-вашему?

Еремкин. Но при чем же я, господи!

Ее Превосходительство. Анатолий Наполеонович, вы умный человек, скажите мне, зачем

я спустилась на землю? И разве идэи — это так трудно и недоступно другим людям?

М у х о м о р о в. По моему скромному мнению,— вы избранная натура, Ваше Превосходительство. В нашем ли Коклюшине вам прозябать, когда самые первые столицы должны с гордостью открыть Вашему Превосходительству свои врата. Не так ли, г. журналист?

И с п о л и н о в. Безусловно! Целиком присоединяюсь!

Г о л о в а *(входя и отдуваясь)*. Отправил. Ну и народ горячий: хочет еще энтого первого догнать: изобью, говорит, как собаку. Так как же, по домам после такого скандала или продолжать будем? Надо бы уж кончать, а то совсем я от дела отбился, хоть лабаз закрывай.

Е е П р е в о с х о д и т е л ь с т в о *(слабо)*. Продолжим.

Г о л о в а *(звонит)*. Открывается и продолжается. Как прогнавши обоих, по какому планту будем памятник ставить? С ума сойдешь, ей-богу. Ты что все молчишь, Мухоморов? — подскажи. Ума у тебя, сказывают, целая палата.

М у х о м о р о в. Смею ли я?

Г о л о в а. Раз позвали, значит, смеешь. Не форси. Ну?

М у х о м о р о в *(вставая)*. Я мыслю об единообразии. Анна! ты понимаешь? Раз если Пушкин один, то на каком основании памятники должны быть различны? Мыслю так: откинув лжемудрие...

Н е к т о. Правильно!

М у х о м о р о в. ...воздвигнуть монумент по образу столичного московского. Изволили видать? Со шляпою в руке для обозначения задумчивости, и в альмавиве, то есть плаще-с. Анна, ты согласна?

М у х о м о р о в а. Согласна.

Г о л о в а. И я согласен. Верно! Лучше московского не придумаешь. Дадим этим по сотняге за беспокойство, да и приступим, благословясь... Умница ты, Мухоморов! Спасибо!

Г а в р и и л Г а в р и и л о в и ч. А я не согласен. Позвольте! какая это еще задумчивость? Раз ты стоишь на площади, так веди себя вежливо, а не за-

думывайся. Голову опустил, ни на кого глядеть не желает, скажите пожалуйста! Спроси раньше, желаю ли я на тебя глядеть, а потом и задумывайся.

Голова. Ну и гордости у вас, Гаврил Гаврилыч! А по-моему, то и хорошо, что ни на кого не глядит,— чего ему на нас глядеть, эка невидаль, подумаешь! Кончено *(звонит)*, принято подавляющим большинством. Поздравляю, Ваше Превосходительство, честь имеем!..

Ее Превосходительство. А что? — разве уже? Ах, какие вы милые. Но когда? Я так задумалась о нашем дорогом Пушкине, тень которого...

Голова. Уже, уже, поздравляем. А теперь что? В прошедший раз мы говорили, как его, этого самого Пушкина ставить,— продолжим?

Некто *(грозно шипит)*. Тсс! что вы, что вы! Тут еще пресса сидит, а вы такое!.. Страха на вас нет, Пал Карпыч!

Голова *(мгновенно потея)*. Фух, ты! Про прессу-то и забыл.

Все со страхом смотрят друг на друга, потом на Исполинова. Молчание.

Исполинов. Мне удалиться?

Голова. Вот именно: удались, миленький. Тут у нас, понимаешь, такое дело, что...

Некто. Тсс!

Все. Тсс! тсс!

Снова со страхом смотрят друг на друга. Пауза.

Голова. Ты не обижайся, голубчик...

Исполинов. Не беспокойтесь, я привык. Я удаляюсь.

Голова. А привык, так тем лучше: удались, миленький, удались. Завтра я тебе, ей-богу, все расскажу, а сейчас ступай ты от греха. Иди, иди!

Исполинов быстро уходит. Все смотрят ему вслед. Гавриил Гавриилович заглядывает в дверь.

Гавриил Гавриилович. Знаю я этих! Уйдет, да под дверью и притаится.

Барон. Лучше на ключ, Гаврил Гаврилыч.

Голова. Да и занавески бы спустить: чего на улицу светим, прохожих беспокоим!

Некто. Я и говорю: разные. Будь друг, Еремочка, опустите занавесочки-то: все спокойнее. Да и свету бы поубавить: друг дружку знаем, и в потемках не ошибемся. Гаси свечи, Гаврилыч!

Гавриил Гавриилович. Готово. Я и лампу эту погашу, зачем она! *(Гасит.)*

На сцене темнеет. Лица заговорщиков бледны.

Еремкин. Но я полагаю, что в присутствии Ее Превосходительства...

Некто *(шипит)*. Опять: но! Вот как залетите в места не столь отдаленные, тогда и покаетесь, да поздно будет! поздно!

Ее Превосходительство. Я не понимаю. Ах, как романтично. Сейчас тень, да?

Голова. Какая еще тень? Да не пугайте вы, Христа ради! Тут и так поджилки трясутся, а вы еще: тень... Я так не могу, Ваше Превосходительство,— у меня дети!

Мухоморов. Ее Превосходительство не от мира сего: чего мы, однако...

Голова. Ну да, а мы от мира сего... Потушика вон ту свечку, Гаврилыч,— чего ей коптеть. Да поближе садитесь, кружком. Ну — кажись, все ладно... можно приступить. Ну — господи благослови... чур меня, чур, перечур, тьфу!

Мухоморов *(тихо и выразительно)*. Политика?

Голова *(одним вздохом)*. Она самая. Господи, всю жизнь я этого опасался, а вот привелось на старости лет. Мука мученьская, этот ваш Пушкин.

Гавриил Гавриилович. Да, фигура.

Некто. Сказано: от тюрьмы да от сумы не отказывайся. Что есть мы? Человеки, а над нами перст. Куда направит, туда и придем, независимо от рассуждений.

Голова. Пожили, значит, побаловались, и буде. Детей мне, главное, жалко: останутся они без отца, без матери... Ну, да что уж, снявши голову, по волосам не плачут. Одним словом, навостри уши, Мухоморов, и слушай,— дело это негромкое. Навострил?

Барон. Здесь мы очень нуждаемся в ваших компетентных советах, дорогой Анатолий Наполеонович. Ваш всему городу известный ум...

Мухоморов. Готов к услугам. Способности мои преувеличены голосом народа, но насколько могу — я весь внимание. Анна, сядь ближе. Извините, но это моя муза. Анна, садись. Мы слушаем. По какой статье?

Голова. Статья-то еще неизвестна, а плохая. Тяжелая статья. Надо его ставить, а как поставить, чтобы без нарушения... понимаешь? — политика, брат! Вот, рассуди сам, голубчик. Нашу Ильинскую площадь знаешь? Гляди, я тебе пальцем покажу для вразумления: тут острог, а супротив его, на другой стороне,— богоугодное заведение, ну, для сумасшедших, желтый дом, понимаешь? А тут, с правой руки, сиротский суд, а тут слева, супротив его,— свечной завод Галкина, знаешь небось. Вот она какая география-то,— сам тут черт ногу сломает.

Мухоморов *(качая головой)*. Да, расположение затруднительное, требующее крайней осторожности. Анна, ты чувствуешь?

Голова. Ну, конечно, осторожности, а то чего же? Не маленький, чать, понимаю. Ну — и куда его задом приткнуть, спиной, понимаешь? Думали мы, думали, гадали, гадали и решили, после долгой канители, поставить его задом — к острогу: так оно никому не обидно... Ну... чего же ты молчишь?

Мухоморов. Молчу, Анна, ты также?

Анна. Я также.

Голова. О господи!..

Барон. Говорите, многоуважаемый, мы ждем. По-видимому, что-то не так?

Голова. Да говори, не мучь. По ехидству твоему вижу, что мысль имеешь: рази уж. Ну?

Мухоморов. Я только одно позволю себе спросить: что такое острог? Анна, ты меня понимаешь?

Голова. Который для арестантов, что ж тут понимать. Ну?

Мухоморов. Так-с. Для арестантов. Так-с. А что такое арестант?

Испуганное молчание.

Мухоморов. Не знаете, так я вам скажу: арестанты — это жертвы правосудия. А раз тут правосудие, то *(вставая и угрожающе вытягивая руку)* позвольте вас спросить, к кому задом вы изволите ставить господина Пушкина? Анна, слыхала?

Голова. Батюшки!

Мухоморов. Вот именно-с. К правосудию! К самим законам! А их четырнадцать томов, не считая кассационных решений! К самому, наконец *(свистящим шепотом)*, министерству юстиции! *(Садится.)*

Все взволнованы.

Гавриил Гавриилович. Вот это голова! Это ум!

Голова. Ну и политика! Воистину только как бог спас. Ну их, арестантов,— боюсь я их теперь, прокаженных! Вот история... Слушай, Мухоморов, наклонись-ка: а что если мы его к сиротскому суду задом поставим?

Мухоморов. К сиротам-то? Анна, ты слышишь? Но, конечно, если не взирать ни на сиротский суд, ни на воспитательный дом, состоящий...

Ее Превосходительство *(решительно)*. К сиротам нельзя спиной. Какая ужасная идэя! Я не позволю вам обижать моих сирот, Павел Карпыч.

Голова. Нет, нет, я уж сам вижу... И опять бог спас!

Гавриил Гавриилович. Раз спасет, а другой и не станет.

Некто. Истинно удивляюсь вам, Павел Карпович! Человек вы семейный, с достатком, а такие мысли!.. Нехорошо.

Голова. Язык мой — враг мой, сам вижу. Слова больше не скажу, клещами не вытащишь, оглоблей из меня не выбьешь! нет! А коли вы, батенька, так все понимаете, так вы и говорите; я ничего не знаю, я председатель. Кому желательно?

Еремкин. Позвольте мне!

Голова. Тебе? да ты спятил? Думаешь, двери затворены, так все тебе и можно? Помолчишь, и так хорош. Лишаю голоса, нельзя!

Некто. Ни в каком разе! Но по случаю того, что ко мне сделано обращение, и как человек много-

опытный, весьма и весьма искушенный, предложу сие. Не поставить ли нам господина Пушкина задней их половиной к дому умалишенных? Поясню. Что есть умалишенный?..

Голова. Погоди, батя, он что-то улыбается. Ты что улыбаешься, Мухоморов? Ну и язва же ты, и кто тебя сотворил такого?

Мухоморов. Так-с. Спиной к желтому дому,— а лицом куда?

Голова. Погоди, дай сообразить. Ну, лицом к острогу, стало быть.

Мухоморов. К острогу? Так-с, хорошо. А не скажут ли выше *(вставая и угрожающе вытягиваясь)* — это почему в городе Коклюшине господин Пушкин заглядывает в острог? Не есть ли сие *(свистящим шепотом)* самый предерзостный намек на неподлежащее нашим суждениям существо властей предержащих? Анна, понимаешь!

Гавриил Гавриилович. Ого! это уж в самые отдаленные, не ближе.

Голова. Да и то ежели с снисхождением.

Некто *(взволнованно)*. Ну, конечно, так оно и есть. Воистину соблазн, и как это я? Тьфу, тьфу, отыди, сатана. Намек! форменный намек, не то что прокурор, а и ребенок всякий поймет! Отрекаюсь, поспешно отрекаюсь.

Голова. Вот сам видишь, батя, каково это, а других осуждаешь! С виду-то оно легко, а как вдумаешься, так со всех сторон каторгой пахнет. Хорошо, что умный человек с нами, а без него давно бы уж поминай, как звали! Тю-тю! Двери-то закрыты?

Гавриил Гавриилович. Закрыты. А помоему, уж не так это и трудно,— только бы ум был. Позвольте мне? Свечной завод, говорите? — ну и поставьте его спиной к свечному заводу, Галкин не обидится.

Молчание. Размышляют.

Барон. Это хорошая мысль. А вы как полагаете?

Некто. Не знаю. Может, хорошая, а может, и нехорошая. Ничего не понимаю. Один соблазн и больше ничего! Не знаю-с.

Барон. Но вы изволите молчать, Анатолий Наполеонович?

Мухоморов. Молчу-с. Анна, ты понимаешь?

Голова. Ну, держись, сейчас распишет... о господи!

Мухоморов *(небрежно)*. Да и расписывать нечего, все и так ясно... Конечно, здесь есть маленькая аллегория или символ, как говорится, но для тонкого ума это не представляет затруднений. Господа,— а что такое свеча?

Подавленное молчание.

Голова. Свеча, ну, и свеча,— да не пугай ты, Христа ради!

Мухоморов. Так-с. Свеча — это свет, не правда ли? Следовательно, к кому станет задом ваш господин Пушкин? *(Поднимаясь.)* К самому министерству народного просвещения!

Молчание.

Голова. Ну и дела! Одно слово: капут. Как ни упирайся, а капут. Плакал мой лабаз! Ваше Превосходительство, помилосердствуйте, освободите — прикажите сами его поставить, как вашей душеньке угодно.

Ее Превосходительство. Но я не понимаю, или я должна? Но что? Если бы дело касалось идэи, я могла бы, но здесь... Но помогите же нам, гениальный ум! Мы умоляем!

Мухоморов. Нет уж, какое я имею право. Извольте сами.

Голова. На колени перед тобой, что ли, становиться? Помоги!

Мухоморов. Извольте сами.

Голова. Да не упирайся ты, как козел. Скажи! Тебе при твоем уме это все равно, что плюнуть, а мы мучаемся!

Барон. Мы просим вас.

Все просят.

Мухоморов. Хорошо-с. Но тогда уж позвольте не мне, а моей музе. Анна! скажи.

Ожидание, полное надежды. Маслобойников даже разинул рот.

Анна. Надо у Пушкина весь зад обсадить деревьями.

Мухоморов (*торжествующе*). Что-с? каково-с? Так по слову самого поэта и выйдет: широколистые дубравы и прочее. Анна, я тебя благодарю.

Всеобщее ликование.

Голова. Спасибо! Выручил Мухоморов! Свечи зажигайте! занавески отдергивайте! Эх, музыку хорошо бы! Урра!..

Занавес



фельетоны



МОСКВА. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Я возвращался с одним знакомым из театра, где только что закончился последний акт драмы Ростана «Сирано де Бержерак». Ночь была прекрасная, теплая; на Тверской, освещенной словно днем, кишела толпа, но не дневная, та, что бежит по своему делу, а ночная толпа, наполовину состоящая из полупьяных людей, на другую половину — из проституток. Печально было смотреть на эту привычную действительность, когда перед глазами носился еще облик рыцаря и поэта, в ушах еще звучали наивно благородные излияния чистой, непродажной и верной любви.

— Романтизм! — ворчал мой знакомый, возвращаясь к разговору о виденной драме.— На кой черт преподносят мне этого выдуманного героя, в котором ни на грош нет трезвой правды и жизни? Сотню негодяев избил! Дерется, а сам стихи сочиняет! Икать уже перед смертью начал, а сам к своей Роксане тащится и дневник происшествий за неделю передает. А любит-то, любит-то как! Гимназисты и те уже теперь так не любят, да и любил ли кто-нибудь так глупо? Постеснялся, видите ли, истину об этом красавчике рассказать и женщину самым идиотским образом счастья лишил. Герой!

— Чего же вы хотите? — спросил я.

— Правды! — резко ответил мой спутник.— Лучше одного живого негодяя мне покажите, нежели сотню выдуманных героев.

— А это вас не удовлетворяет? — спросил я, указывая на одного в достаточной степени живого, хотя и пьяного, негодяя, нагло пристававшего к какой-то женщине.— Однако не вмешаться ли нам?

— Не наше дело,— равнодушно ответил собеседник.— А насчет этого живого мерзавца вы зря мне острите. Мы не о жизни говорим, а о сцене. Давай мне на сцене отражение действительной жизни с ее страданиями и радостями, а не...

— Вы так любите действительность?

— Я люблю правду.

Старый, отчаянно старый разговор. Так спорили между собой наши отцы, тот же спор услышим мы и среди наших детей. И правы будут, пожалуй, и те и другие, ибо правда жизни есть то, чего мы хотим от нее.

Почему в эту кроткую, тихую ночь все, что видели мои глаза: улица, залитая электрическим светом, наглые лихачи, кричащие, смеющиеся и взаимно продающиеся люди казались мне какой-то невероятной, дикой и смертельно ужасной ложью, а выдуманный, не существующий театральный Сирано, на глазах публики снявший свой роковой нос,— единственной правдой жизни?

Я знаю, что теперь нет поэтов, которые во время боя сочиняют стихи, правда, их часто бьют, но уже после того, как они сочинили. Я знаю, что поэты никогда не бросают на сцену кошелька, если только это не открытая сцена Омона или «Яра», и кошелек при этом никогда не бывает последним: хорошему поэту редакция никогда не откажет в авансе. Я знаю, что поэты никогда не бывают так голодны, как Сирано, и так умеренны, как он, и если целуют руки у прислужниц, то только у своих и притом в отсутствие жены. Знаю я, наконец, что поэты никогда не говорят правды в лицо сильным мира сего, и если их бьют, как и Сирано, по голове, то только за неправду.

И любят люди не так, как любил Сирано,— я знаю и это. Они не гонят со сцены наглого актера, осмелившегося любострастно взглянуть на их возлюбленную, а или спокойно отдают ему свое сокровище, или, быть может, и гадят, но только из-за угла, а потом скопом набрасываются на него и бьют. Если женщина их не любит, они не устраивают счастье ее с своим противником, но или обвиняют его в краже портсигара, или убивают: ее, соперника, даже себя; наконец, пишут анонимные письма и доно-

сы. Не умалчивают они и о недостатках своего соперника: если он умен, доказывают его глупость, если он дурак, изображают его безнадежным идиотом. Иногда поэты и пишут для дураков любовные письма, но не дешевле, чем за рюмку водки — большую десятикопеечную. Никто, наконец, не пользуется красноречием для любви: его продают в суде, в книге, на кафедре, возлюбленную же молча обнимают и целуют: она сама и догадывается, что это значит.

Умирать же так, как умер Сирано, не только никто не умирает, посчитает за неприличие. Во-первых, умирают всегда дома, а не идут для этого в гости. Умирать начинают не за полчаса до смерти, а лет за тридцать по меньшей мере. Последнее, что перестало жить в Сирано, было его великое сердце — у настоящих людей оно умирает первым, так как и мало, и худосочно, да и излишне, говоря по правде. Страдая от боли, о боли именно и кричат, и если рассказывают анекдоты, как Сирано, то в непременной связи с собственным геморроем. Умирая, наконец, не вызывают на бой самое грозную смерть, а просят послать скорее за доктором, и если поднимают руку, то вооруженную не непобедимой шпагой, а пером, чтобы подписать завещание.

Все это я знаю, знаю вполне достаточно для того, чтобы жить, любить и умереть как настоящему человеку. Но почему я не верю во все это и правдой считаю то, чего никогда не бывает? Почему для меня убедительнее всех социологических трактатов и грошовой психологической мудрости эта неестественная смерть Сирано? Сейчас, в эту минуту, я вижу его, предательски лишенного жизни, но не мужества, вижу его встречающим эту всем страшную, бессмысленную смерть на ногах, как подобает мужчине, более гордый, чем сама эта царица подземного царства, встречает он ее. Колеблются старые ноги, дрожит рука, уже стиснутая железным объятием смерти, но шпага, орошенная черной кровью негодяев, сверкает победным светом и до последнего движения не изменяет великому сердцу, которому изменило все: счастье, любовь и сама жизнь.

Дорогу гасконским дворянам!

КОГДА МЫ, ЖИВЫЕ, ЕДИМ ПОРОСЕНКА

Завтра рождество — большой праздник, и современный человек, живущий эмоциями, смутно и радостно волнуется. Не отдохновение нужно для него, как оно ни дорого для измученного, взвинченного организма — русский праздник требует от своего прозелита упорного труда: для ног, ушей, глаз и желудка. Важны для него те праздничные настроения, которые стихийно охватывают массу и сближают его, современного человека, со всем давно им позабытым, но дорогим и милым. Та паутина, которая аккуратно два раза в год сметается со всех русских домов — под рождество и под пасху,— имеет, если хотите, символический смысл, и не только стены освобождаются от нее, но и душа.

Современный человек прекрасно сознает, что живет он вовсе не так, как бы это было желательно, что каждый шаг его, в какую бы сторону он ни был сделан, удаляет его от желательного. Он очень добр, современный человек, и хорошо понимает, что такое добродетель; и если ему, невзначай, и приходится проглотить карася-идеалиста, то у него во рту надолго появляется скверный вкус, а иногда и нравственная изжога. Он очень чувствителен к чужому горю и в такой высокой степени отзывчив, что принужден затыкать уши полфунтом ваты и закрывать глаза, если возле него кто-нибудь закричит истошным голосом «караул» или ревмя заревет от обиды. Он плачет кровавыми слезами, когда ест злодейски умерщвленного поросенка, и, надевая на бал сапоги, никогда не преминет вспомнить добрым и жалостливым словом теленка, из шкуры которого сапоги сделаны. Даже птицы в вольном воздухе пользуются его покровительством и защитой, и ничто так не может возмутить его, как жестокое и неделикатное обращение с невинным воробьем. До совершенства развив в себе способность к тончайшим ощущениям, он с поразительной ясностью представляет себе угнетенное состояние судака, из которого приготовляют котлеты, и с наслаждением мечтает о тех блаженных

временах, когда личность судака будет неприкосновенна, а воробей приобретет возможность защищать свои права по суду. Вообще, при всяком удобном случае он энергично высказывается против существования на земле несчастных, кто бы они ни были, и совершенно искренно желает упразднения болезней, голода, передвижения на конке и всего остального, что составляет темные пятна на общей мировой картине.

И эта постоянная двойственность между плачем по судаке и аппетитным пожиранием этого самого оплакиваемого судака весьма явственно ощущается им и глубоко печалит его. Между его устами и чашей всегда остается пространство, и в конце концов является прямо-таки необходимым хотя бы путем фикции уничтожить его и как следует, допьяна напиться любовью, жалостью и широкой человечностью. Нет на свете такого негодяя, у которого не было бы прелестного детства, и нет такого детства, в котором весь пышный свет его не собирался бы ослепительными лучами вокруг какого-нибудь излюбленного момента. Такими моментами служат преимущественно большие праздники,— и полнота и прелесть чистых впечатлений бывают так велики, что способны надолго, если не на всю жизнь, озарять скорбный путь современного двойственника и манить к себе. Хочется снять с себя позор двойственного лицемерного существования, во что бы то ни стало хочется быть обманутым,— старинное желание мира, узаконенное давностью и тем, что изложено оно на латинском языке, желание, препятствовать которому станет только безумный или злой человек, а всякий благоразумный с готовностью поддержит его и разделит.

— Обманите нас. Пожалуйста, обманите,— криком кричит современный мир, протягивая руки к жареной утке и белому молочному поросенку.

Да, именно поросенку. Глубоко заблуждается тот, кто в поросенке видит только поросенка, а внутреннее содержание его измеряет количеством каши. Поросенок — это символ; поросенок — это реальное воплощение идеальнейших стремлений человеческой натуры; пока я вижу поросенка, я глубоко спокоен за все возвышенное и прекрасное. Если бы я был поэтом, я написал бы оду в честь поросенка или симво-

лическую драму под заглавием «Когда мы живые, едим поросенка» — и уже, конечно, сам бы поторопился растолковать ее, пока еще не утрачена хоть малейшая надежда быть понятым.

Не думайте, что я шучу или непочтительно смеюсь над означенным юным представителем древнего рода свиней. Я беру его только как типичный образчик всего того, что с формальной стороны составляет понятие праздника и что недостаточно, мне кажется, было оценено при измерении глубин человеческой души. С таким же правом я мог бы говорить о визитных карточках, которые тяжкой грудой непонятой человеческой любви гнут плечи почтальонов; о трижды осмеянных визитах, о фраках, извозчиках, «чаях» и обо всем прочем, что помогает миру быть добросовестно обманутым. И всей силой моего пера я восстаю против легкомысленных голосов, неблагоразумно требующих уничтожения всей этой картинной стороны праздников и неосновательно полагающих, что визиты или визитные карточки свободно могут быть заменены взносом в пользу бедных. Это — пагубное заблуждение, в основе подрывающее самую идею праздника. Из сотни карточек, которые я получу, быть может, только на двух-трех глаза мои остановятся с истинным удовольствием, и я с радостью подумаю, что вот этот человек вспомнил меня,— остальные карточки вызовут усмешку, а может быть, даже и грусть, особенно карточки кредиторов, которыми я желал бы навсегда быть забытым. И из сотни тех карточек, которые разошлю я, быть может, несколько штук вызовут сочувственное замечание, остальные же будут встречены полупренебрежительным вопросом:

— Кто это прислал? Ах, да...

И при всем том я был бы искренне огорчен, если бы не получил ни одной карточки. Мне показалось бы, что я забыт всем миром, и мне стало бы очень грустно: ведь даже и эта копеечно-марочная связь отпугивает призрак одиночества, которым болеют современные люди. И я положительно не верю в искренность тех, кто смеется над карточками, визитами и поросенком: просто им немного совестно подобных «пустяков», за которыми чувствуется пробудившаяся детская вера.

Праздник должен быть резко выделен из той полосы жизни, что зовется буднями, и все, что клонится к этому, вызывает во мне сочувствие. Пусть звонят колокола; пусть люди улыбаются друг другу и рассказывают одно только хорошее; пусть весь мир приоденется по-праздничному,— я хочу быть обманутым. Я знаю, что Иван Иванович Икс берет в год 360% и что сюртук его с левой стороны отдулся не от того, что под ним бьется большое сердце, а просто от связки опротестованных векселей,— но если Иван Иванович улыбнется, я с удовольствием признаю в нем брата. Мне доподлинно известно, что в статистике несчастных людей ничего не изменится между сегодняшним днем и завтрашним, но если талантливый Андрон Андроныч Дзет без особенной натяжки расскажет мне о том, как трое несчастных получили неожиданно в подарок по гусю и от того стали счастливы, я с удовольствием прочту его рассказ и на слово поверю, что, действительно, тремя несчастными стало меньше. Поверю с тем большей охотой, что гусь уже подарен, и мне это ровно ничего не стоит. Каждый день я вижу мир таким, как он есть, и это мне страшно надоело. Теперь на три дня я хочу видеть мир таким, каким он мог бы быть, и заранее приношу благодарность всем тем, кто так или иначе будет содействовать иллюзии.

Когда я впервые прочел о том, что Марс делает попытки вступить в сношения с Землей и Земля намерена отвечать ему, мне в первую минуту показалось это очень целесообразным со стороны Земли. Есть веские основания думать, что на Марсе давно уже введено всеобщее обучение, а при этом условии не было ничего мудреного, если бы земной газетный лист проник в марсианскую деревню — и компрометировал бы Землю в глазах тамошних жителей. Но потом я понял, что этой беды довольно легко избегнуть: для этого стоит только посылать ежедневно по одному рождественскому номеру русских газет,— если после этого с завтрашнего дня не начнется эмиграция марсиан на Землю, то, стало быть, они ничего не смыслят в хорошем. Если уж это не хорошо — так чего же им нужно?

Опять-таки я не шучу. Как поросенок, как визит и карточки — так же вполне необходимым и целесообразным представляется мне существование особого рождественского номера газеты. Праздник не только был бы не полон, но его совсем бы не было, если бы, заглянувши утром в газету, я, по обыкновению, наткнулся бы на всякую гадость. Как человек, у которого в жилах течет не молоко, а кровь, я не в силах остаться равнодушным к несчастью ближнего и дальнего, и в то же время — имею же право я на отдых. И я прошу, я требую, чтобы меня обманули. Скройте от меня все темное — от него давно уже мраком застилаются мои глаза. Дайте мне светлое: дайте мне радостное,— я жажду его всей моей наболевшей совестью современного человека. Выдумайте его!

И это будет обманом, но не ложью, ибо выдумать хорошее — значит уже тем самым создать его. Мы давно и далеко ушли от непосредственного познания жизни и людей, и знаем их такими, какими они отражаются в глазах излюбленных наших писателей и художников. Человек, которого мы встречаем на улице, представляет для нас меньшую реальность, нежели тот же человек, изображенный в книге, и, прежде чем преисполниться к человеку жалостью или любовью, мы должны отдать его для соответствующей обработки писателю. Это, конечно, дурно, но не особенно, ввиду значительного количества писателей, а затем — это неотвратимо, как бы мы ни сердились. На днях характерный в этом отношении случай произошел в Петербурге. В одну из тамошних газет было прислано письмо с просьбой о помощи, и составлено оно было достаточно художественно.

«Милая и дорогая редакция,— писала якобы двенадцатилетняя девочка,— бабушка очень просит, нельзя ли напечатать в милой газете и попросить добрых людей помочь немножечко... Бабушка очень старенькая: глазки плохо видят, ушки не слышат, спинка совсем согнулась...»

И добрые люди, спокойно проходившие, наверно, мимо тысячи искривленных бабушек, отозвались на художественное письмо — и даже ночью к маленько-

му домику подвозились кульки и кулечки. А потом оказалось, что бабушка эта — типичная пройдоха.

Так обманите же нас получше — миленькие писатели!

О РОССИЙСКОМ ИНТЕЛЛИГЕНТЕ

Самый простой и верный способ поймать воробья — это насыпать воробью соли на хвост. По заключению многих ученых, исследовавших настоящий вопрос, во всей его глубине и широте, соль, будучи обыкновенно только соленой, в сочетании с воробьиным хвостом приобретает совершенно особые, даже несколько загадочные свойства. Воробей положительно не выносит, когда на его хвост попала хоть крупица соли — это факт. Воробей остается вертлявым, жизнерадостным, болтливым, но лишь до той минуты, пока его не коснулась соль. С этой же минуты характер воробья резко меняется к худшему: крылышки воробья бессильно опускаются, головка нахохливается, и глазки смотрят так печально, как будто все надежды на скромное воробьиное счастье утеряны им безвозвратно. В этом жалком состоянии воробья можно брать голыми руками, без всяких приспособлений, и делать с ним все, что заблагорассудится: то ли изготовить из него паштет, который, по слухам, бывает очень вкусен, то ли попросту взять его за ножки и головкой об камешек — тюк!

Не нужно, однако, думать, что воробей — единственный представитель животного мира, в жизни которого соль имеет столь решительное и пагубное значение. Всем, кому, хотя бы издали, приходилось наблюдать за разновидностью hominis известной под именем интеллигента, приходится убедиться, что самый простой и испытанный способ поймать интеллигента — это ему насыпать соли на хвост. По отношению к интеллигенту этот способ даже вернее, так как за воробьем приходится для настоящей операции усиленно и долго гоняться, интеллигент же сам с пол-

ным радушием подставляет необходимую для этой операции часть тела. И если даже в нужный момент он парил в высших сферах, где достать его было затруднительно, то стоит только приветливо крикнуть:

— Господин интеллигент, пожалуйте — соль готова!

Интеллигент сейчас же комком упадет к вашим ногам, жалко улыбнется и все, что требуется для операции, в наличности представит. Мозг заправского российского интеллигента, словно цепами охаживаемый с самого раннего детства, обладает поразительной гибкостью, податливостью и мягкостью, не всегда доходящей до степени размягченности, но часто стоящей на границе с ней. С самого раннего детства, когда интеллигент был еще только малосмысленным мальчуганом, подобным всем иным мальчуганам на свете, ему начинают внушать разные правила: правила грамматические, правила умножения и деления, правила благопристойности, правила приличия и все прочие бесчисленные правила вплоть до того, каким манером подобает сморкаться с наименьшей затратой энергии. И внушают, внушают, внушают... Думать и отыскивать самому положительно нет времени, да нет и надобности: на всякий случай жизни существует вполне определенное правило. В школе это правило печатное — в книжке прямо сказано: воспрещается употреблять спиртные напитки и табак, посещать рестораны, театры и проч.; дома это правило словесное, а иногда и писаное; в книжке, выбранной для чтения благоразумным родителем, опять печатное. Целый дремучий лес правил, в которых безысходно бьется интеллигентная заблудшая душа. Черт их знает, откуда эти правила взялись, кто их выдумал, создал, укрепил и ввел в жизнь, но будто частоколом окружают они — податься некуда: и тут и там о неожиданное правило лоб расшибешь. И роль на долю юного интеллигента выпадает самая страдательная. Правила сталкиваются друг с другом, правила на кулачки дерутся, правила фискалят, правила в карцере сидят,— все правила. Полное торжество исконного начала «magister dixit» [1], причем роль учи-

[1] Так сказал учитель *(лат.)*.

теля может выполнить решительно всякий, у кого есть хоть малый запас соли.

Попал я недавно в комнатку к одному гимназисту и над дверью прочел углем написанное: «Ты знаешь, каков ты сам, а что о тебе думают другие, наплевать». Последнее слово заканчивалось десятком энергичнейших восклицательных знаков, и все изречение в общем представляло правило, которое гимназист выкопал откуда-то для себя. Посмотрел на него: ходит гоголем, плюет через зубы и говорит грубости. Точно ли нужно так-таки плевать на людское мнение, ему, конечно, неизвестно, но magister dixit и баста. Да хорошо еще, что правило попалось такое жизнерадостное, а будь похуже — и похуже исполнил бы этот юнейший воробей, посыпанный солью.

Но dixit magister — не одним только гимназистам: и сами премудрые папаши их прислушиваются к его властному голосу и неуклонно требуемое творят. Бог знает, до чего доходит власть слов над мягким мозгом и к каким странностям и нелепостям она приводит. Странно сказать — но какое-нибудь остроумное изречение, с силой и чувством написанное стихотворение, художественно и талантливо вымышленный образ какого-нибудь героя или страдальца способен влиять и определять настроение не только отдельных личностей, но целого поколения. Иногда такой эффект способно создать даже одно, не особенно ядовитое слово. Я знал одного интеллигента, далеко не метафизика, который случайно наткнулся у Толстого на проклятый вопрос: к чему, т. е. к чему мы живем,— и с этого дня ошалел так основательно, что только холодная вода могла привести его к нормальному и допускаемому в обществе виду. Знал я и другого интеллигента, комика, который долго был человеком трезвенного жития, а потом чуть не спился, и только потому, что случайно услыхал понравившуюся ему песенку:

Рассудок твердит укоризну,
Но поздно — меня на спасти:
Над сердцем справляю я тризну,
А там... хоть трава не расти!

Споет, мрачно улыбнется — и выпьет. Споет, горько заплачет — и выпьет. Да так вплоть до белой го-

рячки. Да что говорить об отдельных лицах, когда еще не сошла со сцены целая порода нытиков, созданных благозвучными стенаниями Надсона, и кишмя кишат герои чеховских унылых настроений.

(Я не стану говорить о том, что известно: о тех внешних условиях, которые усиливают гипноз или мрачных, или веселых фраз. Во всяком случае, для той среды, о которой идет речь, условия эти не имеют решающего значения и сами в значительной степени усиливаются и даже создаются фразами.)

Недавно на свет выскочила еще одна из таких фраз — и не новая по мысли, и не особо сильная по выражению, но проникнутая настроением, легко заражающим предрасположенные мозги.

«Серая жизнь, скучная жизнь — серая с пятнами крови на ней» — такова эта фраза. Действительно, и красиво, и образно, и есть что-то такое этакое,— одним словом, нет ничего мудреного, что даже такой бодрый литератор, как NN, поддался гипнотизирующему влиянию красивой иностранной фразы и слегка всплакнул об унылости и серости жизни. И будет вполне естественно, если сотни и тысячи глаз с мрачным удовольствием остановятся на этой фразе, и такое же количество мозгов изобразит письменно ли, устно ли или даже в молчанку, соответствующий плач о жизни.

...«Серая жизнь, скучная жизнь — серая с пятнами крови на ней». Действительно, недурно. Но все-таки — почему же она именно серая. И скучная. И действительно ли она такова? И правда ли, что глаз не видит иного сочетания цветов, кроме этой серой краски с кровавыми на ней пятнами?

Нет, не правда. Лживая эта фраза и дурная, хотя поэзии и красоты от нее хоть отбавляй. Лжива она прежде всего потому, что в дурное, вероятно, катаральное настроение одного человека или группы лиц она окрашивает бесконечно пеструю, яркую и интересную жизнь, и, что хуже всего, на нее же, на оклеветанную жизнь, взваливает вину за собственную дряблость и никчемность.

В трагическом и горько-недоуменном положении находится российский «интеллигент» — явление, поистине достойное жалости и смеха и, во всяком слу-

чае, серьезного изучения, как нечто безмерно своеобразное и в истории небывалое. Оторванный от народной трудящейся массы, вознесенный куда-то в беспредельную высь, объевшийся до расстройства желудка хлебом духовным, опившийся уксусом и желчью своего бесцельного и беспутного существования, количественно ничтожный, но мнящий себя единственным, тощий, как фараонова корова, и ненасытный, как она,— сидит он в какой-то чудной бане и во всю мочь парится вениками вечного и дикого покаяния. Владения его огромны: с севера они ограничиваются Иваном Ивановичем, с востока Петром Ивановичем, с прочих сторон, какие полагаются в географии, доктором таким-то и инженером таким-то с семействами. В пределах означенного горизонта интеллигент решает мировые вопросы и вопросы о существовании России, ставит для себя задачи и неблагополучно оные разрешает; впадает в отчаяние, если сосед справа загрустил, и предсказывает антихриста; благодушно смеется и жертвует на пользу общественную перспективы, ежели сосед слева встал в отличном настроении. И уже во всяком разе кончину мира, а в частности — России, ставит в полную зависимость от собственного пульса и самочувствия. А в ожидании кончины — дрязги на почве возвышенных стремлений, звучное взаимозаушение во имя идеала, благожелательное ничегонеделание в целях духовного совершенствования — и хандра, хандра...

«Скучная жизнь» — возмутительнейшая фраза, ярко определяющая всю наивность самомнения, всю нелепость существования заправского интеллигента. Ну, назови ее серой — это дело глаза и ни к чему не обязывает; укажи на кровавые пятна — это будет довольно похоже на правду и содержит в себе кое-что обязательное... но скучная! Музыка для него играет, театр для него двери настежь открывает — пожалуйте. Книжки для него печатаются, работы разумной, хорошей предлагается ему хоть до отвалу; больные, обездоленные, униженные и оскорбленные ждут его не дождутся,— а он кривляется перед зеркалом и не без красивости хнычет: скучная жизнь, серая жизнь. Возле него, возле самых ушей его раздаются призывные голоса: людей, людей давайте, потому что вот

оно, есть хорошее дело, да делать его некому,— а он, обратившись лицом к печальнейшему Ивану Ивановичу, тоскливым голосом нудит:

— И зачем мы! И к чему мы!

А внизу — далеко внизу — пропастью целой отделенная от этой бесталанной своей головушки, живет и могуче дышит народная масса. Для нас — она спит, для нас дыхание ее — лишь признак бессмысленной силы. Но разве мы знаем, о чем грезит она? А узнай — не нашлось бы кой-чего веселого и бодрого в этих грезах, менее туманных, чем это кажется сверху?

...«Скучная жизнь, серая жизнь — серая с пятнами крови на ней» — на сколько воробьиных хвостов хватит соли в этой великолепнейшей фразе!

Впрочем, сейчас настроение повышается. Наступают времена Максима Горького, бодрейшего из бодрых, и вместе с ними замечается неудержимое падение курса на хандру и представителей оной.

В этом есть даже что-то трагическое.

До самого последнего времени человек хандры и утонченно тоскливых чеховских настроений представляет собой всюду personam gratam[1]. Здоровый смех, дерзкий и прямой язык, бодрая жизнерадостность представлялись проявлением вульгарности натуры и вызывали прискорбно-насмешливую улыбку. Чтобы иметь успех где бы то ни было: в печати, в обществе, у знакомых и, наконец, у женщин, необходимо было обладать поэтической внешностью мокрой курицы и таким запасом хандры, не имеющей ни начала, ни конца, чтобы даже наименее чувствительные собаки начинали выть при приближении героя. И он входил, развинченный, бледный, томный, подернутый «дымкой грусти», и говорил, показывая в окно:

— Пролетела галка, за ней другая. И много пролетело галок, и я смотрел на них, и печально светило заходящее солнце, и черные тени падали на землю. О, боже!

И все слушатели представляли себе, как пролетела одна галка, а за ней другая, и становилось так

[1] Лицо, пользующееся особым вниманием (лат.).

грустно. Потом приходил другой настроенник и сообщал, что пробежала собака, а за ней другая собака, и становилось еще грустнее, еще тоскливее. Жизнь, в которой галки летают, а собаки бегают, теряла свой смысл, и что бы ни делали люди и животные, все это примерялось на «болван» хандры, не имеющей ни начала, ни конца. Вырабатывались такие ловкачи, что даже свой ночной храп переложили в музыкальную элегию, и в свистении их интеллигентного носа слышалось что-то такое печальное, грустно-красивое и безнадежно-одинокое. И таким людям был первый кусок и место в красном углу, и чем нуднее и универсальнее было их нытье, тем большим почетом и любовью окружали их. Создавалась особая манера говорить — жалостная, тихая, причем, редкая улыбка показывалась, как луч солнца среди туч, после которого, как известно, становится еще грустнее. И всю природу запрягли в эту упряжку безначальной и бесконечной грусти, и все листья на всех деревьях в России умели шелестеть только о печальном. Все кудрявые березки стали плакучими ивами, все дубы — дубинами,— в этом есть что-то непонятно-печальное,— и когда гимназист шел на свидание, в его уме складывались такие безнадежно унылые фразы, которыми он несказанно огорошит предмет своей грустно-одинокой любви:

— Мне отдали сегодня балльник, и в нем одиноко стояла печальная единица. Направо и налево раскидывались белые поля, и единица стояла, и я думал о других балльниках с белыми полями и других одиноких единицах. Грустно шелестели листы учебников, и в безнадежной апатии свисали со стула фалды учителя, а где-то далеко кричал француз: «вон, мальчишка».

И кто не умел грустить сам, тот непременно обзаводился грустящими друзьями и кормил их, а они грустили.

И вот — и вот внезапно рухнул трон всех грустящих. Положение трагическое для людей, и мыслительную свою и говорильную машину навсегда, приспособивших к меланхолии. Чувствует, что надо говорить что-то такое этакое веселое, бодрое, а как оно говорится, не знает. Попробует начать по-старому:

— Пролетела галка...

И как потом галку он ни позорит, а грусти настоящей уже не получает. Но и веселья нет. Так, ни к чему. Попробует на природу сослаться: был я, дескать, сегодня в парке и видел, как деревья наклонились к друг другу и о чем-то грустно шептались...

— А почему вы знаете, что грустно?

Скверное положение. В душе пустота, на языке дребедень; и хочется бодрого, а силушки у него нет. А тут бок о бок вырастает молодое, зеленое, шумное и бодрое, и просит жизни и работы. Скверное положение!

УТЕНОК



Неоднократно от многих лиц я слышал историю о Курице, высидевшей утенка, и пришел к выводу, что сведения об этом печальном случае получены или из не совсем надежного источника, или же авторы рассказов, увлекаемые художественным чувством, а может быть и какими-нибудь предосудительными соображениями личного свойства, заведомо допустили весьма значительные уклонения от истины.

Я не хочу употреблять слово «искажение истины», как свидетельствующее о несомненной наличности злого умысла, но, во всяком случае, протестую против той роли, которая навязывалась рассказчиками несчастной Курице, и против той смехотворной окраски, которая придавалась всему этому глубоко-трагическому факту.

По обстоятельствам, говорить о которых здесь не место, я очень близко стоял к Курице и ее семейству в момент описываемого случая, а с супругом ее Петром Петровичем Петухом и до сих пор нахожусь в очень хороших, даже дружеских отношениях.

Утенок Вася, тот, что впоследствии так неожиданно поплыл, вырос почти на моих глазах; я же один из всех знакомых провожал его к поварскому столу,— таким образом, право мое на восстановление

рассказа в его единственно истинной редакции едва ли может быть оспариваемо.

Газеты, когда-либо писавшие о Курице и утенке, покорнейше прошу не отказать в перепечатке нижеследующих строк, за правдивость которых я ручаюсь.

Жила Курица со своим супругом г. Петухом на заднем дворе одного помещичьего дома.

То, что моего уважаемого друга, Петра Петровича, я поставил на втором месте после его супруги, объясняется характером их семейной обстановки, далекой от идеала. При всех своих симпатичных свойствах: добродушии, молодчестве и галантности, заставлявшей Петра Петровича делиться с ближним каждым найденным зерном, он был далек от идеала истинного семьянина, отца и супруга. Не придавая значения излишеству в спиртных напитках, которому предавался Петр Петрович, как весьма распространенному до введения винной монополии пороку, я не могу вместе с тем отнестись с одобрением к его азартной картежной игре. Под предлогом создания литературно-художественного кружка, в котором литераторы, а равно мыслящие интеллигенты могли бы предаваться удовольствию литературных бесед и пению (сам Петр Петрович обладал порядочным тенором), он устроил нечто подобное картежному дому, где и играл по целым ночам в железную дорогу.

Предоставляю читателю самому судить о тех муках, которые претерпевала в одиночестве его супруга, терзаемая мыслью как о возможной утрате их состояния, так и о целости прекрасных бакенбард Петра Петровича.

Наиболее однако крупным недостатком моего уважаемого друга была полная неспособность отличить чужую жену от своей: всех жен он считал своими. Не раз в горьких слезах жена его жаловалась мне на его постоянные неверности и с грустной улыбкой указывала, что совершались они Петром Петровичем с самым бравым и независимым видом, словно он был не Петухом в почтенных годах, а опереточным артистом.

В результате такого поведения главы семьи — хозяйство, а также воспитание детей всей своей тяжестью легло на Курицу.

Женщина малообразованная, имевшая обо всем мире, а также о звездах, превратные понятия, она была в то же время очень энергична и, воодушевляемая любовью, нескольких из детей закормила насмерть, а из-за других дралась с учителями. Каждая, даже пустая болезнь ребенка волновала ее и заставляла проводить бессонные ночи, и к тому времени, когда Петр Петрович только еще распустился пышным цветом для новых побед и в отношении чужих жен проявлял особую предприимчивость, она представляла собой измученное, нервное существо, дрожащее от каждого шороха.

Утенок Вася с самого начала привлекал к себе ее внимание, как некоторой особенностью в цвете пушка и развалистой, молодецкой походкой, так и чем-то загадочным в его поведении. Материнское сердце, обладающее дивной способностью провидения, предчувствовало какое-то неминучее горе, которое грозит Васе, и оттого с особенной любовью привязалось к нему.

Когда на дворе случался по какому-нибудь поводу шум: дрались ли собаки из-за кости или молоденькая, вероломно обманутая курочка билась в жестокой истерике,— Курица бежала на шум и тревожно всех расспрашивала:

— Не с Васей ли моим что случилось?

Когда Вася впервые поплыл, то, вопреки ходячему мнению, случилось это с ним не на реке, а в небольшой луже за ракитой; присутствовавшая тут же мать его вовсе не испугалась, а только безмерно удивилась.

— Что это ты делаешь? — спросила она, когда утенок высунул из воды свою маленькую блестящую головку.

— Плаваю, мамаша.

Курица покачала головой, но ничего не сказала, а ночью, когда все дети спали, сообщила Петру Петровичу о Васиных странных наклонностях и поступках.

— Ну, что там такое! — недовольно сказал Петр Петрович.

Он был в небольшом выигрыше, с удачным результатом читал одной знакомой курочке стихи Верлена, и теперь хотел только одного — спать.

— Да, нехорошо с нашим Васей, Петр Петрович. Плавает.

— Что такое?

— Плавает, говорю. Сядет на воду — и плавает.

— Ну так что же, что плавает? Тебе-то что! Спи! —И Петр Петрович затянул пленками свои бесстыжие глаза.

— А это ничего: плавать-то?— допрашивала значительно успокоенная Курица; она все еще верила в авторитет мужа в вопросах высшего порядка.

— Отвяжись!

— Боюсь, не простудился бы,— нерешительно настаивала Курица.

Петр Петрович рассердился:

— Эти бабы, черт возьми! Дать им волю, так они всякого в мокрую курицу превратят. Ну, плавает, и пусть плавает. Я и сам когда-то плавал,— прихвастнул Петр Петрович: — а видишь, какой молодец вышел!

Курица вздохнула, но Вася с той поры приобрел полную свободу плавать, сколько угодно.

Я и сам не раз присутствовал при его упражнениях и с удовольствием любовался его резвостью и грацией. Он нырял, взбрызгивая воду, копался носом в тине и только на одно жаловался: лужа слишком мала, разойтись негде. Но вскоре устроилось и это: как-то в клубе я встретил Петра Петровича, и он с гордостью мне сообщил:

— Мой-то, мой-то — каков молодец!

— А что такое?

— На реке уже плавает. Ей-богу! Эх, кабы не года мои, сам бы поплыл: укатали сивку крутые горки.

Если и укатало что-нибудь Петра Петровича, так вовсе не горка, а «железная дорога», но я, конечно, ничего не сказал об этом и только порадовался за Васю.

Юношей он был хорошим, и я многого ожидал от него.

Как видит читатель, здесь не было ничего похожего на распространенные об этом случае рассказы. Ни неожиданности, ни страха, ни суетливого метания Курицы по берегу в виду беззаботно плавающего утенка,— всего, что придает такой несправедливо-комичсский характер этой истории.

Вася плавал, а родители любовались им, и только разве мать немного беспокоилась в отношении простуды. Да и то, когда ей удалось сделать для Васи небольшой набрюшник, она успокоилась и на этот счет.

Несчастье началось только с того момента, когда вмешался Индюк, о котором почему-то все рассказы тщательно умалчивают.

Не спорю, что важный вид этой птицы, ее сварливый характер и дурацкая самоуверенность отбивают охоту каким бы то ни было путем касаться ее; но когда речь идет о таком важном вопросе, как репутация Курицы,— все подобные соображения и страхи должны быть откинуты. Несправедливо и жестоко взводить обвинения в рутине и косности на Курицу, когда вся вина ее только в слабости ее материнского естества, а истинным погубителем как Васи, так и ее самой является самодовольно-ограниченный Индюк.

Не думайте, что у меня с Индюком есть какие-нибудь свои личные счеты,— правда, я не выношу этой птицы, ее грубый и глупый крик приводит меня в негодование, но чтобы у нас были какие-нибудь личности — о, нет!

Однажды, в прекрасное летнее утро, когда Вася плавал, Петр Петрович неутомимо упражнялся в адюльтере, а Курица спокойно и весело штопала его старые носки,— в квартиру явился господин Индюк.

Впоследствии Курица рассказывала, что сердце ее в этот момент дрогнуло от предчувствия, но как бы то ни было, она радушно встретила неприятного гостя и предложила ему папирос.

— Не курю,— сухо ответил г. Индюк.— Не курю, не пью водки, ничего не читаю, даже скаковых афиш; никого не люблю, ничего не отрицаю и со-вер-шенно,— он повысил голос и басом буркнул: — не мыслю!

— Да что вы! — умилилась Курица.— Но, может быть, чаю...

— Не пью! Я даже...— и г. Индюк, наклонившись к уху Курицы, что-то шепнул ей и самодовольно расхохотался.— Но к делу, сударыня, к делу. Я пришел поговорить о вашем сыне.

— Что с ним? — ужаснулась Курица и всплеснула руками.— Умер?

— К сожалению, нет. Он жив, но он — плавает.

— Только-то? — облегченно вздохнула Курица.— Ну, и пусть плавает.

— Что я слышу, сударыня! — в свою очередь, ужаснулся Индюк.— Да понимаете ли вы значение этого слова: пла-ва-ет? Садится на воду и — пла-ва-ет!

— Пускай! — беззаботно махнула рукой Курица.

— То есть как «пускай»? Н-не понимаю. Скажите, вы сами когда-нибудь — плавали? Ваш муж — плавал? Да что ваш муж — я-то, я (он ткнул себе в грудь и покраснел), вы видели когда-нибудь, чтобы я плавал?

Курицу начал охватывать страх, и она молчала. Молчала и тряслась, как может трястись только Курица — всем телом.

— Вы — безумная женщина,— продолжал Индюк, довольный произведенным эффектом, как залогом будущего успеха.— Вы не знаете всех опасностей, грозящих птице, когда она пла-ва-ет. Она становится мокрой. Часто она поднимает лапки вверх и голову опускает вниз. А внизу-то — щука!

— Батюшки! — простонала Курица.

— Сударыня, не стану врать, что мне жаль вас, или вашего Ваську. Черт его подери, вашего Ваську! Но пользы я вам хочу и поэтому прошу вас — угомоните! Плачьте, секите, бейте себя руками в грудь, рвите свой седой хохол — но угомоните! Сил моих нет смотреть на него, с души воротит, когда я только подумаю — плава-ет! И не забывайте — щука!

Тут явился веселый-развеселый Петр Петрович, но, когда Индюк и ему повторил свои безрассудные рассуждения, впал в дрожь и малодушие. Одна приподнятая лапа так и осталась в воздухе, а голову ему точно свернули.

Наконец, оправившись и сложив крылья по швам, он отрапортовал:

— Незаконный-с. Селезень часто в мое отсутствие заходил, так вот-с, полагаю...

— Лопни твои бесстыжие глаза! — заголосила Курица: обида вернула ей голос.— Да не верьте ему, адюльтернику, шерамыжнику — он и сам в молодости пла-ва-л. Сам говорил.

— Что такое? — покраснел Индюк.

— Врал-с! — воскликнул Петр Петрович. — Чистосердечно каюсь, врал-с, похвастать хотел. Вы не беспокойтесь, ваше превосходительство, подбородочек-то ваш не тревожьте — я ему, Ваське, покажу.

— Хорошо,— велнчаво согласился г. Индюк.— Я вам его пришлю, а уж вы...

— Уж я-с, хе-хе-хе... Не беспокойтесь, ваше превосходительство.

— Хе-хе-хе! так уж вы...

— Хе-хе-хе. Ножку, ножку о порог не ушибите.

Так вот как в действительности произошла история, давшая повод к стольким искажениям и клеветническим нападкам на Курицу.

Дальнейшие события передаются в общих чертах правильно, но и здесь нужно внести некоторые поправки.

Так, умерла Курица не на десятый день, а на третий; Васька при ее последних минутах не присутствовал, так как был заперт в чулан.

Совершенная, далее, неправда, будто Петр Петрович покаялся в своем малодушии и демонстративно, перед глазами самого Индюка, плавал в луже вместе с Васькой.

В действительности он немедленно поступил в общество любителей национального адюльтера и недавно был избран в его председатели.

Последний раз я видел его на масленице в Художественно- Общедоступном театре, на представлении «Трех сестер». Он был крайне потрясен пьесой и, по его словам, даже плакал, чему можно поверить, приняв во внимание его недостаточно трезвое состояние, а также достоинства самой пьесы.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ВРАНЬЕ

Как это неправдоподобно ни покажется, но русский человек лгать не умеет.

Лганье есть искусство — и искусство трудное, требующее ума, таланта, характера и выдержки. Хорошо солгать так же трудно, как написать хорошую картину, и доступно далеко не всякому желающему. Обнаруженная, неудавшаяся ложь есть нечто позорное; лгать опасно — и лгущий должен быть смел, как всякий человек, рискующий собой и становящийся лицом к лицу с опасностью. Ложь должна быть правдоподобна — одно уже это в значительной мере затрудняет пользование ею для слабых и ненаходчивых умов. Сказать, что вчера под Кузнецким мостом я встретил плавающего кита и сильно испугался — не будет ложью, ибо наглядно противоречит как законам божеским, так и человеческим. Всякому известно, что под Кузнецким мостом не плавают, как известно и то, что никто еще не расшибал себе лба о Никитские ворота. Таким образом, для лжи, хотя бы посредственной, требуется некоторое знакомство с законами природы и логики, а для лжи высокопробной, напр., адвокатской, необходимо даже высшее образование. Тот адвокат, который на днях доказывал вред секты поморов, разрешенной правительством, несомненно, не мог бы этого сделать так хорошо, не посещай он в свое время лекций полицейского права.

Наконец, для лжи необходима строго сознанная, вполне определенная мысль: нельзя лгать так, здорово живешь. И это условие делает ложь мало доступной для большинства, у которого нет никаких строго сознанных целей, а существуют одни смутные стремления да беспредельные аппетиты. Яго лжет искусно и толково, так как знает, что хочет, и выполняет сложный, продуманный план. Ему нужно погубить Дездемону и Кассио, и он не только выдумывает небывальщину, но соответствующим образом комбинирует и самые обстоятельства, в чем заключается высшее искусство лганья. С этой стороны каждому приходится хоть раз в своей жизни побыть в шкуре лжеца, искусного или неискусного, так как у каждо-

го время от времени вырастают на пути маленькие цели: обмануть жену, подставить ногу товарищу, надуть родителей и насолить наставникам.

Во всяком случае, эти эпизодически проявляющиеся наклонности ко лжи нисколько не нарушают и даже скорей подчеркивают общую неспособность русского человека к систематическому лганью.

Да, русский человек не умеет лгать, но, кажется, в такой же мере он лишен способности говорить и правду. То среднее, к чему он питает величайшую любовь и нежность, не похоже ни на правду, ни на ложь. Это — вранье. Как родная осина, оно появляется всюду, где его не звали, и заглушает другие породы; как осина, оно ни к чему не пригодно, ни для дров, ни для поделки, и как осина же — оно бывает порой красиво.

Хлестаков, а не Яго — вот кто истинный наш представитель, и, думается мне, как в литературе, так и в мире он представляет собой нечто единственное, вроде самовара: существуют на свете кофейники и тей-машины, а настоящий самовар есть только у нас. Знаменитый Тартарен — это вполне своеобразное порождение провансальского юга и, при некотором внешнем сходстве, ничего родственного с Хлестаковым не имеет. Тартарен насыщен солнечными лучами и чистым виноградным вином; его кровь и воображение кипят; его руки требуют работы,— и когда он торжественно идет на охоту за фуражками, он искренен и серьезен, как сам Дон-Кихот. Его слабость в том, что глаза его, как микроскопы, не видят ничего иначе, как увеличенным в тысячу раз,— но в основе преувеличения всегда лежит какой-нибудь факт.

Русское вранье прежде всего нелепо. Говорил человек долго и хорошо и вдруг соврал:

— А у меня тетка умерла.

Соврал и сам изумился: тетка мало того, что не умирала, а через полчаса придет сюда, и все это знают. И никаких выгод от теткиной смерти он получить не может, и зачем соврал — неизвестно. А то вдруг сообщит:

— А меня вчера здорово побили.

Тут уж совсем расчета не было врать: и не пожалеют, и еще, пожалуй, пользуясь предлогом, действи-

тельно побьют. Но он соврал и кажется даже довольным, что поверили. Я знал одного человека, который всю жизнь врал на себя; поверить ему, так большего негодяя не найти, а в действительности это был честной и добрейшей души человек. Врал он, не сообразуясь ни с временем, ни с пространством; врал даже тогда, когда истина сидела в соседней комнате и каждую минуту могла войти; врал, не щадя себя, жены, детей и друзей. Кто-то сказал раз, шутя, что он похож на бежавшего каторжника, и потом стоило большого труда удержать его от немедленной явки в полицию с повинной: так понравилась ему эта идея и так пылко он взялся за ее дальнейшую обработку. Мне он откровенно объяснял иногда причины своего вранья:

— А то уж очень пресно все,— говорил он.— Ну, что я? Банковский чиновник, так, чепуха какая-то. И жена — чепуха, и дети — чепуха, и все знакомые — такая кислятина. А когда соврешь, как будто интереснее станет.

— Да ведь уличат?

— Так что ж из этого? Пусть уличают, так и нужно, чтобы правда торжествовала. Я правду ценю и уважаю. А пока уличат, оно все-таки на минутку как будто и оживишься. Я вчера Кассову сказал, что его Петьке голову прошибли,— так вот Кассов-то бегал!

В провинции вранье вырождается, с одной стороны, в злостную сплетню, с другой — принимает умилительный и наивный характер. Врут солидно, зная, что врут, и, собравшись вместе и выпив оживляющей водки, производят друг друга в чины.

— Вы, Михаил Иванович, умница, философ. Вам бы не в здешней яме, а в столице проживать.

— А вы, Гавриил Петрович, герой и политик.

И когда таким образом посадят друг друга на забор, оно и приятно, и похоже, как будто настоящие люди собрались. Но и в столицах этими приемами не брезгают, хотя вранье здесь почище, не так отчаянно, нелепо и дико.

Всероссийское пустопорожнее вранье даже и праздники особые для себя учредило. Это — юбилеи. Ни одна из западноевропейских выдумок не привилась у нас так прочно, как эта, и ни одна не приня-

ла столь специфически-русской окраски. Ко двору пришлась и в климатических условиях поощрение нашла. В настоящее время юбилейное дело поставлено так широко, что всякий обыватель уже по одному тому, что он обыватель, имеет право на юбилей. По достоверным слухам, в недалеком будущем имеется в виду приращение юбилеев: все, трижды и более того судившиеся в судебных установлениях, будут чествоваться друзьями, как косвенные проводники в русскую жизнь начал правосудия и справедливости. Для приглашенных арестантский халат не обязателен, ибо дам не будет. Вообще дамы, как существа слабые и после третьей рюмки хмелеющие, на юбилей не допускаются.

К юбилеям отношу я и различные товарищеские обеды: по случаю годовщины одновременного промокновения под дождем, по случаю десятилетия введения штрипок и упразднения высоких каблуков и т. д. К настоящим юбилеям эти юбилейчики относятся, как маленькие, местные праздники к годовым, хотя ни по качеству, ни по количеству обеденное вранье нисколько не уступает юбилейному. Благодаря отсутствию проклятых репортеров оно носит даже более семейный, т. е. гомерический характер.

Мне довелось быть участником многих юбилеев, и всякий раз я горько обижался на тех, кои барона Мюнхгаузена сделали будто бы недосягаемым идеалом вруна. Признавая за немцами всяческие достоинства, я должен, однако, во имя справедливости, сказать, что ихний барон — мальчишка и щенок в сравнении с любым нашим юбилейным оратором. Ни в отношении фантазии, ни в смысле беспрепятственного сокрушения логики русский юбилейный оратор не уступит своему немецкому противнику.

Избегая намека на личности, я возьму для характеристики юбилеев вообще такой случай: Помпоний Киста справляет десятилетие со дня получения им первой пощечины (в действительности такого празднования не было). Несомненно, повод разгуляться фантазии достаточный, и когда первый оратор красноречиво воспроизводит трогательную картину, как левая ланита Помпония оделась багрянцем под тяжкой десницей Северия, я плачу. Но когда второй ора-

тор начинает уверять, что до Помпония самое понятие пощечины не существовало, я начинаю чувствовать преувеличение. Когда же последующие ораторы начинают божиться, что Помпоний ежедневно получал десяток оплеух, что все в мире пощечины получил он один, я вижу, как преснота жизни постепенно исчезает, и пышным цветом распускается вранье.

Границ ему нет. Все великие люди древности и современности упраздняются, и если произносится какое-нибудь известное имя, вроде Александра Македонского, то только для того, чтобы его унизить и пожалеть, что он не был Помпонием и не получил ни одной пощечины. Ежели Помпоний тем знаменит, что против своего окна березку посадил, то в устах оратора березка эта разрастается в дремучий лес, покрывающий всю Россию. Ежели Помпоний тем славен, что однажды, по близорукости, нищему двугривенный вместо копейки бросил, то в речах хвалителей он превращается в неиссякаемый источник двугривенных, а естественная близорукость его переименовывается в «благородную слепоту чистого сердца». Если Помпоний тем популярность приобрел, что как-то в пьяной драке дворника одолел и наземь поверг, то оратор так и жарит:

— Выпьем за русского Наполеона Помпония Требухиевича Кисту.

Действительно заслуги Помпония, коли таковые имелись, бесследно утопают в потоке вранья и приобретают, благодаря усердию хвалителей, комический характер: соврав о насаждении Помпонием дремучего леса, оратор уничтожает и единственную, действительно посаженную березку.

Что самое характерное для юбилейно-обеденного вранья, так это его полная бесцельность. Когда юбилей Помпонию устраивают его служащие и лица, от него зависимые, тогда вранье имеет еще некоторую, хотя и не похвальную, но разумную цель. Но обычно происходит так, что самые отчаянные юбилейные вруны совершенно от Помпония независимы и никаких существенных благ ожидать от него не могут, да и не ожидают. И предложи им Помпоний по двугривенному на брата, они искренно обидятся, так как вранье их было в высшей степени бескорыстно.

Не руководит врунами и желание сделать Помпонию приятное. Для такого желания необходимо чувствовать к Помпонию приязнь и расположение, а ничего подобного оратор не ощущает. Запрятывая в карман фрака бумажку, на которой заслуги Помпония, после долгих усилий воображения, возведены в n-ую степень, будущий оратор сообщает жене и всем встречным:

— Иду скотину чествовать!

И добродушно смеется. И жена и знакомые так же добродушно смеются: они понимают не рассудком, но нутром, что хоть Помпоний и скотина, но чествовать его нужно.

Помпония возводят в перл сознания и благодарят Провидение, что оно осчастливило мир Помпонием; Помпоний в свою очередь возводит в перлы создания ораторов и горячо благодарит Провидение за их ниспослание на землю. Атмосфера вранья густеет. Уже не один Наполеон сидит за столом, а целые десятки Наполеонов, и на что уже расторопный лакей привычен к великим людям, а и тот начинает удивляться: сколько господ собралось, и все до единого — великие.

Сам юбиляр проникается уверенностью, что он фигура. Его «скромная деятельность» всесторонне освещена и оценена, и он приятно удивлен ее неожиданно громадными размерами. В столь же приятных чувствах обретаются и ораторы: забыв, что они сами же произвели Помпония в перлы творения, они искренно гордятся его обществом. Помимо того, каждый из них самостоятельно произведен в перлы — удовольствие не малое. Сам перл — кругом перлы...

Особенный жар всему придает тот момент юбилейного торжества, который в репортерских отчетах именуется «дружеской беседой, затянувшейся далеко за полночь». Цицерон подходит к Катону и говорит:

— Я не хотел, Катон Катоныч, говорить за столом о ваших заслугах перед русским обществом,— это было бы слишком похоже на официальную ложь. Но теперь, когда мы здесь беседуем попросту, позвольте вас уверить, что если Карфаген еще не разрушен, то скоро обязательно разрушится, и только благодаря вам. Как попугай, в благородном, конечно, смысле, вы двадцать лет твердите о необходимо-

сти его разрушения, и, как я слышал, сторожа в строительном департаменте сильно заинтересованы вашими речами. Позвольте от души поздравить вас.

Катон Катоныч покачивается и говорит:

— Это ты, Цицерошка? То-то я смотрю, прохвост какой-то. Только ты не обижайся. Ты славный парень. Ты умный парень. Ты талантливый парень. Это ничего, что ты прохвост. Это у тебя пройдет.

— Уже проходит, Катон Катоныч.

— Проходит! Поцелуемся, Цицерошка. Господа, черти, глядите на моего друга, Цицерошку: вот кто истинный носитель заветов... заветов... Кто выпил мою рюмку?

Тут же вертится маленький человек, до того маленький, что даже похвалить не умеет,— а тоже хочется маслица хоть на самый крохотный душевный бутербродик. После долгих колебаний он разбегается, подпрыгивает и целует Катона в лысину. Катон удерживает равновесие и спрашивает:

— Кто это меня... мокрым по лысине?

— Это я-с. Поцелуй-с.

Катон соображает и аттестует:

— Симпатичный юноша.

Наступает момент, когда словословие по неизъяснимым законам русской души легко может перейти в драку, и торжественно заканчивается.

— Ах, пусто б тебе было, пустопорожнее российское вранье!

«ТРИ СЕСТРЫ»

В свое время я не видал «Трех сестер» в исполнении артистов Художественного театра и только на днях выполнил эту повинность. С точки зрения газетного фельетона, в котором читатель ищет новенького, свеженького, непременно отражающего настроение данной минуты, казалось бы, поздно говорить о том, что когда-то вызвало каскад газетных и журнальных статей, было взвешено, оценено, обсуждено и куда-то запрятано, куда прячутся все

отшумевшие злобы дня. Но это ошибка. «Три сестры» еще не выпали из текущей жизни, и на их место не выросло ни одного нового зуба; «Три сестры» идут два-три раза в неделю, они выдерживают тридцатое, кажется, представление, они каждый раз собирают полную зрительную залу, они продолжают так или иначе влиять на толпу — и забывать о том, что почти каждый вечер творится в Каретном ряду, в этом маленьком снаружи, но огромном внутри здании, неразумно и несправедливо. Ограничивать разговоры о пьесе одним первым ее представлением это то же, что кричать «караул» при первом ударе кулака, а последующие удары принимать молча, делая вид, что это тебя не касается; это одна из вредных газетных условностей, созданных слепой и неразумной погоней за новостями дня. До высокой степени курьезности доходит такая погоня: загорись сегодня Москва, завтра все газеты трубным гласом возопиют о пожаре, но продолжай он гореть неделю, месяц — и современный журналист, только что спаливший на пожаре свою великолепную бороду, сочтет долгом о таковом несвоевременном событии умолчать и добросовестно сообщить, сколько и каких балерин вышло замуж в текущем месяце. Кстати: выходящие замуж балерины — это новый отдел, открытый существующей в Москве газетой под названием «Новости дня». Смею надеяться, что почтенный орган не замедлит своевременно сообщить о последствиях заключенных браков, конечно, в том случае, если это не потребует обременительных издержек на содержание при редакции особого профессионального репортера — повивальной бабушки.

А то, что почти каждый вечер творится в Художественном театре, в высшей степени любопытно и поучительно. Талантливый кулак действует более чем исправно, и наносимые им удары с силой отзываются в тысячах голов и сердец. И добрые люди предупреждали меня:

— Не ходите, не портите себе сна, настроения и аппетита. Сходите куда-нибудь в другое место. Вот, говорят, на Ваганьковском кладбище новенькие памятники есть: прогуляйтесь, надписи почитайте, все веселей.

— Но неужели же так сильно действует? — не доверял я.

— Поверьте, что так. Сам я не был и не пойду, так как только с той недели начал полнеть и очень этим обстоятельством дорожу. А вот сестра была. Пришла из театра ничего: «ах, Андреева, ах, Книппер», а ночью истерика, валерьянка и скрежет зубовный. И у вас в комнате я видел на потолке крюк — так если на «Трех сестер» пойдете, то крюк этот выньте... На что он вам?

И много таких доброжелательных речей услышал я. У кого сестра, у кого жена или брат, а кто и сам пострадал, и всякий предупреждает: «не ходите». И всякому я отвечал:

— Пустое. Выдержу.

Действительно, нелепыми и комичными казались мне все эти предупреждения, преувеличенно, думалось мне, передававшие впечатления от пьесы. Как бы ни талантлива была драма, и как бы ни хороша была игра, но мы все настолько привыкли к театру, что уже не можем отдаваться так бесконтрольно его внушениям. После «Гамлета» мы с аппетитом едим филипповские пирожки, и перемененная калоша, не налезающая на ногу, способна растрогать нас больше, нежели король Лир, потерявший все свое царство. Преспокойно рассчитывал я заснуть и после «Трех сестер», отдавши, конечно, должную хвалу автору и артистам и прилично, как подобает зрителю, поволновавшись. На то же рассчитывал и мой спутник, ибо в Художественный театр, как в лес, нужно ходить с храбрым и сильным товарищем.

Это не была утонченно-культурная и интеллигентная толпа первых представлений Художественного театра, сама по себе представляющая диковинное зрелище — та толпа, которую увидел я в тот вечер. Это была часть обычной публики, той, что после дня труда или трудового безделья рассыпается каждый вечер по театрам — для отдыха, для веселья, для необходимых художественных эмоций. Ординарная, серая толпа, составляющая самое ядро жизни, ибо те, утонченно-культурные — лишь ее казовая сторона, непрочный и красивый ворс, за которым не видно грубой и крепкой рогожки. Серая, упрямая толпа,

ворочающаяся непреклонно и тяжело, как сама земля, в то время как те, утонченно-культурные, скачут над ней, как блохи, и важно кричат: направо, налево. И было особенно интересно посмотреть, как отразится совокупное творчество А. П. Чехова и Художественного театра на этой человеческой массе.

Прежде всего сознаюсь, что ни я, ни храбрый мой спутник не выдержали. До половины первого акта мы еще сохраняли кое-какое смутное представление о декорациях, актерах и неясно подозревали в себе зрителей, но еще не кончился акт и не опустился занавес, как мы перестали быть зрителями и сами, с нашими афишками и биноклями, превратились в действующих лиц драмы. Никогда ни один театр не поднимался до такой высоты, настолько переставал быть театром, как этот. Временами он переставал даже быть художественным, ибо и для искусства есть граница, за которой оно перевоплощается в жизнь и входит в нее, как один из ее основных элементов. История о трех сестрах, рассказанная А. П. Чеховым устами артистов Художественного театра,— не вымысел, не фантазия, а факт, происшествие, нечто столь же реальное, как выборы в Кредитном Обществе. Мне и до сих пор жалко господ Савицкую, Книппер и Андрееву, и что бы они потом ни играли, я ни за что не поверю им и не перестану их жалеть. Бедные, милые сестры!

В свое время критики находили крупные недостатки в драме, рецензенты — в ее исполнении, но я не критик и не рецензент, я просто профан и искренний человек, и никаких недостатков не видел. Я знал и чувствовал многих людей, которые на солнце видели одни только его пятна и чувствовали себя польщенными, узнавши, что у Наполеона была чесотка,— бог с ними. Я видел жизнь. Она волновала меня, мучила, наполняла страданием и жалостью — и мне не стыдно было моих слез. И мой храбрый спутник плакал, не скрываясь, и куда я ни смотрел, всюду видел я мелькающие носовые платки и потупленные головы, а в антрактах — красные глаза и носы. Серая человеческая масса была потрясена, захвачена одним властным чувством и брошена лицом к театру с чужими человеческими страданиями. Человек шел в театр повеселиться, а там его, как залежавшийся тюфяк, пере-

вернули, перетрясли и до тех пор выколачивали палкой, пока не вылетела из него вся пыль мелких личных забот, пошлости и непоиимания. Да, по-видимому, мы еще не совсем привыкли к театру, и сила его внушения бесконечно велика.

Когда после окончания пьесы я выходил из театра, это был единственный случай, когда вполне безнаказанно у меня могли переменить калоши, надеть на меня дамскую ротонду и шляпу — я ничего бы этого не заметил. И первые слова, какими обменялись мы с спутником, очутившись под звездным небом, были таковы:

— Как жаль сестер. Как грустно... И как безумно хочется жить.

И целую неделю не выходили у меня из головы образы трех сестер, и целую неделю подступали к горлу слезы, и целую неделю я твердил: как хорошо жить, как хочется жить! Результат чрезвычайно неожиданный как для добрых людей, предупреждавших меня о необходимости убрать соблазнительные крюки, так и для меня самого. «Три сестры», слезы, уныние — и вдруг: жить хочется. Однако это верно — и не для меня одного, а и для многих лиц, с которыми мне пришлось говорить о драме.

По-видимому, с пьесой А. П. Чехова произошло крупное недоразумение, и, боюсь сказать, виноваты в нем критики, признавшие «Трех сестер» глубоко пессимистическою вещью, отрицающею всякую радость, всякую возможность жить и быть счастливым. В основе этого взгляда лежит то господствующее убеждение, что если человек плачет, болен или убивает себя, то жить ему, значит, не хочется, и жизни он не любит, а если человек смеется, здоров и толст, то жить ему хочется, и жизнь он любит. Крайне ошибочное явилось для меня неожиданным и сугубо-приятным.

Слабой стороной «чеховских героев», делающих их лично для меня невыносимыми, является отсутствие у них аппетита к жизни. Живут они — точно жвачку жуют, расставив ноги, опустив голову, с видом тупой покорности и желудочной меланхолии. Пожевал, проглотил, опять отрыгнул, опять пожевал — и ни радости, ни омерзения. Того же ждал я и от «Трех сестер», почему и жизнерадостный их результат явился для меня неожиданным и сугубо-приятным.

Тоска о жизни — вот то мощное настроение, которое с начала до конца проникает пьесу и слезами ее героинь поет гимн этой самой жизни. Жить хочется, смертельно, до истомы, до боли жить хочется,— вот основная трагическая мелодия «Трех сестер», и только тот, кто в стонах умирающего никогда не сумел подслушать победного крика жизни, не видит этого. Какую-то незаметную черту перешагнул А. П. Чехов — и жизнь, преследуемая им когда-то жизнь, засияла победным светом.

Сестры придавлены бессмысленностью своего существования, они задыхаются в безвоздушном пространстве, они гибнут в стихийной борьбе света с полуночною мглой и всеми силами изболевшейся души тянутся к свету.

— В Москву! В Москву!

Как пар, жизнь можно втиснуть в узенькую коробочку, но, как и пар, она выносит давление лишь до известной степени. И в «Трех сестрах» это давление доведено до предела, за которым следует взрыв,— и разве не слышите, как бурлит жизнь, разве не доходит до ваших ушей ее гневно протестующий голос!

Тоска о жизни — ужасная, смертельная тоска. Это уже не кроткое беззубое страдание, слезливо огрызающееся с одра духовных немощей, это уже не тупомеланхолическая покорность, подставляющая поочередно ланиты для заушения,— это вопль ограбленного и умирающего человека, который взывает о справедливости и возмездии. Умирая, сходя со сцены жизни, они поняли, что они — жертвы, и просят, чтобы жертва была осмыслена последующими поколениями, чтобы им дан был ответ, зачем они страдали.

И разве в умирающих сестрах вы не замечаете зародышей новой жизни?

Взгляните на Машу. С ее блуждающим взором, с загадочными силами, бродящими внутри ее, она есть сама непокорная жизнь — и она берет то, что хочет. Не рассуждая, не колеблясь, с каким-то удивительным, даже страшным спокойствием она берет, что хочет. Ее счастье с мучительною болью отрывают от нее,— но Маша не погибнет. Загадочные силы остаются с ней, и с тем же страшным спокойствием она будет разрушать и брать, разрушать и брать.

Ирина — это прелестный образ по красоте и исходящему от нее могучему очарованию, не уступающий тургеневским героиням. А кто из нас не был влюблен в тургеневских женщин, в мировом состязании отдавших зеленую пальму первенства русским женщинам? И не умрет Ирина, эта вечная носительница всего светлого. И в Москву она попадет — и, быть может, только вчера встретили вы ее возвращающуюся с лекций, все такой же очаровательной, чистой, но энергичной и радостной.

Когда охватывают меня сомнения, не о мужчине-борце и герое думаю я. Русская славная женщина — вот кто занимает мои мысли, вот кто дает мне надежду и веру. Та женщина-героиня, что на далекой окраине, в грязи переселенческих пунктов борется за каждую гаснущую искорку жизни; та женщина, что с непреклонной энергией, с дивным упорством стремится к знанию, вдохновляет сильных, пристыжает малодушных и поддерживает слабых. Она, эта славная русская женщина, наш вечный, неумолимый и нелицеприятный судья, и бойтесь ее строгого суда. Со всей красотой вашей пустозвонной тоски она отринет вас, она сбросит с вас маску лжи, за которой кроется чахлое малодушие, и протянет руку тому сильному и смелому, что идет вам на смену. Погубить ее вы можете, но обмануть — никогда.

А. П. Чехов вплел новый листок в лавровый венец русской женщины, создав своих «Трех сестер», именно их наделив страстной тоской о жизни, именно в них вложив этот неумолкающий клик, это немеркнущее стремление к свету:

— В Москву! В Москву!

Как солнечный луч из-за облака, как золотистая нить, пронизывает этот клич серую мглу и непобедимо живет в трех женских сердцах.

Не верьте, что «Три сестры» — пессимистическая вещь, родящая одно отчаяние да бесплодную тоску. Это светлая, хорошая пьеса. Сходите, пожалейте сестер, оплачьте вместе с ними их горькую судьбу и на лету подхватите их призывный клич:

— В Москву!

— В Москву! К свету! К жизни, свободе и счастью!

ЛЮДИ ТЕНЕВОЙ СТОРОНЫ

Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как светит апрельское солнце? Свет его не расплывается в воздухе, как свет летнего солнца, когда все синее небо превращается в златотканный покров, на который больно смотреть ослепленным глазам. Не похоже оно и на грустное солнце осени, мягкая прощальная улыбка которого так печально гармонирует с побледневшей синевой и элегической окраской умирающей листвы; далеко оно и от тусклого, багрового солнца декабрьских закатов, бросающего сквозь замерзшее стекло кровавые пятна на белую стену, холодного, угрюмого, торопящегося скорее уйти от обледенелых равнин севера.

В апреле солнце восходит на ясный небосклон, как молодой, красивый воин, блистающий доспехами, и лучи его как огненные стрелы. Не нужно воображения, чтобы видеть их на фоне спокойного неба, ласкающего взоры, и проследить их падение на землю. На две половины делит улицу солнце: на одной, в тени, все желто, темно и каменно-твердо от ночного мороза, а на другой, куда падают стрелы, все ярко, празднично и мягко. И люди совсем разные идут по той и другой стороне, и я ненавижу тех людей, которые в апрельский солнечный день ходят по теневой стороне.

Быть может, здесь уже замешалось немного воображения, но человек, который в эту пору прячется от солнца или равнодушен к нему, внушает мне величайшее недоверие к потайным прелестям его натуры. При всем желании любить всех людей, а по отношению к врагам быть даже предупредительным, я не могу отрешиться от мысли, что этот теневой человек так же каменно-тверд, как подмерзшая грязь, по которой он шагает, а кровь его так же холодна, как не согретый лучами солнца воздух, которым он дышит. Присматриваясь ближе, я делаю много интересных выводов о людях теневой стороны.

Одни из них равнодушно переходят из стороны на сторону, не замечая солнца и неуязвимые для его ласковых стрел. Это люди, которые не любят приро-

ды и не любят жизни, потому что нельзя любить жизнь, оставаясь равнодушным к солнцу, синему небу, всей божественной красоте мироздания. Они и людей не любят, эти равнодушные; очень возможно и часто случается, что они честно выполняют свои обязанности, платят аккуратно долги и подставляют щеку, когда кому-нибудь захочется по ней ударить, но это — та честность, та самая убийственная честность, вблизи которой нельзя заводить в стене ни одного крюка: тотчас кто-нибудь повесится. Та честность, от которой слабые духом слабеют окончательно, а сильных охватывает нестерпимое желание ударить многократно честного по голове палкой и сказать:

— Не будь честен! Не будь честен! Будь жив!

На других людях теневой стороны вы увидите калоши, хотя бы на улице было сухо, и я считаю своим долгом предупредить вас, сударыня: как бы ни уговаривали вас родители, ни за что не выходите замуж за этого господина в калошах. Это эгоист, самый скверный из всех видов эгоиста, ибо вся его человеческая душа направлена к охранению собственной персоны. Вы думаете, он не любит солнца и тепла? О, нет, он любит их, и если ему гарантировать полную безопасность, он с удовольствием подставит спину, но сейчас это рискованно: на солнце он может вспотеть, а в тени охладеть и простудиться, а потом и умереть. В мае, когда все станут искать прохлады, он вылезет на солнце, ибо во благовремении и пропотеть бывает полезно. Около этого человека так же удобно повеситься, как и возле первого, и даже еще удобнее: первый двадцать раз настойчиво будет перерезать веревку, а этот с готовностью потянет за ноги, дабы избавиться от неприятного вида корчей.

Третьи из людей теневой стороны принадлежат к породе ночных птиц, и молодой воин — солнце всегда их непримиримый враг. Они его боятся и ненавидят. Они ненавидят жизнь. Их душа — клубок спутавшихся змей, слепых и жадных, жалящих друг друга и того, в чьем сердце они приютились и человеческим теплом которого согрелись. Это страшные и несчастные люди, как несчастны все те, кто обречен быть хранилищем зла на земле.

Много их, людей теневой стороны, и с трудом вкладывается в определенные рамки их чрезвычайное разнообразие. Одно сближает их и делает их такими серыми, скучными и враждебными жизни: это нелюбовь к солнцу или боязнь его. В дни осенние и зимние, когда над головой вместо неба раскидывается серая солдатская шинель, когда все тонет в сером тумане и жуткая, загадочная муть душит все живое, эти люди кажутся настоящими людьми и их унылая речь об отсутствии и ненужности солнца — настоящей правдой. Тут они господа. Родственная их душам тень царит над землей, и лица, жаждущие солнца, так же серы, как лица его ненавистников.

Но с первым лучом апрельского солнца раскрывается обман, и, как на суде, одни становятся одесную, а те, которые так долго казались настоящими людьми с настоящей правдой на устах, занимают места ошую. Солнце уже высоко, и горячи его стрелы, а они уверяют, что солнца нет и воздух холоден, а когда им указывают на небо, они доказывают, что это солнце не настоящее.

Настояшее солнце, говорят они, взойдет еще не скоро, а вернее, никогда не взойдет, а это, что сейчас посылает какие-то стрелы, обманчивое весеннее солнце, которому нельзя верить. И тепло его обманчиво и опасно: ведь никогда не бывает так много больных насморком, как весной. Они, эти люди теневой стороны, всегда знают, сколько градусов в тени, и никогда не ведают, сколько градусов на солнце, и когда они возвращаются с прогулки домой и домашние закидывают их нетерпеливыми вопросами о погоде, они уныло отвечают:

— Холодно. Серо. Если вздумаете выходить, надевайте калоши и захватывайте зонтик.

Как не поверить человеку, у которого даже нос посинел от холода,— и с недоверием смотрят домашние сквозь стекло на сияние солнца и думают: «Как все обманчиво — кажется теплым, а в действительности холодно». Если вы хотите как следует узнать человека, спросите у него весной о погоде, и если он ответит: «8 гр. в тени» — немедленно порвите с ним отношения, ибо ничего путного из этих отношений не выйдет.

В литературе людей теневой стороны называют пессимистами, скептиками, мизантропами, загадочными натурами, одинокими душами и другими красивыми именами, а в общежитии именуют их, ближе к правде, кикиморами и постылыми людьми. Причина в том, что в книгах о них только читают, и когда они надоедают, достаточно захлопнуть книгу, а в действительности с ними приходится жить без всякой надежды, в случае чего, их прихлопнуть — закон не позволяет.

Сейчас песенка пессимизма спета, и какие бы новые мотивы для нее ни придумывать, она даже в исполнении величайшего артиста прозвучит фальшью. Я имею в виду, конечно, не научный пессимизм, далекий от жизни, а пессимизм обывательский, от которого мухи дохнут.

Беллетристу или драматургу, улавливающему в свои сети современность, я рекомендовал бы обратить внимание на одну фигурку, довольно распространенную. Искони он был человеком теневой стороны и в свое время имел успех: его слушали и, когда он приходил в гости, кормили пирожными; теперь он остается за штатом и занимается тем, что мефистофельствует: подсмеивается, иронизирует и каркает:

— Не бывать солнцу! Не бывать погоде!

Да. Много теперь заштатных россиян.

«МЕЩАНЕ»

(Крупный и серьезный) успех, который выпал в Петербурге на долю «Мещан» М. Горького, не явился неожиданностью для меня, да и для всех тех, кто присутствовал на генеральной репетиции пьесы в Москве. Хотя гг. Станиславский и Немирович-Данченко предупреждали, что пьеса не совсем еще готова, особенно третий акт (четвертый совсем не ставился), да и так видна была некоторая незаконченность в отделке ролей — при всем этом репетиция давала вполне достаточно материала для суждения как о самоей пьесе, так и об ее исполнении. Отзывы петер-

бургских газет об игре артистов в общем подтверждают те выводы, которые сделал я на репетиции. Все это дает мне право поговорить о «Мещанах» не только как о пьесе читанной, но как и о виденной, с известной и необходимой дозой осторожности в оценке ее исполнения. Можно было бы, конечно, отложить разбор до того времени, когда «Мещане» пойдут в Москве, но здесь есть маленькая заковыка. Петербург — город хороший, достойный всякого уважения, но на все у него есть свои вкусы: на литературу и театр, и эти вкусы частенько расходятся с нашими. Поэтому, как ни полны будут отзывы петербургской прессы, в них для московского читателя останется нечто... не то чтобы самостоятельное, а нуждающееся в легкой проверке.

Особенности первой пьесы М. Горького — в ней нет того, что называется драматическим действием, и нет второстепенных лиц. Взят кусок жизни такой, какова она есть, с ее медленным движением и топтыванием на одном месте, когда люди успевают состариться, наплодить детей, умереть, а «действий», как будто, никаких не совершить. Поступков много, а действий нет. Пьют, едят, разговаривают, ссорятся, сходятся и расходятся [являются участниками «происшествий»] и сплошной копошащейся массой движутся куда-то [вперед]. И только тогда, когда увидишь, как [все они ушли далеко вперед и как] конец не похож на начало,— только тогда почувствуешь, поймешь, что за этим видимым отсутствием действия кроются могучие силы жизни [разрушающей, карающей, судящей и созидающей]. Эта художественная *историчность* жизни, впервые введенная в русскую драму А. П. Чеховым, доведена до полного [и блестящего] развития в «Мещанах», названных автором, по-моему, совсем неосновательно, драматическим эскизом. Этим наименованием М. Горький только ввел в заблуждение рецензентов [и без того наклонных заблудиться и не найти новой дороги, на которую давно уже приглашает их русское искусство]: приходя от «Мещан» в восторг, или с грустью говорят об отсутствии действия как о техническом несовершенстве и ищут силу оправдания в названии «эскиз». [Рецензенты — они ведь в известных случаях народ до-

верчивый — добавь М. Горький: «плохой эскиз», они с готовностью освистали бы его.]

На сцене Художественного театра [этого великого уловителя жизни] «Мещане» с первого момента поражают зрителя своей жизненностью: то ли это актеры играют, то ли ты в щелочку подсматриваешь, как живут и страдают люди. Но как сам Горький не сфотографировал жизни, а провел ее сквозь горнило художественного творчества [осмыслил ее и в запутанном клубке человеческих отношений черным отметил те ниточки, за которые нужно взяться, чтобы клубок распутать], — так и театр с присущей ему силой передал самый дух горьковской пьесы. Можно было не без основания опасаться, что артисты, играющие два-три раза в неделю пьесы А. П. Чехова, проникнутые его настроением, не сумеют отрешиться от него и здесь и, обманутые тождеством художественных приемов, вольют в «Мещан» совсем-совсем неподходящее содержание,— но этого [к счастью] не случилось. Энергичная физиономия [смелого] борца с мещанством осталась незатемненной [и неискаженной: не содрогание ужаса вызывает мещанство, а спасительную злость и презрительное сожаление. Оно еще сильно, корни его глубоки, и далеко вперед, в лице Петра, протягивает оно свои цепкие руки,— но жизнь еще сильнее. Пусть носители иного, свободного начала жизни еще не в силах победить мещанство, они во всяком случае добились уже многого: они сумели отравить ему существование].

В пьесе Горького «мещанство» свило себе комфортабельное гнездо в шкуре всех членов бессеменовской семьи. [Глубоко] ошибаются те из рецензентов, которые мишенью авторских ударов считают старика Бессеменова, а не его детей. Студента Петра и Татьяну считают чуть ли не жертвами на том основании, что они с родителями всё ссорятся и на жизнь свою жалуются. Дело в том, что мещанство просто меняет кожу, и если у змеи эта операция происходит безболезненно, то у людей она сопряжена с некоторыми страданиями. И если говорить о мещанстве, то то, которое воплотилось в старике Бессеменове,— это мещанство вчерашнего дня, только на кончике захватившее нынешнее, мещанство глупое, растерянное и на-

половину уже ограбленное мещанином сегодняшнего и завтрашнего дня — Петром. [Вот кто истинный мещанин и мещанин опасный, ибо он только что вылупился, голоден и способен внушать сочувствие. В том, что М. Горький в пестроте текущей жизни сумел найти и в полном смысле слова схватить за шиворот этого невинно-пакостного оборотня, сказывается его громадное художественное и общественное чутье.]

Про старика Бессеменова можно сказать: «Люблю тебя, сосед Пахом; ты просто глуп и слава богу». Это мещанин прямолинейный, наивный, по приемам грубый и играющий с открытыми картами. Пока сила была за ним, он бесхитростно, по-медвежьи, душил; считал деньги, карал детей, законопачивал все щелочки, откуда проглядывала [живая] жизнь, и задыхался в созданной духоте. Петр — иное дело. Детей карать он не будет, ибо по части гуманности и педагогики достаточно натаскан; [окон и дверей он настежь не откроет, но] вентиляторов наделает [на основании чего все жалобы на духоту будет считать недоказанными]. И воздух в его квартире будет приличный, и заведовать им будет он сам: там [слегка] форточку приоткроет, здесь бумажкой заклеит. По сравнению с стариком Бессеменовым оно как будто и прогресс, но по существу — та же жизнебоязнь [то же душительство], но [душительство хитрое], сдобренное рациональностью, обмазанное медом хороших слов. [Старик попросту не знал, что на свете есть какие бы то ни было мнения, кроме его, а Петр знает, что существуют чужие мнения и даже уважает их — поскольку это уважение дает возможность пожимать руки и мерзавцам.]

В тот период своей жизни, когда его захватил Горький, Петр не чувствует за собой силы и потому канючит. Отчасти он пессимист [как все те, кого долго заставляют ждать у накрытого стола], отчасти и протестант, и в этом отношении как будто совпадает с другими персонажами пьесы. Но только как будто. В одну и ту же дверь часто стучатся и грабитель и ограбленный: один, спасаясь от погони, другой — чтобы пограбить. К Петру очень подошли бы слова воеводы из «Князя Игоря»:

Ах, дождаться бы мне чести...

К сожалению, в лице г. Мейерхольда Петр нашел недостаточно сильного исполнителя. Это все тот же мающийся интеллигент без особых примет, каким является названный артист и в «Одиноких», и в чеховских пьесах. Роль старика Бессеменова, более богатая красками, вполне удалась г. Лужскому.

Группу стучащихся в двери составляют и певчий Тетерев, машинист Нил, Елена, Перчихин, Поля и другие [уже одно количественное преобладание их лишает пьесу характера уныния. Да и качественно представители антимещанского начала будут посильнее]. Среди них на первое место, вопреки, быть может, замыслу автора, я поставлю певчего Тетерева. [Как ни хороши Нил и Елена — особенно последняя,— но их здоровая и стойкая жизнерадостность недостаточно полна, если можно так выразиться, философско-общественного смысла. Это просто здоровые, духовно свободные люди, которым прямо по натуре их претит мещанская связанная жизнь. Они борются с мещанством, разрушают его в местах своего с ним прикосновения,— но это не та пушка, которая разрушит стену мещанства; это только два хороших и метко направленных ядра.]

Вот Тетерев — это орудие крупного калибра. По своей художественной законченности и яркости [по глубокому внутреннему значению] Тетерев является одним из лучших созданий огромного таланта М. Горького, да и исполнителя Тетерев нашел изумительного: г. Баранов так полно осуществляет авторские замыслы, так сливается с изображаемым лицом, что разве только г. Станиславский в «Докторе Штокмане» может превзойти его. [Мощный] голос, фигура [точно отлитая из чугуна], жесты [полные силы и величавой снисходительности, неподражаемая] фразировка, [когда каждое слово будто высекается из камня], это нечто до того цельное, живое и чуждое понятию театра, представления, что даже странно как-то смотреть.

[Тетерев бездействует. Он словно вне жизни. По чрезвычайно меткому выражению Горького:

— Я,— говорит Тетерев,— не состою в родстве ни с обвиняемым... ни с потерпевшим. Я — сам по себе.

Я — вещественное доказательство преступления. Жизнь испорчена!

Да, это правда — но ведь часто исход процесса определяется как раз вещественными доказательствами. И Тетерев — доказательство весьма существенное, и раз оно представлено в суд, самому господину адвокату с ним не справиться.

Тетерев бездействует. Он пьет, философствует так, что от его философствования обои в мещанских домах трескаются, злит и дразнит Бессеменовых, дружит с Нилом и компанией — он бездействует, ибо не пришло еще его время. Он слишком велик и громоздок для старомещанского дома старика Бессеменова и негде ему повернуться — а вот когда Петр устроит у себя приличный воздух с рациональным распределением кислорода на долю свою и водорода на долю прислуги, Тетерев совершит заметную перестановку.

Здоровый малый: ему ничего не стоит плечом не только дверь высадить, а и целую стену.]

Яркий и художественный образ Елены дает г-жа Книппер.

ВОЛГА И КАМА

Уезжая на Волгу, я намеревался дать читателю обстоятельнейший рапорт о своих дорожных впечатлениях. Ведь это так не трудно: ушел на часок в каюту и изобразил, что следует, а там опять посмотрел, а там опять изобразил. Мило, благородно,— все фельетонисты так делают.

И вот я на пароходе, и вот наступил момент, когда, казалось бы, пора идти в каюту и раскрывать чернильницу,— но вон, из-за лесистого бугра, открывается прекраснейший вид, и оторваться от него глазам так же труднс, как истомленному жаждой оторваться от ковша с холодной водой. А за этим видом другой, еще, кажется, лучше, а там третий,— а тут на буксире баржа прошла, или медленно, как белотелая купчиха, ползет высокая беляна. Наверху ее до-

мишки, сверкающие новым тесом, а возле них люди в красных рубахах — что-то кричат и весело машут руками, и все это под ярким солнцем, так весело, так светло и празднично, как зажиточное село на пасху. Не хватает только колокольного звона, но и он чудится где-то в этом прозрачном, колеблющемся и ласковом воздухе.

— А что же писать-то? — напоминают мои спутники, осведомленные о моих намерениях.

— Да, нужно писать,— решительно отвечаю я.— Пусть пройдет вон тот пароход, и я сяду.

Их десятки и сотни, этих пароходов, проходят мимо, и я не знаю почему, но на каждый из них обязательно нужно посмотреть. Любопытно сперва увидеть его маленьким, как белое блестящее пятнышко, и догадываться, чей это пароход: «Меркуриевский», «Самолет», «Волжский», или какой-нибудь другой. Теперь, сидя в Москве, я уже перезабыл, какие есть на Волге пароходные компании и пароходы, но там я знал все это до тонкости, и когда мне удавалось угадать, чей это пароход, я испытывал изрядное удовольствие. Любопытно издалека разглядеть название парохода; любопытно видеть эту махину, с неудержимой стремительностью проносящуюся мимо вас, смотреть на людей, усеявших ее борта, и думать: так же ли им хорошо, как и нам?

Пароход прошел, другой еще далеко, можно бы и в каюту идти — но вот чайки. Они плавно реют над пароходом, почти не двигая распростертыми крыльями, кружатся, скользят с непостижимой ловкостью одна возле другой и очень вразумительно поглядывают на хлеб. Они так красивы и милы со своей снежной грудью и коричневыми головками, они так ловки и грациозны, что отказать им в ходатайстве не хватает сердца. Кусок за куском летят в воздух и, не касаясь воды, исчезают в раскрытых клювах. Бросают все, бросаю и я, но неудачно: куски падают в воду, и это, видимо, раздражает соседа, почтенного старичка. С видом тысячелетней опытности и снисходительности ко мне он берет из моих рук хлеб и торжествующе заявляет:

— Вот как нужно.

И не попадает.

Чайки разлетелись, и хлеб весь вышел, можно бы идти и в каюту, но — сейчас пристань. Оглушительный, но музыкальный рев свистка раздирает уши, и пароход всей своей тяжелой массой надвигается на конторку, точно желая ее раздавить,— слышится команда, бросается канат, застопоренный колосс с удивительной кротостью и нежностью прижимается к вздрогнувшей пристани. Пестрым потоком устремляется по сходням народ; крики, шум, движение, толчки в бок и легкие ругательства. Разношерстная и любопытная в своей разношерстности толпа: рабочие с косами, татары, интеллигентные островки с кокардами и в шляпах и просто какие-то диковинные люди, облаченные в живописную рвань. Какие лица! Какие бороды! Какие груди! Какое богатство выразительности, проникающее каждую черточку лица, каждую складку одежды! Всякое лицо как раскрытая книга — но писали ее не люди, а сама великая жизнь, и оттого так много в ней сокровенной мудрости, граничащей с тайной, и оттого так много в ней страдания.

Вот женщина. В руках граммофон, изрыгающий какие-то дико-бравурные вопли вроде: «Караул, разбой, батюшки мои, мои», а вокруг нее дети, куча детей, мал мала меньше. Кто ползает, кто держит ее за платье, а впереди босоногая девочка с доской на груди: «На пропитание бедного семейства». Но лицо женщины— такого ужасающе-выразительного лица я никогда не видал! Сухое, истомленное, потемневшее, в каждой частице пропитанное слезами — но наружу ни одной слезы. Наружу — голая и непоколебимая решимость жить, жить во что бы то ни стало; воля, граничащая с отчаянием, покорность, близкая к богохульству и проклятиям. Она не уступит жизни, она не пожертвует ни одним из этих босоногих малышей,— но как много тоски в ее решительности, как много в ее мужестве слез.

— Караул, разбой, батюшки мои, мои...

А вот еще одно лицо — слепой музыкант Федор. Я узнал его давно — года три тому назад. Это было на Дону. Я плыл от неизвестного к неизвестному, и непроглядная ночь, окутавшая реку, была и во мне. Было тепло и тихо, и маленький пароход мягко сту-

чал колесами по сонной воде, и на юте, среди немногих примолкших пассажиров, сидел этот самый Федор и играл на гармонии. Звучным альтом ему подпевал мальчик-поводырь, и пел он без слов. Как мог слепой вложить столько страждущей души в неподатливый инструмент, я не знаю; но так чисты, красивы и печальны были звуки, и так гибко вторил им нежный альт, что еще темнее стала июльская душная ночь. И вся она с тихим плеском волны, с запахом трав и загадочным безмолвием звездного неба говорила в этих звуках о какой-то великой, из века идущей печали.

Наутро я увидел Федора, и лицо его осталось у меня в памяти — изваянное лицо слепого, у которого вся жизнь ушла в глубину, и лицо безмолвно, как могила. Слепцы приноровливаются к мраку, в котором они живут, и ни на одном я не видел ярких красок в одежде. И этот был весь серый и однотонный, и, крупной фигурой и чертами лица, он походил на какой-то движущийся памятник.

И опять я увидел его, но теперь уже на Волге. Та же была у него гармония и мальчик и то же неподвижное, окаменевшее лицо. И я подумал: прошло три года, и солнце засияло для меня, а для него — для него ведь все еще тянется та мрачная, душная ночь. И так — до последнего мрака.

Я уже нарушил плавность своего повествования о том, как собирался я писать и заодно уже сделаю еще один скачок в сторону. Это по поводу выразительности лиц и одежды. Я очень люблю людей интеллигентных, и меня искренно огорчает то прискорбное обстоятельство, что лица у них сделаны по одному какому-то и притом весьма неважному образцу. Сильно развитый интеллект, высокая образованность и развитие налагают на лицо печать резкой индивидуальности, это верно,— но та ходячая интеллигентность, представителями которой является подавляющее большинство, точно сглаживает лица. Как будто лицо обстругали сперва арифметикой Малинина и этимологией Говорова, пообрубили историей Иловайского, прогладили лекциями проф. Тарасова и потом каждый день полируют какой-нибудь газетой. Получается не лицо, а как бы отражение сотен лиц, нечто

неуловимое, как мерцание или зарница, и вместе положительное... ну, как лопата. Только один Боборыкин при его скрупулезно-описательном методе осмеливается давать портреты интеллигентов и различает их по количеству волосков на бороде и родимых пятен, а обыкновенные писатели разделяют их единственно по масти да по телосложению, ибо на последнее арифметика Малинина и лекции проф. Тарасова видимого действия не оказывают: брюнет, блондин, толстый, тонкий.

— Ну, а если он лысый. Как тогда различить? — жаловался мне один начинающий писатель.— А они все теперь лысеют.

— Попробуйте по костюму.

— Да они все в пиджаках и фраках.

— По длине фалд.

— Все фалды одинаковы.

— Ну, по речи.

— По речи... По речи... По речи, черт вас возьми!..

Конечно, это была шутка с моей стороны, и он напрасно так ругался. Я хорошо знаю, что по речи нельзя отличить одного интеллигента от другого, как нельзя отличить передовицы в одной газете от передовицы в другой газете, как нельзя отличить одного рассказа от другого рассказа. Все хорошо пишут и все хорошо говорят, и если бы природа вздумала уничтожить басы и тенора, она привела бы людей к великой путанице.

Интеллигентное, обкультуренное лицо — это та же книга, но книга закрытая и запертая на дюжину замков. Как ни велика сила лекций проф. Тарасова и других нивелирующих факторов, она не может дотла истребить индивидуальность — и она живет. Но живет она в таких глубинах, что и голоса оттуда подать не в силах. Я легко допускаю существование удивительно оригинальных людей, которые всю жизнь пытались пробить для своей оригинальности брешь в толстом слое наносного, не могли осилить — и так и умерли ординарнейшими субъектами. Когда они пытались сказать или подумать что-нибудь свое, они натыкались на готовые формулы, на бездну готовых формул и погибали на этой безнадежной плоскости.

Вернусь к началу. Вот далеко позади осталась пристань с ее пестрым людом и крикливыми торговками — время идти писать, можно бы идти писать, если бы не накрытый к чаю стол. И когда, напившись чаю, я уединяюсь в каюту, раскрываю чернильницу, беру в руки перо с чувством, что мне нужно сказать ужасно много,— наступает весьма печальный момент: ужасное разногласие между высокими задачами фельетониста на общественные темы и тем, что мне хочется говорить о чайках и пароходах; мне хочется рассказать о том, как светит солнце, как блестит и сверкает вода; мне хочется передать об удовольствии пить чай на пароходе, когда перед глазами плавно проходят лесистые берега и утесы и вся красота божьего мира. Я гляжу на потолок — на нем светлой сетью играют блики от волн, озаренных солнцем — и мне хочется говорить об этих бликах. Я ищу возвышенных мыслей, а вместо них мелькают соображения об удобствах пароходной каюты.

Мысль бездействует. Ухо с жадностью ловит новые и красивые звуки; глаза с наслаждением отдыхают на широких красочных перспективах; все тело, долго бывшее только рабом мысли, требует своего и живет своею интенсивною и счастливою жизнью. Как передать радость жизни, ту радость, которой насыщены солнечные лучи, и зелень деревьев, и синева неба?

Стучат в окно:

— Выйди на минутку. Посмотри, как красиво заходит солнце.

Бросаю все и бегу. Золото, пурпур, река из изумрудов — безумие и роскошь красоты. И с каждым движением колеса все новое, все красивое и...

После долгих размышлений макаю перо и пишу: Читатель, поезжай сам на Волгу и посмотри!

Волга — веселая река, это самое близкое к действительности определение.

Она величественна, многоводна и очень часто грозна: когда подует низовой ветер и мощным дыханием до самого дна взроет тяжелые массы бурой,

красноватой воды, зажжет их белым огнем свирепых «барашков» и бросит на небо груды гигантских облаков, огромных и тяжелых, как развалины циклопических построек,— тогда шутить с Волгой нет ни малейшей охоты. Я был как-то на Волге тотчас после Азовского моря, видел легкий шторм там и здесь — и Волга показалась мне гораздо внушительнее. Не опаснее, а именно внушительнее. Азовское море сердится, как может сердиться самое маленькое море, и гнев его какой-то дрянной, колючий, вздорный и ехидный, как у всех крохотных и бессильных творений. И не уважение, не ужас вызывает его гнев, а самые непочтительные чувства: хочется взять его за шиворот, надавать шлепков и выбросить за дверь. Другое дело Волга. Она сердится, как может сердиться самая большая река, сознающая свою силу и мощь, и пусть нет страха перед ее отеческим гневом — зато есть уважение, есть сознание (как ни странно это сказать) ее нравственного могущества.

Бывает Волга и хмурой. Заморосит мелкий дождь, серым резиновым плащом расстелется скучное небо, в хандре затопчутся на одном месте коротенькие сизые волны, потускнеет пышная сине-розовая даль — совсем как человек, у которого внезапно разболелись зубы или потребовали давно забытый долг.

И при всем том она веселая,— веселая и в гневе, веселая и в хмурости своей. Пусть плачет и гневается веселый человек, он не скроет тех морщинок, что прорезал на лице его постоянный смех. В очертании берегов, в кудреватости русловых извивов, в ярких полосах прибрежного песку, сверкающего, как молодые зубы у смеющегося человека, в чем-то неуловимом, что есть *физиономия* реки,— сквозит это глубокое, органическое, неистребимое веселье, не поддающееся даже землечерпательным машинам и нобелевской нефти. Оттого так и любили Волгу все крупные русские люди, оттого и дала она столько настоящих русских людей, ибо в характере русском — как ни доказывай обратное наша интеллигенция — нет бесцельной и бессмысленной меланхолии. В нем можно найти много глубокой, исторически веками накопившейся тоски, много щемящей грусти, порой черного, как ночная мгла, отчаяния — но не этой слюноточивой хандры,

когда хандрящий кротко распускается, как оттаявший студень, а в ожидании сего плачевного момента неукоснительно и при малейшей оказии дрожит, как тот же высокочувствительный студень.

Веселая и бойкая кудреватость не покидает Волгу даже и там, где по самым законам естества наступает царство грозного и мрачного величия — в горах. На Жигулевские горы наклеветали, изображая их мрачным сборищем мрачных и одиноких вершин,— в действительности это сплоченная и дружная шайка превеселых ребят, курчавых, в красных кумачовых рубахах и с балалайками. Превеселые ребята: блестят их крепкие волчьи зубы, лоснятся и краснощекие рожи, мелким кольцом вьются волосы и бороды, бойкие шуточки змеятся на устах, и — береги свою мошну, толстопузый купчина, повыше огораживайся тыном, седовласый воевода, ходи дальше, кроткий обыватель!

На сотни верст тянутся Жигули, бесплодные, далеко в глубину поросшие непроходимым лесом, изрытые оврагами. Когда ночью возле Жигулей громко кричит пароход, металлический, властный вопль его многократным и полнозвучным эхом долго носится в высоте, уходя все дальше в неисследимую глубину гор. И в резкой отчетливости звука чувствуется глубина темных пропастей, отталкивающих его; в его округлой полноте видятся мягкие очертания заснувших вершин — и все же нет мрачности в этих приволжских горах. Безлюдье огромных пространств всегда чувствуется робким человеческим сердцем; чувствуется оно и здесь — но не страшит и не волнует жутким ощущением оторванности. Людей нет — но сами горы, округлые, кудреватые, сплошь пышно зеленеющие, живут какой-то веселой жизнью, раздольной и богатой.

Из Самары, где я останавливался, мы целой многолюдной компанией ездили в Ставрополь, расположенный как раз против начала Жигулей, наискосок от прославленного кургана Стеньки Разина. Оставив пожитки на самолетской конторке, мы переплыли на лодке на другой жигулевский берег и сразу, отойдя на несколько шагов от лодки, были охвачены тишиной темного леса — не какой-нибудь вздорной тишиной

между двумя городскими гвалтами, когда трупы умерших звуков еще не остыли, а настоящей, солидной, седой тишиной, которая копится десятками лет, крепчает, как старое вино, и так трудно поддается голосу, точно не в воздух кричишь, а полено рубишь. И она пьянит, эта старая, крепкая тишина. Отбившись от спутников, я начал царапаться вверх (и не скажу, чтобы это было легко: единственное орудие, которого я не пускал в ход, были зубы) и шумел, как может шуметь человек, у которого в трех местах порвалось платье, вот-вот оторвется подметка, в руках ломаются ветви, а из-под ног валятся камни и который пыхтит, как автомобиль. Но сквозь этот пестрый шум ровным, спокойным фоном просвечивала извечная тишина, и стоило на минуту остановиться — бесследно исчезали звуки, словно ребята, проглоченные великаном, и воцарялась такая серьезная, строгая и самоуверенная тишина, что даже совестно становилось за свою попытку нарушить ее. И не чувствовалось в этой тишине собственного тела, и как-то весело становилось, весело и чудно. Будто просыпались во мне тысячи жизней, что предшествовали моему рождению, и каждая говорила своим языком; и тут с особой силой ясно стало, что если я живу и недолго, то моя душа — особа весьма преклонных лет. Видали вы пень столетнего дуба, спиленного под корень? От самой сердцевины правильными кругами идут слои — по одному слою в год. Так и душа. Один лишь верхний ее слой — ваш, а остальные, многочисленные, даны предшествующими вам жизнями.

Я оглянулся. Глубоко вниз, почти по крутому отвесу, бежали стволы деревьев, становились все чаще и тоньше и, наконец, терялись, захлестнутые зеленой волной и листьев и ветвей. Налево темнел глубокий овраг, и вершины его деревьев лежали у меня под ногами, как сплошь затканный ковер, а впереди, сквозь ветви проглядывала даль. Какая это была даль! Солнце заходило и полнеба горело, до того правдоподобно напоминая настоящий пожар, что все агентства должны были в тот вечер переполошиться. И в этом огне, словно поджариваясь, неподвижно стояли бесформенные гигантские купы облаков, а под ними, на страшной глубине, широкими серебристыми

полосами расстилалась Волга со своими рукавами. Темной земли было так мало, что разрозненные куски ее казались островками, и все впереди, куда ни глянь, была вода, светлая, прекрасная в своем покое и чистоте.

— Ого-го-го! — крикнул я. Звук раскатился и замер, и через овраг с соседней вершины прилетел глухой и далекий отзвук:

— Ого-го-го!

А когда настала ночь, темная и тихая, мы уже сидели в конторке, пили чай и говорили о Жигулях, о том, как легко в них заблудиться, о двух гимназистах, которые несколько лет тому назад пошли в Жигули на охоту — и до сих пор не вернулись. Черной молчаливой стеной стояли Жигули, и нетронутой тишиной веяло от них; а на нашем берегу горели костры, фыркали лошади, показывались у костра и тотчас пропадали во тьме какие-то фигуры, слышался отрывистый тихий говор, и вернувшийся рыбак над чем-то плескался у своей лодки.

В противоположность Волге, Кама — мрачная и сосредоточенно-хмурая река. Блеснет на нее солнце — она неохотно улыбнется и опять уйдет в свою мысль, тяжелую и дремотную. И все на ней какое-то острое и прямое: ломаная линия островерхих гор, а по горам острые, как кинжалы, ели. И стоят эти ели в одиночку, и каждая острая вершина отдельно врезается в голубое небо. И воды у ней ужасно много, подчас едва видны берега, и вода какая-то желтоватая, тревожная, и волны острые и злые. Волга, та дружески обнимает идущие по ней суда, а эта словно кусает их.

И ужасно безлюдна эта хмурая Кама. На Волге нет момента, когда бы в виду не было видно другого парохода, или лодки, или какой-нибудь деревеньки. А здесь пароход идет целыми часами по самой середине, и ни единого живого дыхания не попадается ему навстречу. Однажды поздней ночью, когда весь уже пароход был погружен в сон, я вышел на палу-

бу — и то, что представилось моим глазам, было жутко и необыкновенно.

Берега почти не было. Все, что оставалось от него, узкой темной полоской маячило по одну сторону парохода, а со всех других сторон его охватывала молчаливая вечная ширь. И такое же темно-серое, беспредельно-широкое висело над рекой небо — ни темного пятна, ни контура дерева, ни огонька не оживляло этой двойной пустыни.

И так шли минуты за минутами, и ничто не менялось, и с зловещей бесшумностью бежали струйки воды — когда внезапно, как привидение, в стороне от нас вырос освещенный пароход. Он был так же безмолвен, как и все на реке, и его несло сильным течением так быстро, точно он падал. Минута — и он исчез так же быстро, как появился, и опять ничто не нарушало безлюдья молчаливой пустыни.

Из Нижнего Новгорода я поехал в Арзамас [1].

Когда после Нижнего оказываешься в вагончике Ромодановской дороги — переход так резок и неожиданен, что долго не можешь к нему приноровиться. В Нижнем суета, движение, жизнь. Сотни судов загромождают реку; десятки пароходиков и пароходов перерезают ее во всех направлениях: по берегу звонит трамвай, бесшумно скользят вверх и вниз элеваторы; грохочут извозчики и ломовые, и многоголосый говор стоит над пристанями.

Здесь же — изумительный покой и неторопливость. Поезд из подержаных вагончиков идет с такой степенной медлительностью, как будто для него еще не окончательно выяснился вопрос: стоит идти в Арзамас, или не стоит. Как будто стоит, а как будто и не стоит. Временами сомнения, видимо, усиливаются — и тогда поезд начинает подергиваться, а потом в страшном изнеможении верст десять идет шагом. Кругом луга, лес, тишина; у самой дороги цветы и яго-

[1] К М. Горькому, который находился в административной ссылке. *(Прим. авт.)*

ды — точно не едешь, прогулку совершаешь. Но случается и так: внезапно решив, что в Арзамас идти стоит, поезд отчаянно машет рукой, закидывает назад голову и скачет бешеным аллюром верст пять. А там опять сомнения, опять упадок сил и отвращение к жизни. На всякую гору — а их там много — поезд взбирается на четвереньках, а подходя к станции, начинает останавливаться верст за шесть: боится увлечься и перескочить.

Но вот он остановился — совсем остановился. Минута кроткой тишины и спокойствия. Наконец хлопает дверь, выглядывает кондуктор и удивляется: станция. Идет рассказать об этом другому кондуктору. Опять молчание и тишина под жарким июльским солнцем. И медленно, медленно начинают выползать пассажиры, медленно торгуются с бабами, продающими ягоды, медленно пьют чай, не торопясь, идут назад в вагон — и все-таки усаживаются минут за пять до отхода.

Так же тих и самый Арзамас. Мы ходили по его улицам днем и встречали столько же народу, как и ночью, а ночью мы встречали одних сторожей и городовых. Город застывший и тихо стареющий, как стареются многие русские города. Церквей в нем 36 (на 12.000 жителей), и все они старые-старые; дома в нем все старые-старые, с покосившимся крыльцом, незапирающейся дверью и двором, по колена поросшим травой. На многих домах пожелтевшая от времени вывеска: «сей дом продается». Ни одного нового или строящегося дома я не видал.

День в Арзамасе отличается от ночи только тем, что днем светло, а ночью — темно — других видимых перемен не наступает. Хорошая погода и обилие зелени красят Арзамас, но каков он осенью, когда начинаются дожди, можно представить, но без особенного удовольствия.

...В Арзамасе почти все колокольни имеют часы и, помимо четвертей, некоторые часы отбивают и минуты. Странное получается впечатление! Ночь, тихо умирающий городок и над ним — каждую минуту — тихий стон колокола. Еще минута прошла.



рр... Холодно. Еще только сентябрь на дворе, а уже заморозки начались, и каждый день идет снег, то хлопьями, мокрый, тяжелый, то сухой и колючей крупой. Беда всем, у кого нет теплого приюта, у кого дрова на счету и в закладе теплая одежда. Беда и деревьям в лесу. Я ехал на днях по железной дороге, и так жалко было смотреть на застигнутый ранней зимой лес. Нет в нем пышных красок золотистой, солнечной осени; в холоде, без солнца, под ударами ветра бьются и отрываются потемневшие, скрюченные листья, и так все серо, холодно, покинуто. Точно смерть без страсти; точно страсть без жизни. А ведь есть где-то солнце, тепло, светлая жизнь под ясным небом; есть там и вечно зеленые деревья. И когда я подумаю о них, вечно зеленых и счастливых, мне так обидно становится за наш безвременно и невинно умирающий лес. Не насладился он вволю ни солнечным блеском, ни теплом, не надышался он всласть мягким воздухом весны и лета; не успел еще убраться в царственные одежды важной старости, как уже нагрянули на него снег, вьюга, жестокий шумящий ветер. Эх, климат!

Умер Золя. Нелепо и обидно умер. Какой-то камин, который дымит, какой-то угар, что-то вздорное, мелкое, слишком обыденное, вульгарное,— а в результате смерть. Вот он, великий Золя, валяется лицом вниз на ковре, такой простой, такой до ужаса обыкновенный, как все, кто умер. Нет Золя. Есть четыре пуда костей, мяса, мозга, есть форма человека, но человека уже нет — а скоро не будет и формы. И все это сделал какой-то нелепый угар. Прекратил свою неустанную работу гигантский мозг; сердце перестало биться; лежит неоконченная работа — неоконченная работа... Кто теперь окончит ее? И сколько детей-книг осталось нерожденными в этой голове? И нет силы, что могла бы вызвать их к жизни. Напишут другие другое; быть может, красивее, сильнее и умнее будет написанное ими, но не скажут они того, что сказал бы он; не надумают того, что надумал бы он. Оно умерло.

...Какой-то нелепый угар.

И такой же странный и неправдоподобный, как сама эта смерть, был у меня один разговор о ней. Вернее всего, вы не поверите в реальность этого разговора и скажете, что я нарочно его выдумал — «сочинил», как говорили в доброе старое время. Не стану уверять вас. Быть может, ничего этого не было; быть может, никто не сидел рядом со мной на диване, не ходил рядом со мной по комнате и не вел со мной этого странного, нелепого разговора. И то, что я могу подробно описать его, моего странного собеседника, ничего еще не доказывает: литераторы, равно как и сумасшедшие, не лишены дара галлюцинировать, и публике, равно как и докторам, известно это по множеству скверных рассказов. Пусть это галлюцинация; нужно уважать и галлюцинацию, если она ведет себя порядочно, и быть с нею вежливым. Вот Лютер бросил в черта чернильницей, а что хорошего из этого вышло? Ничего. Только то, что черт возненавидел с тех пор чернильницу и чернила и нарочно выдумал красный карандаш.

Итак, несколько слов о моем собеседнике. Он не молод, но и не стар; роста он среднего, ну, приблизительно, как ваша тень, когда вы проходите мимо лампы. Физиономия у него довольно приятная, но истощенная и желчная: дело в том, что живет он преимущественно в таких местах, как Ляпинка, подвалы, маленькие комнаты верхних этажей, где воздух микробообилен и плох; ест он плохо, спит совсем скверно, хотя его усердно пичкают наркотиками, и постоянно со всеми вздорит. Характер неуживчивый. Бывает, что люди позовут его к себе, прельстясь его разговором, а потом не знают, как отделаться. Так вот он явился ко мне и заявил:

— Вы обратили внимание на то, как умер Золя?

— Нелепая смерть, бессмысленная,— повторил я то, что уже раньше замечено было мной в этой статье, но гость мой решительно отмахнулся рукой.

— В том-то и дело, что не бессмысленная. Вы заметили, в чьем он доме умер?

— В своем собственном. Что же из этого?

— А чей был камин, удушивший его?

— Ну, конечно, его же. Что же отсюда следует?

— А то, что Немезида. Писатель не должен иметь собственного дома, не должен иметь собственного камина.

Я рассмеялся.

— А не все ли равно, угорит он от собственного камина или от чужого? От чужого-то, пожалуй, еще обиднее...

— У писателя совсем не должно быть камина, ни своего, ни чужого.

— Да ведь не один камин — и печки дымят.

— И печки не должно быть!

— Так ведь он замерзнет, писатель-то?

— Не замерзнет. Не замерзают же тысячи людей, которые живут без печки, черт знает где, или так плохо топят их, что как будто и совсем не топят. А если замерзнет — тем лучше.

Я выразил серьезное сомнение, чтобы так было лучше.

— Да, лучше,— настаивал мой дикий гость.— Он докажет, что он истинный рыцарь духа, каким должен быть всякий писатель. Добровольно приняв низкую, собачью смерть от мороза, которую другие принимают невольно с проклятиями, он этим облагородит и ее и их — умирающих.

И совершенно искренно я ему сказал:

— Это даже не бескрайний идеализм, а дикая сверхъестественная чепуха. Прощайте!

Но от него не так легко было отделаться, раз он пришел. И вот что должен был выслушать я.

— Приятно думать, что в каждом писателе таинственно сочетаются два существа, с определенным для каждого кругом обязанностей и прав: один тот, кто пишет и печатает свои писания; другой тот, кто живет. Для первого обязательна любовь к людям, понимание их души, их радости и горя, сочувствие к их положению и разделение его. Ходатаем и заступником и толкователем всех, для кого жизнь трудна и невыносима, является первый. Мир еще не знает писателя, который не любил бы людей — хотя бы только на бумаге. Второй, тот, кто живет,— особых обязанностей не несет. Живет, как хочет, живет, как все.

— Знаю,— перебил я.— Это старо. Не может пьяница проповедовать трезвость и т. д.

— Да, старо — и хорошо забыто. И оттого так много народилось плохих писателей. И оттого так мало истинных заступников у тех, для кого жизнь трудна и невыносима. И оттого все они светят так, как светит луна и звезды: показывают ямы и провалы жизни, но не дают тепла и не бросают в землю зародыши новой жизни. На полюсе ведь также много звезд, и лунного блеска, и северного сияния, и красоты,— а царит там вечная смерть.

— Все это звучит очень хорошо,— сказал я,— но не думаю, чтобы писатель стал лучше, если его кормить раз в неделю, держать на морозе и бить палками. И теплоту и жизнь дает писателю не голодовка, а талант, иначе у нас было бы много превосходных писателей. А для таланта великим врагом является именно не обеспеченность, бедность, и нужно радоваться тому, что в последнее время писательский труд стал оплачиваться лучше и дает писателям относительную независимость.

— Это передержка,— рассердился мой гость.— Я не говорю, что талант не нужен. Он необходим, как четыре ноги для лошади. Но как одни четыре ноги не делают всякую лошадь рысаком, так *один* талант не делает человека писателем. Своей творческой силой талант может воссоздать целый ряд положений и ощущений, в которых никогда не находился сам автор: сытый может превосходно изобразить муки голодного; потеющий от жары — ужасы смерти от замерзания; счастливейший — несчастного. Но это будут мертвые картины, как бы прекрасно ни были сделаны они. На жизнь они будут походить так, как восковая кукла походит на живого человека. Конечно, многие будут обмануты сходством: ведь нашлись же вороны, которые клевали нарисованный Апеллесом виноград. Клевать клевали, но сытее от этого не стали. Слово писателя должно быть остро, как нож, и горячо, как огонь.

— И для этого его нужно кормить раз в неделю?

— И для этого он сам своей жизнью, своей спиной и боками должен узнать и испытать все. Он должен голодать с голодными, быть униженным с униженными, быть битым с битыми; он должен страдать всеми страданиями мира — и тогда он будет великим писателем, который глаголом жжет сердца людей.

— Какая нелепость, старая, избитая нелепость,— возразил я сердито.— Вот наши писатели недурно изображают смерть, так, по-вашему, они сами для этого должны были хоть раз умереть?

— Совершенно справедливо. Умереть не умереть, а ужас смерти, ее близость и неотвратимость испытать должны были.

— Они и сумасшедших изображают...

— Гаршин испытал ужас безумия.

— А Гоголь?

— Его Поприщин — восковая фигура.

— Ведь они, черт возьми, и убийц изображают...

— И оттого их убийцы так мало похожи на настоящих убийц.

— А Раскольников?

— Достоевский был в каторге.

— Так что же, писатели должны убивать?

— Да,— невозмутимо ответил мой дикий гость.— Иногда.

Я расхохотался, и тень моя запрыгала по стене.

— Да вы с ума сошли,— закричал я.— Уходите вон, вы надоели мне!

Но он сидел и спокойно говорил:

— Если бы я был писателем и у меня был большой талант, я совершил бы убийство. Этим я принес бы в жертву самого себя, ибо не мог бы я жить после убийства, но зато я написал бы одну истинно великую вещь. Я дал бы настоящего убийцу, со всеми его страданиями и душевным ужасом; не страх, не любопытство внушил бы я к убийству, а ужас, и много веков звучала бы людям моя предсмертная речь. Но,— он задумался и наивно добавил,— тут есть маленькое препятствие: мне жалко того, кого я убил бы, так как ему-то ничего уже не достанется от моих речей.

— Да и я так думаю,— согласился я.

— И поэтому можно, пожалуй, и не убивать; равно как и вообще не производить насилий над людьми. Достаточно будет, если писатель, как Достоевский, поживет некоторое время на каторге, в непосредственной близости со всякого рода насильниками. Но чашу человеческого горя, унижений, несправедливости и нищеты он должен выпить до дна.

— Вообще писатель, по-вашему, должен быть вроде бродячей собаки, со всеми неудобствами такого положения.

— Вот именно. Он должен дать обет вечной бедности и все лишнее отдавать тем людям, которых он так любит на бумаге; не с сытыми и обеспеченными должен жить он и дружить, а с теми, кто обездолен. Вон Золя оставил после себя состояние в 5 миллионов франков.

— Послушайте, ведь Золя спас Дрейфуса.

— Он исполнил только свой долг порядочного человека. А пять миллионов я простить ему не могу. Он, написавший «Углекопов», так глубоко понявший грозную силу какого-нибудь пичтожного сантима, мог хранить где-то в банке 5 миллионов франков, 5 миллионов обедов, роскошных, сытных обедов!

— Это бессмыслица! Сила писателя не в деньгах, которые у него есть, а в богатстве его души и его сердца. Весь отдавшийся своему труду, писатель должен быть безопасен от вторжения бедности, избавлен от вечной заботы о куске хлеба, от всех зол жизни.

— Какая бессмыслица! — в свою очередь воскликнул мой странный гость.— Да в чем же заключается его труд, как не в познании и не в художественном изображении всех зол жизни? Откармливаете каплуна и хотите, чтобы он был писателем, горько жалуетесь, что литература пошла теперь какая-то каплунья. То-то хороши наши теперешние писатели! Сидят как сверчки по запечкам, всякие удовольствия от жизни получают и от имени всех своих интеллигентных сородичей горько жалуются на неудовлетворенность. И тут же сбоку, за стеной от них течет настоящая страдальческая жизнь народа, а что мы знаем о ней? Разве только от избытка талантливости обрядит писатель своего героя в лохмотья,— так ведь это декорации, бутафория, черт в ступе. Спасибо Максиму Горькому: пришел он со дна жизни и хоть кое-какие свежие вести принес оттуда на своей спине крючника, в своих мозолистых руках молотобойца, в своей широкой груди вольнолюбивого босяка,— а то совсем задохнуться бы можно от изображения все одной и той же интеллигентной души в лохмотьях.

— Это несправедливо. Все крупнейшие писатели наши писали о народе, его помыслах и его страданиях. Тот же Глеб Успенский.

— Вот, вот: Глеб Успенский. Хорош пример. Да разве не был Гл. Успенский как раз тем рыцарем духа? Бескорыстный, до крайности сузивший свои потребности — разве не бродил он по лону земли русской, как ее встревоженная совесть? Оттого столько живого огня в его писаниях. А другие — эти, правда, тоже писали о меньшом брате, и это было самое слабое из того, что они писали.

— Так ведь это уже не писательство, а какую-то каторгу вы проповедуете для писателя. Немногие пойдут в литературу при этаких условиях,— сказал я.

— Ах, как бы это было хорошо, если бы от литературы отшатнулись все эти бесчисленные иксы, которые туда идут: одни — безвольно, как в сторону наименьшего сопротивления, другие — искренне смешивая печатное дело с негласной ссудной кассой. Как хорошо бы сделать литературу невыгодным трудом, самым невыгодным.

— Ну, уж это совсем чепуха. Тогда получилось бы такое положение дел, при котором вся литература попала бы в руки буржуазного, материально обеспеченного класса.

— Вздор,— воскликнул мой гость.— Тот, кто носит в душе своей горячую любовь к людям и способность к творчеству, тот будет писать всегда, при всяких условиях.

— Даже если его повесить за ноги?

— Даже если его повесить за ноги.

Не знаю, быть может, я и согласился бы кое в чем с моим сумасшедшим гостем, сведя все дело на приличные и освященные жизнью компромиссы, если бы он не обратился ко мне с крайне нелепым и даже возмутительным предложением.

— Послушайте,— сказал он убедительно,— вот вы написали фельетон и гонорар, конечно, за него получите?

— Получу.

— Голубчик,— голос его дрогнул,— отдайте эти деньги мне, а я их раздам кое-кому на «Ляпинке».

— Мне за квартиру платить,— угрюмо сказал я.

— А вы не платите!

— Меня выгонят.

— Вот и прекрасно! Пойдемте жить на Хитров рынок, а там столько интересного, какой фельетон напишите!

— Мне здоровье не позволяет жить на Хитровке.

— Вот и прекрасно. Умрете там. Как это великолепно!

Ну, я его и выгнал. Но он настойчив. Он придет опять. Он будет опять терзать меня этими ненужными, бессмысленными разговорами — он настойчив и беспощаден. И даже то соображение, что мой гость — только галлюцинация, не утешает меня, ибо от галлюцинации еще труднее отделаться, чем от живого человека. Как быть?

Ф. И. ШАЛЯПИН

Я хожу и думаю. Я хожу и думаю — и думаю я о Федоре Ивановиче Шаляпине. Сейчас ночь; город угомонился и засыпает: нет его назойливых звуков, нет его бессмысленно-пестрых красок, которые в течение всего дня терзают слух и зрение и так оскорбительны среди осеннего покоя и тихого умирания. Тихо на темной улице; тихо в комнате — и двери отперты для светлых образов, для странных смутных снов, что вызвал к жизни великий художник-певец.

И я хожу и думаю о Шаляпине. Я вспоминаю его пение, его мощную и стройную фигуру, его непостижимо подвижное, чисто русское лицо — и странные превращения происходят на моих глазах... Из-за добродушно и мягко очерченной физиономии вятского мужика на меня глядит сам Мефистофель со всею колючестью его черт и сатанинского ума, со всей его дьявольской злобой и таинственной недосказанностью. Сам Мефистофель, повторяю я. Не тот зубоскалящий пошляк, что вместе с разочарованным парикмахером зря шатается по театральным подмосткам и скверно поет под дирижерскую палочку,— нет, настоящий дья-

вол, от которого веет ужасом. Вот таинственно, как и надо, исчезает в лице Шаляпина Мефистофель; одну секунду перед моими глазами то же мягко очерченное, смышленое мужицкое лицо — и медленно выступает величаво-скорбный образ царя Бориса. Величественная плавная поступь, которой нельзя подделать, ибо годами повелительности создается она. Красивое сожженное страстью лицо тирана, преступника, героя, пытавшегося на святой крови утвердить свой трон; мощный ум и воля и слабое человеческое сердце. А за Борисом — злобно шипящий царь Иван, такой хитрый, такой умный, такой злой и несчастный; а еще дальше — сурово-прекрасный и дикий Олоферн; милейший Фарлаф во всеоружии своей трусливой глупости, добродушия и бессознательного негодяйства; и наконец создание последних дней — Еремка. Обратили вы внимание, как поет Шаляпин: «а я куму помогу-могу-могу». Послушайте — и вы поймете, что значит российское «лукавый попутал». Это не Шаляпин поет и не приплясывающий Еремка: это напевает самый воздух, это поют сами мысли злополучного Петра. Зловещей таинственности этой простой песенки, всего дьявольского богатства ее оттенков нельзя передать простою речью.

И все это изумительное разнообразие лиц заключено в одном лице; все это дивное богатство умов, сердец и чувств — в одном уме и сердце вятского крестьянина Федора Ивановича Шаляпина, а ныне, милостью его колоссального таланта, европейской знаменитости. Просто не верится. Какой силой художественного проникновения и творчества должен быть одарен человек, чтобы осилить и пространство, и время, и среду, проникнуть в самые сокровенные глубины души, чуждой по национальности, по времени, по всему своему историческому складу, овладеть всеми ее тончайшими изгибами. Чуть ли не два века создавала Европа совокупными усилиями своих народов Мефистофеля и в муках создала его — и пришел Шаляпин и влез в него, как в свой полушубок, просто, спокойно и решительно. Так же спокойно влез он и в Бориса и в Олоферна — расстоянием он не стесняется, и я, ей-богу, не вижу в мире ни одной шкуры, которая была бы ему не по росту.

Творческой роли актеров и певцов принято отводить довольно скромные размеры: и слова у них чужие, и музыка чужая, и только толкование того и другого в их власти — да и то в известных пределах. Как ни пой Шаляпин «Блоху», а создали ее все-таки Гёте и Мусоргский, а не он. Оно так, но не совсем. Допустим такой случай: вылепивши из глины человека, Творец позабыл бы вдохнуть в него жизнь — получилась бы глиняная фигура со всеми атрибутами и потенциями человека, но не человек. И много или мало сделал бы тот, кто дал бы жизнь неподвижной глине? Именно это и делает Шаляпин — он дает жизнь прекрасным глиняным и мраморным статуям. Давно существуют «Псковитянка» и Иван Грозный, и многие любовались им,— а живым не видел его никто, пока не явился Шаляпин. Живым, в самом строгом и определенном смысле этого слова, ну — как живы я и вы, мой читатель. Всегда находились на свете более или менее талантливые искусники, которые раскрашивали статуи под человеческое тело, приводили их в движение, и получалось так мило — совсем как живые. Как живые, но не живые — вот та непостижимая разница, что отличает творения Шаляпина от игры других талантливых артистов. Здесь начинается область великой тайны — здесь господствует гений. Большое слово написал я — но не беру его обратно.

Если взглянуть вниз на землю, примерно с вершины Монблана, то разница в росте между отдельными людьми едва ли будет заметна. И когда с вершины творчества Шаляпина я гляжу на самого Шаляпина, меня перестает удивлять то, что так удивляет многих других: его появление с самых низов жизни, отсутствие у него образовательного ценза, и я начинаю думать, что университетский или иной диплом, этот лишний вершок роста, добытый тщательной поливкой, еще не делает человека высоким. Один мой знакомый, весьма высоко ставящий Горького и Шаляпина, положительно не хочет верить, чтобы они могли творить так без диплома, и недавно высказал догадку, что оба они тайно окончили университетский курс и притворяются самоучками для рекламы. Сам он, мой знакомый, имеет 144 аттестата средних учебных заведений и 48 дипломов высших и служит в настоящее время в

акцизе — спирт меряет. Доказав его ошибку, я привел его в страшное смущение.

— Неужели и в диплом верить нельзя? — спросил он, разложив по столу все двести свидетельств своих знаний и успехов. И на каждом была казенная печать и пять неразборчивых подписей.

— По-видимому,— ответил я грустно, вспоминая все свои свидетельства, начиная со свидетельства о привитии оспы, кончая клятвенным уверением, что по полицейскому праву я имею весьма отличную отметку (что, кстати, не внушает городовым ни малейшего ко мне почтения).

— О, боже мой,— воскликнул он: — какое странное время! Во что же верить теперь?

— Попробуем верить в человека,— предложил я.

— Ну, уж в человека ни за что,— возмутился мой знакомый.— Недавно я дал человеку десять рублей, а он сдачи принес с пяти — как же стану я вам верить в человека!

Да, если не смешивать хронически человека с лакеем, то из факта существования Шаляпина можно вывести много утешительного. И отсутствие дипломов и всяких условных цензов, и странная судьба Шаляпина с чудесным переходом от тьмы вятской заброшенной деревушки к вершине славы даст только лишний повод к радости и гордости: значит — силен человек. Значит — силен живой бог в человеке!

Я не беру на себя задачи достойно оценить Ф. И. Шаляпина — избави бог. Для этого нужна прежде всего далеко не фельетонная обстоятельность, серьезная подготовка и хорошее знание музыки. И я надеюсь, хочу быть уверен, что эта благородная и трудная задача найдет для себя достойных исполнителей: когда-нибудь, быть может, скоро, появится «Книга о Ф. Шаляпине», созданная совместными усилиями музыкантов и литераторов. Такая книга необходима. Нужно хоть отчасти исправить ту жестокую несправедливость жизни, что испокон веков тяготеет над певцами и актерами: их творения неотделимы от них самих, живут вместе с ними и вместе с ними умирают. Воспроизвести словом, как бы оно ни было талантливо, все те пышущие жизнью лица, в каких является Шаляпин, невозможно, и в этом смысле несправедли-

вость судьбы непоправима. Но создать из творений Ф. И. Шаляпина прекрасную долговечную статую — эта задача вполне осуществима, и в осуществлении ее наши наиболее талантливые литераторы найдут благородное применение своим силам. Перед лицом всепожирающей вечности вступиться за своего *собрата*, вырвать у нее хоть несколько лет жизни, возвысить свой протестующий голос еще перед одной несправедливостью — как это будет и дерзко, и человечно, и благородно! Разве Мочалов не жил бы до сих пор, если бы его великие современники, часто безграничные властители слова и формы, не в виде отрывочных воспоминаний, а в целом ряде художественных образов и картин сохранили для нас его гениальный образ и гениальные творения? Обидно подумать, что до сих пор над увековечением творений Шаляпина трудились: со стороны внешней картинности образа — фотограф Чеховский, со стороны звука — дико скребущийся, как запертая кошка, фонограф и репортеры.

Мои собственные намерения скромны: очарованный гениальным творчеством Шаляпина, натолкнутый им на массу мыслей и чувств, я хочу поделиться с читателем своими впечатлениями в далеко не полной и не удовлетворительной форме газетного фельетона. Разве можно наперстком вычерпать океан, или удою вытащить на берег Левиафана, или в коротенькой, наскоро набросанной статейке воссоздать многоцветный и многогранный образ Ф. Шаляпина?

Сейчас поздняя ночь, все тихо, все спит — перед моими глазами встает Шаляпин-Мефистофель, не тот, что на сцене в «Фаусте», дивно загримированный, вооруженный всеми средствами театральной техники для воссоздания полной иллюзии, а тот, что поет «Блоху». Одет он просто, как и все, лицо у него обычное, как у всех. Когда Шаляпин становится к роялю, на губах его еще хранятся следы живой беседы и шутки. Но уже что-то далекое, что-то чужое проступает в крупных чертах его лица, и слишком остер сдержанный блеск его глаз. Он еще Ф. И., он еще может бросить мимолетную шутку, но уже чувствуется в нем присутствие кого-то неизвестного, беспокойного и немного страшного. Еще момент, какое-то неуловимое движение — и нет Шаляпина. Лицо неподвижно и бес-

страстно нечеловеческим бесстрастием пронесшихся над этой головой столетий; губы строги и серьезны, но — странно — в своей строгости они уже улыбаются загадочной, невидимой и страшно тревожной улыбкой. И так же загадочно-бесстрастно звучат первые слова сатанинской песенки:

Жил-был король когда-то.
При нем блоха жила.
Блоха... Блоха...

В толпе слушателей некоторое движение и недоумевающие улыбки. Король и при нем блоха — странно и немного смешно. Блоха! А он — он тоже начинает улыбаться такой вкрадчивой и добродушной улыбкой — эка веселый, эка милый человек! Так, в погребке, когда-то с веселым недоумением и приятными надеждами должны были глядеть немецкие филистеры на настоящего Мефистофеля.

...Милей родного брата
Она ему была.

Что за чепуха! Блоха, которая милей родного брата,— что за странность! Быть может, это просто шутка? Наверно шутка: он тоже смеется таким веселым и откровенным смехом:

Блоха... ха-ха-ха-ха-ха... Блоха.
Ха-ха-ха-ха-ха... Блоха!

Нет сомнения: речь идет о какой-то блохе. Экий шутник! Физиономии расплываются в приятные улыбки: кое-кто оглядывается на соседа и гукает: гы-гы. Кое-кто начинает тревожно ерзать — что-то неладное он чувствует в этой шутке.

Зовет король портного.
— Послушай, ты, чурбан,
Для друга дорогого
Сшей бархатный кафтан!

Потеха! У слушателей уже готова улыбка, но улыбнуться они еще не смеют: он что-то неприятно-серьезен. Но вот и его уста змеятся улыбкой; ему тоже смешно:

Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Блохе? Ха-ха-ха-ха-ха. Кафтан!
Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Блохе кафтан!

Ей-богу, смешно, но что-то загадочное и ужасно неприятное сквозит в этом смехе. Отчего кривятся улыбающиеся губы, и отчего у многих мелькает эта скверная догадка: черт возьми, о, порядочный я осел — чего я хохочу?

Вот в золото и бархат
Блоха наряжена,
И полная свобода
Ей при дворе даиа.
Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Блохе. Ха-ха-ха!

Он смеется, но откуда этот странный и страшный блеск в его глазах? И что это за неприличная нелепость: блоха, которой дана полная свобода при дворе! Зачем он так неприлично шутит! Смешно, очень смешно, но... но... но...

Король ей саи министра
И с иим звезду дает,
За нею и другие
Пошли все блохи в ход.
Ха-ха.

Позвольте, позвольте,— что это такое! Это насмешка. Кто этот незнакомец, так нагло издевающийся над чем-то, над чем-то... Что ему нужно? Зачем пришел он сюда, где так мирно распивалось пиво и пелась мирная песенка?

И самой королеве
И фрейлинам ее
От блох не стало мочи,
Не стало и житья.
Ха-ха!

Смятение. Все вскакивают. На лицах еще застыла жалкая улыбка одураченных простаков, но в глазах ужас. Это заключительное «ха-ха» дышит такой открытой злобой, таким сатанинским злорадством, таким дьявольским торжеством, что теперь у всех открылись глаза: это он. Это дьявол. Глаза его мечут пламя — скорее прочь от него. Но ноги точно налиты свинцом и не двигаются с места; вот падает и звякает разбитая кружка; вот кто-то запоздало и бессмысленно гыкает: гы-гы — и опять мертвая тишина и бледные лица с окаменевшими улыбками.

А он встает громадный, страшный и сильный, он наклоняется над ними, он дышит над ними ужасом,

и, как рой раскаленных камней, падают на их головы загадочные и страшные слова:

И тронуть-то боятся,
Не то чтобы их бить.
А мы, кто стал кусаться,
Тотчас давай — душить!

Железным ураганом проносится это невероятное, непостижимо сильное и грозное «душить». И еще полон воздух раскаленного громового голоса, еще не закрылись в ужасе раскрытые рты, как уже звучит возмутительный, сатанинско-добродушный смех:

Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.

То есть — «извините, братцы, я, кажется, пошутил насчет какой-то блохи. Да, я пошутил — не выпить ли нам пивка: тут хорошее пиво. Эй, кельнер!» И братцы, недоверчиво косясь, втихомолку разыскивая у незнакомца предательский хвост, давятся пивом, приятно улыбаются, один за другим выскальзывают из погребка и молча у стеночки пробираются домой. И только дома, закрыв ставни и отгородившись от мира тучным телом фрау Маргариты, таинственно, с опаской шепчут ей:

— А знаешь, душечка, сегодня я, кажется, видел черта.

ИСКРЕННИЙ СМЕХ



Только раз в жизни я так смеялся. Это не была та натянутая улыбка, с которой мы выслушиваем анекдоты друзей и в морщинках смеха вокруг глаз прячем не веселье, а неловкость и даже стыд; это не был даже смех сангвиника — продолжительный, раскатисто-свободный грохот, которому завидуют прохожие и соседи по вагону; это был хохот, властно овладевший не только лицом, но и всем моим телом. Он полчаса душил меня и бил, как в коклюше, он выворачивал меня наизнанку, бросал на траву, на постель, выворачивал руки и ноги, сокращая мускулы

в таких жестоких судорогах, что окружающие уже начали опасаться за мою жизнь. Чуждый притворства, искренний до глубины души,— это был тот редкий и счастливый смех, который оставляет светлый след на всю вашу жизнь и в самой глубокой старости, когда все уже пережито, похоронено, забыто,— вызывает отраженную улыбку.

Смешной случай, о котором я хочу рассказать, произошел очень давно. Десятки лет проползли над моей головою и стерли с нее все волосы, но уже ни разу я так не смеялся — ни разу! — хотя вовсе не принадлежу к числу людей мрачных, по самой природе своей не отзывчивых на смешное. Есть такие люди, и мне их душевно жаль. Так как искренний чистый и приятный смех, даже только веселая, но искренняя улыбка составляют одно из украшений жизни, быть может, даже наивысшую ценность ее.

Нет, я совсем другой, я веселый человек! Я люблю юмористические журналы, остроумную карикатуру и крепко просоленный, как голландская селедка, анекдот; бываю в театре легкой комедии и даже не прочь заглянуть в кинематограф: там попадаются не лишенные юмора вещицы.

Но увы! Тщетно ищу я на людях и в книге тот мой прекрасный, единственный, до глубины души искренний смех, который, как солнце за спиною, озаряет до сих пор мой нелегкий путь среди колдобин и оврагов жизни,— его нет. И так же бесплодно ищу я счастливой комбинации всех тех условий, какие в тот памятный день соединились в искусный узел комического.

Конечно, я смеюсь, было бы неправдой сказать другое, но нет уже искренности в моем смехе. А что такое смех без искренности? — это гримаса, это только маска смеха, кощунственная в своем наглом стремлении подделать жизнь и самое правду. Не знаю, как отнесетесь вы, но меня оскорбляет череп с его традиционной, костяной усмешкой — ведь это же ложь, он не смеется, ему вовсе не над чем смеяться, не таково его положение.

Даже неискренние слезы как-то допустимее, нежели неискренний смех (обращали ли вы внимание,

что самая плохая актриса на сцене плачет очень недурно, а для хорошего смеха на той же сцене нужен уже исключительный талант?). А как могу я искренно смеяться, если меня заранее предупреждают: вот это анекдот — смейтесь! Вот это юмористический журнал — хохочите на весь гривенник! Я улыбаюсь, так как знаю приличия; иногда, если этого требуют настойчиво, произношу: ха-ха-ха, и даже гляжу на незнакомого соседа, как бы и его привлекая к общему веселью, но в глазах моих притворство, а в душе скорбь. О, тогда, в то утро, мне и в голову не приходило посмотреть на соседа,— я и до сих пор не знаю, смеялся ли кто-нибудь еще, кроме меня!

Если бы они, желающие насмешить, еще умели как-нибудь скрывать свои намерения. Но нет: как придворные шуты добрых старых времен, они издали предупреждают о прибытии своими погремушками, и я уже заранее улыбаюсь — а что значит заранее улыбаться? Это то же, что и *заранее* умереть или сойти с ума — как же это возможно! Пусть бы они замаскировывали как-нибудь свои шутки: принесли, например, гробы, или что-нибудь в этом роде, и, только что я испугался, вдруг в гробу оказывается смешное, например, живой поросенок или что-нибудь другое в этом роде,— тогда я еще засмеялся бы, пожалуй!

А так, как делается — нет, не могу!

Случай, о котором я рассказываю и который сейчас, при одном только воспоминании, вызывает у меня неудержимый хохот, не представляет собою, как увидите, что-либо исключительное. Да это и не нужно. Все исключительное поражает ум, а от ума идет смех холодный и не совсем искренний, ибо ум всегда двуличен; для искреннего смеха необходимо что-нибудь совсем простое, ясное, как день, бесхитростное, как палец, но палец, поставленный в условия высшего комизма.

Ни элементов холодной сатиры, ни игры слов, претендующей на остроумие, ни морали — и это самое главное! — не найдете вы в «моем случае», и только потому, быть может, «мой случай» так невероятно смешон, так полно захватывает вас и отдает во власть искреннейшему смеху. И еще одна важная особен-

ность моего смешного случая: рассказан он может быть в нескольких словах, но представлять его вы можете бесконечно, и с каждым разом ваше представление будет все ярче, и смех все неудержимее и полнее.

Я знаю, что некоторые, в начале даже не улыбнувшиеся при моем рассказе, под конец изнемогали от смеха и даже заболевали; и уже не рады были, что услыхали, но забыть не могли. Есть какая-то особенная назойливость в этом комическом случае,— жаловались они: он лезет в голову, садится на память, как та всемирно известная муха, которую нельзя согнать с носа, щекочет где-то под языком, вызывая даже слюнотечение; думаешь отделаться от него, рассказав знакомому, но чем больше рассказываешь, тем больше хочется — ужасно!

Но предисловие, я вижу, разрослось больше, чем следует, перехожу прямо к рассказу. В коротких словах дело в следующем...

Впрочем, еще одна оговорка: я умышленно избегаю многословия, так как в таких случаях одно лишнее, даже неудачное слово может только ослабить впечатление глубоко-комического и придать всему рассказу характер все той же неприятной нарочитости.

Нет, дело было очень просто.

Моя бабушка, идя по садовой дорожке, наткнулась на протянутую веревку и упала носом прямо в песок. *И дело в том, что веревку протянул я сам!*

Да. Мало смеха в жизни, и так редко встречается случай искренно посмеяться!

1910

СМЕРТЬ ГУЛЛИВЕРА

Наконец, после коротких, но мучительных страданий, Человек-Гора (так сам Гулливер передавал лилипутское слово Куинбус Флестрин) с сильным шумом испустил последнее дыхание, но

друзья покойного, ученые, придворные, врачи и простой народ долго еще не решались приблизиться к трупу, так как не были уверены в смерти и боялись, что резкое движение руки или ноги, какими сопровождается агония, может причинить увечье и даже нанести смерть неосторожному смельчаку. Лишь безрассудная чернь, пожираемая любопытством, настойчиво стремилась к умершему, и сильному караулу стоило большого труда сохранить порядок. Но по прошествии двух часов полная неподвижность огромного трупа убедила присутствующих, что опасности нет, и ученые врачи по немедленно приставленной лестнице взобрались на грудь Гулливера, чтобы составить формальное свидетельство о смерти. Впоследствии это свидетельство было опубликовано, и вот какие несомненные признаки смерти установили ученые: грудь Гулливера, ранее при его дыхании колебавшаяся так сильно, что у многих лилипутов это вызывало припадок морской болезни, теперь оставалась неподвижной и холодной, как мраморный пол в главном храме столицы; равным образом прекратился и тот страшный шум, стук и хрипы, которыми сопровождалось биение огромного сердца Человека-Горы. Расположившись на том самом месте груди, под которым должно было находиться сердце Гулливера, если допустить, что он был создан по тому же образу и подобию, как и лилипуты, ученое собрание не услыхало ни малейшего звука и не ощутило колебаний почвы.

Весть о смерти Человека-Горы всю страну Лилипуты одела в глубокий траур. Его многочисленные враги и завистники, осуждавшие его за слишком большой, вредный для государства рост, умолкли, удовлетворенные смертью: наоборот, все с удовольствием вспоминали его силу и кротость, и исключительно его доблести приписывали победу над флотом враждебного острова Блефуску. И кучка друзей, вначале весьма небольшая, с каждым днем заметно росла, пока наконец весь народ Лилипуты не превратился в искреннего, громко плачущего друга Гулливера. Исключение составлял только генерал-адмирал Скайриш Болгалам, продолжавший хранить злобу и после смерти своего врага и предложивший для опозорения

Гулливера не предавать его погребению, а оставить труп в добычу хищным птицам. Однако это предложение было с негодованием отвергнуто в Государственном совете, что, тем не менее, нисколько не разрешало страшного затруднения, вытекавшего из вопроса о том, как хоронить Человека-Гору.

Противники генерал-адмирала горячо возражали, что если оставить Человека-Гору без погребения, то разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и заразу во всем королевстве. В то же время все спорившие находили невозможным перевозить Гулливера на кладбище, так как всякое кладбище оказывалось для него тесным, при провозе же трупа пришлось бы разрушить целые улицы и кварталы в великолепной столице Лилипуты. При этом все вспоминали, как Гулливер, во время дозволенных ему прогулок по городу, свободно перешагивал через городские ворота, в отверстие которых едва проходила его рука. Положение стало уже казаться безвыходным, когда покровитель Гулливера, Рельдресэль, главный секретарь по тайным делам, предложил вырыть яму тут же, возле трупа, и при посредстве рычагов свалить туда умершего. Это предложение было одобрено, и три тысячи лилипутов, вооруженных лопатами и кирками, в ту же ночь, при свете факелов, приступили к исполнению тяжелой работы. Математиками было вычислено, что при таком количестве людей яма, необходимая для сокрытия трупа, равного по объему 1724 лилипутам, будет вырыта в течение суток.

Свободный день, оставшийся до погребения, было решено, по предложению того же Рельдресэля, посвятить чествованию памяти Человека-Горы. На основании этого предложения впоследствии создалась клевета, обвинявшая уважаемого Рельдресэля, секретаря по тайным делам, в том, что он находился в тайных сношениях с партией тремексенов (высоких каблуков), враждебной правительству. Мы с большим удовольствием можем опровергнуть эту клевету, так как сами, принадлежа к партии «низких каблуков», знаем из вполне достоверных и несомненных источников, что г. Рельдресэль был настолько убежденным человеком, что даже своим выездным лошадям

делал низкие подковы без шипов, хотя это неоднократно на крутых заворотах подвергало опасности его драгоценную жизнь. Означенное же предложение имело своей целью увеличить блеск и славу королевства, одним из подданных которого был и Человек-Гора, а также избавить страну от беспорядков и смуты, так как беспокойная чернь, наивно обожавшая Гулливера за его непонятный ей рост, уже выражала свое нетерпение криком, свистками и даже непристойными песнопениями.

С утра столица разукрасилась черными флагами, а к полудню, когда назначено было торжество, огромные толпы лилипутов устремились к городским воротам на дорогу, ведущую к жилищу Гулливера (как известно, Гулливер жил в полумиле от городских ворот, в покинутом храме). По вычислениям математиков, около трупа собралось 121 223 человека, не считая детей, принесенных на руках матерями-плебейками. Ораторов, желавших в своих речах похвалить заслуги покойного, записалось, по вычислениям тех же математиков, 15 381 человек, что снова создало немаловажные затруднения. Первоначально, чтобы не обидеть ораторов, было предложено бросить жребий и самой судьбе предоставить выбор; но нашлись скептики, не верившие в судьбу, опасавшиеся, что жеребьевка может привести к плохим результатам и выдвинуть даже глухонемых ораторов (так как среди записавшихся были и такие). Гораздо справедливее, казалось им, выбрать ораторов по росту и по силе голоса, сделав исключение лишь для ученых, рост которых, ввиду их привычки держаться с согнутой спиною, определить было очень трудно. Голоса же они не имели никакого, так как говорили шепотом. Так и было решено: из толпы ораторов, заметив наиболее крикливых, выбрали 500 человек, в свою очередь, эти 500 были размещены группами по росту, и самые высокие в количестве 60 были приглашены на трибуну. К сожалению, двух пришлось удалить, так как один совсем не знал, в чем дело, а другой был его товарищем. Достойно сожаления и то, что мудрый порядок к концу дня был нарушен, и явились новые, никому не ведомые ораторы, слишком восторженные хвалители покойного, призывавшие к беспорядкам

беззаботную и легко воспламеняющуюся чернь. Но о них не стоит говорить.

Нельзя достаточно похвалить великолепие и пышность торжественного празднества. Чернь в ее грубых, но ярких одеждах была отодвинута на дальнее расстояние, вблизи же, около самого трупа, неподвижной холодной горою вздымавшегося над головами, расположились лилипуты в дорогих и строгих костюмах, гарцевали всадники на гордых конях, и пышно одетые лилипутские солдаты, гвардия и гусары торжественным маршем двигались взад и вперед, очищая пространство. Тут же, в среде близких Гулливеру друзей, находился и тот знаменитый лилипут, которого толпа, вследствие его большого роста (он на целый ноготь превышал ростом всех остальных лилипутов), предназначала в преемники Человеку-Горе. Провожаемый любопытными и завистливыми взорами, он гордо расхаживал возле трупа на своих высоких каблуках, делавших его рост еще более значительным, и, как свой человек, садился отдыхать на бледном и холодном мизинце Гулливера. Но так как с другой стороны трупа его не было видно, то он, пользуясь правами своей признанной силы и роста, влез на самый труп и в независимой позе расположился на колене. Отсюда его было видно всем, и его заметили даже в самых дальних рядах лилипуты, обладавшие острым зрением. Трибуна для ораторов была устроена на груди Человека-Горы и украшалась флагами и зеленью, а также наскоро сделанным бюстом покойного. Талантливому скульптору удалось вложить в черты лица Гулливера столько мощи и благородства, что видевшие бюст вблизи уверяли в его несомненном превосходстве над оригиналом и шепотом говорили о лести. Налево от трибуны, на животе Гулливера, были расположены места для почетных гостей, с презрением избранников поглядывавших на болтливую чернь, которая, в свою очередь, с восторгом и жадностью рассматривала их дорогие, всем знакомые лица. Лилипуты, копавшие могилу для Гулливера, были ограждены от взоров черни высоким, наскоро сколоченным забором; и только в редкие минуты тишины лязганье железа о камень, шорох осыпающейся земли выдавали их таинственную и мрачную работу. Но с

высоты трибун хорошо видна была глубокая яма; и в ожидании, когда начнется праздник, почетные гости с интересом следили за работой и обменивались глубокомысленными замечаниями, восхваляя государственный гений лорда Рельдресэля.

Наконец, по знаку церемониймейстера, начались речи.

Первыми пустили на трибуну ученых. Они взошли все вместе и говорили все сразу; говорили они одно и то же, и все говорили шепотом, почему их все равно не было слышно. Но это не имело значения, так как их речи, исправленные и обработанные дома, должны были появиться в «Ежегоднике» лилипутской Академии наук, где их прочтут все остальные члены означенной ученой корпорации. Тем временем, пока они говорили, воспользовались господа и чернь для завтрака, ибо время уже было позднее и многие устали от долгого ожидания. С разрешения церемониймейстера для господ во время завтрака играл оркестр музыки, причем, ввиду скорбности момента, исполняемые вещи отличались крайнею меланхоличностью.

Содержание речей ученых, как видно из «Ежегодника», в главных чертах сходилось к следующему. Человек-Гора был замечателен тем, что обладал очень большим ростом и соответствующей силой,— здесь учеными были представлены самые точные таблицы и вычисления роста Гулливера, объема его тела и предполагаемого веса. Но причина такого роста, по заключению ученых, была неизвестна, и такой останется навсегда. Равным образом остается неизвестною и цель, ради которой природа произвела столь чудовищный феномен. Что же касается силы, то здесь мнения ученых несколько расходились: одни утверждали, что сила есть просто сила, другие же искали для нее оправдания в тех постройках, переноске камня и тяжестей, которые были поручены Гулливеру. Но в результате все опять сошлись на том, что и сила остается необъяснимою и, как таковая, враждебною и вредною для человечества. Наука же, в лице ее лучших представителей, просто не признает Гулливера за факт и выражает сильные сомнения в самом его существовании. По единогласному заключению ученых, Гулливер не что иное, как миф, легенда, созданная простым на-

родом ввиду его склонности к чудесному и необыкновенному. Гулливер не существовал никогда, а тот, кто утверждает обратное, лишается звания ученого, навсегда изгоняется из академии и предается проклятию в «Ежегоднике».

По окончании своих речей, при громе аплодисментов, ученые толпой спустились вниз с трупа Гулливера, причем уже внизу, на самой земле, между двумя маститыми представителями корпорации произошла потасовка, вызванная, как оказалось впоследствии, коренным разногласием в их взглядах на Гулливера: что такое Гулливер — миф или же легенда? Другие же ученые тем временем жаловались, что, несмотря на принятые меры, теплую одежду и обувь, они боятся простуды, так как от огромного трупа идет невыносимый холод, способный не только охладить, но и заморозить самого пылкого оратора. Самую же выдумку — устроить трибуну на трупе — они считают издевательством над наукой: едва ли безрассудная и невежественная чернь оценит всю силу их доказательств мифичности Гулливера, если ее глазам в то же самое время легкомысленно представляется труп. Впрочем, по знаку церемониймейстера, волнение среди ученых немедленно улеглось, а те двое, все еще продолжавшие драться, были вместе посажены в темную, без окон, карету и отправлены обратно в академию.

Вторая очередь была за многочисленными друзьями Гулливера, которые, среди слез и воздыханий, передали свои воспоминания о почившем. Первый из ораторов, имени которого, к сожалению, нам не удалось узнать, был самый близкий друг Человека-Горы и сам обладал звучным, мужественным голосом и исполненной достоинства внешностью. Дрожащим от любви голосом он подробно рассказал, как однажды Гулливер на целых два дня позабыл его в своем кармане. С изумительным красноречием оратор передал взволнованным слушателям свои мучения от голода, жажды и темноты, и, наконец, радость Гулливера, когда на третий день, полезши в карман за табакеркой, он нашел там своего лучшего друга. По скромному признанию оратора, его советам и его неусыпному наблюдению обязан Гулливер развитием своей силы и благородством души.

Второй оратор, обладавший необыкновенно сладким голосом, оказался также первым другом Гулливера. Но как друг, обязанный быть правдивым из уважения и любви к покойному, он должен был отметить некоторые дурные стороны в его характере. Так, сознавался он, Гулливер был жаден, корыстолюбив и зол, склонен к тщеславию, почему и друзей для себя выбрал из людей знаменитых, способных отблеск своего величия бросить и на его голову. Сам по себе ничтожный, Гулливер искусственно увеличивал свои размеры, делая для сапог толстые подошвы. Как раз перед смертью Гулливер задумывал грандиозную измену относительно приютившего его государства Лилипуты, в чем и сознавался со слезами оратору. По грустному признанию оратора, только его благотворному влиянию народ обязан тем, что весь его не перетоптал Гулливер своими сапожищами. Нет сил описать ту жалкую завистливость, ту мрачную злобу, которую Гулливер питал ко всем своим истинным друзьям, признавая только подхалимство...

Здесь с оратором, к сожалению, случился припадок какой-то странной болезни, вызванной волнением. На губах его показалась пена, а плавная речь перешла в дикие и невнятные выкрики. Впрочем, по знаку церемониймейстера, припадок быстро прекратился и при громе аплодисментов оратор торжественно слез на землю. Но наибольших оваций удостоился третий оратор, также первый друг Гулливера, сумевший своей искусной речью зажечь в лилипутах пламя горячего патриотизма. Он доказал, что сам по себе Гулливер не мог бы значить ничего, если бы не те тысячи лилипутских баранов, которых он поглощал ежегодно. «Бараны, именно наши лилипутские бараны,— восклицал оратор,— претворяясь в мясо, кровь и мозги, составляют силу и славу Человека-Горы. Кто победил враждебный остров Блефуску? Человек-Гора? Нет. Остров Блефуску победили наши лилипутские бараны, ибо сам Человек-Гора есть не что иное, как только совокупность баранов!»

Здесь оратор в трогательных и живых красках дал незабвенный образ лилипутского барана, кроткого, послушного, всю жизнь готового к самопожертвова-

нию во имя высших интересов королевства, этого незаметного героя, шерсть которого создает блеск, а мясо — могущество королевства Лилипуты. Рискуя порвать голосовые связки, оратор пропел экспромтом сочиненную оду в честь лилипутского барана.

Восторг слушателей уже достигал крайней степени, когда, по знаку церемониймейстера, пение внезапно прекратилось. Дело в том, что всякое пение, даже самое патриотическое, в некоторых случаях считалось опасным, так как чернь, плохо понимавшая язык высших классов, с готовностью подхватывала пение, но употребляла совсем другие, нежелательные слова. Кстати, в назидание следующим ораторам, церемониймейстер указал на те пункты, которых не должны касаться ораторы: нельзя говорить о новой монетной системе, нельзя трактовать вопроса о канале на юго-востоке Лилипуты, нельзя касаться угреватого носа генерал-адмирала (составлявшего обычный предмет шуток для уличных демагогов), нельзя вспоминать того неприличного способа, каким Гулливер потушил пожар, и проч. и проч. Чтение запрещенных пунктов заняло около часа, каковым временем воспользовались лилипутская гвардия и гусары и трижды торжественным маршем продефилировали перед трупом.

Новый оратор оказался, к несчастью, человеком желчным и даже неприличным, что редко встречается между лилипутами. К потехе развеселившейся черни, он доказал, что первые три лучшие друга Человека-Горы не только никогда не были его друзьями, но даже не имели чести быть с ним знакомыми; и тот из них, который провел два дня в темном кармане, попал туда совершенно случайно, во время обыска Гулливера; и что Гулливер не только не выразил радости, когда вытащил его из кармана, но, наоборот, наказал его весьма жестоко и непристойно. Сам же он, оратор, даже и не желает числиться другом Человека-Горы и предпочитает лучше делать фальшивые деньги, чем...

Вероятно, оратора в справедливом негодовании избили бы присутствующие, если бы некий смешной и досадный случай не положил более мрачного конца его речи. Случилось же то, что высокий лилипут, считавшийся преемником Человека-Горы и продолжав-

ший сидеть на колене, где он принимал одну за другою независимые позы, зацепился за что-то высоким каблуком и торчмя головой полетел вниз; и только тем избавился он от ужасной смерти, что попал на высокую, необыкновенно толстую лилипутскую даму. Визг испуганной дамы, дикое гоготанье черни, вой и свист на мгновение нарушили чинное течение торжества, но по знаку церемониймейстера шум немедленно прекратился, и на освободившуюся трибуну полезли новые ораторы. Трудно передать содержание всех речей, тем более что большинства их не было слышно вследствие высоты трупа, на котором помещались ораторы; но все бывшие на празднике не без основания утверждают, что такого высокого подъема чувств, такого блеска и красоты слов, такой силы в выражениях они еще не встречали. Многие из слушателей были взволнованы до слез, карманные воришки, таскавшие носовые платки из карманов, жаловались друг другу на страшную сырость и нечистоту платков, делавших их не только негодными, но даже опасными в смысле здоровья для немедленного употребления.

Самым, однако, торжественным и трогательным моментом был тот, когда на труп взобрались оркестр и многочисленный хор и вполголоса, дабы не возбуждать черни, исполнили величественную кантату, написанную для этого случая знаменитым композитором-лауреатом. Мощные звуки, смягченные желанием исполнителей не быть услышанными, вызывали в памяти величественный образ Человека-Горы и поднимали настроение все выше, когда новая печальная случайность вдруг прервала музыку и пение и все взоры обратила к дальним рядам черни. По-видимому, там не знали, что сейчас гремит музыка, но, во всяком случае, в середине толпы раздался какой-то новый очень громкий и странный, не похожий на все предыдущие, звук. Посланные узнать, в чем дело, сообщили церемониймейстеру, что это плачет какой-то плебейский ребенок, которому будто бы очень жаль Человека-Гору. И пока церемониймейстер старался понять, в чем дело, к плачу одного ребенка, как это часто бывает между детьми, присоединился такой же странный и горький плач всех остальных плебейских детей. Как

ни хлопотали распорядители, угощая их шлепками и подзатыльниками, плач становился все громче и переходил в явное непрнличие по отношению к высокому холодному н строгому трупу. Только удалением всех детей, их отцов, матерей и дальних родствеиников удалось достигнуть сравнительной тишнны, но раз нарушенный чинный порядок уже не мог восстановиться. С наглой развязностью на трибуну полезли какие-то не ведомые никому грязные ораторы и, совершенно забывая о Человеке-Горе, начали кричать о какнх-то своих желаниях н даже требованиях. Кто-то кого-то бил,— одни очевидцы утверждают, что это били запоздавших ученых, другие же очевидцы говорят, что это расправлялись с друзьями Гулливера, третьи же, наконец, доказывают, что били самих ораторов.

Чем кончилось торжество, неизвестно, так как в этом месте и в природе, и в тогдашних хрониках наступает тьма. Но надо полагать, что по знаку церемониймейстера порядок был восстановлен, так как ни в одном историческом сочинении, относящемся к тому времени, нет и намека на что-либо необычайиое и тревожное. Наоборот, бронзовые медали, вылитые в память торжества и изображающие лилипутов, которые венчают лавровым венком голову кротко улыбающегося Человека-Горы, ясно свидетельствуют о полном благополучии н прекрасном настроеиии действующих лиц.

Но пришла ночь. И вместе с ночью на обезлюдевшее поле, где покоился в ожидании могилы огромный, строгий и важный труп, легла чуткая и страшная тишина. Над городом еще светлело зарево городскнх огней: там еще продолжались сборища в честь Человека-Горы. И вместе с ветром сюда доносился невнятный и ровный гул голосов. А здесь было темно и тихо; и когда выплыла из-за облаков маленькая луна, громадный труп окрасился бледным светом, как цепь горных снеговых вершин. В огромной черной тени, лежавшей по одну сторону трупа, мелькали, однако, какие-то слабые огоньки: то трн тысячи лилипутов поспешно заканчивали могнлу для великана. Тихо скрежетало о песок и землю железо лопат, вспыхивали го-

лубые искорки при ударе киркой о камень, и темная масса маленьких созданий, еле озаренных скупым светом редких факелов, смутно копошилась на дне черной пропасти. Кто-то торопил. Слабо доносились со дна шипящие звуки коротких приказаний, и страх незримо витал между торопливыми могилокопателями.

А по другую сторону трупа на освещенном луною пространстве смутно темнели какие-то неясные, почти неподвижные, как и сам труп, но живые пятна. То в голубом безмолвии молились коленопреклоненные лилипуты, одни из тех, что, томимые тоской и отвращением, бежали в эту ночь из шумного и крикливого города. Расплывались пятна, становились то уже, то шире, но ни единым грубым звуком не нарушали они чуткого безмолвия великой ночи, последней, которую проводил на земле Гулливер. Все ярче светила, поднимаясь, луна, и опускались к горизонту мглистые тучи с очистившегося неба, и грозным покоем неразгаданной божественной тайны веяло от мертвеца. Проходила ночь.

Но нашлись и в городе застенчивые и добрые лилипуты, которые не пошли ни на улицу, ни на шумные площади, ни в залитые светом залы, а сидели в своих маленьких игрушечных домах и с ужасом прислушивались к наступившей в мире тишине. Навеки ушло из мира то огромное человеческое сердце, которое высоко стояло над страною и гулом биения своего наполняло дни и темные лилипутские ночи. Бывало прежде так, что от страшного сновидения просыпался среди ночи лилипут, слышал привычно твердые, ровные удары могучего сердца и снова засыпал, успокоенный. Как некий верный страж, сторожило его благородное сердце, и, отбивая звонкие удары, посылало на землю благоволение и мир, и рассеивало страшные сны, которых так много в темных лилипутских ночах.

И ушло из мира огромное человеческое сердце. И наступила тишина. И с ужасом прислушивался к ней и плакал горько осиротевший беззащитный лилипут.

1911 г.

ЗА ПОЛГОДА ДО СМЕРТИ



Важен день, когда впервые увидишь человека, да когда этот первый раз по воле судьбы останется и единственным: налагает свою печать природа.

И Лев Николаевич Толстой, которого я видел один и единственный раз, навсегда останется для меня в ореоле чудесного апрельского дня, в весеннем сиянии солнца, в ласковых перекатах и благодушном погромыхивании апрельского грома. Пусть он сам знал и осени дождливые и зимы: для меня, случайного человека, он явился весною и весною с последним взглядом ушел.

Конечно, я боялся его,— а дорога от Тулы длинная, и бояться пришлось долго. Конечно, я не доверял ни ему, ни себе, и вообще ничему не верил: был в полном расстройстве. И уж, конечно, не обрадовался я, когда показались знаменитые яснополянские белые столбы, хотя от самых ворот начал фальшиво улыбаться: ведь из-за любого дерева мог показаться он.

И все это нелепое прошло сразу, положительно сразу, при первом же взгляде, при первых же звуках разговора и привета. Я говорю: «звуках» потому, что слов первых я все-таки не расслышал. И оттого ли, что так хорош был весенний день и так хорош был сам Лев Николаевич, я ничего дурного не заметил ни в людях, ни в отношениях, ни единой дурной черточки. Пробыл я сутки и за сутки много беседовал и с Львом Николаевичем, и с Софьей Андреевной, и с другими, и все люди показались мне прекрасными: такими я вижу их и до сих пор и буду видеть всегда.

Всего шесть месяцев отделяло Льва Николаевича от смерти, и уже было, значит, то, что привело его к страшному решению покинуть дом и семью, но я решительно ничего не заметил. И наоборот: многое в словах Софьи Андреевны и в ее обращении с мужем тронуло меня своей искренней любовностью, дало ложную уверенность в том, что последние дни Льва Николаевича проходят в покое и радости. Не допускаю и мысли, чтобы здесь с чьей-нибудь стороны был

сознательный или бессознательный, привычный с посторонними, обман; объясняю же я свою ошибку тем, что было в ихней жизни две правды, и одну из этих правд я и видел. Другой же правды не знает никто, кроме них, и никто теперь не узнает...

Но что другие... Смотрел я больше всего на Льва Николаевича, и его больше всего помню, и вот каким его увидел.

Ни суровости, которая во всех его писаниях и портретах, ни жесткой остроты черт, ни каменной твердости наваленных одна на другую гранитных глыб, ни титанической властности, подчиняющей себе и всю жизнь и всех людей,— ничего этого не было. Когда-то оно было, когда-то именно оно и составляло Льва Толстого, но теперь оно ушло вместе с годами и силой. С правильностью почти математической, завершая круг своей жизни, пришел он к мягкости необычайной, к чистоте и беззлобию совсем детскому.

Эта мягкость была настолько необыкновенна, что не только виделась, а как бы и осязалась. Мягкие седые волосы, нематериальные, как сияние, мягкий стариковский голос, мягкая улыбка и взгляд. И идет он так мягко, что не слышно шагов, и одет он в какую-то особенно мягкую фланелевую блузу, и шапочка у него мягкая... Мне пришлось после дождя, промочившего мою шляпу, некоторое время погулять в этой шапочке: и положительно было такое чувство, будто и у меня от шапочки волосы стали седые и мягкие.

И я думал все время: «Где еще в мире можно встретить такого благостного старца? И чем стали бы мир и жизнь, если бы не было в нем такого старца?» Извиняюсь за личное свое, но без него при таком воспоминании никак не обойдешься: не печаль, и не страх близкой всем нам смерти, и не сомнения в смысле нашей человеческой жизни ощутил я от соседства с великим старцем, а весеннюю небывалую радость. Вдруг погасли сомнения, и легким почувствовалось бремя жизни, оттягивающее плечи; и то, что казалось в жизни неразрешимым, запутанным и страшным, стало просто, легко и разрешимо.

Вот мы идем весенним лесом, и напрасно стараюсь я не утомить Льва Николаевича быстротою: он шагает быстрее и легче меня и разговаривает на ходу без

одышки. Уже и дуб зазеленел, но в низинах мокро по-весеннему, выдавливается вода под ногою — и Лев Николаевич легко прыгает по кочкам и бугоркам, ловко идет по краю, не обходит и широкую канавку. Я кружусь без дороги, а для него тут все родное и знакомое: вот пересекает поляну с весенними цветами, и, смотря вниз, тихо и как бы для себя, он произносит стихотворение Фета о весне: о цветах и о радостях весенних.

Заходит гроза: слева еще солнце, а справа небо между листвой черно, и погромыхивает гром, впрочем, не сердито. Но ведь он же промокнет, а как сказать? Хлынул дождь, и опять неразрешимая задача: идти шагом — он промокнет до нитки; бежать — но он едва ли может бегать? Оказывается, может: бежит впереди меня, поспешает к чему-то в листве белеющему. Какой-то каменный флигель, старинное каменное крыльцо с навесом: там и укрываемся у старой запертой, нежилой двери, а дождь кругом струнно и весело гудит, и откуда-то беззаботно светит солнце.

Льву Николаевичу весело, что удалось промокнуть, он улыбается, живет. По аллее идет пестрая в красных цветах баба: сарафан задрала на голову и бессмысленно улыбается круглым без выражения лицом.

— Дурочка! — коротко поясняет Лев Николаевич и весело зовет: — К нам иди, Палаша, у нас сухо.

Теперь нас трое у запертой двери; теснимся, Лев Николаевич оживленно и весело спрашивает:

— Попортила наряд, Палаша? Хороший у тебя наряд.

— Намокла! — туго ворочаются губы, и все так же улыбается круглое лицо.

— Высохнешь, не бойся.

А от недалекого дома уже бегут со всяким платьем: послала на выручку Софья Андреевна, и сама беспокойно ждет у дверей, под редкими уже каплями дальше пошедшего дождя.

Вот обед. Лев Николаевич против меня, и сперва мне неловко видеть, как стариковски, старательно и молчаливо жует он беззубыми деснами; но он так правдив и прост в этой стариковской своей беспомощности и старательности, что всякая неловкость прохо-

дит. Окна открыты. С бубенцами и колокольчиками разгульно подъезжает кто-то пьяный, и сын Льва Николаевича идет узнать, можно ли его принять. К сожалению, нельзя: пьян.

— Совсем пьян? — спрашивает с недоверием Лев Николаевич.

— Совсем. С ним товарищ, так тот еще пьянее.

— Скажи ему, чтобы трезвый приехал.

— Я уж говорил, да он говорит, что трезвый не может: боится.

Так же разгульно отчаливают бубенцы и колокольчики: уехал. Старательно жует Лев Николаевич, но уже видно, что он в раздумье — подводит итог посетителю-неудачнику. Останавливается и говорит как бы для себя:

— Люблю пьяниц.

Прозвучало это так хорошо, что здесь трудно передать.

Вот сумерки. Открыто окно в парк, и там еще светлеет, а в большой комнате неясный и тихий сумрак, и люди темнеют живыми, малоподвижными, задумчивыми пятнами. У окна — Лев Николаевич: темный силуэт головы с светлыми бликами на выпуклостях лица, светлая блуза; и чувствуется, как весь он охвачен свежим и душистым воздухом вечера, дышит им глубоко и приятно. И, глядя на него, говорит Софья Андреевна с простотою долгой жизни:

— Левушка намного старше меня. Умрет он — что я тогда буду делать?

Не знаю, слыхал ли он эти слова.

Вот вечерний чай. Лев Николаевич читает вслух, волнуясь, статью Жбанкова о самоубийствах. Кажется, так — я, каюсь, плохо слушал, был занят тем, что врубал в свою память его лицо. И многое заметил, чего не знал раньше по портретам, и особенно удивлялся его чудесному лбу: под светом лампы он выделялся с скульптурной четкостью. И наиболее поразило меня то, что брови были как бы во впадине, а над бровями начиналась мощная выпуклость лба, его светлый и просторный купол. И ничего другого в этот час я не видел, а пожалуй, и не слыхал, кроме этой огромной и загадочной, великой человеческой головы.

...А вот и прощанье — тогда я не думал, что последнее, рассчитывал вскорости опять приехать. Но — вышло последнее. На мгновение, которого нельзя ни сознать, ни запомнить в его глубине, приблизилось ко мне и дали поцелуй его уста... и все ушло.

Возвращаясь в Тулу все под тем же весенним солнцем, я думал, что жизнь есть счастье.

1912 г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВОСТОРГ

Кинематографический рассказ
о бесталанном Васеньке

1. Некто указующий, направляющий и предостерегающий.

На экране во всю величину его является огромная рука с вытянутым указательным перстом. Медленно покачиваясь сверху вниз, сей непреклонный перст отечески указует.

2. Мать хлопочет за Васеньку. Важное лицо обещает место околоточного надзирателя, но предупреждает!

Кабинет полицеймейстера. За столом он сам. Перед столом, приложив руки к груди и молитвенно склонив голову в маленькой старой шляпенке с лентами, стоит мать Васеньки, забитая нуждой, но чистенькая и аккуратная старушка, живущая на пенсион.

— Во внимание к заслугам вашего мужа я назначу сына вашего...

Старушка кланяется и лепечет. Величественный жест рукой — и старушка смолкает, прижав к груди ридикюльчик.

— Но предупреждаю, что если!.. Спиртного — ни-ни!

Старушка отрицательно мотает головой и лепечет. Жест.

— Ампоше — ни-ни! Трезвость, скромность и поведение!

Старушка кивает утвердительно. Жест.

— Но если!.. Прощайте. Скажите сыну, чтобы через неделю явился.

Читает бумаги. Старушка кланяется и задом отступает.

Швейцар поздравляет с радостью. Старушка лживо и очень долго копается в ридикюльчике, но ничего не находит. Швейцар выражает глубокое презрение, смотрит иронически на безуспешные усилия старушки открыть тяжелую дверь.

3. Васенькино раздумье о жизни и Васенькина радость.

Убогая комнатка. На окне с кисейными занавесочками клетка с чижиком. Васенька — тщедушный, неудачливый молодой человек, сидит за столом и мрачно думает о своих неудачах в жизни. Голова у Васеньки малая, растительность скудная, грудь впалая. Чижик свистит и отвлекает от серьезных размышлений. Васенька сердится. Но потом прислушивается заинтересованно и ставит клетку на стол. Начинает подсвистывать — сперва нерешительно, но вскоре с упоением.

Входит мать-старушка. Васенька притворяется, что он не свистел. Мрачен. Но мать сообщает о радости, и Васенька восторженно выпрямляет грудь.

4. Надеть пока или нет? — проклятый вопрос!

Сидит Васенька и, как кот на подвешенное сало, смотрит, не мигая, на новенький мундирчик околоточного, висящий на деревянных плечиках. Ужасный соблазн! Высчитывает по пальцам дни: боже мой, еще пять дней ждать!

— Ну, а если только для себя?

Осторожно, расплываясь в безвольной, почтительной и нежной улыбке, снимает Васенька мундир.

Васенька в форме, грудь навачена, плечи приподняты — даже в маленькое зеркальце видно, что красавец и важная птица.

5. Кончено! Покажусь Машеньке — и домой... кто узнает!

Решительно нахмурившись, Васенька думает минуту и твердо направляется к двери. Но лишь только открывает ее, как перед самым лицом вырастает огромный указующий и предостерегающий перст: ты куда? Васенька отступает, перст исчезает; но только шаг к порогу — и снова перст: ты куда?

И так до трех раз. Ужасны мучения Васеньки!

В четвертый раз уже на цыпочках он подбирается к двери — перста нет! Путь свободен! Легкомыслие торжествует.

6. Приятно быть околоточным.

Васенька идет по людной улице: городовые козыряют, дворники козыряют, извозчики останавливаются, чтобы дать перейти дорогу. Небо радостно улыбается... Дворник! Почему собака без намордника?.. То-то! Небо радостно улыб... Ох, кажется, идет пристав!

Васенька быстро шмыгает в ворота. Медленно и строго, как привидение, проплывает пристав. Васенька нерешительно выглядывает из ворот и идет в сторону, противоположную той, куда скрылся призрак. Дух Васеньки смущен.

7. До Машеньки далеко — не зайти ли к Мише, милому человеку?

Милый человек Миша, в общем похожий на Васеньку, обладает восторженным характером: увидев на пороге своего друга в блестящей форме, Миша бросает гитару и предается неистовой радости. Пытается вовлечь Васеньку в дикий танец, но Васенька строг соответственно чину — Миша быстро преисполняется почтительности. Но надо же выразить! — достает бутылку водки, рюмку и торжественно предлагает спрыснуть.

— Ни-ни!

— Одну! Вася! Друг!

— Трезвость и поведение должны украшать околоточного надзирателя. Ни-ни, Миша!

— Вася! Я уважаю! Но одну!

— Чудак! Ну разве одну... сегодня, кстати, праздник, и я свободен.

Оба почтительно пьют, чокаясь. Пьют еще по одной и оба поднимают указательные пальцы в знак важности и значительности происходящего. Третью пьют на брудершафт, четвертую и пятую по забывчивости.

— Не сыграешь ли, мой друг, на гитаре: я сегодня свободен и могу послушать.

Миша старательно играет. Васенька, заложив нога за ногу и папиросу держа на отлете, слушает с важностью.

8. Восторг и мечты.

Накурено. И Васенька, и милый человек Миша — оба пьяны радостно и беззаветно. Но водка вся — вот горе! Нет и денег. Миша обыскивает все карманы — тщетно! Миша мрачно хватается за голову и грозит рано или поздно повеситься... разве это жизнь! Васенька делает жест и просит перо и бумагу; пишет, а через плечо в почтительном восторге смотрит Миша.

9. Прошу отпустить полбутылки водки и пять соленых огурцов. А также десяток папирос «Дюшес».

Околоточный надзиратель Василий Перманентов.

10. Прошу отпустить десять бутылок пива, двадцать раков, а равным образом соленых сухарей и два десятка папирос «Пажеские». Околоточный надзиратель Вас. Перманентов.

11. Прошу отпустить бутылку красного церковного. Ок. надз. Пермааа. Одну (зачеркнуто), две (зачеркнуто), три коробки мармеладу.

12. Каков Васенька в действительности.

Стол уставлен пустыми бутылками; возле на стуле сидит и покачивается Васенька с таким видом, как будто плывет по очень бурному морю. Свесив голову почти на самую деку гитары, играет отчаянно, мечтательно и страстно Миша, милый человек.

13. Каким Васенька себе представляется.

В виде памятника неизвестному полководцу, победителю и устроителю. Сидит верхом на лошади, лошадь на постаменте. Голова и лицо Васеньки едва видимы из-под каски с огромным султаном. Огромные, черные, закрученные вверх усы. Огромные пушистые эполеты. В руке сабля, которой Васенька повелевает и угрожает. К ногам победителя склоняются, лежа на животах, в лоск положенные жители вверенного участка. Внезапно появляется курносая Машенька в бальном платье, какое бывает на восковых куклах в парикмахерских. Васенька и окружающее мгновенно переменяется. Бал и музыканты. Вверху сердце, пронзенное стрелой, и два целующихся голубка. За Машенькой увиваются, носясь по воздуху, разные военные, но Васенька жестом отстраняет их; на нем кавалерийский мундир, рейтузы и шпоры, по полу волочится огромнейшая, сажени в две, сабля. Машенька бросается в его объятия.

14. Воспламененный любовью, он продолжает путь к Машеньке.

— Миша, ты мне друг или нет? Миша, ты видишь этот сияющий образ души моей Машеньки?

На стене является образ Машеньки.

— Вижу. Выпьем.

— Нет, не выпьем, а пойдем. Иначе ты подлец! Впрочем, и выпьем и пойдем. Миша, она — ангел!

Одеваются и выходят. Васенька впереди и гордо, Миша лепится сбоку.

15. Васенька увлекается административной деятельностью.

На людной улице Васенька, поддерживаемый сознанием чина, шагает довольно твердо, но у Миши нет

этого сознания, он покачивается и виснет на руке у друга, временами засыпая на ходу, носками пашет мостовую. Взгляды Васеньки подозрительны: вдруг всюду почувствовался беспорядок и своеволие. Вообще поднял палец для угрозы, ища, на кого обратить. Первой жертвой падает разносчик с лотком яблок на голове.

— Что такое? Почему яблоки? А ты знаешь, кто твое начальство? А в Сибирь хочешь? В 24 часа!

Спящий Миша напирает сбоку, и Васенька наваливается на разносчика, выбивая лоток: яблоки рассыпаются. Васенька подзывает городового: отвести в участок!

16. Административный восторг. Что такое? В 24 часа!

Толкучка: лари, навесы и лотки с разным товаром и припасами, торговцы с рук, народ. Васенька, влача засыпающего Мишу, милого человека, проявляет чудеса энергии и распорядительности. Кричит, грозит каторгой, сдергивает полотно, пробует припасы и находит недоброкачественными. Вокруг собирается толпа, сопровождающая Васеньку и настроенная в общем довольно весело. Васенька сцепляется с торговкой яйцами, грозя ей Сибирью в 24 часа, когда из толпы вылетает первый снаряд в виде гнилого лимона и поражает Васеньку в грудь, оставляя пятно. Второй снаряд поражает Мишу в голову — Миша просыпается и падает. Толпа с хохотом сдвигается.

17. Гибель самозванца.

Правильная осада. Прислонившись к стене, Васенька отмахивается руками от бесчисленных снарядов: гнилых яблок, лимонов, тухлых яиц, которыми штурмуют его осаждающие. Миша трупом лежит на поле сражения; изредка пытается поднять голову и дать совет, но сраженный никнет долу.

Вот с криками «ура!» осаждающие устремляются на штурм, и тут бы Васеньке пропасть, но спасают городовые: прекратив бой, они берут измазанного, без

фуражки, расстроенного и ослепшего Васеньку под ручки и ведут в участок. Двое других кладут Мишу на извозчика с той же целью. Толпа ликует.

18. За ношение неприсвоенной формы, за нарушение тишины и спокойствия... за все отплата!

В суде. Распахивается дверь из залы заседания, и валит публика, в центре которой — Васенька в штатском и мать, старушка в старенькой шляпе с лентами и ридикюльчиком. Любопытные со смехом заглядывают в лица; Васенька и его мать-старушка плачут.

19. Горькая ты моя головушка, бесталанный ты мой Васенька!

То же окно, та же клетка с чижиком. Васенька в позе отчаяния склонился над столом; мать стоит над ним, тихо причитая, плача и покачивая головой, и куда же мне деваться с тобой, Васенька, бесталанный сын?!.

ШХЕРЫ

I

Когда я впервые разложил на полу карты Финляндских шхер и с птичьего полета взглянул на все эти малые и крупные соринки, пятна и пятнышки, на непонятные знаки и отличия, на запутанные линии-черточки фарватеров, ныряющих в икру островов, на тысячи чуждо звучащих наименований, которых никогда не запомнить,— мною овладело чувство жестокой беспомощности, почти отчаяния. Так я смотрел когда-то на таблицу логарифмов: никогда не понять! никогда не запомнить и не овладеть! И неужели это когда-нибудь случится, и я буду плыть здесь, или вот здесь... один, никем не везомый, а сам себя везущий, сам находящий дорогу в лабиринте?

Но вот прошли они, лета плавания, в течение которых я был и своим собственным капитаном, и лоцма-

ном, а порою и кухарем,— и как изменился вид бесконечных карт, лежащих на полу! Все ожило и расцветилось, налилось воздухом и светом, согрелось солнцем и пляской зеленых волн, стало понятно, прекрасно и просто. Здесь, где красный крестик, я ночевал в маленькой бухте, закрытой, как карман, и всю ночь пахло травой с луга, перешибая влажный запах моря; здесь, где черточка фарватера, меня трепало и желало перевернуть, а я изловчился не перевернуться, вертелся среди волн и со вздохом облегченья — глубоким вздохом! — спрятался вот за этот остров, зарылся в тростники, в их тишь и сонную глушь. Вот это пятнышко — это очаровательный и странный, немного загадочный остров Курсало; на нем среди глухого леса гранитные проспекты для автомобилей, и гранитные площади, гладкие, ровные, местами отшлифованные ногами; и по бокам площади гранитные скамьи из кубических обломков, отдельные высокие сиденья, почти троны по важности... Не были ли здесь друиды? Не заседало ли здесь какое-то высокое собрание, торжественное и тайное?

Вот великолепный, царственный Хохланд. Вот краснокаменный, дикий и суровый Обнес-Удд; его береговые граниты облизаны прибоем с открытого моря, и тут есть глубокая бухта с прозрачно-зеленой водой и тремя скалами, сторожащими вход. Хорошо бы здесь жить морским разбойникам, но живет здесь какой-то профессор-швед, спрятался там в долинке между скалами, что только по дыму догадаешься о жилище. Странный и милый человек, возлюбивший пустыню!.. Но в щели бухточки притаился мотор, и я видел однажды: сели в него две старые дамы, лет по пятидесяти, и с ними маленький мальчик — и через минуту, стуча машиной, они проскочили между сторожевых скал и вынеслись на простор, и занырялн и заплясали, и запенилась кругом веселая волна. Две старые дамы!

Вот Треск-э. На карте это белая соринка — в природе это нечто насквозь зеленое, круглое, в золотой рамочке из гранита, как корзина цветов и зелени, брошенная в море. А вот эта чернильная точка — это надводная скала, у которой разбился в бурю и разрушается не торопясь миноносец номер «86». Мы

в лодке плавали на скалу и прыгали по железному, заржавевшему острову, зыбкому, как волны, которые хлюпают и булькают среди его расторгнутых связей. Был красный ночной закат тогда — на утро разыгрался шторм, и волны уже беспокоились в предчувствии; и ни на отдаленном скалистом берегу, ни в море не было ни человека, ни единого судна. И я украл с миноносца обрывок медной позеленевшей штурвальной цепи.

...Эти воспоминания о шхерах я пишу зимой, когда за окнами иное, снежное море. Все красиво и печально, как панихида; в белом гробу земля, и ели гудят над нею вечную память; замерзли морские протоки между островов, и снежными холмами, молчаливыми курганами под темной шапкой сосен и елей высятся среди глади морской одинокие острова. Но не везде оледенело море, тревожимое ветрами и бурями, и там днем и ночью рыщут наши военные суда, разрезая холодные, отяжелевшие волны. Война! Всплывая на палубу и борта, ледяными слоями замерзает вода, местами наращает целые глыбы, ледяными призраками носятся иглы-миноносцы; на них потушены огни и нет ни единого маячного дружеского светлячка, который нарушал бы цельность зимней бурной и долгой ночи; а днем кружатся метели, закрывая путь, а кругом скалы, а дно зубасто и зло, как пасть акулы!..

Велик труд людей, защищающих родину.

Невольно влечется к ним мысль, и нелегко мне вспомнить те мирные шхеры, что еще нынешним летом цвели под солнцем и долго будут цвести, как одна из величайших красот нашей круглой земли. Кончится эта ужасная война, снова зажгутся маяки, и тяжелая лайба, нарушив свой невольный сон, тяжело заковыляет по волнам и повезет от одних людей к другим хлеб, рыбу и дрова.

II

В жизнь шхер я входил медленно и постепенно, как это и следует. Конечно, это не являлось сознательным умыслом с моей стороны, а привел меня к тому ряд счастливых случайностей, ограничивших

на первое лето мое владычество над морями одной жидонькой лодчонкой и парой весел. Жил я тогда за Гельсингфорсом, в красивых Эсбосских шхерах, и каждый почти день в одиночку выгребал по десятку с лишним верст, перекочевывая с острова на остров.

Для начала это было необыкновенно, светло и радостно. Те, кто знает Финляндию только по дачным, близким к Петрограду, Куоккалам и Териокам, не имеют представления о ее истинном климате, о ее теплом и мягком лете, о ее жарах, о скалах, накаленных до того, что нельзя стать босою ногою, не остывающих даже и ночью, как прогретая печь. Наша Маркизова лужа и часть Выборгской губернии — это холодная прихожая в теплом доме, где место только для шуб и калош. Ни ночных резких холодов, ни туманов над ручьями и низинами, ни внезапных, ничем не мотивированных переходов от тепла и солнца к серому небу и щиплющей прохладце. Это — влияние Гольфстрима, мягкого отца и покровителя всей Западной Европы, а отчасти и самого моря с его тысячами гранитных островов-очагов, греющих и сушащих; в глубине Финляндии и сырее и холоднее, нежели на ее скалистом многоостровьи.

И мое плаванье на лодке я совершал исключительно в голом виде. Первое время я стыдился себя самого, но уже скоро привык, перестал замечать свою голизну и со всей радостью воскрешаемой жизни предался солнцу, ветру и воде. Стыдно еще бывает, пока белый, а когда почернеешь, как негр, кожа становится естественным костюмом; это особенно чувствовалось к концу лета, когда я брал с собою когонибудь из приезжих приятелей, и он казался голым в своей белизне и несчастным, а на меня смотрел так, точно я во фраке.

Но главное не сам, а посторонние — а их так мало пока в шхерах: пройдет вдали бесшумная процессия белопарусных яхт или за версту простучит краснодеревый шведский мотор с флагом, а лица за весь день не увидишь. Спокойно. Неторопливо окунаешь весла в сине-зеленую прозрачную воду (это не серая Маркизова лужа!). Задумаешься и перестанешь гре-

сти: пусть сносит легкою зыбью, не все ли равно куда плыть! Да и нагретый бок надо охладить и подставить другой; или ляжешь на дно лодчонки и, как из раковины, смотришь в голубое высокое небо и слушаешь шепоты и песенки волн у бортов.

Проливы расширяются, раздвигая острова; вода становится синее и глубже. Ранее скрытая островами, показалась в проливах линия открытого моря, и оттуда повеяло простором и далью. Вот широкая и круглая, как чаша, лагуна в кайме зеленых низких островов: на вид не так широка, а грести, и серьезно, надо час. Но можно и передохнуть; посередине небольшая круглая, отшлифованная древними льдами розовая скала, похожая на выпуклый лоб слона или лысину пророка Елисея — такими лбами и лысинами усеяны все шхеры. На этой, однако, есть и поросль: каким-то чудом взросла среди сплошного камня и венчает вершину единственная и одинокая вишенка — и цветет себе! Стоит вся белая, на розовом постаменте, а за нею синеет сплошное море... какой цветущий индивидуализм!

Естественно, что, выходя на такой остров, одеваться не надо. И вот через минуту нас двое: вишенка и я; у подножия вишенки, как в тепличном ящике, немного земли и штук десять травинок наперечет, а остальное — горячий и гладкий, как мозаичные столы в Эрмитаже, сплошной гранит. Таким его сделали доисторические льды, ползшие с севера на юг, и следы их вековой работы так явственны, что словно только вчера проходил здесь этот гигантский рубанок, смягчал острые грани, ласково закруглял углы. Обутому трудно идти по склону, но босой держишься, как муха, и в этом есть особое, не только мухе понятное, удовольствие. Но избави бог стать обеими ногами на ту часть скалы, что омывается морем: покрытая невидимой слизью, она так скользка, что, не опомнившись, как корабль со стапелей, полным ходом влетишь в море, ибо и под водой продолжается все та же скользкая гора и облегчает нисхождение. Но если это делать нарочно, то это одно из самых очаровательных катаний и купаний!

Отдохнул, гребешь дальше, к островам; и случалось, за день побываешь на пяти-шести островах.

Все они безлюдны и также не требуют костюма, а ходить голому по лесу или сатаною прыгать по скалам и обрывам, это уже совсем особенная, давно забытая радость, переносящая к временам далеких и счастливых предков. Живешь весь, а не только утомленными мозгами или выражением интеллигентного лица, весь дышишь, весь наливаешься горячим светом.

Так, напрыгавшись по скалам и устав, сидел я однажды на камне и пил глазами море. И вот из-за лесистого островка вышла маленькая яхточка под белым косым парусом, и в ней сидел всего один человек и пел. На нем была красная яркая шапка: только это и видно было в отдалении — белый парус и красная шапка, но пел он сильным и красивым голосом и слышно его было далеко, пока не скрылись и парус и красная шапка за другим лесистым островком. Слов песни я не разобрал, и это было что-то оперное и не русское, но тут же легко сам для себя сделал перевод.

Он пел о прекрасных шхерах, о море, о радости, что дают солнце и волны. И кажется, он пел еще о любви, но не о той вялой любви, что чадит в наших отвратительных гостиных и будуарах среди микробных ковров, а о той, что напоена солнцем и волею, горит светло и гаснет без сумерек.

Кто-то в красной шапке, кого я больше никогда не видел.

III

Предельным пунктом, до которого я догребал, был красивый, довольно большой остров — Юль-Хольм. Как и все острова в шхерах, за немногими исключениями, он состоял из сплошного гранита, но за тысячелетия своей жизни набрал из воздуха земли и густо оброс; его обращенная к материку пологая сторона щетинилась строгими елями, а к открытому морю гранит голо розовел, обрывался к воде уступами, сходил гладкими ступенями, пестрел трещинами и размывами. И сразу начиналась глубокая синяя вода.

И оттуда подолгу я смотрел жадными глазами на открытое море. Вот вечное притяжение! Вот немерк-

нущая красота, древняя, первичная: ее первою увидел и познал Дух божий, носившийся над волнами!

Нет в природе более простой и ясной линии, нежели округлая линия морского горизонта, и нет линии, более магической, чарующей, покоряющей глаза и душу, как жезл в руке великого волшебника. Как вечная свобода, как устремление без конца, она влечет человеческую волю, ограниченную земными законами, сулит ей, действенной, неописуемые блаженства. Среди линий земли, ее застывших гор, домов и деревьев она одна небесна и вместе со звездами и всей небесной сферой поет о бесконечности.

Тот гейневский дурак, который сидел у моря, выбрал хорошее место для своих проклятых вопросов, но плохое — для ответов. Кому и когда отвечала бесконечность? Море не отвечает и не спрашивает само — оно зовет. И Колумб лгал, когда твердил королю о новом пути в Индию, — его просто звал океан и ему хотелось основательно поплавать. А будет там, за волнами, Индия или Америка,— не все ли равно?

Но на лодчонке далеко не уедешь; и я смотрел. В нескольких верстах, уже в открытом море, как последний отброс земли — лежал каменным китом небольшой, красиво заросший островок; впоследствии я узнал и имя его — Тора-Левэ, и сделал его своим частым пристанищем, но при тогдашнем состоянии моего флота мне оставалось только безнадежно стремиться к нему. Не доплывешь! Не говоря о волне открытого моря и всегдашних возможностях внезапного свежего ветра, просто силы не хватит прогрести туда и обратно; мне и с Юль-Хольма обратный путь давался не легко, а когда случалась встречная волна и ветерок, я добирался в изнеможении. Парусом же я, к несчастью, не владел, как и вообще ничего не понимал в морском деле; пробовал я ставить на весла, распялив купальный халат, но на вид это было даже страшно, ибо он, как живой, махал рукавами, а подвигало вперед мало. Так в то лето я не добрался до Тора-Левэ!

Но вот прошло время — и я в тех же Эсбосских шхерах плаваю на мотор-боте, именуемом «Савва». Длина — 26 фут., бензиновый...

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Право Ивана Дмитриевича Сытина на «всенародное» признание (в чем смысл сегодняшнего его юбилея) является спорным, т. е. не для всех ясным и очевидным. Пусть московская Дума единодушно постановляет приветствовать И. Д. Сытина, это ее обязанность перед «москвичами»; пусть даже именитые писатели своим участием в сборнике «Книга» подтверждают серьезность и важность нынешнего дня — для широких кругов интеллигенции остается открытым вопрос: в чем именно те огромные заслуги Сытина, которые дают ему право на столь пышный триумф? Больше того: чем можно оправдать поступок юбилейного Комитета (вероятно, его), приурочившего чествование Сытина к такому великому историческому празднику, как 19 февраля,— дню освобождения русских крестьян от рабства?

«Сытинские» издания обладают одним бесспорным свойством: распространенностью; равным образом и все «сытинские» предприятия и дела обладают аналогичным свойством — громадностью. Его пресловутые лубки и календари, его учебники и пособия, наконец, его газета «Русское слово», распространены широко и массой бумаги, вероятно, превосходят все другое по этой части; так же велики сытинские типографии и всё прочее, материальное. Приобщение к сытинскому делу «Нивы» с ее приложениями, само по себе дающее основателю «Нивы» Марксу право на вечную благодарность со стороны русского народа, доводит масштаб до того предела, до какого едва ли достигало какое-либо другое русское издательство.

Но распространенность и огромность — лишь свойство, но еще не к а ч е с т в о; и русскому интеллигенту известны многие случаи «распространенности» (хотя бы сочинений г-жи Вербицкой), которым так же мало оснований радоваться, как распространению скарлатины или холеры. Правда, на людей с пылким воображением, до сих пор удивляющихся расстоянию Земли от Солнца и с волнением переживающих всё огромное: миллиарды, небоскребы и пулеметы —

самый масштаб действует ошеломительно и в корне подсекает все вопросы о правах на признание и благодарность: люблю тебя за то, что ты огромен. Однако эти люди, кланяющиеся всякой царь-пушке, способны делать только шум, «признание» же дают другие — те, кто ищет и ценит качество. Каковы же качества сытинских изданий?

И здесь ответ, на первый взгляд, получается весьма неутешительный. Не говоря о «Ниве», где Сытин является только продолжателем хорошего начала, или о «Посреднике», не имевшем с ним органической связи, все остальные сытинские издания отнюдь не пользуются почетом, каковой заслужили уже давно те же Павленковские издания или нынешние — Сабашниковские с их замечательной библиотекой классиков. Хуже того, даже некоторые совсем, по сравнению, маленькие издательства, как прежнее «Знание» или теперешнее «Товарищество писателей в Москве», имеют больший вес и значение в глазах читателя, внушают больше доверия и интереса, нежели любой многотомный или листовочный «Сытин». Там, у Павленковых и Сабашниковых — там и д е я. Там осознанное стремление к общественности или красоте, там видна высокая цель, к которой идет издатель; там — и д е я.

Где же идея в «сытинских» изданиях?

Ответ только один. Стоит лишь сверху бросить взгляд на всю эту сытинскую мешанину, где песенник, молитвослов, дешевый календарь и патриотический лубок сопрягаются с Мережковским и Горьким, чтобы спокойно и сразу решить: и д е и у Сытинских изданий нет и не было. Порою грубые, как макулатура, часто совсем лишенные вкуса и чуть ли не смысла, а порой столь изящные, тонкие и умные, как стихи и рассказы И. Бунина,— все эти сытинские книги, книжонки и газетные листы дают изумительную картину какого-то издательского хаоса, над которым вместо духа божьего носится и царит один всепожирающий масштаб: больше книг! больше листов! больше печатной бумаги, бумаги!

Так смотрит на это дело интеллигент, чтущий идеи, избалованный (хотя бы и «вприглядку») четкими и ясными формами Запада. Но есть и другая точка зрения, более пригодная для России, той России, ко-

торая сама есть только количество и масштаб, в ожидании лучшего; и с этой точки зрения сытинское издательство является делом величайшей важности и значения, а сам он — Иван Дмитриевич Сытин — человеком, заслужившим признание народное и триумф.

Эта точка зрения — то самое девятнадцатое февраля, которым помечен нынешний календарный день и к которому пригнан и сытинский юбилей. Кто не одним формальным умом, а и сердцем понял и почувствовал значение этого дня для России, тот не только с почтением дикаря, глядящего на Эйфелеву башню, а и с более нежным и ценным чувством возьмет нынче в руки сытинскую книжку и еще раз вглядится в черты юбилярова лица. Эти черты просты и даже простецки; в них ни на грош нет «меди», и ученый западный физиономист весьма затруднится, к какому разряду великих людей отнести этого необычного юбиляра. И долго, в недоумении, он будет рассматривать это загадочно-простое лицо, пока не переместится что-то в душе его и глазах, и не поймет он, что это — не лицо случайного и преходящего И. Д. Сытина, а лицо огромного и великого народа, того народа, что был полуосвобожден 19 февраля и настойчиво просит, молит и требует «вторую половину»; того народа, что после бесконечной ночи своего бытия взмолился о светлом дне и всею темною громадой своею разинул рот на книгу.

Книга! Кто нынче в нашей среде знает священную поэзию книги? Не ту полудохлую поэзию книжников, что копаются кротами в темных библиотеках, гурманствуя языком и старчески поскрипывая мыслями, а ту молодую, горячую поэзию влюбленности и любви, когда к книге стремишься столь же страстно, как к возлюбленной на свидание? Истинная любовь есть истинный голод. И кто ныне в нашей среде знает этот голод-любовь, который заставляет не читать книгу, а жрать ее?

Мы читаем книги, а он — г. великий народ русский — он книгу лопает и жрет. Вам не нравится этот грубый образ? Тогда возьмите другой: он благоговейно проглатывает ее как причастие, он не читатель — он молитвенник на книгу.

И вот вам И. Д. Сытин: величайший пожиратель книг, он же молитвенник на книгу, он же причастник

воскресения народного. И не ищите идеи в его изданиях — он сам, вот этот И. Д. Сытин, есть идея... и прекраснейшая идея! Ибо этой идеей заряжен весь народ, откуда он выскочил — босой, голодный духом и о духе, жадный к свету до слепоты, полуосвобожденный, вольноотпущенник, но еще не гражданин. Издатель, сам почти не знающий грамоты (некогда было научиться, надо было издавать!),— это ли не образ безмерной и святой жадности? Конечно, как не смутиться перед таким несуразным явлением «западному» четкому уму, но мы, дети мужицкой, несуразной, огромной и возрождающейся России, мы его поймем. Это для ясного Запада куб всегда куб, а у нас и для куба допустимы всякие формы; и не всегда внешне светел наш свет, что не мешает ему творить понемногу такой же день, как и во всем божьем мире.

И не смущайтесь «качества» у сытинских изданий: оно уже заключено в их количестве. Кто спорит против необходимости разумного меню и для пищи духовной? И кто не хотел бы более питательной еды для народа, нежели сытинский лубок и календарь, кто не предпочел бы для народа более изящно сервированный стол, нежели грязноватая скатерть харчевни, чайной и трактира? Но там, где царит массовый голод, там, где самое понятие печатного знака еще нуждается в освящении и букварь служит источником мудрости и познания, там количество еды является более важным и необходимым фактором, нежели строгий и ограниченный подбор ее. «Глупый милорд» вовсе не так глуп, как это кажется в столицах, и «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа» разбудила к жизни немало сердец, познавших через эту наивную книжонку всю сладость чувствительности и поэтических грез. Когда голодает целый народ, только что освободившийся от пут,— это совсем не то, что три интеллигента, идущие обедать к Донону; этого не надо забывать при оценке Сытинского дела.

Еще одно сомнение.

Пожиратель книг И. Д. Сытин стал торговцем книгами. Да, торговцем — огромным, ненасытным (почему он — Сытин?), всеядным, порою даже смешным в своей детской неразборчивости. И, как всякий тор-

говец, он — «ум», «сметка» и «хитрец» — не любит формальных договоров, склонен решать дела за чайком, в интимности; то до смешного передорожит, то на грош накупит пятаков: сам не всегда знает цену своего товара. Наивничает. Делает вид, что «глубоко уважает» больших писателей, но внутренне и в них видит только «товар» и мучается, если не замечает цены на обложке, чтобы иметь точку для дальнейших операций. Вздыхает и в трудных обстоятельствах принимает личину слабосильного больного; любит поговорить о том, что «он из народа», не подозревая, кажется, насколько эта похвальба мала для того, кто по существу своему не только из народа, а сам народ.

И опять недоуменный вопрос: за что же триумф торговцу, хотя бы это был торговец книгами? И снова странный, но многим весьма понятный ответ: за то, что один из первых вольноотпущенников принял книгу, как «товар», и до святости просто и крепко, навсегда, на всю жизнь, поверил в ее «меновую», материальную ценность. Для нас это мало, но это бесконечно велико для того, кто вместе со всем своим народом привык подбирать в ладонь падающие хлебные крошки, ибо ценит хлеб, как единственную в мире истинную ценность. И как не уронит он крошки наземь от т о г о хлеба,— так утвердил он своей торговлей великую ценность нового «хлеба», к которому жадно припадает духовно голодная Россия. И также не уронит крошки, ибо не только ест, а и чтит, не только потребляет,— а и производит. Да, торговец, а не торгаш, не тот, подло равнодушный к внутренней ценности вещей, что нынче торгует иконами, а завтра утраивает барыши на «живом товаре».

И сегодня, в лице Ивана Дмитриевича Сытина, мы приветствуем русский народ. Приветствуем его духовный голод, его безмерную жадность. Приветствуем его первые, еще слепые, но уже такие твердые и решительные шаги. Приветствуем его великий сокрытый разум, бросивший его из цепей прямо к книге — последнему Освободителю! Пусть лопает книги, пусть жрет, пусть приобщается! Приветствуем его безошибочное чувство жизни, приведшее его на тот единственный путь, в конце которого — Возрождение России.

Когда-то срезали розги с деревьев и ими секли предков юбиляра, ныне всеми почтенного; теперь на бумаге из той же древесной массы Сытин печатает миллионы книг; это ли не сладчайшая месть угнетателям, достойная всяческого триумфа!

ДЕРЖАВА РЕРИХА

Рерихом нельзя не восхищаться, мимо его драгоценных полотен нельзя пройти без волнения. Даже для профана, который видит живопись смутно, как во сне, и принимает ее постольку, поскольку она воспроизводит знакомую действительность, картины Рериха полны странного очарования: так сорока восхищается бриллиантом, даже не зная его великой и особой ценности для людей. Ибо богатство его красок беспредельно, а с ним беспредельна и щедрость, всегда неожиданная, всегда радующая глаза и душу; видеть картину Рериха — это всегда видеть новое, то, чего вы не видели никогда и нигде, даже у самого Рериха. Есть прекрасные художники, которые всегда кого-то и что-то напоминают. Рерих может напоминать только те чарующие и священные сны, что снятся лишь чистым юношам и старцам и на мгновение сближают их смертную душу с миром неземных откровений. Так, даже не понимая Рериха, порой не любя его, как не любит профан все загадочное и непонятное, толпа покорно склоняется перед его светлой красотой.

И оттого путь Рериха — путь славы. Лувр и музей Сан-Франциско, Москва и вечный Рим уже стали надежным хранилищем его творческих откровений; и вся Европа, столь недоверчивая к Востоку, уже отдала дань поклонения великому русскому художнику. Сейчас, когда величие и будущность России так страшно колеблются на мировых весах, этот дар художника мы, русские, должны принять с особым трепетом и благодарностью... Но ни простодушный, взволнованный профан, ни художественный схоласт

в его специфических восторгах перед мастерством Рериха не могут в полной мере насладиться своеобразным гением художника, не имеющего себе подобных: это дано лишь тому, кто сумел проникнуть в мир Рериха, в его великую державу, кто сквозь красоту письмен смог угадать и прочесть их сокровенный смысл. Рерих не слуга земли, он созидатель и повелитель огромного мира, необыкновенного государства. Колумб открыл Америку, еще один кусочек все той же знакомой земли, продолжил уже начертанную линию, и его до сих пор славят за это. Что же сказать о человеке, который среди видимого открывает невидимое и дарит людям не продолжение старого, а совсем новый, прекрасный мир.

Целый новый мир!

Гениальная фантазия Рериха достигает тех пределов, за которыми она становится уже ясновидением. Так описывать свой мир, как описывает Рерих, может лишь тот, кто не только вообразил его и воображает, но кто видел его глазами и видит его постоянно. Образы невещественные, глубокие и сложные, как сны, он облекает в ясность и красоту почти математических формул, в красочность цветов, где за самыми неожиданными переходами и сочетаниями неизменно чувствуется правда Творца. Свободное от усилий, легкое, как танец, творчество Рериха никогда не выходит из круга божественной логичности; на вершинах экстаза, в самом ярком хмелю, в самых мрачных видениях, грозах и многозначащих, как вещания Апокалипсиса, его богом остается блаженно гармоничный Аполлон. Странно сказать: при изображении своего субъективного мира Рерих достиг той степени объективности, при которой самое невероятное и надуманное, как какие-нибудь «Лесовики» или «Дом духа», становится убедительным и несомненным, как сама правда: он видел это. Высшая ступень творчества, последний шаг ясновидения: временами Рерих словно фотографирует картины и образы своего несуществующего мира, так он реален. Странно сказать: вид обреченного города, «фасад» дома Духа!.. Или он существует...

Да, он существует, этот прекрасный мир, это держава Рериха, коей он единственный царь и повелитель. Не занесенный ни на какие карты, он действи-

телен и существует не менее чем Орловская губерния или королевство Испанское. И туда можно ездить, как ездят люди за границу, чтобы потом долго рассказывать о его богатстве и особенной красоте, об его людях, об его страхах, радостях и страданиях, о небесах, облаках и молитвах. Там есть восходы и закаты, другие, чем наши, не менее прекрасные. Там есть жизнь и смерть, святые и воины, мир и война, там есть даже пожары с их чудовищным отражением в смятенных облаках. Там есть море и ладьи.., нет, не наше море и не наши ладьи: такого мудрого и глубокого моря не знает земная география, скалы у его берегов, как скрижали завета. Тут знают многое, тут видят глубоко: в молчании земли и небес звучат глаголы божественных откровений. И, забываясь, можно по-смертному позавидовать тому рериховскому человеку, что сидит на высоком берегу и видит — видит такой прекрасный мир, мудрый, преображенный, прозрачно светлый и примиренный, поднятый на высоту сверхчеловеческих очей.

Ища в чужом своего, вечно стремясь небесное объяснить земным, Рериха как будто приближают к пониманию, называя его художником седой варяжской старины, поэтом Севера. Это мне кажется ошибкой — Рерих не слуга земли ни в ее прошлом, ни в настоящем: он весь в своем мире и не покидает его. Даже в том, где художник ставит себе скромною целью произведение картин земли, где полотна его называются «покорением Казани» или декорациями к норвежскому Перу Гюнту,— даже и там он, «владыка нездешний», продолжает оставаться творцом нездешнего мира: такой Казани никогда не покорял Грозный, такой Норвегии никогда не видел путешественник. Но очень возможно, что именно такую Казань и такую битву видел грозный царь в грезах своих, когда во имя Христа, во имя своей крестьянской, христианской, апостольской России поднимал меч на басурман; но очень возможно, что именно такую Норвегию видел в мечтах своих поэт, фантазер и печальный неудачник Пер Гюнт — Норвегию родную, прекраснейшую, любимую. Здесь как бы соприкасаются чудесный мир Рериха и старая знакомая земля, и это потому, что все люди, перед которыми откры-

лось свободное море мечты и созерцания, почти неизбежно пристают к рериховским «нездешним» берегам.

Но для этого надо любить Север. Дело в том, что не занесенная на карты держава Рериха лежит также на Севере. И в этом смысле (не только в этом) Рерих — единственный поэт Севера, единственный певец и толкователь его мистически-таинственной души, глубокой и мудрой, как его черные скалы, созерцательной и нежной, как бледная зелень северной весны, бессонной и светлой, как его белые и мерцающие ночи. Это не тот мрачный Север художников-реалистов, где конец свету и жизни, где смерть воздвигла свой ледяной сверкающий трон и жадно смотрит на жаркую землю белесыми глазами — здесь начало жизни и света, здесь колыбель мудрости и священных слов о боге и человеке, об их вечной любви и вечной борьбе. Близость смерти дает только воздушность очертаний этому прекрасному миру... и ту легкую, светлую, почти бестрепетную печаль, которая лежит на всех красках рериховского мира: ведь и облака умирают! Ведь умирает и восход! Так ярко зеленеть, как у Рериха, может только та трава, которой ведом за ее коротким летом приход зимы и смерти.

И еще одно, важнейшее, можно сказать о мире Рериха — это мир правды. Как имя этой правды, я не знаю, да и кто знает имя правды, но ее присутствие неизменно волнует и озаряет мысли особым странным светом. Словно снял здесь художник с человека все наносное, все лишнее, злое и мешающее, обнял его и землю нежным взглядом любви — и задумался глубоко. И задумался глубоко, что-то прозревая... Хочется тишины, чтобы ни единый звук, ни шорох не нарушил этой глубокой человеческой мысли.

Такова держава Рериха. Бесплодной будет всякая попытка передать словами ее очарование и красоту: то, что так выражено красками, не потерпит соперничества слова и не нуждается в нем. Но если уместна шутка в таком серьезном вопросе, то не мешает послать в царство Рериха целую серьезную, бородатую экспедицию для исследования. Пусть ходят и измеряют, пусть думают и считают, потом пусть пишут историю этой новой земли и заносят ее на карты человеческих откровений, где лишь редчайшие художники создали и укрепили свои царства.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Автобиографическая справка

Я плохо знаю моих восходящих родных: большинство из них умерло, либо безвестно затерялось в жизни, когда я был еще маленьким. Но насколько могу судить по тем немногим данным, которые дало мне наблюдение, мое влечение к художественной деятельности наследственно опирается на линию материнскую. Именно в этой стороне я нахожу наибольшее количество людей одаренных, хотя одаренность их никогда не поднималась значительно выше среднего уровня и часто, под неблагоприятными влияниями жизни, принимала уродливые формы. Бескорыстная любовь к вранью и житейскому вредному сочинительству, которой иногда страдают обитатели наших медвежьих углов, часто бывает неразвившимся зародышем того же литературного дарования. И пылкое фантазерство, не находившее себе границ в условиях скудной действительности, составляло характерную черту некоторых моих родственников, повторяю, уже умерших. В смысле обычной талантливости они, оставаясь самоучками, проявляли себя так: одни любили и умели рисовать, но не шли дальше лошадей и турок в фесках; другие имели склонность к музыке, но другого инструмента, кроме трехрядной гармоники, не знали. Покойный отец мой был человеком ясного ума, сильной воли и огромного бесстрашия, но к художественному творчеству в какой бы то ни было форме склонности не имел. Книги, однако, любил и читал много, к природе же относился с глубочайшим вниманием и той проникновенной любовью, источник которой находился в его мужицко-помещичьей крови. Был хорошим садоводом, всю жизнь мечтал о деревне, но умер в городе.

Чтобы покончить с вопросом о наследственности, скажу, что отец и мать поженились очень рано, оба были людьми здоровыми и очень крепкими, а отец, кроме того, отличался огромной физической силой. В городе отец умер рано, всего сорока двух лет, скоропостижно, от кровоизлияния в мозгу; в деревне он мог бы дожить и до ста лет.

Читать я начал шести лет и читал чрезвычайно много, все, что попадалось под руку; лет с семи уже абонировался в библиотеке. С годами страсть к чтению становилась все сильнее, и уже с десяти — двенадцати лет я начал ощущать то известное провинциальному читателю чувство, которое могу назвать тоскою о книге. Моментом сознательного отношения к книге считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем «В чем моя вера?»

Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра и в то же время наизусть (иначе нельзя было) вызубрил полкниги «Учение о пище» Молешотта. К двадцати годам я был хорошо знаком со всею русскою и иностранною (переводною) литературою; были авторы, как, например, Диккенс, которых я перечитывал десятки раз. Вообще же любил и до сих пор люблю только толстые книги; и в библиотеке брал лишь такие, при которых цена была обозначена не меньше рубля.

Но о том, чтобы быть писателем, не думал, ибо чуть ли не с самого младенчества чувствовал страстное влечение к живописи. Рисовал много (первой учительницей была мать, которая держала карандаш в моих руках); но так как в Орле ни школ, ни настоящих учителей не было, то все дело ограничивалось бесплодным дилетантизмом. Бывали удачные рисунки и портреты, за которые меня хвалили, а учителя гимназии советовали немедленно ехать в академию (обычная форма совета была такова: чем сидеть на камчатке и протирать парту, поезжайте-ка... и т. д.), но еще чаще бывали неудачи, и во всем, что я рисовал, чувствовалось отсутствие школы, иногда простая неграмотность. Натуры я не любил и всегда рисовал из головы, впадая временами в комические ошибки: до сих пор со стыдом вспоминаю лошадь, у которой по какой-то нелепой случайности оказалось всего три ноги. Все уже кончил, «оттушевал» бока, похожие на колбасу, а четвертую ногу позабыл. И только посторонний критический взгляд открыл мне мою позорную забывчивость. И до чего было обидно, прекрасно оттушеванной колбасы никто не заметил, а над ногою все смеялись. Фантазировал я бесконечно: был у меня огромный альбом «рож», штук триста, и года два или три я провел в мучительных поисках «Демона».

О писательстве задумался впервые лет семнадцати. К этому времени относится очень характерная запись в моем дневнике; в ней с удивительной правильностью, хотя в выражениях и ребяческих, намечен тот литературный путь, которым я шел и иду поныне. Вспомнил о дневнике случайно, когда был уже писателем, с трудом нашел эту страничку — и был поражен точностью и совсем не мальчишеской серьезностью сбывающегося предсказания.

В гимназии к моим «сочинениям» относился очень благосклонно директор, он же преподаватель русского языка И. А. Белоруссов.

Первый мой, однако, литературный опыт был вызван не столько влечением к литературе, сколько голодом. Я был на первом курсе в петербургском университете, очень серьезно голодал и с отчаянием написал прескверный рассказ «О голодном студенте». Из редакции «Недели», куда я самолично отнес рассказ, мне его вернули с улыбкой. Не помню, куда он девался. Потом были и серьезные попытки проникнуть в литературу: посылал я рассказы и в «Северный вестник», и в «Ниву», и уж не помню куда и отовсюду получал отказ, в общем совершенно справедливый — вещи были плохи. Но меня эти неудачи привели к тому, что к окончанию университета, т. е. к 27-ми годам, я уже совершенно

не думал о литературе, серьезно решил стать присяжным поверенным.

Но здесь вмешалась в дело «случайность». Между прочим, сам я «случайности» не признаю и прибегаю к этому выражению только в целях упрощения рассказа. Дело заключалось в том, что один знакомый адвокат, знавший о моих попытках писательствовать и даже непосредственно знакомый с некоторыми из моих неудачных рассказов, предложил мне место судебного репортера в газете «Московский вестник». Как репортер я заслужил одобрение, месяца через два перекочевал в только что возникшую газету «Курьер», а дальше все уже пошло по-писаному: сперва репортаж, потом маленькие фельетоны, потом большие, потом робкая пасхально-праздничная беллстристика и так далее. Здесь мой путь, как мне кажется, ничем не отличается от пути всякого иного беллетриста, начавшего свою литературную деятельность в газете. Работал я очень много, но в деньгах нуждался: половину у меня черкала цензура, а за другую половину оставалось по тогдашней построчной плате не так уж много. Помню, что за рассказ «Большой шлем» я получил 18, не то 19 рублей. В редакции «Курьера» ко мне относились хорошо, чувствовал я там себя превосходно и, подпав под гипноз типографской краски, без всякого дела просиживал ночи в типографии с секретарем И. Д. Новиком. Благодарную память храню я и о редакторе нашей газеты Я. А. Фейгине.

Как первым моментом моего сознательного отношения к книге я считаю чтение Писарева, так пробуждением истинного интереса к литературе, сознанием важности и строгой ответственности писательского звания я обязан Максиму Горькому. Он первый обратил серьезное внимание на мою беллетристику (именно на первый напечатанный мой рассказ «Баргамот и Гараська»), написал мне и затем в течение многих лет оказывал мне неоценимую поддержку своим всегда искренним, всегда умным и строгим советом. В этом смысле знакомство с Максимом Горьким я считаю для себя, как для писателя, величайшим счастьем, и если говорить о лицах, оказавших действительное влияние на мою писательскую судьбу, то я могу указать только на одного Максима Горького — исключительно верного друга литературы и литератора. Только известная сдержанность по отношению к нему заставляет меня удержаться от более горячего выражения чувства признательности и чувства глубокого, единственного уважения.

Постараюсь коротко ответить и на некоторые вопросы второстепенного значения.

Первый мой рассказ «Баргамот и Гараська» написан под исключительным влиянием Диккенса и носит на себе заметные следы подражания.

Серьезных цензурных препятствий в моей беллетрической работе не встречал. Некоторые гонения испытывал уже после того, как вещь была напечатана или поставлена в театре.

Первый критический отзыв, который, я знаю, принадлежит А. А. Измайлову,— он очень доброжелательно отнесся к моему рассказу «Жили-были». Вообще до появления первого моего тома критических статей обо мне не было.

Сейчас я материально обеспечен.

Январь 1910 г.

КОММЕНТАРИИ

РАССКАЗЫ

МЕЛЬКОМ (с. 5).— Впервые, под заголовком «В ожидаиии поезда. Из дачных мотивов»,— в газете «Курьер», 1900, 13 июля. Вторично, под заглавием «Мельком»,— в «Нижегородском сборнике», СПб., «Знание», 1905. Весь доход от сборника поступил в распоряжеиие Общества взаимопомощи учащих Нижегородской губернии иа устройство общежития для учительских детей.

С. 5. *целовальник.*— Торговец в казенной винной лавке.

С. 7. *...вы и починяйтесь.*— Здесь в значении успокоиться, привести себя в порядок.

Толцыте и отверзется.— Евангельское изречение. Употребляется в значении: упорством добиваться желаемого.

С. 8. *...кончила ты Каутского?* — Карл Каутский (1854—1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии. Работы Каутского 90-х гг. XIX века — начала 900-х гг. XX века написаны в целом с позиций революциоиного марксизма. В дальиейшем — ренегат.

С. 12. — *Об одной тебе думу думаю...*— Романс «Моя душенька» иа слова неизвестного автора. В печатных изданиях текст имеет отличия от приведенного Андреевым. См. Умчалися года.. Старинные романсы.— М.: Музыка, 1977.

У ОКНА (с. 14).— Впервые, с подзаголовком «Очерк», в «Курьере», 1899, 3, 5 и 7 августа.

Рассказ вошел в число десяти избранных произведений, составивших первый сборник «Рассказов» Андреева (1901).

В рецензии на эту книгу член нижегородской социал-демократической организации А. В. Яровицкий отмечал: «Как истинный художник Л. Андреев обладает наблюдательностью и уменьем в немногих словах сказать многое». Сославшись на рассказ «У окна», Яровицкий восклицал: «...разве мало таких людей вокруг, разве все эти Андреи Николаевичи, человеки в футляре, премудрые пискари не покрывают веселую землю, как паразиты, как зловредные наросты на древе жизни, губящие в нем лучшие силы его...» (Яр<овицк>ий А. О рассказах Л. Андреева.— «Нижегородский листок», 1901, 25 октября.)

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ (с. 37).— Впервые, с ироническим подзаголовком «Идиллия», в «Курьере», 1899, 14 декабря.

Возвратившись из поездки в Полтаву, где он присутствовал в качестве корреспондента «Курьера» на громком судебном процессе по «делу братьев Скитских», Андреев записал 25 декабря 1899 г. в дневнике: «В мое отсутствие вышел мой рассказ «Большой шлем», действительно хороший рассказ <...>. И похвалы крайние, и почет, и заря славы...» Скоропостижная смерть за карточным столом одного из игроков не вымысел Андреева. Интересно, что в романе М. Горького «Жизнь Клима Самгина» Самгин, находящийся у следователя Гудим-Чарнецкого, вспоминает: «Однажды Гудим и его партнеры играли непрерывно двадцать семь часов, а на двадцать восьмом один из них, сыграв

«большой шлем», от радости помер, чем и предоставил Леониду Андрееву возможность написать хороший рассказ». (Горький М. Полн. собр. соч. Худож. произв. в двадцати пяти томах, т. 24. М.: Наука, 1975, с. 116.)

«Лучший ваш рассказ — «Большой шлем»,— писал М. Горький Андрееву из Ялты 2—4 апреля 1900 г. (ЛН., т. 72, с. 69). Жена редактора «Нижегородского листка» А. Д. Гриневицкая вспоминала, что, прочитав «Большой шлем», М. Горький сказал: «Нарождается талант... Рассказ написан очень хорошо. Особенно одна деталь выявляет способности автора: ему нужно было сопоставить жизнь и смерть — Андреев сделал это очень тонко, одним штрихом» (там же, с. 69—70).

«Уже первым этим рассказом,— отмечал В. В. Воровский,— автор с недоумением остановился перед загадкой жизни: что ты, и, главное, к чему ты? И почти в каждом своем рассказе заглядывал он в тот или иной уголок жизни человеческого общества и всюду видел нелепость и бессмыслицу, зло и насилие» (Воровский В. В. Литературная критика.— М., 1971, с. 272.)

С. 37. *Большой шлем* — такое положение в карточной игре, при котором противник не может взять старшей картой или козырем ни одной карты партнера.

С. 40. *...две фразы о Дрейфусе.*— Имеется в виду Альфред Дрейфус (1859—1935) — офицер французского генерального штаба, еврей, ложно обвиненный в 1894 г. реакционной французской военщиной в передаче Германии секретных документов. Несмотря на отсутствие доказательств, Военный суд приговорил Дрейфуса к пожизненной каторге. Под давлением общественности Дрейфус в 1899 г. был «помилован», а в 1906 г. полностью реабилитирован.

СЛУЧАЙ (с. 47).— Впервые в «Нижегородском листке», 1901, 16 октября и «Журнале для всех», 1901, № 10.

Сначала Андреев намеревался озаглавить свой рассказ «Держите вора!». Под таким заглавием позже (14 июля 1908 г.) рассказ был вновь напечатан в газете «Утро» и включен в литературно-художественные сборники журнала «Жизнь» (СПб., 1908) и «Утренники» (М., 1909); в Собрании сочинений Андреев вернул рассказу его старое заглавие.

ГОРОД (с. 56).— Впервые в «Курьере», 1902, 21 апреля.

В первой публикации рассказ был посвящен родственнику Андреева—журналисту и экономисту А. П. Алексеевскому (1871—1944), впоследствии редактору московской газеты «Утро России». Письма Андреева к Алексеевскому см. в кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома за 1977 год.— Л.: Наука, 1979, с. 178—192.

МЫСЛЬ (с. 63).— Впервые в журнале «Мир божий», 1902, № 7, с посвящением жене писателя А. М. Андреевой (урожд. Велигорской, 1881—1906).

«Кончил «Мысль»; сейчас она переписывается и через неделю будет у тебя,— сообщил Андреев М. Горькому из Москвы в Крым 10 апреля 1902 г.— Будь другом, прочти ее внимательно и если что неладно — напиши <...> Художественным требованиям рассказ не удовлетворяет, но это не так для меня важно: боюсь,

выдержан ли в отношении идеи. Думаю, что почвы для Розановых и Мережковских не даю; о боге прямо говорить нельзя, но то, что есть, достаточно отрицательно» (ЛН, т. 72, с. 143). Андреев просил М. Горького после прочтения рассказа немедленно переслать рукопись А. И. Богдановичу в журнал «Мир божий». М. Горький «Мысль» одобрил. 18—20 апреля 1902 г. он ответил Андрееву: «Рассказ хорош <...> Пускай мещанину будет страшно жить, сковывай его паскудную распущенность железными обручами отчаяния, лей в пустую душу ужас! Если он все это вынесет — так выздоровеет, а не вынесет, умрет, исчезнет — ура!» (Там же, с. 146). Андреев согласился с предложением М. Горького снять в рассказе последнюю фразу «Присяжные заседатели удалились в комнату совещаний» и завершить рассказ словом «— Ничего». Газета «Курьер» 30 июня 1902 г., информируя читателей о выходе июльской книжки «Мира божьего», назвала «Мысль» психологическим этюдом, а идею произведения определила словами: «банкротство человеческой мысли». В рассказе «Мысль» Андреев стремится опереться на художественный опыт Ф. М. Достоевского. Совершающий убийство герой рассказа доктор Керженцев в известной степени задуман как параллель Раскольникову, хотя сама проблема «преступления и наказания» решалась Андреевым и Ф. М. Достоевским не однозначно. (См. Ермакова М. Я. Романы Ф. М. Достоевского и творческие искания в русской литературе XX века.— Горький, 1973, с. 224—243). В образе доктора Керженцева Андреев обличает двуличие, лицемерие буржуазной морали и одновременно разоблачает воинствующий индивидуализм носителей этой морали. Керженцев хочет осуществить на практике учение Фридриха Ницше о «сверхчеловеке» и, утверждая свое «я», подобно «сверхчеловеку» Ницше, переступает через нравственные категории, отбрасывает нормы общечеловеческой морали. Неизбежной расплатой и возмездием Керженцеву становится интеллектуальная смерть, или безумие. А. Измайлов отнес «Мысль» к категории «патологических рассказов», назвав его по впечатлению самым сильным после «Красного цветка» Вс. Гаршина и «Черного монаха» А. П. Чехова («Биржевые ведомости», 1902, 19 августа). Но многие критики, к большому огорчению автора, не уловив главного замысла произведения, сосредоточили свое внимание на том, сумасшедший ли доктор Керженцев, или только им притворяется. Первые рецензенты осуждали Андреева за отсутствие в рассказе художественной правды («Смоленский вестник», 1902, 27 июля), называли «Мысль» крайне туманной историей «аффектированной уголовщины» («Харьковский листок», 1902, 12 августа). Однако и те из критиков, которые не принимали узкой «психиатрической» оценки рассказа, находили, что «тяжеловесный психиатрический аппарат» рассказа «затмил идею» (Ветринский Ч. О «Мысли».— «Самарская газета», 1902, 21 ноября). Недовольство критики рассказом Андреев объяснял художественными недостатками произведения. В июле — августе 1902 г. он писал В. С. Миролюбову о «Мысли»: «Мне она не нравится некоторою сухостью своею и витеватостью. Нет великой простоты» («Литературный архив», вып. 5.— М.— Л., АН СССР, 1960, с. 95). Среди читателей и критики распространился слух, что и сам Андреев имел печальную возможность «познакомиться» с психиатрией в одной из специаль-

иных клиник. Слух этот повторил врач-психиатр И. Иванов,-прочитавший 18 февраля 1903 г. в Петербурге на заседании Общества нормальной и патологической психологии доклад о рассказе «Мысль», в котором особо подчеркнул, что «по верности и реальности изложения рассказ соответствует требованиям современной психиатрии». В этой связи «Биржевые ведомости» 27 февраля 1903 г. поместили открытое письмо Андреева: «Никогда во всю мою жизнь я не страдал никакими психическими заболеваниями...» Андреев протестовал против «склонности» части читателей и критики «связывать сюжеты литературных произведений с личной жизнью их авторов».

2—7 ноября 1913 г. Андреев завершил работу над трагедией «Мысль» («Доктор Керженцев»), в которой использовал сюжет своего рассказа. Пьеса была поставлена Московским Художественным театром (премьера 17 марта 1914 г.). В роли доктора Керженцева великолепно выступил актер Л. М. Леонидов.

С. 73. *...плакал над «Хижиной дяди Тома».*— Роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу — поборницы освобождения от рабства негров.

С 81. *...она удавилась в маленьком сарайчике...*— См. рассказ Андреева «Мебель» (1902), впервые опубликованный в кн.: Встрсчи с прошлым. Вып. 1, изд. 2.— М.: Советская Россия, 1983.

С. 89. *...после Ласкера.*— Речь идет о немецком шахматисте Эмануэле Ласкере (1868—1941) — в 1894—1921 гг. чемпионе мира.

С. 97. *Так, раненный насмерть, я в цирке играл...*— Из стихотворсния Генриха Гейне «Довольно! Пора мне забыть этот вздор!» в переводе А. К. Толстого. Перевод цитируется неточно.

С. 104. *...Как средневековый барон...*— См. символическую пьесу Андреева «Черные маски» (1908).

НЕТ ПРОЩЕНИЯ (с. 108).— Впервые одновременно в «Курьере», 1904, 1 и 3 января и в газете «Одесские новости», 1904, 1 января.

Рассказ написан в декабре 1903 г.

12 января 1904 г. московский обер-полицмейстер Д. Ф. Трепов направил конфиденциальное письмо председателю Московского цензурного комитета В. В. Назаревскому, в котором обратил внимание на то, что в рассказе Андреева «заключается крайне вредная тенденциозная характеристика розыскной деятельности агентов полиции, причем путем целого ряда возмутительных описаний понимание читателя злонамерснно направляется к выводу о неизбежности и похвальности насильственных действий против должностных лиц полиции, служебно-розыскной деятельности которых, по открытому заявлению автора, «нет прощения» (ЛН, т. 72, с. 169). 17 января 1904 г. начальник Главного управления по делам печати известил В. В. Назаревского, что за напечатание рассказа Андрсева «Нст прощения» министром внутренних дел «воспрещена розничная продажа газеты «Курьер». Запрет оставался в силе до 20 марта, а с 4 июня 1904 г. издание «Курьера» прекратилось совсем. Критика отнеслась к рассказу сочувственно. Так, рецензент тифлисской газеты «Новое обозрение» (17 января 1904 г.) отметил у Андреева «живой интерес к живой действительности нашей общественной жизни».

ХРИСТИАНЕ (с. 128).— Впервые в «Журнале для всех», 1906, № 1.

Московская «Народная газета» 30 января 1906 г., дав у себя сокращенную перепечатку рассказа Андреева, сообщила: «Случай, в нем описанный, имел место в Московском окружном суде в прошлом году и тогда же возбудил общее внимание». 18 мая 1905 г. Андреев выехал из Москвы в Финляндию и до 11 сентября прожил на даче в Ваммельсу. Писатель С. Я. Елпатьевский, живший в то лето на даче в Озерках под Петербургом, вспоминал об одном из приездов к нему Андреева. Во время беседы о том, что жизнь часто создает свои повести и рассказы интереснее писательских, С. Я. Елпатьевский, в подтверждение своих слов, показал Андрееву газетную вырезку. В ней говорилось, «что во время какого-то судебного дела одна из свидетельниц отказалась принять присягу, заявив, что она проститутка, не чистая, и потому недостойна целовать крест и Евангелие. После обеда мы играли в крокет. В перерыве Леонид Николаевич отозвал меня в сторону и убедительно, с его особливой настойчивостью, стал просить меня уступить ему эту тему <...> Так появились его «Христиане» («Былое», 1924, № 27—28, с. 281). В ОР ИРЛИ хранится письмо Андреева С. Я. Елпатьевскому от 17 июня 1905 г., в котором Андреев спрашивает его адрес в Озерках. По-видимому, к середине июня 1905 г. и относится эпизод, о котором вспоминает С. Я Елпатьевский. «Христиане» были закончены Андреевым к концу августа 1905 г. 20—21 сентября 1905 г. М. Горький писал К. П. Пятницкому о «Христианах»: «Суть рассказа: проститутка отказывается принять на суде присягу, потому что она — «проститутка, значит не христианка». Судьи, защитник, адвокат Волжский из «Вопр<осов> жизни» и всякие другие «христиане» убеждают ее в противном, а она — стоит на своем. Вот и все. Написано в форме репортерского отчета, не по-андреевски. Помоему — это увеличивает впечатление» (Архив А. М. Горького, т. IV.— М.: Гослитиздат, 1954, с. 187). «Христиане» очень понравились Л. Н. Толстому. Он выставил автору за рассказ отметку «5+» (см. Библиотека Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Библиографическое описание. Ч. 1.— М.: Книга, 1972, с. 41), а 12 октября 1909 г., беседуя о творчестве Андреева, Л. Н. Толстой сказал: «Очень хороший рассказ «Христиане». Это — такая сатира на христианство, на квазихристианство» (ЛН, т. 90, кн. 4, с. 74). Сатирический подтекст рассказа усилен тем, что Андреев вводит в «Христиан» легко узнававшиеся современным читателем пародийные цитаты — контаминации. Нелепая фраза защитника на суде «Прерывистый, задыхающийся шепот — вот эмбрион всех сфинксов» составлена из цитат, взятых Андреевым из книги реакционного философа и нововременского публициста В. В. Розанова «В мире неясного и нерешенного» (Изд. 2, 1904) и у критика Волжского (А. С. Глинки), посвятившего Розанову апологетическую статью «Мистический пантеизм В. В. Розанова» (вошла в сб. статей Волжского «Из мира литературных исканий», СПб, 1906): (Сообщено литературоведом С. П. Ильевым, Одесса).

ИВАН ИВАНОВИЧ (с. 146).— Впервые в журнале «Наш журнал», 1908, февраль, № 1.

Цензура признала помещенные в этом номере «Нашего журнала» материалы содержащими «признаки возбуждения к изменническим и бунтовщическим деяниям» (непосредственно к рассказу Андреева это не относилось). Редактор был посажен на два месяца в тюрьму, а конфискованные номера «Нашего журнала» уничтожены. В связи с выходом его Полного собрания сочинений (изд. А. Ф. Маркса) Андреев 15 июня 1913 г. направил прошение в Главное управление по делам печати выдать для переписки «Ивана Ивановича» (копии его Андреев не имел) экземпляр «Нашего журнала», поступивший в архив Главного управления по делам печати. (ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 9, ед. хр. 1342). Разрешение было дано, и 7 июля 1913 г. в газете «Утро России» появились, перепечатанные и другими газетами, содержание «Ивана Ивановича» и выдержки из рассказа.

Отчеркнутые цензором в журнальной публикации места при переиздании рассказа восстановлены не были: «...кого он у дверей поставил? *Архангела, полицейского»,* «Толстый *пьяный* офицер неподвижно сидел в седле, *по земле от хмеля ходить не мог: ноги были мягки,* и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника».

ПРАВИЛА ДОБРА (с. 157).— Впервые в газете «Русское слово», 1912, 2, 3 и 4 января. Авторская дата: 15 августа 1911 г.

ОН. РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНОГО (с. 184).— Впервые в журнале «Современный мир», 1913, №№ 1 и 3.

Написанный, по-видимому, во второй половине 1912 года, рассказ не лишен автобиографических черт. Описание дома Нордена напоминает дом Андреева в стиле «северного модерна», построенный архитектором А. А. Олем в 1908 г. Здесь Андреев с семьей прожил до сентября 1916 г., когда в связи с работой в новой газете «Русская воля» он был вынужден снять квартиру в Петрограде. Существовала и упоминаемая в рассказе гостиница «Франция», в которой Андреев обыкновенно останавливался во время своих наездов по литературным и театральным делам из Ваммельсу в Петербург. Веселье в доме Нордена сродни тем домашним «маскарадам», которые устраивал сам Андреев. «Отец,— вспоминал старший сын писателя Вадим Леонидович Андреев,— часто, особенно если бывало мало чужих, становился причиной шума и веселья <...> Иногда, это случалось гораздо реже, в шутках отца появлялся элемент надрыва. Тогда все слова, произносимые отцом, все его действия внезапно приобретали двойной смысл: внешне он оставался неудержимо веселым, бесшабашным и смешным, но странной, неприятной судорогой кривились его губы, мертво и холодно блестели глаза. Все веселье становилось сразу неестественным, вымученным и уж никак не смешным». (Андреев Вадим. Детство. Повесть.— М.: Советский писатель, 1963, с. 40—41).

ЗЕМЛЯ (с. 225).— Впервые в газете «Правда», 1913, 1 января.

С другими произведениями Андреева в т. 7 его Полного собрания сочинений (изд. т-ва А. Ф. Маркс, СПб, 1913) составило

цикл «Сказочки ие совсем для детей». Заглавие цикла явио перекликалось с «Новыми сказками для детей изрядного возраста» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В сказке «Земля» Андреев высмеивает стерильное «царство божие» на небесах, погруженное в созерцание собственного совершенства, и противопоставляет ему «грешную» землю, где правда и справедливость не даруются сверху, а должны быть осуществлены руками людей. Посланный богом на землю ангел, боясь запятнать свои белоснежные одежды, летает «на небольшой высоте, оттуда посылая улыбки, укор и благословения». Этот образ из «Земли» понравился В. И. Ленину, и он сослался на него, не называя источника, в статье «Разговор» (1913). Возражая оппоненту, который опасался, что полемика большевиков с меньшевиками-ликвидаторами может оттолкнуть массы от социализма, В. И. Ленин писал: «А насчет оппортунизма, т. е. забвения коренных целей социализма, вы валите с больной головы на здоровую. У вас выходит, что эти коренные цели — что-то вроде «ангельского идеала», не связанного с «грешной» борьбой за дело дня, за злобу данной минуты. Смотреть так значит превращать социализм в сладенькую фразу, в сахарное миндальничанье». (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 53).

ОСЛЫ. Новелла (с. 229).— Впервые, под заглавием «Состязание с Орфеем»,— в газете «Биржевые ведомости», 1915, утр. вып. 25 декабря.

ЖЕРТВА (с. 241).— Впервые, с подзаголовком «Повесть»,— в газете «Русская воля», 1916, 25 декабря.

Для повести «Жертва» Андреев использовал переосмысленный сюжет его раннего, не печатавшегося при жизни писателя рассказа «Мать», относящегося еще к 1899 г. (Первая публикация: «Неделя», 1961, 5—11 ноября, № 45, с. 8—9). В хранящейся в ЦГАЛИ тетради с черновыми набросками произведений Андреева, в разделе «Задуманные и неоконченные рассказы», записано: «Мать (Самопожертвование и пошлость)». Позже, в 1908 г., рядом с заглавием рассказа Андреев сделал пометку: «Отдано Серафимовичу». С А. С. Серафимовичем Андреев познакомился летом 1902 г. и на долгие годы сохранил с ним самые близкие, дружеские отношения. В 1902 г. Андреев привлек Серафимовича к сотрудничеству в газете «Курьер», в 1904 г. подсказал ему тему рассказа «Заяц», а в 1907 г. предлагал совместно писать пьесу о студентах (неосуществленный замысел). С разрешения Андреева сюжет его неизданиого рассказа «Мать» Серафимович использовал в своем рассказе «Дочь» («Земля», сб. 1, М., 1908). В рассказе «Мать» суд, установивший факт самоубийства, отказал дочери в иске к страховому обществу. Примечательно, что концовка рассказа Серафимовича близка концовке «Жертвы»: дочь получает деньги и выходит замуж. (см.: Ясенский С. Ю. Об эволюции одного замысла Леонида Андреева.— «Русская литература», 1984, № 1, с. 224—230.)

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ (с. 265).— Впервые в журнале «Современный мир», 1908, № 11. С подзаголовком «Шуточиое представление в одном действии». Для закреплеиия авторских прав за границей отдельным нзданием пьеса выпущена (без указания года) издательством И. П. Ладыжникова в Берлине.

Намереваясь поставить ее в Александрннском театре, Андреев 27 октября 1908 г. представил два обязательных экземпляра «Любви к ближнему» в дирекцию императорских театров. Пьеса была рассмотрена 14 января 1909 г. на заседанни Театрально-литературного комитета (Ф. Д. Батюшков, П. О. Морозов, Н. А. Котляревский) и признаиа «удобной для постановки». Однако постановка так и ие состоялась по причине обострившихся отношений между Андреевым и дирекцией императорских театров, которая добилась исключения из репертуарного плана Малого театра ранее принятой драмы Андреева «Анфиса». Известна постановка «Любви к ближнему» 30 января 1909 г. в Городском театре в Одессе («Одесские иовости», 1909, 31 января), 12 ноября 1911 г. состоялась премьера «Любви к ближнему» в петербургском театре юмора и пародии «Кривое зеркало» (руководитель театра А. Р. Кугель). В отзывах на спектакль отмечалось его «сатирическое значение» («Обозрение театров», 1911, 15 ноября). «Любовь к ближнему» переведена на украииский и иностранные языки.

С. 265. *...альпенштоки...*— Длинные палки с заостренными железнымн наконечниками. Используются при восхождении иа высокие горы.

С. 270. *Бедекер* — путеводитель; по имени немецкого издателя путеводителей по разным странам Карла Бедеккера (1801—1859).

С. 279. *Армия Спасения* — реакциоиная филантропическая организация, основанная в 1865 г. в Англии методистским священиком В. Бутсом.

ПРЕКРАСНЫЕ САБИНЯНКИ (с. 287).— Впервые, с подзаголовком «Историческое происшествие в 3-х частях», в газете «Утро России», 1912, 4, 6 и 8 марта. Отдельные издания: журнала «Театр и нскусство» (СПб, 1912) и «Шиповника», с иллюстрациями художника Ре-Ми (СПб, 1913); без указания года пьеса выпущена также издательством И. П. Ладыжиикова в Берлине.

В письме брату А. Н. Андрееву от 18 иоября 1911 г. Аидреев иазывает пьесу «Прекрасные сабинянки» в числе произведеиий, написанных нм с 15 августа по 19 октября 1911 г. (см. «Русский современник», 1924, ки. 4, с. 132). В пьесе использовано предаиие о похнщении первыми римлянами (VIII век до и. э.) девушек италийского племеии сабин (см. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Ромул. Гл. 14—21). До Андреева этот же сюжет взял Н. Н. Евреинов для своей оперы-буфф «Похищение сабиняиок», которая шла иа сцене «Кривого зеркала» в 1908 г. В вольном пересказе Андреева древнее предание превратилось в злободневную сатиру на трусливую «оппозицию» буржуазной партии кадетов в Государственной думе. Замысел «Прекрасных сабиняиок» Аидреев раскрыл в беседе с А. Р. Кугелем: «Да вы поймите, ведь сабинияне — это кадеты, ка-де-ты. Оии говорят о коиституции и

праве, а их по зубам, а их по морде!» (Кугель А. Листья с дерева.— Л., 1926, с. 90).

Первое представление «Прекрасных сабинянок» состоялось в «Кривом зеркале» 12 декабря 1911 г. В рецензии на спектакль А. Р. Кугель подчеркивал: «Пьеса Л. Андреева, конечно, политическая сатира, острая, язвительная и меткая» («Театр и искусство», 1911, № 51; с. 1007). Премьера имела очень большой успех у зрителей. «Помню, какие восторги вызывал марш сабинян, в которых зрители угадывали знакомые лица политических деятелей. По словам предводителя сабинян, марш этот совмещал стремительность с зрелостью ума и жизненным опытом. Он заключался в том, что под звуки «Марсельезы» сабиняне устремлялись вперед, а затем, при звуках мелодии, напоминавшей гимн «Боже, царя храни», они торжественно отступали назад. Нетрудно было усмотреть сатиру на бессилие говорунов-законников и их словоизвержения с трибуны Государственной думы и на попрание «законности» представителями самодержавия». (Крыжицкий Г. К. Дороги театральные.— М.: ВТО, 1976, с. 226—227). Успех сопровождал пьесу Андреева и во время гастролей театра «Кривое зеркало» в 1912 г. в Москве. В 1914 г. в Чикаго опубликован перевод «Прекрасных сабинянок» на английский язык. Переводчик Томас Зельцер.

С. 293. *...как Тарпейская скала.*— Южная вершина Капитолийского холма в Риме, с которого в древности сбрасывали в пропасть преступников и изменников.

С. 314. *И в рубище почтенна добродетель!* — В тексте пьесы разбросано много скрытых цитат-намеков, вызывающих у зрителей комические ассоциации. В данном случае цитируются слова механика Кулигина из драмы А. Н. Островского «Гроза» (действие 4, явление 2).

КОНЬ В СЕНАТЕ (с. 317). Впервые, с подзаголовком «Анекдот из римской истории» (отрывок), опубликовано в «Русской воле», 1917, 16 и 17 апреля. Полностью, с подзаголовком «Водевиль в одном действии из римской истории», напечатано в журнале «Русский современник», 1924, кн. 1 и в газете «Известия ВЦИК», 1924, 12 апреля.

Пьеса закончена Андреевым в конце лета 1915 г. «Леонид Николаевич,— сообщала А. Р. Кугелю жена писателя А. И. Андреева 3 сентября 1915 г.,— разрешился водевилем «Лошадь в сенате», это из римской истории. Как настроен Ваш театр?»

В письме С. С. Голоушеву Андреев назвал свою пьесу «Конь в сенате» — «одноактной нецензурностью» («Реквием». Сб. памяти Леонида Андреева.— М.: «Федерация», 1930, с. 117). Для своего водевиля он использовал ставший хрестоматийным эпизод из истории правления римского императора Гая Цезаря Калигулы (12—41 гг.). До Андреева этот же эпизод нашел отражение в басне А. П. Сумарокова «Калигулина лошадь» и в стихотворении А. М. Жемчужникова «Конь Калигулы» (1892). Андреевская пьеса тематически особенно близка стихотворению Жемчужникова и имеет общий с ним эпиграф из оды Г. Р. Державина «Вельможа» (1794).

С. 318. *Капитолий* — один из римских холмов; в древности — крепость и святилище.

С. 319. *Муций Сцевола, Гай* — римский юноша, согласно преданию пробравшийся в лагерь осаждавших в 508 г. Рим этрусков, чтобы убить их царя Персена, но по ошибке убивший одного из царских приближенных. Схваченный этрусками, Муций, чтобы выразить презрение к тем мукам, которыми ему угрожали этруски, положил на пылающий жертвенник свою правую руку. Персен был изумлен стойкостью и мужеством юноши, отпустил его и снял осаду Рима.

С. 321. *Галлия* — древнее название Франции.

С. 325. *Ликторы* — в Древнем Риме — почетная стража видных должностных лиц.

С. 329. *Брут,* Марк Юний (85—42 гг. до н. э.) — видный политический деятель, руководитель заговора против римского императора Гая Юлия Цезаря.

С. 332. *Нума Помпилий* — легендарный правитель Древнего Рима (конец VIII — начало VII в. до н. э.).

Тиверий (Тиберий), Клавдий Нерон (42 г. до н. э.— 37 г. н. э.) — римский император. По свидетельству историка К. Тацита («Анналы», кн. VI, гл. 50), был задушен на семьдесят втором году жизни по решению префекта Невиля Сертория Макрона, чтобы расчистить путь к власти Калигуле.

С. 333. *Кастор и Поллукс* (у древних греков Полидевк) — мифологические братья-близнецы, диоскуры, сыновья Юпитера (у древних греков Зевса) и Леды, жены спартанского царя Тиндарея. Кастор славился искусством править колесницей и укрощать коней, а Поллукс — мастерством кулачного боя.

С. 335. *Преторианцы* — в Древнем Риме — солдаты императорской гвардии.

КАЮЩИЙСЯ (с. 337).— Впервые, под заглавием «Происшествие. Сценка», в «Свободном журнале», 1913, кн. 1, декабрь. Вторично, под заглавием «Кающийся», в журнале «Аргус», 1915, № 9. Отдельное издание журнала «Театр и искусство», Птг., 1915.

Эта одноактная пьеса была откликом Андреева на развернувшуюся в печати полемику после опубликования в газете «Русское слово» в 1913 г. статей М. Горького «О карамазовщине» (22 сентября) и «Еще о карамазовщине» (27 октября). М. Горький резко выступил против инсценировок Московским Художественным театром романов Ф. М. Достоевского «Бесы» и «Братья Карамазовы». 26 сентября 1913 г. газета «Утро России» оповестила читателей: «По мнению Андреева, такие корифеи русской литературы, как Достоевский или Толстой, не могут быть рассматриваемы в узких пределах современного общественного движения. Их значение глубже и шире...» Информация была подана газетой под громким заголовком «Леонид Андреев contra М. Горький». Общественный темперамент Андреева не позволил ему остаться в стороне от разгоревшегося спора вокруг творческого наследия Ф. М. Достоевского, однако вступать с М. Горьким в открытую полемику Андреев не стал. Он избрал другой путь. Его «Кающийся» («Происшествие») не был личным выпадом против М. Горького; Андреев в то время только что закончил большую драму «Не убий» («Каинова печать»), в которой, и не без воздействия Ф. М. Достоевского, ставил и решал волновавшую его «проблему» сове-

сти. Премьера «Не убий» в Москве состоялась в театре К. Н. Незлобина 20 декабря 1913 г. И вот «Кающийся» («Происшествие») и был написан как автопародия на проблематику психологической драмы «Не убий».

Представления «Кающегося» на сцене натолкнулись на цензурные препятствия. В Государственной театральной библиотеке им. А. В. Луначарского (Ленинград) хранится машинописный экземпляр «Происшествия» с пометкой цензора: «К представлению признано неудобным. С.-Петербург, 29 ноября 1913 г.» Когда «Кающийся» был представлен в цензуру вторично, но уже под новым заглавием «Горе купца Краснобрюхова», цензура не дала себя обмануть. На экземпляре «Горя купца Краснобрюхова» (хранится там же) красными цензорскими чернилами сделана надпись: «Запрещена на основании доклада о пьесе «Происшествие 29 нояб. 1913 года. Петроград. 19 декабря». Чтобы его сатирическая миниатюра, наконец, увидела свет рампы, Андреев согласился на некоторые поправки текста. Так он заменил шокировавшее цензора «Лицо» на «Городничего», перенеся, таким образом, действие «Кающегося» в далекое прошлое (должность городничего была упразднена еще в 1862 г.). Это повлекло за собой переделку и начала пьесы: «Городничий» говорит теперь о «раненом» не по телефону, а расспрашивает о нем Гавриленко. Надо отметить, что, включая «Кающегося» в т. XVII Собрания сочинений (М., 1917), Андреев восстановил первоначальный текст пьесы.

Премьера «Кающегося» была в Петрограде в Троицком театре 6 апреля 1915 г. Постановка А. М. Фокина (он же играл «Городничего»). На следующий день газета «Биржевые ведомости» (веч. выпуск) и 8 апреля 1915 г. газета «Обозрение театров» откликнулись на премьеру. Оба рецензента дали самую положительную оценку и пьесе Андреева и ее постановке в Троицком театре, но восприятие рецензентами содержания «Кающегося» оказалось противоположным. Благодушный рецензент «Биржевых ведомостей» увидел в «Кающемся» насмешку Андреева над бытом провинциального захолустья и особо подчеркнул, что «Пьеса прошла при сплошном хохоте публики». Рецензент «Обозрения театров» (а им был известный в те годы журналист Н. Шебуев) возвратился с премьеры в ином расположении духа. «Это не миниатюра,— писал он о «Кающемся».— Пошляки, только пошляки могут смеяться, слушая эту одноактную трагедию <...> Несмотря на одноактный размер, это одна из значительнейших и удачнейших пьес Леонида Андреева...» В ней, по словам рецензента, заключена «какая-то особая Андреевская правда».

МОНУМЕНТ (с. 347).— Впервые в «Ежемесячном журнале», 1917, № 1.

Цензурный экземпляр пьесы, датированный 6 февраля 1916 г., ныне хранится в Государственной театральной библиотеке им. А. В. Луначарского в Ленинграде. В тексте «Монумента» слова «господин Пушкин» везде заменены цензором на «монумент Пушкина». Им же вычеркнута заключительная часть реплики Гавриила Гавриловича: «Голову опустил, ни на кого глядеть не желает, скажи пожалуйста! Спроси раньше, желаю ли я на тебя глядеть, а потом и задумывайся!»

«Моумент» был включен в новую программу театра «Кривое зеркало» и впервые показан 13 февраля 1916 г. В тот же день Андреев написал А. Р. Кугелю: «Я слишком много возложил на актера и на игру, т. е. на известную случайность. Эта фраза: «Надо обсадить зад деревьями», сказанная басом после истуканского молчания, должна была (по моему предположению) дать разрешение в пошлости и глупости.— Быть может, для этого надо бы и всю фигуру — истуканскую — этой музы как-то выделить, дать ей вещание <...> Очень недурно было бы появление и тени Пушкина. Я об этом думал, но как-то не захотелось выходить из плана реальности и быта. Во всяком разе конец можно и надо дать другой» («Рабочий и театр», 1934, № 27, с. 18). Но свое обещание «дать хороший острый кончик» для «Монумента» Андреев выполнить так и не успел. Андреев хотел написать второе действие «Монумента», в котором, как можно предположить, к городскому голове Маслобойникову ночью, во сне, являются «Пушкины» Фракова и Пиджакова, воплощающие собою убогие, мещанские представления о поэте. На этих «Пушкиных» весело смеялся Пушкин настоящий. См. черновой вариант второго действия «Сон городского головы» («Театральная жизнь», 1968, № 20, с. 26—28; публикация Л. Н. Афонина).

В феврале 1977 г. Московский театр миниатюр познакомил с премьерой. В одном спектакле были показаны «Монумент» и «Конь в сенате» Андреева. Режиссер-постановщик — Рудольф Рудин.

С. 359. *Монумент по образцу столичного московского.*— Имеется в виду памятник А. С. Пушкину работы А. М. Опекушина, сооруженный в 1880 г. в Москве на Тверском бульваре у Страстной площади (ныне площадь Пушкина).

С. 366. *Широколистые дубравы и прочее.*— Вольная цитата из стихотворения «Поэт» (у А. С. Пушкина — «широкошумные дубровы...»).

ФЕЛЬЕТОНЫ

МОСКВА. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (с. 369).— Впервые в газете «Курьер». 1900, 17 сентября.

С. 369. *Ростан* Эдмон (1868—1918) — французский поэт и драматург. Поводом для написания фельетона Андрееву послужила премьера героической комедии Э. Ростана «Сирано де Бержерак» в Москве в театре Ф. А. Корша.

В своей оценке пьесы Андреев близко подходит к М. Горькому, который посвятил особую статью представлению «Сирано де Бержерака» в Нижнем Новгороде (см.: «Нижегородский листок», 1900, 5 января).

С. 370. *Омон* Шарль (1860—?) — французский делец, организовавший весной 1900 г. в Москве на масленице увеселительные представления в помещении манежа. По замечанию Андреева, от этих представлений «веяло беспросветной пошлостью и грязью» («Курьер», 1900, 14 апреля).

КОГДА МЫ, ЖИВЫЕ, ЕДИМ ПОРОСЕНКА (с. 372).— Впервые в «Курьере», 1900, 24 декабря (Москва. Мелочи жизни).

Заглавие фельетона — пародийная ассоциация с заглавием пьесы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся», поставленной Московским Художественным театром (премьера 28 ноября 1900 г.). В этом фельетоне Андреев иронически комментирует латинское выражение «Мир хочет, чтобы его обманули, пусть так и будет» (Mundus vult decipi, ergo decipiatur). Выражение приписывается папе римскому Павлу IV.

С. 372. *...проглотить карася-идеалиста...*— Намек на сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист».

О РОССИЙСКОМ ИНТЕЛЛИГЕНТЕ (с. 377).— Впервые, под заглавием «Москва. Мелочи жизни», в «Курьере», 1901, 28 января.

С. 379. *...который случайно наткнулся у Толстого на проклятый вопрос: к чему, т. е. к чему мы живем...*— Гимназистом Андреев прочитал книгу Л. Н. Толстого «В чем моя вера». Положительной части этого религиозно-философского трактата (веру в бога) не принял, а отрицательной, по его словам, «был крайне уязвлен». В мае 1889 г., размышляя о смысле своей жизни, Андреев, чтобы испытать «судьбу», лег между рельсов под проходящий поезд. «Мне,— вспоминал он,— зашибло грудь и голову, расцарапало лицо, сорвало с меня куртку, разодрало в клочья, но я все же остался невредим...» (Б р у с я н и н В. В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество.— М., 1912, с. 54). Этот эпизод из биографии писателя позже отражен им в рассказе «Весной» (1902) и пьесе «Младость» (1915).

С. 380. *...благозвучными стенаниями Надсона...*— Творчество С. Я. Надсона (1862—1887) — отразило разочарование и сомнения демократической интеллигенции 80-х гг. XIX века — время кризиса народничества и политической реакции. Довольно скоро Андреев преодолел пессимизм поэзии Надсона, но сохранил глубокое уважение к памяти рано умершего поэта. В статье «Надсон и наше время», написанной весной 1917 г. по случаю тридцатилетия со дня смерти Надсона, Андреев писал: «Велико было влияние Надсона на молодежь... За Надсоном, как ныне за Блоком (не говорю об огромной разнице их дарований), следовали... те чистые и светлые души, для которых небо всегда было ближе, чем земля... Только от огня рождается огонь. Только поэт мог зажечь вокруг себя столько огней и огоньков, воспламенить столько жертвенников и робких кадильниц» («Русская воля», 1917, 19 января).

...бодрый литератор, как NN...— В газетной публикации фельетона стояло: Old gentleman (псевдоним А. В. Амфитеатрова, 1862—1938, плодовитого писателя, журналиста, основавшего в 1889 г. с В. М. Дорошевичем в Петербурге газету «Россия» умеренно-либерального направления).

УТЕНОК (с. 384).— Впервые, под заглавием «Москва. Мелочи жизни», в «Курьере», 1901, 4 марта.

Фельетон был написан Андреевым во время пребывания в университетской клинике профессора М. П. Черинова, где Андреев с 25 января по 22 марта 1901 г. лечился от неврастении. Начало фельетона им было выслано редактору «Курьера» И. Д. Новику

до 24 февраля. Фельетон был задержан на несколько дней цензором «Курьера» А. И. Генцом, которому «аллегория» Андреева показалась подозрительной и он хотел сделать о ней доклад на заседании цензурного комитета. Фельетон все же был напечатан. Его текст, возможно, подвергся цензорской правке. Веселое иносказание Андреева было откликом на продолжавший обострятьcя в редакции «Курьера» конфликт между возглавлявшейся публицистом В. А. Гольцевым (ближайшим сотрудником «Русских ведомостей») группой либералов («стариков») и противостоявшей ей группе демократов («молодежь»). Конфликт закончился поражением либералов, уходом из «Курьера» В. А. Гольцева и отказом 13 июля 1902 г. Я. А. Фейгина от дальнейшего издания газеты. В одном из писем Андрееву в клинику И. Д. Новика (от 4 марта 1901 г.) дается ироническая характеристика выступления В. А. Гольцева на редакционном заседании. «О, Ваш бессмертный Петр Петрович Петух! Как я его вспоминаю!!»,— восклицает И. Д. Новик. Персонаж из фельетона-аллегории Андреева воспринимался «молодыми» из редакции «Курьера» как собирательный сатирический образ буржуазного либерала.

ВСЕРОССИЙСКОЕ ВРАНЬЕ (с. 391).— Впервые, под заглавием «Москва. Мелочи жизни», в «Курьере», 1901, 7 октября.

Тему для фельетона Андрееву подсказали речи на банкете в честь издателя И. Д. Сытина, отмечавшего 1 октября 1901 г. 35-летие своей деятельности. На этом банкете В. А. Гольцев провозгласил тост за популярного фельетониста газеты И. Д. Сытина «Русское слово» Власа Дорошевича, в котором назвал последнего «Гоголем наших дней». В ответ Дорошевич предложил тост «за действительного министра народного просвещения И. Д. Сытина».

Обличающий либеральное краснобайство фельетон Андреева привел в восторг М. Горького, написавшего между 17 и 21 октября 1901 г. К. П. Пятницкому: «Хорошо изобразил Джемс Линч — Л. Андреев юбилей Сытина и беседу Гольцева-Катона Катоныча — с Дорошевичем-Цицерошкой... Как хорошо, что в жизни есть нечто лучшее, чем литература!» (Архив А. М. Горького.— М.: Гослитиздат, 1954, т. 4, с. 45).

С. 391. *Яго лжет искусно и толково...*— Здесь и далее иронические ассоциации Андреева с сюжетом трагедии В. Шекспира «Отелло».

С. 392. *Знаменитый Тартарен...*— Сатирический тип буржуа, созданный французским писателем Альфонсом Доде (1840—1897). Имя Тартарена сделалось нарицательным для обозначения пустого фразерства.

С. 394. *...барона Мюнхаузена...*— Излюбленный персонаж немецкой юмористической литературы XVIII века — беззастенчивый враль и фантазер.

«ТРИ СЕСТРЫ» (с. 397).— Впервые, под заглавием «Москва. Мелочи жизни», в «Курьере», 1901, 21 октября. Вошло в сборник: Джемс Линч и Сергей Глаголь. Под впечатлением Художественного театра. М., 1902.

С. 397. *В свое время я не видал «Трех сестер»..:* — Премьера пьесы А. П. Чехова «Три сестры» в Московском Художественном театре состоялась 31 января 1901 г. Постановка К. С. Станислав-

ского и В. В. Лужского. Роли сестер исполияли: М. Г. Савицкая (Ольга), О. Л. Книппер (Маша) и М. Ф. Андреева (Ириа). Спектакль прошел с огромным успехом.

С. 398. *«Новости дня»* (Москва, 1883—1906) — «политическая, общественная и литературиая газета». Андреев-фельетонист часто с ией полемизировал.

С. 401. *...критики, признавшие «Трех сестер» глубоко пессимистическою вещью...* — Возможно, имеется в виду рецнзия П. Перцова в журнале «Мир искусства», 1901, № 2—3, в которой утверждалось: «С поднятия занавеса вы вступаете в мир бессилия, иедоумения, безнадежности».

ЛЮДИ ТЕНЕВОЙ СТОРОНЫ (с. 404).— Впервые, под заглавием «Москва. Мелочи жизни», в «Курьере», 1901, 30 декабря.

Вспоминая о своих беседах с Аидреевым, М. Горький рассказывал: «Он говорил: — Неиавижу субъектов, которые не ходят по солнечной стороне улицы из боязни, что у иих загорит лицо или выцветет пиджак... Однажды он написал довольио едкий фельетон о людях теневой стороны...» (Горький М. Поли. собр. соч., Художеств. произведения в двадцати пяти томах.— М., 1973, т. 16, с. 324.)

С. 406. *...одесную...*— встать по правую сторону, *ошую* — по левую.

«МЕЩАНЕ» (с. 407).— Впервые с большими цеизуриыми изъятиями в «Курьере», 1902, 31 марта. Полностью, по сохранившимся цензурным гранкам, напечатано в «Литературном наследстве» (М., 1965, т. 72). В настоящем издании публикуется по тексту «Литературного наследства». Квадратными скобками отмечены места, вычеркнутые цензором.

Находившийся под надзором полиции Андреев задержал свой отъезд к М. Горькому в Крым, чтобы побывать иа генеральной репетиции пьесы М. Горького «Мещаие» в Московском Художественном театре 19 февраля 1902 г. На другой день Андресв писал в Петербург К. П. Пятницкому: «Пьеса прекрасная, исполняется превосходно со всем мастерством Художественного театра. Успех будет несомнениый» (ЛН, т. 72, с. 493). Премьера «Мещан» состоялась 26 марта 1902 г. во время гастролей театра в Петербурге.

С. 410. *«Люблю тебя, сосед Пахом...»* — Из эпиграммы А. С. Пушкина «Добрый человек» (1819).

С. 411. *...«Одиноких»...*— Драма Г. Гауптмана «Одииокие». Премьера ее в Московском Художественном театре была 16 декабря 1899 г. В. Э. Мейерхольд играл в спектакле роль молодого учеиого Иоганиа Фокерата. В труппе Московского Художественного театра В. Э. Мейерхольд оставался до 1902 г.

...в «Докторе Штокмане»...— Драма Г. Ибсена «Доктор Штокман» впервые была показана в Московском Художественном театре 24 октября 1900 г. К. С. Станиславский исполнял заглавную роль — врача Штокмана. Андреев был на премьере. Созданный К. С. Станиславским с такой «чудной правдивостью» образ произвел на Андреева огромное впечатлсиие (см.: «Москва. Мелочи жизни».— «Курьер», 1900, 29 октября; позже перепечатывался под заглавием «Диссонанс»).

ВОЛГА И КАМА (с. 412).— Впервые, под заглавием «Москва. Мелочи жизни», в «Курьере», 1902, 21 и 28 июля. Под заглавием «Волга и Кама» отрывок—в журнале «Народное благо», 1903, № 1.

С. 412. *Уезжая на Волгу...*— Андреев выехал из Москвы к М. Горькому, который с 9 мая 1902 г. находился в ссылке, под гласным надзором полиции, в Арзамасе. Их встреча состоялась до 15 июля, в Москву Андреев возвратился не позднее 19 июля 1902 г. Примечание к фельетону (о М. Горьком) Андреевым сделано позже. В письме М. Горькому от 27—29 июля 1902 г. он писал: «Цензор «курьерский» самый звук «Максим Горький» считает непозволительным и выкинул его из моего фельетона. В некотором роде выселил тебя из Арзамаса, ибо весь Арзамас оставил, а тебя в нем нет» (ЛН, т. 72, с. 154).

С. 414. *Я плыл от неизвестного к неизвестному...*— В начале июня 1900 г. Андреев приезжал к М. Горькому в Ялту, но еще 28 мая 1900 г. М. Горький с А. П. Чеховым, художником В. М. Васнецовым и др. отправились путешествовать по Военно-Грузинской дороге. Неправильно информированный о маршруте М. Горького, Андреев из Ялты уехал на Волгу (к Царицыну), а затем вернулся в Москву.

С. 415. *Как будто лицо обстругали сперва арифметикой Малинина и этимологией Говорова, пообрубили историей Иловайского...*— Имеются в виду распространенные до революции учебные пособия для средней школы А. Ф. Малинина (1834—1888) по математике, К. Г. Говорова по русскому языку и Д. И. Иловайского (1832—1920) по истории.

...пригладили лекциями проф. Тарасова...— Речь идет о юристе, профессоре Московского университета по кафедре полицейского права И. Т. Тарасове (1849—1929).

О ПИСАТЕЛЕ (с. 424).— Впервые, под заглавием «Москва. Мелочи жизни», в «Курьере», 1902, 29 сентября.

Любопытно отметить, что фельетон Андреева, в котором он, по замечанию М. Горького, «хорошо полемизировал с интеллигентски-варварским аскетизмом» (ЛН, т. 72, с. 373), соприкасается с известным памфлетом М. Горького «О черте» (1899) и имеет сходный с ним зачин. В июле 1904 г. М. Горький в письме к Андрееву просил его написать «что-нибудь подобное... заметке по поводу смерти Золя» для посвященного памяти А. П. Чехова третьего сборника «Знание» (там же, с. 217).

С. 424. *Умер Золя.*— Французский романист Эмиль Золя скончался в Париже 29 сентября 1902 г.

С. 425. *Лютер* Мартин (1483—1546) — видный деятель церковной Реформации в Германии, основатель протестантизма.

Ляпинка.— Бесплатное общежитие для студентов, открытое в Москве на Большой Дмитровке (ныне Пушкинская улица) купцами-суконщиками братьями Ляпиными.

С. 426. *Немезида.*— У древних греков богиня возмездия.

С. 427. *...вороны, которые клевали нарисованный Апеллесом виноград.*— Апеллес — древнегреческий живописец второй половины IV в. до н. э.

С. 429. *...ведь Золя спас Дрейфуса.*— Э. Золя выступил 13 января 1898 г. в газете «Аврора» с открытым письмом «Я обвиняю»,

обращенным к президенту Франции. В этом письме он изобличил инициаторов судебного процесса над А. Дрейфусом.

Он, написавший «Углекопов»...— Речь идет о романе Э. Золя «Жерминаль» (1885).

...литература пошла теперь какая-то каплунья! — Выражение восходит к М. Е. Салтыкову-Щедрину (см. его очерк «Каплуны», «Признаки времени», «За рубежом»).

С. 430. *Тот же Глеб Успенский.*— Г. И. Успенскому (1843—1902) посвящен первый фельетон Андреева из цикла «Впечатления», публиковавшегося в газете «Курьер». «Недавно я перечитывал Глеба Успенского, смеялся и грустил и с радостью преклонялся пред благородством и чистотой души этого человека, в страданиях искавшего по всей широкой России давно затмившейся правды и давно оброненной совести»,— писал Андреев («Курьер», 1900, 27 января).

С. 431. *...Хитров рынок.*— В дореволюционной Москве местность между Яузским бульваром и улицей Солянкой — район обитания городской бедноты, представителей «дна».

Ф. И. ШАЛЯПИН (с. 431).— Впервые, под заглавием «Москва. Мелочи жизни», в «Курьере», 1902, 8 октября.

С Ф И. Шаляпиным (1873—1938) Андреев познакомился через М. Горького. С гордостью за русское искусство Андреев-фельетонист писал о феноменальном успехе Ф. И. Шаляпина в 1901 г. в Милане: «Откуда-то снизу, минуя все эстетические заставы и застенки, не оплатив своего таланта даже восьмидесятикопеечной гербовой маркой, прорезая короткий и прямой путь, как подымающийся вверх орел — появился неизвестный человек с фамилией Шаляпин, сразу стал известным и сразу поднялся так высоко, что шапка валится, на него глядючи» («Курьер», 1901, 20 марта). Андреев посвятил Ф. И. Шаляпину прочитанную ему еще в рукописи «Жизнь Василия Фивейского» (опубл. в сб. «Знание», кн. 1, СПб, 1904). В 1909 г., посылая Ф. И. Шаляпину свой рассказ «Сын человеческий», Андреев писал: «Я люблю твой талант (без тебя я говорю: гений), твое проникновенис в глубину душ человеческих, твое лицо и голос твой, на которых почиет отсвет божества. И так как это есть ты, Федор, то я люблю тебя, Федора, люблю крепко, нежно и неизменно...» (ЛН, т. 72, с. 111—112).

С. 432. *...образ царя Бориса.*— Здесь и далее Андреев перечисляет оперный репертуар Ф. И. Шаляпина: царь Борис («Борис Годунов» М П. Мусоргского), царь Иван («Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова), Олоферн («Юдифь» А. Н. Серова), Фарлаф («Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Еремка («Вражья сила» А. Н. Серова).

С. 433. *Как ни пой Шаляпин «Блоху», а создали ее все-таки Гёте и Мусоргский, а не он.*— М. П. Мусоргский. Песнь о блохе (песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха). Из поэмы «Фауст» В. Гете. Перевод А. Н. Струговщикова.

С. 435. *Мочалов П. С.* (1800—1848) — драматический актер, создавший свои лучшие роли в произведениях В. Шекспира и Ф. Шиллера.

В. Г. Чеховский — владелец фотоателье в Москве на Петровке.

Левиафан.— В библейской мифологии огромное морское чудовище.

ИСКРЕННИЙ СМЕХ (с. 438).— Впервые, с подзаголовком «Рассказ веселого человека», в журнале «Сатирикон», 1910, № 14, 3 апреля.

Фельетон направлен против буржуазной, так называемой «понедельничной», печати — еженедельных, развлекающих обывателя, изданий, выходивших в выходной для «серьезной» прессы день. Фельетон Андреева написан в форме монолога типичного представителя «понедельничной» юмористики — тупо-самодовольного поставщика «искреннего смеха», очищенного от «сатиры», «остроумия» и «морали».

Этот фельетон Андреев отобрал для посмертного издания своих избранных сочинений.

С. 440. *...живой поросенок...*— В журнальном тексте — В. М. Пуришкевич (1870—1920) — крупный помещик, один из лидеров «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела», член Государственной думы, где выступал с погромными речами.

С. 441. *...муха, которую нельзя согнать с носа...*— Ср. басню И. А. Крылова «Муха и дорожные».

СМЕРТЬ ГУЛЛИВЕРА (с. 441).— Впервые, в газете «Утро России», 1911, 13 февраля.

В ноябре 1910 г. Андреев выехал за границу, где пробыл до 24 декабря 1910 г., посетив Германию, Францию и Италию. В Германии он закончил работу над «Смертью Гулливера» — откликом на смерть Л. Н. Толстого и памфлетом на его «почитателей» Машинопись окончательной редакции «Смерти Гулливера» имеет авторскую дату 16 ноября 1910 г. Одно из самых ранних сообщений русской печати о завершении Андреевым «Смерти Гулливера» появилось в «Обозрении театров», 1910, 8 декабря. Хорошо осведомленная газета «Утро России» напечатала 16 декабря 1910 г. письмо из Мюнхена неустановленного лица (за подписью Н. Т.). В нем сообщалось: «На днях в Мюнхене состоялся вечер, посвященный памяти Толстого. После «вечной памяти» великому писателю <...> было прочитано новое, еще не напечатанное произведение Л. Андреева «Смерть Гулливера» по рукописи, переданной для прочтения самим автором. Эта вещь навеяна была ему характером чествований Толстого «интеллигентскими верхами» в России». Полный текст «Смерти Гулливера» в «Утре России» имеет подстрочное примечание: «Как бы дополнительная глава к «Путешествиям Гулливера». Желающих ближе ознакомиться с этой превосходной книгой, известной, главным образом, в переделках для детей, отсылаем к иллюстрированному изданию И. Кушнерева 1889 г.».

«Смерть Гулливера» переведена на немецкий язык.

ЗА ПОЛГОДА ДО СМЕРТИ (с. 453).— Впервые, в журнале «Солнце России», 1911, № 53. Написано 27 октября 1911 г.

В 1908 г. в беседе с корреспондентом «Петербургской газеты» А. Потемкиным Андреев заявил: «Учителем своим признаю Толстого. Толстой прошел надо мной и остался во мне. Выше Толстого я никого не знаю, каждое его произведение считаю образцом

искусства и мерилом художественности» («Петербургская газета», 1908, 28 августа). Отношение Андреева к Л. Н. Толстому было восторженным и благоговейным. Он послал ему на отзыв свою первую книгу «Рассказов» 15 декабря 1901 г., а в ноябре 1904 г. с братом Павлом Николаевичем отправил Л. Н. Толстому в Ясную Поляну антивоенный рассказ «Красный смех». В сопроводительном письме Андреев писал, что считает свой рассказ по теме близким учению Л. Н. Толстого и его выступлению против войны в статье «Одумайтесь!». В 1908 г. Андреев посвятил Л. Н. Толстому обличающий контрреволюционный террор «Рассказ о семи повешенных». В непроизнесенной речи Андреева о Л. Н. Толстом (1910) есть такие строки: «Мой Толстой — герой. Коленопреклоненно созерцал я эту исполинскую фигуру, этот дивный образ, столь возвышенный и прекрасный... Жизнь Толстого — изумительное сочетание величавого эпоса и трагедии... Все в его жизни огромно и все в его жизни человечно...» (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1961, вып. 104, с. 171. Публикация В. И. Беззубова). Личная встреча с Л. Н. Толстым была давней и заветной мечтой Андреева. В начале октября 1909 г. он писал С. А. Толстой: «...Я очень хотел бы приехать в Ясную Поляну, чтобы засвидетельствовать Льву Николаевичу мое чувство глубочайшего уважения и любви. Но, зная, как утомляют Вас посетители, боюсь оказаться обременительным и не вовремя. Буду бесконечно благодарен Вам, если Вы удостоите меня ответом и рассеете мой страх, который до сих пор мешал осуществиться величайшему моему желанию — поклониться Льву Николаевичу» (Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями.— М., 1978, т. 2, с. 407). В свою очередь, Л. Н. Толстой проявлял интерес к творчеству Андреева, хотя критически отзывался о многих его произведениях, решительно не принимал писательскую манеру Андреева. Вместе с тем Л. Н. Толстой был явно «задет» творчеством Андреева. Об этом свидетельствуют, в частности, многочисленные пометы Л. Н. Толстого на книгах Андреева в яснополянской библиотеке и полемически резкие высказывания Л. Н. Толстого об Андрееве в кругу близких и с гостями. По справедливому замечанию исследователя темы «Л. Н. Толстой и Л. Андреев» В. И. Беззубова «особенный» интерес Л. Н. Толстого к Андрееву объяснялся тем, что «Андреев все время вращался в кругу тех же вопросов, тех же сложных проблем жизни, которые мучили и Толстого, особенно в последний период творчества» (Беззубов В. Л. Андреев и традиции русского реализма.— Таллин, 1984, с. 16).

С. 453. *И Лев Николаевич Толстой, которого я видел один и единственный раз...*— Андреев был в Ясной Поляне 21—22 апреля 1910 г.

Всего шесть месяцев отделяло Льва Николаевича от смерти...— Л. Н. Толстой скончался на ст. Астапово Рязано-Уральской ж. д. 7(20) ноября 1910 г.

...привело его к страшному решению покинуть дом и семью...— Л. Н. Толстой покинул Ясную Поляну 28 октября 1910 г.

С. 454. *...беззлобию совсем детскому.*— Возвратившись из Ясной Поляны в Москву, Андреев своими первыми впечатлениями о Л. Н. Толстом поделился с сотрудником газеты «Утро России» Мистером Рэйем (псевд. С. С. Раецкого): «Он светится весь.

В каждой его улыбке, взгляде, в каждой морщине лица столько же, если не больше глубочайшей мудрости, как и в его словах. И, быть может, даже не так важно слышать его, как видеть» («Утро России», 1910, 29 апреля).

С. 455. *...он произносит стихотворение Фета о весне: о цветах и о радостях весенних.*— Возможно стихотворение «Весенние мысли» (1848). Об отношении Л. Н. Толстого к поэзии А. А. Фета см.: Толстой С. Л. Очерки былого.— Тула, 1965, с. 349—350.

С. 456. *...статью Жбанкова о самоубийствах.*— Д. Н. Жбанков (1856—1932) — врач, общественный деятель, близкий к народничеству публицист. Имеется в виду его статья «Современные самоубийства» в журнале «Современный мир», 1910, № 3.

С. 457. *...А вот и прощанье...*— В беседах с Андреевым (одна — доверительная — состоялась без свидетелей в кабинете) Л. Н. Толстой живо интересовался творческими планами Андреева, расспрашивал его, в частности, о замысле новой трагедии «Анатэма», предлагал сотрудничать в издательстве «Посредник» и, по настоянию Андреева, согласился писать для кинематографа. 22 апреля 1910 г. Л. Н. Толстой записал в дневнике: «...поговорил с Андреевым. Нет серьезного отношения к жизни, а между тем поверхностно касается этих вопросов.» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 58.— М.-Л., 1932, с. 41). Вместе с тем после личного знакомства Л. Н. Толстой заметно подобрел к Андрееву. «Он милый, приятный, думает все о серьезных, важных вещах, но как-то не с того конца подходит,— нет настоящего религиозного чувства. Может быть, еще рано. Но он милый, мне было с ним очень приятно» (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого.— М.-Пг., 1923, т. 2, с. 15). Л. Н. Толстой сфотографировался с Андреевым: «Ничего, он очень приятный человек... Такой красивый, здоровый человек. Булгаков нас снял с ним» (Л. Н. т. 90, кн. 4, с. 233).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВОСТОРГ. Кинематографический рассказ о бесталанном Васеньке (с. 457).— Впервые в газете «Правда», 1913, 14 апреля.

ШХЕРЫ (с. 463). Впервые опубликовано по хранящейся в ЦГАЛИ машинописной копии с авторской правкой в кн.: Андреевский сборник. Материалы и исследования. Курск, 1975, с. 199—204. Печатается по этому изданию.

В 1908 г. Андреев переселился из Петербурга в финскую деревушку Ваммельсу, где построил себе дом. «Летом,— вспоминает старший сын Андреева Вадим Леонидович,— отец начинал увлекаться морем. Впрочем, это было больше, чем увлечение,— он любил море по-настоящему, полной грудью, всем своим существом, и это была, вероятно, единственная любовь, лишенная надрыва, в которой не чувствовалось желания уйти от самого себя» (Андреев Вадим. Детство. с. 62). Когда Андрееву становится тесен мелководный Финский залив, он совершает плавания в шхеры. Иллюстрированные журналы помещают фотографии Андреева-«моряка». Осенью 1911 г. Андреев по собственным чертежам заказывает яхту, которой дает название «Далекий». В августе 1912 г. он пишет из очередного плавания брату Андрею Николаевичу: «Да, брат Друша, с шхерами не так легко покон-

чить. Есть в них нечто очаровывающее, томящее желаниями, зовущее к скитаниям. И у меня сейчас две жизни: одна — на «Далеком», и это моя жизнь; другая, совсем не моя и совсем чужая жизнь — на земле» (ИРЛИ). 8(21) августа 1913 г. Андреев писал Ив. Белоусову из Бьерке: «...шатался по шхерам на «Далеком», что и есть мое основное летнее и любимое. И так быстро кончилось! И мало было тихих и ясных дней, а больше — непогоды, штормы,— и мотало нас и трепало нас, и были совсем серьезные минуты, когда жутковато было оглянуться кругом, и время останавливалось» («Россия», 1923, № 7, с. 26). Наступает лето 1914 г. У Андреева большие планы. 29 июня 1914 г. он делится ими с Ив. Белоусовым: «И ты подумай, что я делаю, о Иван, я со слезами продаю «Далекого», ищу покупателя, а себе на днях заказываю новый вдвое больший мотор,— настоящее морское судно, плавающую дачу. И вот тогда уж, т. е. будущим летом, покатаю по-настоящему хоть в Новую Зеландию» (там. же, с. 27). Начало войны застало Андреева во время плавания. Оставив «Далекого» на верфи яхт-клуба в Або, он 27 августа возвратился домой на Черную речку — в Ваммельсу. Время морских скитаний для Андреева закончилось навсегда. 28 апреля 1918 г. он записывает в дневник: «Помню, как позапрошлой весной, когда море было закрыто войной, я переживал здесь странные дни: плавал по морским картам, и это призрачное плавание, этот длительный сон был истинной реальностью; окружающее виделось смутно и почти не воспринималось» («Реквием». Памяти Л. Андреева.— М., 1930, с. 40).

Очерк Андреева «Шхеры» остался неоконченным. По содержанию он датируется 1915—1916 гг.

С. 464. *...друиды.*— Жрецы у древних кельтов.

С. 469. *Тот гейневский дурак, который сидел у моря...*— Подразумевается философское стихотворение Генриха Гейне «Вопросы» (У моря, пустынного моря полночного /Юноша-муж одиноко стоит...). Перевод М. Михайлова.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ (с. 470).— Впервые, в газете «Русская воля», 1917, утр. вып. 19 февраля. Печатается по авторизованной машинописи (ЦГАЛИ).

Статья написана в связи с исполнившимся в 1916 г. 50-летием издательской деятельности И. Д. Сытина (1851—1934). К юбилею в том же году в издательстве И. Д. Сытина вышел роскошно оформленный литературно-художественный сборник «Полвека для книги. 1866—1916». В феврале 1917 г. в Москве состоялось чествование И. Д. Сытина, в котором приняли участие выдающиеся деятели русской культуры.

Отношения Андреева с И. Д. Сытиным были сложными. В 1900 г., испытывая острую нужду в деньгах, Андреев начал вести переговоры с И. Д. Сытиным об издании своей первой книги рассказов. И. Д. Сытин согласился выпустить книгу неизвестного ему автора, предложив Андрееву более чем скромный гонорар, но с изданием не торопился. Об этом стало известно М. Горькому, который, негодуя на И. Д. Сытина, предложил Андрееву прекратить с ним все дальнейшие переговоры. На средства М. Горького «Рассказы» Андреева вышли в 1901 г. в петербургском издательстве «Знание». В 1908 г. Андреев вел переговоры с И. Д. Сытиным

об издании у него Полного собрания своих сочинений (не осуществилось). В 1911—1912 гг. в газете И. Д. Сытина «Русское слово» были впервые опубликованы рассказы Андреева «Покой», «Ипатов» и «Правила добра». Отказ И. Д. Сытина печатать в газете пьесу Андреева «Прекрасные сабиняики» повлек за собою привлечение Андреевым редактора «Русского слова» Ф. И. Благова к третейскому суду. Обязанности одного из судей со стороны Андреева согласился взять на себя В. Г. Короленко. Суд не состоялся. Письма Андреева к И. Д. Сытину см.: Линин А. М. Л. Андреев и «Русское слово».— Орджоникидзе, 1934; Книга. Исследования и материалы. Сб. X. Л.-М., 1981 (Публикация С. В. Белова). Неприязнь и подозрительность Андреева к И. Д. Сытину-«капиталисту» не помешала ему подняться выше личных обид и дать объективную, положительную оценку просветительской деятельности И. Д. Сытина-издателя. Посвященная юбилею И. Д. Сытина статья-фельетон Андреева иронически написана в форме речи адвоката на суде, последовательно снимающего с И. Д. Сытина все возможные обвинения.

С. 470. *Приобщение к сытинскому делу «Нивы» с ее приложениями...*— В мае 1916 г. И. Д. Сытин приобрел популярный еженедельный иллюстрированный журнал «Нива», издававшийся в Петербурге А. Ф. Марксом (после его смерти в 1904 г.— «Товариществом А. Ф. Маркс»). Большое культурное значение имели выпускавшиеся в виде годовых приложений к «Ниве» «Полные собрания сочинений» русских классиков и современных писателей. В 1913 г. приложением к «Ниве» вышло «Полное собрание сочинений Л. Н. Андреева» в восьми томах.

...сочинений г-жи Вербицкой...— А. А. Вербицкая (1861—1928) — писательница, много внимания в своем творчестве уделявшая проблеме женской «эмансипации» в буржуазном обществе. У мещанского читателя пользовались успехом романы А. А. Вербицкой «Ключи счастья» и «Иго любви», в которых протест против зависимого положения женщины в современном обществе подменялся проповедью «свободной» любви.

С. 471. *«Посредник»* — Издательство просветительского характера, основанное в Петербурге в 1884 г. по инициативе Л. Н. Толстого. В 1892 г. было перенесено в Москву. И. Д. Сытин содействовал распространению дешевых изданий «Посредника» для народа.

...Павленковские издания...— Имеется в виду рассчитанная на широкий круг читателей предприятая петербургским книгоиздателем Ф. Ф. Павленковым (1839—1900) научно-популярная биографическая серия «Жизнь замечательных людей».

Сабашников М. В. (1871—1943) и *Сабашников* С. В. (1873—1909) — братья, книгоиздатели в Москве. Выпускали в основном естественнонаучную и художественную литературу. Особой известностью и признанием пользовались издаваемые ими многотомная серия «Памятники мировой литературы» и с 1909 г. «Академическая библиотека русских писателей». См. Сабашников М. В. Воспоминания.— М., 1983.

...«Знание».— Книгоиздательское товарищество «Знание» начало свою деятельность в Петербурге в 1898 г. Одним из основателей и бессменным директором-распорядителем издательства был

прогрессивный педагог-естественник К. П. Пятницкий. Сначала «Знание» печатало популярные книги по естествознанию, педагогике, искусству. После вступления в 1900 г. в «Знание» М. Горького издательство было реорганизовано. Не прекращая выпуск общеобразовательных книг, «Знание» сосредоточило главное внимание на издании собраний сочинений и новых произведений М. Горького и писателей демократического направления (И. А. Бунин, В. В. Вересаев, Скиталец, Н. Гарин-Михайловский и др.). В 1901—1907 гг. в «Знании» вышло Собрание сочинений Андреева в четырех томах. Печатался он и в литературных сборниках «Знание», стремившихся, по определению В. И. Ленина, «концентрировать лучшие силы художественной литературы» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 48, с. 3).

«Товарищество писателей в Москве».— В данном случае имеется в виду возникшее в конце 1911 г. литературное объединение под маркой «Книгоиздательство писателей в Москве». В 1916 г. Андреев заочно, в результате голосования, был избран в состав редакционной коллегии издательства. В «Книгоиздательстве писателей в Москве» в 1915—1917 гг. вышли тт. 15—17 Собрания сочинений Андреева, а в выпускавшемся издательством литературном сборнике «Слово» (кн. 6, М., 1916) была впервые напечатана пьеса Андреева «Младость. (Повесть в диалогах)».

Мережковский Д. С. (1865—1941) — писатель-символист. В 1914 г. в Т-ве И. Д. Сытина вышло его «Полное собрание сочинений» в 24 томах.

М. Горький, учитывая просветительский характер книжной деятельности И. Д. Сытина, неоднократно стремился заинтересовать его организацией ряда изданий («История русского народа», журнал по изучению России и др.). В начале 1913 г. М. Горький принял предложение И. Д. Сытина о сотрудничестве в «Русском слове», а в 1914 г., по возвращении в Россию из Италии, некоторое время прожил в имении И. Д. Сытина Берсеневка под Москвой. В приветствии по случаю юбилея И. Д. Сытина М. Горький писал: «Проработать полстолетия в таком честном и важном деле, каково издание книг для страны духовно голодной, для нашей несчастной страны — это огромная культурная заслуга» <Сытин И. Д.>. Жизнь для книги.— М., 1962, с. 211.

...стихи и рассказы И. Бунина.— Отмечается факт публикации художественных произведений И. А. Бунина (1870—1953) в газете «Русское слово».

С. 473. *«Глупый милорд»...*— Имеется в виду повесть лубочного писателя XVIII века Матвея Комарова, первым изданием вышедшая в 1782 г. («Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Фридерике Лунзе»). Впоследствии печаталась под заглавием «Повесть о милорде аглицком Георге».

Донон — петербургский ресторатор.

ДЕРЖАВА РЕРИХА (с. 475) — Впервые в газете «Русская жизнь», 1919, 29 марта и журнале «Жар-Птица» (Париж — Берлин), 1921, № 4—5. Печатается по изданию: Русская литература XX века. Дооктябрьский период. Калуга, 1971, сб. 3 (Публикация Ю. В. Бабичевой).

История знакомства Андреева с художником, археологом и писателем Н. К. Рерихом (1874—1947) изучена еще недостаточно. О своем знакомстве и дружбе с Андреевым Н. К. Рерих кратко рассказывает в воспоминаниях «Леонид Андреев». (См. Рерих Н. К. Из литературного наследия.— М., 1974, с. 106—107). При всей несхожести их талантов Андреева и Н. К. Рериха сближало стремление к философскому осмыслению действительности, обращение к кардинальным проблемам человеческого «бытия». Мир богатейшей творческой фантазии художника Андреев метко охарактеризовал словами «держава Рериха», но можно с полным правом говорить и о «державе Андреева». Эти «державы» были независимы, однако граница между ними не была отделена глухой стеной. Н. К. Рерих высоко ценил творчество Андреева-писателя и с дружеским вниманием художника-профессионала относился к занятиям Андреева живописью. 3 декабря 1914 г. Н. К. Рерих взволнованно писал Андрееву: «Дорогой Леонид Николаевич! Если слова трогают душу, то слово такого прекрасного, такого близкого мне художника, как Вы, не только тронуло меня глубоко, но и принесло радость... Судьба устроила так, что среди умершего «сегодняшнего» дня, среди пены и пыли жизни ко мне обращаются голоса таких людей, как Вы, которого я так люблю, ценю и чувствую. Ведь это же радость!» («Неделя», 1966, 27 ноября. Публикация И. Карпинского). Возможно, это ответ на неразысканное письмо Андреева о живописи Н. К. Рериха. Особенно близкие, доверительные, дружеские отношения установились между Андреевым и Н. К. Рерихом в 1918—1919 гг., когда они оба жили в Финляндии. Тогда Н. К. Рерих неоднократно бывал в гостях у Андреева в Ваммельсу. В доме писателя, в столовой, на стене висела авторская копия или вариант знаменитой картины Н. К. Рериха «Зловещее». Узнав о предстоящем отъезде Н. К. Рериха из Финляндии, Андреев горестно писал ему до 23 апреля 1919 г.: «Это производит такое впечатление, как будто я должен ослепнуть на один глаз: ведь Вы единственная моя живая связь со всем миром...» (Цит. по кн.: Беликов П., Князева В. Рерих.— М., 1973, с. 143—144). Отрывки из поздних писем Андреева Н. К. Рериху см. в журн. «Север» (Петрозаводск), 1981, № 4, с. 113—114. (Публикация Ел. Сойни).

Очерк «Держава Рериха» написан по поводу выставки картин Н. К. Рериха в Стокгольме в 1918 г. Выставка затем была перевезена в Гельсингфорс, где Андреев ее и видел. Очерк был начат Андреевым 25 февраля 1919 г. и закончен быстро.

С. 477. *...декорациями к норвежскому Перу Гюнту...*— По предложению Вл. И. Немировича-Данченко Н. К. Рерих выполнил декорации к пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Ее премьера в Московском Художественном театре состоялась 9 октября 1912 г.

ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

(Автобиографическая справка)

Написано Андреевым по просьбе историка литературы и библиографа С. А. Венгерова для архива его «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых».— Впервые опублико-

вано в кн.: Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей. Собрал Ф. Ф. Фидлер.— М. 1911, с. 27—32. См. также кн.: Русская литература XX века. 1890—1910. Под ред. проф. С. А. Венгерова.— М., 1915, т. 2, с. 242—245.

С. 479. ...*отец мой.*— Николай Иванович Андреев (1847—1889) — орловский мещанин, частный землемер-таксатор. По семейному преданию был внебрачным сыном богатого, родовитого помещика, предводителя дворянства Карпова и крепостной девушки Глафиры Осиповны, выданной замуж за сапожника Андреева.

...*мать*...— Анастасия Николаевна (урожд. Пацковская, 1851—1920) — рано осиротевшая и не получившая никакого образования дочь разорившегося помещика польского происхождения, губернского секретаря. После венчания Андреевы поселились в Орле на 1-й Пушкарной улице в доме мещанина Ганьшина, где снимали крошечную квартиру. Здесь 9 (21) августа 1871 г. родился их первенец — будущий писатель Леонид Андреев. Позже Андреевы перебрались на 2-ю Пушкарную улицу, где Николай Иванович, поступивший тогда на службу в городской общественный банк, построил собственный деревянный домик. На окраинной 2-й Пушкарной улице, населенной беднотой, ремесленным людом, прошли детские и юношеские годы Леонида Андреева. Матери Андреев посвятил свою пьесу «К звездам» (1905) и под именем Мацневой вывел в автобиографической повести в диалогах «Младость» (1916).

С. 479—480. ...*«В чем моя вера?» Толстого.*— См. прим. к фельетону «О российском интеллигенте».

С. 480. *Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра...*— Гартман Эдуард (1842—1906), Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкие философы-идеалисты, пессимистические взгляды которых оказали влияние на мировосприятие Андреева. По признанию Андреева, особенно большое впечатление произвела на него прочитанная еще в юности книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Андреев был увлечен учением немецкого философа о «мировой воле». В письме М. Горькому от 6 августа 1904 г., не соглашаясь с обвинениями Шопенгауэра в пессимизме, Андреев добавил: «Возможно, что я Шопенгауэра понял не совсем верно, скорее применительно к собственным желаниям...» (ЛН, т. 72, с. 218).

Молешотт Якоб (1822—1893) — немецкий физиолог и философ, вульгарный материалист.

...*влечение к живописи.*— После смерти отца, когда заботы о большой семье легли на плечи Л. Андреева как старшего сына (у него было три брата и две сестры), писание портретов на заказ давало скромный заработок, пополняло скудные средства семьи. Увлечение живописью Андреев сохранил до конца жизни. В 1910 г., раздраженный нападками критики на его творчество, он решил даже на какое-то время отказаться от литературной деятельности, чтобы целиком отдаться рисованию. Дружеские отношения связывали Андреева с И. Е. Репиным и Н. К. Рерихом. Известны остроумные шаржи Андреева на самого себя, его иллюстрации к собственным произведениям (пьеса «Жизнь человека» и др.). В 1913 г. Андреев показал несколько своих работ на «Вы-

ставке независимых» в Петербурге (портрет Л. Н. Толстого и крестьянина-финна — прототипа Янсона в «Рассказе о семи повешенных» Андреева).

...запись в моем дневнике... — По этому поводу биограф писателя В. В. Брусянин сообщает: «Любопытно, что в дневнике юного Андреева, относящегося к этой поре, имеется пророческая запись. Андреев писал, что в будущем он непременно завоюет себе почетное звание «знаменитого писателя»...» (Брусянин В. В. Леонид Андреев. Жизнь и творчество.— М., 1912, с. 55).

...И. А. Белоруссов (р. 1850) — был директором Орловской классической гимназии с 1884 г. Автор учебника «Теория словесности». Преподавал в старших классах русский и древнегреческий языки. Карьерист и реакционер, насаждавший в гимназии «религиозный дух» и преследовавший чтение «запрещенной» литературы. Замечание Андреева, что Белоруссов благосклонно относился к его гимназическим сочинениям, не лишено иронии, что подтверждает, например, письмо Андреева-гимназиста от 5 февраля 1891 г. к знакомой З. Сибилевой: «...По русски мое сочинение оказалось лучшим в классе. Мне одному только «5». Директор долго и ругал и хвалил его, и говорил, что <для> разбора его нужен особый урок. Главные же недостатки сочинения те, что 1) оно слишком оригинально и выдается из ряда классных работ, а 2) в некоторых местах слишком пахнет фельетоном. «Ты, Андреев (ты он говорит мне в знак своего расположения), мог бы его поместить в «Орл<овском> вестн<ике>», и тебе даже деньги за него заплатили бы, но, я думаю, что для этого «Орл<овский> в<естник>» слишком низок, а твое сочиненье слишком высоко» (Отдел рукописей ИРЛИ.)

...рассказ «О голодном студенте». — Речь идет о первом напечатанном рассказе Андреева «В холоде и золоте». Появился он в мелком петербургском журнале «Звезда», 1898, № 16, 19 апреля и был подписан инициалами «Л. П.», что можно расшифровать как Леонид Пацковский. «Неделя» (Петербург, 1866—1901) — газета, в 1880—1890-х гг. орган либеральных народников.

...«Северный вестник» (Петербург, 1885—1898) — литературно-научный и политический журнал. С 1891 г. занимался активной пропагандой идеалистической эстетики и творчества писателей-символистов. Андреев послал в «Северный вестник» свой, по собственному признанию, «характерно-декадентский», рассказ «Обнаженная душа». Содержание рассказа Андреев передал биографу так: «Я помню, что здесь был изображен глубокий старик, достигший трагической способности читать в человеческих сердцах <...> Разумеется, чем более эта обнаженная душа соприкасалась с людьми, тем трагичнее были ее впечатления» (Брусянин В. В. Указ. соч., с. 50).

«Нива» (Петербург, 1870—1917) — популярный в дореволюционные годы иллюстрированный еженедельный журнал для «семейного чтения».

...окончанию университета... — В 1891 г. Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета. В это время очень нуждался. В 1893 г., исключенный за невзнос платы, перевелся на юридический факультет Московского университета, который окончил весной 1897 г. кандидатом прав. Андреев умалчи-

вает, что в 1895—1896 гг. в «Орловском вестнике» при помощи друзей, были напечатаны его рассказы «Он, она и водка», «Загадка» и «Чудак». Всё это были еще очень слабые «пробы пера», а последний рассказ газета даже прервала печатанием. С октября 1897 г. Андреев — помощник присяжного поверенного Московского судебного округа. С этого же года начинает выступать в суде в качестве защитника.

С. 481. *«Московский вестник»* (1897—1900) — «ежедневная газета для приезжающих». Сотрудничество в ней Андреева началось благодаря адвокату П. Н. Малянтовичу, который взялся писать для этой газеты судебные отчеты, но не находил «свободного времени». Отчеты Андреева «Из зала суда» печатались в «Московском вестнике» без подписи с 1 октября 1897 г.

«Курьер» (Москва, 1897—1904) — газета демократического направления. (О ней подробней см. в кн.: Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904.— М., 1981, с. 353—375). Продолжая работу в «Московском вестнике», Андреев стал публиковать (и тоже без подписи) судебные репортажи и в «Курьере» с первого же номера (вышел 6 ноября 1897 г.). С 1900 г., сохраняя за собой должность судебного репортера, начинает вести в «Курьере» два цикла фельетонов Один — «будничный», под заглавием «Впечатления», он подписывает Л.-ев. Другой — «воскресный» — печатается под общим заглавием «Москва. Мелочи жизни». Его Андреев подписывает псевдонимом Джемс Линч. В «Курьере» впервые увидели свет многие известные рассказы Андреева. Впоследствии (с осени 1901 г.) Андреев заведовал в «Курьере» литературно-художественным отделом. См. также прим. к фельетону «Утенок».

Я. А. Фейгин (1859—1915) — переводчик, кандидат прав, служащий страхового общества «Якорь». «Курьер» издавал в 1897—1902 гг. Андрееву принадлежит некролог Фейгина в газете «Биржевые ведомости», 1915, утр. вып. 28 декабря.

...*«Баргамот и Гараська»*...— Этим рассказом Андреев датировал начало своей профессиональной литературной деятельности. Написан он был по предложению секретаря редакции «Курьера» И. Д. Новика для «пасхального» номера газеты и напечатан в «Курьере» (впервые за полной подписью автора) 5 апреля 1898 г. (№ 94). В связи с приостановкой «Нижегородского листка» М. Горькому доставлялись номера московского «Курьера». Прочитав рассказ неизвестного ему автора, М. Горький почувствовал незаурядный художественный талант начинающего писателя и немедленно рекомендовал в письме издателю петербургского «Журнала для всех» В. С. Миролюбову обратить внимание на Андреева: «...вот бы Вы поимсли в виду этого Леонида! Хорошая у него душа, у черта! Я его, к сожалению, не знаю, а то бы тоже к Вам направил» (Горький М. Собр. соч. в тридцати томах, т. 28.—М., Гослитиздат, 1954, с. 22). Между М. Горьким и Андреевым завязалась дружеская переписка, а их первая встреча состоялась в Москве на Курском вокзале 12 марта 1900 г. Тогда, направляясь на лечение из Нижнего Новгорода в Крым и проезжая через Москву, М. Горький назначил Андрееву свидание перед самым отходом поезда. М. Горький вспоминал об Андрееве: «Одетый в старенькое пальто-тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актера украинской

труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах<...> — Будемте друзьями! — говорил он, пожимая мою руку. Я тоже был радостно возбужден». (Горький М. Полн. собр. соч. Художеств. произвед. в двадцати пяти томах, т. 16.— М., 1973, с. 314).

...была напечатана или поставлена в театре.— Речь идет о нападках черносотенной печати и реакционного духовенства на творчество Андреева. Так в результате разнузданной травли были за «богохульство» сняты из репертуара и запрещены к представлениям в России пьесы Андреева «Жизнь человека» и «Анатэма».

...А. А. Измайлов (1873—1921) — писатель, критик. Имеется в виду его статья «Признанные и молодые» в газете «Биржевые ведомости», 1901, 9 апреля.

...первого моего тома... — Первый сборник «Рассказов» Л. Андреева был издан на средства М. Горького петербургским издательством «Знание». Книга поступила в продажу 17 сентября 1901 г. Автор посвятил свою первую книгу «Алексею Максимовичу Пешкову».

Андреев умер скоропостижно от сердечного приступа 12 сентября 1919 г. в Финляндии, в деревушке Нейвала, близ Мустамяки. В 1956 г. прах писателя был перенесен на Литераторские мостки Волкова кладбища в Ленинграде.

Вадим Чуваков

Список сокращений

ЛН, т. 72 — «Литературное наследство», т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка, Наука.— М.: 1965.

ЛН, т. 90, кн. 4 — «Литературное наследство», т. 90, кн. 4. У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, Наука.— М.: 1979.

ОР ИМЛИ — отдел рукописей Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом, Ленинград).

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

САТИРИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ

ФЕЛЬЕТОНЫ

Андреев Л.

А 65 Рассказы. Сатирические пьесы. Фельетоны / Сост. и ком. В. Н. Чувакова; Ил. И. С. Захарова.— М.: Правда, 1988.— 512 с., ил.

В одиотомник русского писателя Л. Н. Андреева (1871—1919) вошли его рассказы, сатирические пьесы и фельетоны, в которых показано, как автор пользовался в своей критике буржуазной действительности приемами и средствами сатиры. Среди них рассказ «Ослы», сатирические пьесы «Кающийся», «Монумент», фельетоны «Когда мы, живые, едим поросенка», «Утенок» и другие.

А $\frac{4702010100 - 1264}{080(02) - 88}$ 1264 — 88 84 Р 1

Леонид Андреев.

РАССКАЗЫ. САТИРИЧЕСКИЕ ПЬЕСЫ.
ФЕЛЬЕТОНЫ.

Редактор
Н. А. Преснова

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
В. С. Пашкова

ИБ 1264

Сдано в набор 17.03.86. Подписано к печати 28.08.87.
Формат 84×108[1]/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,88. Усл. кр.-отт. 27,51. Уч.-изд. л. 27,03.
Тираж 300 000 экз. (2-й завод: 150 001—300 000).
Заказ № 9648. Цена 2 р. 40 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва Ворошиловградского
обкома КП Украины, 348022, г. Ворошиловград,
ул. Лермонтова, д. 1 б.

2 р. 40 к.